ISSN 0130-6545

3.1994

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Запад: сны 68-го»

В номере:

А. ГИНСБЕРГ
Стихи

Х. КОРТАСАР
Книга Мануэля

У. МАЙНХОФ
Статьи

ДЖ. Д. МОРРИСОН
Стихи

LOVE

2
3

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

У нас в стране очень долго любили революцию и все революционное. Слишком долго. Теперь мы не скоро сможем оценить романтику баррикад и терактов. Бомбометатели, цареубийцы и бородатые герильерос утратили ореол героев. Социальное бунтарство большинству из нас представляется чистой бесовщиной, корнем всех сегодняшних бед. Левые высказывания современных западных интеллектуалов вызывают раздражение. Два мира — два детства, говорим мы. И еще: Запад есть Запад, Восток есть Восток.

Тем не менее ментальность думающих людей по обе стороны снесенной, но все еще вполне ощутимой Берлинской стены во многом определена одним и тем же историческим рубежом, когда свершился последний в нашем столетии перелом общественного сознания. 68-й год — веха условная, корректнее было бы говорить о конце шестидесятых, но танки на улицах Праги, майское восстание в Париже, убийство Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди сделали 68-й годом-символом, годом-знаком. Для жителей европейского Востока тот год означал крах иллюзий, связанных с марксизмом, это был не сон, а запоздалое и горькое пробуждение. Совсем иное эмоциональное содержание имеет 68-й для Запада. Это был последний бунт эпохи, начавшейся штурмом Бастилии. К счастью, бунт куда менее кровавый, чем предыдущие. 68-й — это удар по ханжеской морали, победа движения за гражданские права, мощный выброс культурной энергии, триумф нонконформизма в искусстве, изменение стиля жизни и внешнего облика, сексуальная революция, рок-музыка, «люди-цветы». Но наркотики и левый терроризм — тоже наследие 68-го. Это клубок, откуда к нам, в конец века, тянутся почти все нити, образующие социально-духовную ткань сегодняшнего Запада. Дух контестации — болезнь роста, которой в свое время переболели многие из нынешних вождей искусства, политики, идеологии, бизнеса; сон, от которого Запад давно очнулся, но по которому нередко испытывает смешанную с горечью ностальгию. Своим тематическим номером мы хотим не только передать ощущение времени, запечатлевшегося в нашей памяти совсем иными символами, но еще и попытаться взглянуть на ту антибуржуазную недореволюцию из середины девяностых, когда история кое-что прояснила и дала некоторые ответы. Некоторые, но не все.

Главный редактор

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Н. СКУРСКАЯ — ответственный секретарь
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, С. К. АПТ, М. Н. ВАКСМАХЕР,
Е. Ю. ГЕНИЕВА, А. А. ГЕНИС, В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА,
А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ, А. М. ЗВЕРЕВ, Вяч. Вс. ИВАНОВ,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ,
А. С. МУЛЯРЧИК, М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ,
М. А. ФЕДОТОВ, Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

3 **март** **1994**

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЛЕН ГИНСБЕРГ — Стихи из сборника «Падение Америки» *(Перевод с английского Андрея Сергеева)* 5

ХУЛИО КОРТАСАР — Книга Мануэля *(Роман. Перевод с испанского Е. Лысенко)* 9

ДЕННИС ДЖОЗЕФ ЭНРАЙТ — Стихи *(Перевод с английского Г. Кружкова)* 194

УЛЬРИКА МАРИ МАЙНХОФ — Напалм и пудинг. От протеста к сопротивлению *(Статьи. Перевод с немецкого И. Ланина)* 197

ДЖЕЙМС ДУГЛАС МОРРИСОН — Стихи *(Перевод с английского Г. Дашевского)* 202

ДОНАЛЬД РЕЙФИЛД — Как нас лишили последней невинности 204

У книжной витрины . 214

Курьер «ИЛ» . 218

Авторы этого номера . 223

© «Иностранная литература», 1994

В следующем номере «ИЛ»

Апрельская книжка журнала целиком посвящена итальянской литературе XX века. В номере будут представлены произведения пользующихся мировой известностью писателей, таких, как ГАБРИЕЛЕ Д'АННУНЦИО, ИТАЛО КАЛЬВИНО, АЛЬБЕРТО МОРАВИА, ЛУИДЖИ МАЛЕРБА, ТОММАЗО ЛАНДОЛЬФИ и др.

Читатели познакомятся также с воспоминаниями ЦЕЦИЛИИ КИН, жизнь и литературная деятельность которой в течение многих лет была связана с Италией.

Поклонники писателя УМБЕРТО ЭКО прочтут эссе Эко-ученого «Средние века уже начались».

Цветные иллюстрации номера:
на 1-й стр. обложки — фрагмент картины Э. ДЕЛАКРУА
«Свобода на баррикадах»;
на 2-й и 3-й стр. обложки — фотохроника 68-го;
на 4-й стр. обложки — М. АЙХХОРН,
«Четыре револьвера из пластмассы, два водяных револьвера».

По вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

В Москве журнал можно приобрести в редакции, в Доме книги на Новом Арбате и в киоске Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**

Технический редактор **С. В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47; факс 233-50-61

Сдано в набор 29.12.93. Подписано в печать 09.02.94. Формат 70 × 108 1/16. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 19,60. Усл. кр.-отт. 21,0. Уч.-изд. л. 22,75. Заказ № 4245.

Тираж 70 000 экз. Цена по подписке 330 р.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика»: Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16

АЛЛЕН ГИНСБЕРГ

Стихи из сборника «Падение Америки»

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Над Штатами

Под серебристым крылом
башни Сан-Франциско пронзают
тонкий газ облаков,
черногрудый Тамалпаис
над лазурью Тихого океана
холмы Беркли в соснах —
д-р Лири [1] дóма творит Декларацию независимости,
пишущая машинка перед окном,
в глазах серебрится природа —

Вдоль реки Сакраменто драконьи китайские
языки лижут огнем домá
железный валун штатного Капитолия,
серые в клетку поля к Сьеррам —
Рино, озеро Пирамид, синий Алтарь
чистой воды в песках Невады,
пустоши, исцарапанной шинами

Джерри Рубина посадили!
Измордовали, сломали крестец —
Лири вышибли из игры — «угроза для общества...
лица нежного возраста... безответственные
суждения... психиатрическая экспертиза...»
т. е. Заткнись иначе Психушка или Решетка

На Лероя повесили «с применением огнестрельного»,
$ 7000 адвокатам, годы на разбирательство —
сегодня в газетах СПОК ВИНОВЕН, Дейв Харрис
любовник и муж Джоан Баез в тюрьме
Дилан умолк о политике, цел —
у него ребенок —
Кливера обстреляли, свели с ума,
не выпустили под залог
Во Вьетнаме мясная куча растет,
кровь стекает с горы убитых
на тротуары Шолона —
сытые техноколором блондины в авиакреслах
убийцы под музыку Смерти
во тьме просмотрового зала

[1] Юрист доктор Лири и другие лица, упоминаемые в стихотворении,— борцы за гражданские права, друзья автора, поэты, певцы. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

уши заткнуты, на пластмассовом блюдце —
бифштекс — Взгляд на Экран —
Что потеряю я если падет Америка?
тело? жизнь? личность?

19 июня 1968

Авария

I

Метель засыпает снежной
пудрой сады в каменных
оградах у серого леса.

Горбатый желтый снегоочиститель
впечатывал огромные шины
в шоссе, красный огонек —
железная мысль насекомого.

Мяу, кот опоносился.

Солнце создало человека,
годы создали кольца в стволах,
леса, каменея, копили атомы,
через 93 миллиона миль
создали залежи у́гля,
вершина горы дышит светом.
Волоски земли золотятся
от хлорофилла, поэты
бродят в зеленых кустах,
сеют язык солнца.

В больнице ребра и бедра,
переломанные машинами,
метель под резиной шин,
мерзнут пни, а обрубок тела
пока — зимой — исцеляется.

II

Выходит, вся суть в теле!
Содрогайся мясом в темной кровати.
Друзья, морщась, делают в снег.
Девицы в слезах у гроба матери.

Сигареты сожгли вкусовые сосочки юности,
Своих возлюбленных я узнавал по запаху,
Авария переломала бедро и рёбра,
Трах! Тошнота под ложечкой,
На неделю парализован кишечник —
Очки разбились, глаза уцелели —
Слава Богу! сам жив, но слова́
Умерли в теле, как мысли — в боли.

Бодрый день на снежном ветру,
теплые шерстяные носки,
шапка с ушами, горячий бульон,
нагота в теплых спальнях,
близкая напряженная плоть,
слава, выпивка, знание, власть,
сумрак, северное сиянье, горячая

отбивная, индейка с начинкой —
все пропало в разбитом черепе.

Ненадежность Зрения, Осязания, Слуха,
Вкуса и Запаха на заднем сиденье —
машина с проломленным носом дымится —
Непрочность жизни, легко уйти —
скрежет металла не канцер сознанья.
Ненадежность плоти с куриной ногой
в руке на больничной койке —
с тобой будет то же, что с курицей,
съеденной год назад.
Доктор, нельзя ЖИТЬ ВЕЧНО: я же
корм для червей. Неужели и мысли?

Кто видал, кто запомнил
аварию, при которой череп
отделился от позвоночника?
Кто, запечатанный в теле своими
болячками, вырвется прочь, когда
с Неба Напалм упадет на живот,
грудь и лицо? А язык отсечен
ножом? Коровий язык? Человечий?

Каково это стать бессловесным?
Или погибнуть на заднем сиденье!

21 декабря 1968

III

Неструганая сосна стен,
снежно-белые окна,
прошло три недели,
на лужайках снегу на фут,
ветер в безлистых ясенях,
лед на дубовых ветках,
и желтая проталина
в снегу перед главным входом —
выползаю на костылях,
смотрю, как снег голубеет —
на днях три человека
облетели Луну — скрежет зубовный
в Биафре и Палестине,
Убийцы и Астронавты плывут
из Афин в море Венеры-Матери:
Ссора влюбленных за десятилетия
доросла до дикой жестокости,
полуголые деревенские парни
на клеенке кухонного стола
топорами рубят груди грейпфрутов.
Старея, старея, забудь слова,
думай о смерти, забудь слова,
Любовь это слово, забудь слова,
бородатый бритоголовый Питер [1]
бормочет, вскрикивает во сне.
Новый год не встречали — забудь
о старом — любви, словах, чувствах.
Дом занесло снегом,

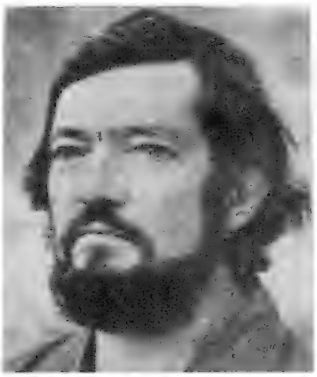
[1] Питер Орловский, поэт, друг Гинсберга.

я выключил газовый свет
и пошел почитать, вспоминая
снимки мертвой изнанки Луны,
бедро сломано, кот опоносился,
голова забита собственной
шумной музыкой в доме
мужчин, спящих в исподнем.
Почти год, как Нил — прах,
ангел в индивидуальной ночи
без телефонных звонков,
Джек пьян в моем представленье
или в своей Флориде. Забудь
о старом — друзьях, словах, телах.
Бхактиведанта [1] мудрей Христианства.
В 69 году тело в постели
одиноко лежит с гностической
книгой на коленях, столетья
вихрятся вокруг дома, Рембо́ —
16-летний подросток, зеленоглазый,
кривится на старой гравюре,
1869, бархатный галстук съехал,
голова всклокочена —
изнасиловал полицейский.

1 января 1969, 1.30 ночи

[1] Религиозное течение в индуизме.

Аллен Гинсберг в Праге Первого мая 1965 года, избранный Майским королем, в короне и на троне на грузовике по дороге в пражский парк культуры



ХУЛИО КОРТАСАР

Книга Мануэля

РОМАН

Перевод с испанского Е. ЛЫСЕНКО

По вполне понятным причинам я, вероятно, первый заметил, что эта книга не только кажется не тем, чем она хочет быть, но часто кажется тем, чем быть не хочет,— поборники реализма в литературе сочтут ее скорее фантастической, тогда как помешанные на литературе вымысла посетуют на ее нарочитое сожительство с историей наших дней. Происходящие в ней события, без сомнения, не могли бы происходить столь невероятным образом, и вместе с тем элементам чистого вымысла наносится ущерб частыми ссылками на будничные, конкретные обстоятельства. Меня-то эта разнородность не смущает — она, к счастью, перестала казаться мне таковой в итоге долгого процесса конвергенции: если многие годы я писал произведения, связанные с латиноамериканскими проблемами, а также романы и рассказы, в которых эти проблемы отсутствуют или затронуты лишь косвенно, то «здесь и теперь» эти два потока соединились, хотя их слияние оказалось отнюдь не легким делом, что порой заметно по путаному и мучительному пути кое-каких персонажей. Персонажу грезится примерно то, что грезилось мне в дни, когда я начинал писать, и, как не раз бывало в малопонятной моей профессии писателя, я лишь много спустя осознал, что сон — это тоже часть книги и что в нем таится ключ к конвергенции двух потоков человеческой активности, прежде разнородных. Посему да не удивят читателя частые включения сообщений прессы, читавшихся по ходу становления книги: разительные совпадения и аналогии побудили меня с самого начала принять очень простое правило игры — заставить моих персонажей участвовать в повседневном чтении латиноамериканских и французских газет. По наивности я рассчитывал, что это участие окажет более явное влияние на их поступки; постепенно я убеждался, что для хода повествования эти случайные вторжения не всегда были на благо — видимо, для них требовался более искусный экспериментатор. Как бы то ни было, эти извне пришедшие материалы я не отбирал — новости, опубликованные в понедельник или в четверг и оказавшиеся в кругу мимолетного интереса моих персонажей, включались в книгу в процессе работы именно в понедельник или в четверг, лишь некоторые сообщения оставлены для финала книги — благодаря этому исключению принятое правило стало менее стесняющим.

Книги должны сами себя защищать, так и эта, подобно кошке, где только может, опрокидывается на спину и выпускает когти. Известное изображение латиноамериканской девушки, которая дарит розу солдатам, стоящим с примкнутыми штыками,— это образ того, чем мы отличаемся от нашего врага. Роза как символ утверждения жизни вопреки лавине презрения и ужаса — вот то важное, о чем я попытался рассказать. И это утверждение должно быть самым благородным, самым стойким в человеке: жажда эротики и игры, освобождение от всяческих табу, требование достойного совместного существования на земле, свободной от вечно маячащих на горизонте клыков и долларов.

В общем, дело выглядело так, словно мой друг, о котором я тебе говорил, имел намерение что-то написать, так как он хранил уйму карточек и листочков, вероятно ожидая, что в конце концов они сами без большого урона склеятся. Однако ожидал он, по-видимому, неосмотрительно долго, и теперь Андресу пришлось в этом убедиться и посетовать,— но, помимо этой оплошности, моего друга, я думаю, более всего удерживала разнородность сфер, в которых происходили события, уж не говоря о крайне нелепом и отнюдь не конструктивном желании не слишком вмешиваться в них. Этот нейтралитет побудил его с самого начала стать к ним как бы в профиль — положение в повествовательном жанре — и еще более в историческом, что то же самое,— всегда рискованное, тем паче что мой друг не был ни глуп, ни чересчур скромен, однако трудно было бы требовать от него некой позиции, о чем он не любил распространяться. Напротив — хоть это и было нелегко,— он предпочитал сразу же выкладывать различные данные, которые позволили бы смотреть с различных точек зрения на бурную историю Бучи [1] и людей вроде Маркоса, Патрисио, Людмилы и меня (которого мой друг, не погрешая против истины, именовал Андресом), возможно ожидая, что эта отрывочная информация прольет когда-либо свет на внутреннюю кухню Бучи. Разумеется, если вся эта масса карточек и листочков соединится в нечто вразумительное, чего в действительности не случилось по причинам, отчасти понятным из самих этих документов. Доказательством его намерения с налету включиться в тему (и, возможно, показать, сколь трудно это сделать) было inter alia [2] то, что мой друг прислушивался, когда Людмила, подвигав руками, как бы выполняя некое эзотерическое упражнение, уставилась на меня своим зрительным аппаратом глубочайшего зеленого цвета и сказала — Андрес, у меня в желудке такое впечатление, словно то, что происходит, или происходит с нами, это какая-то страшная путаница.

— Путаница, милая моя полечка, понятие относительное,— заметил я поучающе,— разбираемся мы в нем или не разбираемся, но то, что ты называешь путаницей, никак за это не отвечает ни в том, ни в другом случае. Понимание, я считаю, зависит лишь от нас самих, и для этого недостаточно измерять действительность в терминах путаницы или порядка. Тут нужны другие силы, другие, как ныне говорят, критерии, другие векторы, как ныне архиговорят. Когда говорят о путанице, то почти всегда тут присутствуют путаники; но иногда достаточно внезапной любви, или какого-то решения, или одного внерутинного часа, чтобы случай и воля вдруг остановили стеклышки в калейдоскопе. И так далее.

— Блуп! — сказала Людмила, которая пользовалась этим междометием, дабы мысленно удалиться на противоположный тротуар, а там поди догони ее.

— Понятно,— замечает мой друг,— что, несмотря на все эти субъективные нагромождения, скрытая под ними тема весьма проста: 1) действительность либо существует, либо не существует, во всяком случае, сущность ее непостижима, равно как любые сущности в действительности непостижимы, а постижение — это еще одно зеркальце-приманка для жаворонков, а жаворонок это птичка, а «птичка» это уменьшительное от «птица», а в слове «птица» два слога, и в слогах этих три и две буквы, откуда явствует, что действительность существует (хотя бы жаворонок и слоги), но

[1] В оригинале испанское слово la joda, русский аналог которого — слово нецензурное и в печатном тексте невозможное, кроме как в виде многоточия. Словом этим, однако, автор обозначает понятие (вернее, целый комплекс понятий), весьма важное для идейного и сюжетного планов романа, даже мировоззренчески важное, и встречается оно в тексте очень часто. Столкнувшись с перспективой испещрить текст многоточиями, переводчик решается на передачу этого ключевого слова вполне цензурной «бучей», что, разумеется, ослабляет остроту эпатажа, но в большей или в меньшей степени соответствует эмоционально-идейной установке автора *(прим. перев.)*.

[2] между прочим *(лат.)*.

что она непостижима, ибо, кстати, что означает «обозначать» или, например, «говорить», что действительность существует; 2) Пусть действительность непостижима, но она существует, или, по крайней мере, она есть нечто такое, что с нами происходит или что каждый из нас в ней производит, вследствие чего нечаянная радость или элементарная потребность заставляет нас забывать все сказанное в 1) и перейти к 3). В конце концов, мы принимаем действительность во 2), какая она ни есть, и, следовательно, принимаем наше пребывание в ней, но тут же мы узнаем, что, абсурдна ли она, или лжива, или фальшива, действительность — это полный крах для человека, хотя и не для птички, каковая порхает, не задаваясь вопросами, и умирает, не сознавая этого. Итак, фатальным образом, ежели мы окончательно приняли сказанное в 3), надо перейти к 4). Действительность, о которой речь в 3), есть надувательство, и ее следует изменить. Здесь развилка: 5а) и 5б):

— Уф! — говорит Маркос.

5а) — Изменить действительность для меня одного,— продолжает мой друг,— это старо и выполнимо: Майстер Экхарт, Майстер Дзэн, Майстер Веданта [1]. Обнаружить, что «я» — это иллюзия, возделывать свой сад, быть святым, по одежке протягивать ножки и так далее. Нет.

— Правильно,— говорит Маркос.

5б) — Изменить действительность для всех,— продолжает мой друг,— значит, считать, что все люди суть (или должны быть) то, что и я, и в какой-то мере рассматривать действительность как человечество. Сие означает считать историю, то есть путь человечества, путем ложным, как действительность, доныне принимавшуюся за реальность, и так мы и поступаем. Вывод: имеется один-единственный долг, а именно найти правильный путь. Метод — революция. Вот так.

— Ну, че [2],— говорит Маркос,— мастак ты по части упрощений и тавтологий, мой мальчик!

— Это моя ежеутренняя красная книжечка,— говорит мой друг,— и признай, что, кабы все люди верили в эти упрощения, «Шелл Мекс» было бы труднее украсить твой мотор тигром.

— У меня «Эссо»,— говорит Людмила, у нее «ситроен» с двумя лошадками, которых, видимо, парализует страх перед тигром, ибо на каждом углу они останавливаются, и моему другу, или мне, или кому иному приходится их подгонять руганью.

Моему другу нравится Людмила, нравится своим безумным взглядом на все, и, вероятно, поэтому Людмиле сразу как бы дается право нарушать всякую хронологию; если ее диалог со мною достоверен («Андрес, у меня в желудке такое впечатление...»), то мой друг, пожалуй, умышленно перемешивает свои листочки, когда у него Людмила что-то говорит в присутствии Маркоса, ведь Маркос и Лонштейн еще находятся в метро, которое их везет, это уж точно, ко мне, между тем как Людмила исполняет свою роль в третьем акте драматической комедии в театре «Вьё Коломбье» [3]. Для моего друга это совершенно не важно, ибо два часа спустя упомянутые особы должны собраться в моей квартире; я даже думаю, что он решился на это ex professo [4], дабы никто — включая нас и, главное, возможных адресатов его похвальных усилий — не строил иллюзий насчет его манеры обращаться со временем и пространством: моему другу было бы приятно прибегнуть к синхронности — показать, как Патрисио и Сусана купают своего ребенка, в то время как панамец Гомес с явным удовольствием пополняет свою серию

[1] Иоганн Экхарт — Майстер Экхарт (1260—1327) — немецкий философ-мистик. Дзэн — японское название школы буддизма — махаяны. Веданта — система древнеиндийской религиозной философской мысли, основа индуизма.

[2] Фамильярное, ласковое обращение у аргентинцев.

[3] «Старая голубятня» *(франц.)*.

[4] намеренно *(лат)*.

бельгийских марок, а некий Оскар в Буэнос-Айресе звонит своей подруге Гладис, дабы посвятить ее в важное дело. Что до Маркоса и Лонштейна, они как раз появились, выходя из метро в Пятнадцатом округе Парижа, и зажигают сигареты одной спичкой, Сусана завернула сына в голубое полотенце, Патрисио потягивает мате [1], люди читают вечерние газеты и так далее в том же духе.

Дабы сократить представление персонажей, мой друг как бы усаживает их всех примерно в одном ряду партера перед чем-то, что, если угодно, можно считать кирпичной стеной; нетрудно сделать вывод, что зрелище будет далеко не привлекательное. Каждый, кто заплатил за входной билет, имеет право увидеть сцену, где что-то происходит, а кирпичная стена, по которой разве что случайно проползет таракан или тень кого-то, движущегося по проходу в поисках своего места, мало чем может порадовать. Посему согласимся — ответственность за это несут мой друг, Патрисио, Людмила или я сам, не говоря об остальных, постепенно усаживающихся в задних рядах, подобно персонажам романа, которые один за другим появляются на последующих страницах, хотя кто разберет, где в романе страницы последующие, а где предыдущие, ибо чтение есть движение вперед по книге, но каждое появление в ней можно счесть предыдущим относительно появляющихся потом — маловажные формалистические детали,— итак, согласимся, что тут царит тотальный абсурд и, однако, эти люди находятся здесь, каждый на своем месте перед кирпичной стеной, по разным причинам, ибо речь идет об индивидуумах,

Людмила
Гомес
Моника
Люсьен Верней
Эредиа
Маркос
Андрес
Мой друг
(Франсина)
Оскар
Мануэль
Гладис
Лонштейн
Ролан
Фернандо

но находятся они здесь как бы вопреки абсурду, сколь бы ни показалось это нелогичным жителям их района, которые в этот момент, сидя в кинотеатре другого района, завороженно следят за нашумевшим фильмом made in USSR «Война и мир», цветным, в двух частях и на широком экране, если предположить, что они могли бы заподозрить, что мой друг и пр. сидят на своих местах перед кирпичной стеной, и для Сусаны, Патрисио, Людмилы и пр. находиться там, где они находятся, это и есть действовать вопреки абсурду, ибо этот род метафоры, в которую все они преднамеренно включились, каждый на свой лад, состоит, между прочим, в не-присутствии на демонстрации «Войны и мира» (я просто развиваю метафору, на самом-то деле по крайней мере двое из них уже этот фильм видели), отчетливо сознавая, где они находятся,

еще отчетливей сознавая, что это абсурдно,

и сверх всего сознавая, что абсурд не способен их одолеть в той мере, в какой они не только действуют ему вопреки (усаживаясь перед кирпичной стеной — сие метафора),

но сам этот абсурд устремления к абсурду и есть то, отчего обрушились стены Иерихона,

о которых еще неизвестно, были ли они из кирпича или из прессованного вольфрама, что решает дело. Или же они находятся здесь вопреки абсурду, ибо знают, что он, абсурд, уязвим, немощен, и что, по сути, достаточно ему крикнуть в лицо (кирпичное — продолжая метафору), что он всего лишь предыстория человека, его смутный проект (здесь возникают бессчетные возможности описания теологического, феноменологического, онтологического, социологического, диалектико-материалистического, поп, хиппи)

[1] Напиток вроде чая; настой из листьев и стеблей вечнозеленого дерева или кустарника йерба-мате, растущего в Южной Америке. Пьют его из небольших высушенных тыквочек, потягивая через трубочку «бомбилью».

и что он кончился, на сей раз кончился, пусть не очень понятно как, но на этом этапе нашего века что-то, братец ты мой, кончилось, и теперь посмотрим, что будет, и именно поэтому
в этот вечер,
в том, что делают
и что говорят,
в том, что скажут или сделают все те, кто продолжает входить и усаживаться перед кирпичной стеной и ожидает, словно кирпичная стена это разрисованный занавес, который поднимется, как только погасят
свет, и свет, конечно, гасят,
и занавес, архиконечно, не поднимается,
ибо-кирпичные-стены-не-поднимаются.
Абсурд,
но не для них, потому что они знают, что это предыстория человека, и они смотрят на стену, гадая, что может находиться по ту сторону; поэты вроде Лонштейна будут толковать о тысячелетнем царстве, Патрисио рассмеется Лонштейну в лицо, Сусана смутно подумает о счастье, которое не придется покупать ценой несправедливости и слез, Людмиле, невесть почему, вспомнится белый песик, о котором она в десять лет мечтала и которого ей никто не подарил. Что до Маркоса, то он вытащит сигарету (это запрещено) и медленно ее закурит, а я с большим напряжением попробую вообразить, как мог бы человек пройти сквозь эти кирпичи, и, естественно, не смогу это вообразить, ибо научно-фантастические экстраполяции меня чертовски утомляют. В заключение мы все пойдем пить пиво или потягивать мате у Патрисио и Сусаны, и тут наконец начнется что-то настоящее, что-то желтое свежее зеленое жидкое горячее в полулитровых тыквочках с разложенными по кругу бомбильями и как бы венчающая все внушительная горка сандвичей, приготовленных Сусаной и Людмилой и Моникой, этими безумными менадами, которые, выходя из кинотеатра, всегда умирают с голоду.

A CLERMONT-FERRAND

LE CONSELL TRANSITOIRE DE LA FACULTÉ FAIT ÉTAT DE BRUTALITÉS POLICIÈRES COMMISES CONTRE UN MAÎTRE ASSISTANT

(De notre corresp. particulier)

Clermont -Ferrand.— Le conseil transitoire de gestion de la faculté des lettres et sciences humaines de Clermont-Ferrand vient de publier un communiqué, dans lequel il déclare «avoir pris connaissance, avec indignation, des brutalités policières dont M. Pierre Péchoux, maître assistant d'histoire à la faculté, a été récemment victime à Paris.

Le communiqué précise: «Surpris par une charge de police, le 28 mai, vers 22 heures, alors qu'il passait boulevard Saint-Michel, après une journée de travail en bibliothèque, M. Pechoux, qui est agé de cinquante cinq ans, a été sondainement matraqué, jeté à terre et amené d'abord dans un commissariat puis au centre de tri de Beaujon. Transporté, à l'aube, à l'hôpital Beaujon, après qu'on eut reconnu qu'il ne pouvait marcher, et huit jours plus tard, à son domicile clermontois, M. Pechoux souffre d'une triple fracture de la rotule et de plaies qui le condamnent à plusieures semaines d'immobilité».

Le conseil transitoire de gestion a designé une délégation qui demandera audience au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand pour lui exprimer l'émotion de la faculté toute entière.

— Переводи,— приказал Патрисио,— разве ты не понимаешь, что Фернандо только недавно прибыл, а эти чилийцы, они, знаешь, с французским не в ладах.

— Вы думаете, что я Святой Иероним [1],— сказала Сусана.— Ну ладно. В Клермон-Ферране Временный совет факультета заявил о жестоком обращении полиции с адъюнкт-профессором. От нашего собственного корреспондента.

— Я согласен на краткое изложение,— сказал Фернандо.

— Ша. Клермон-Ферран. Временный административный совет факультета литературы и гуманитарных наук в Клермон-Ферране опубликовал сообщение, где заявляет, что, кавычки, с возмущением узнал о жестокостях полиции, жертвой которой стал в Париже господин Пьер Пешу, адъюнкт-профессор истории данного факультета, кавычки закрываются. В

[1] Святой Иероним (331—420) — христианский богослов, переводчик Библии на латинский язык.

сообщении сказано, что, кавычки, 28 мая около 22 часов господин Пешу был застигнут полицейской облавой, когда проходил по бульвару Сен-Мишель после проведенного в библиотеке трудового дня. На господина Пешу, пятидесяти пяти лет, вдруг накинулись с дубинками, повалили наземь, затем повели в комиссариат, откуда перевели в следственную тюрьму в Божоне. На рассвете, обнаружив, что господин Пешу не в состоянии ходить, его перевели в госпиталь Божона, а затем, через неделю, отвезли на его квартиру в этом же городе. У господина Пешу тройной перелом коленной чашечки и другие травмы, из-за которых ему придется несколько недель пролежать без движения. Кавычки закрываются. Временный административный совет избрал делегацию, которой поручено добиться аудиенции у ректора университета в Клермон-Ферране и выразить возмущение всего факультета.

— Стало быть, у них госпиталь недалеко от следственной тюрьмы,— сказал Фернандо.— Ох, эти французы, у них все так хорошо организовано, а в Сантьяго эти два заведения находятся одно от другого в двадцати кварталах.

— Теперь ты видишь, как полезно, что ты ему перевела эту заметку? — сказал Патрисио.

— Что за вопрос! — согласилась Сусана.— В общем, ты понял, что тебя ждет в стране «Марсельезы», особенно в районе бульвара Сен-Мишель.

— А мой отель как раз там и находится,— сказал Фернандо.— Правда, я не адъюнкт-профессор. Значит, здесь колотят дубинками профов? Это все же некоторое утешение, хотя, конечно, очень жестоко, бедняга Пешу!

Зазвонил телефон. Это я сообщал Патрисио, что Маркос и Лонштейн только что прибыли и нельзя ли нам с Людмилой и с ними приехать и поболтать, надо же иногда поддерживать дружбу, не так ли?

— Сейчас не время для визитов, че,— сказал Патрисио.— У нас тут важнейшее совещание. Да нет, идиот, ты же по голосу слышишь, в таких случаях всегда немного задыхаешься.

— Он, конечно, сказал тебе какое-нибудь свинство? — спросила Сусана.

— Точно, ты угадала, малышка. Что? Я разговаривал с Сусаной и с одним чилийцем, который приехал неделю тому назад, мы его просвещаем насчет environnement [1], ты меня слышишь, парень еще совсем дикарь.

— Пошли вы оба к чертям, ты и твой собеседник,— припечатал Фернандо.

— Правильно,— сказала Сусана.— Пока эти двое эксплуатируют телефон, мы с тобой попьем мате, я заварила травку, которую Моника украла в магазине Фошона.

— Ну ладно, приезжайте,— уступил Патрисио,— мои возражения имели воспитательную цель, не забудь, что я в этой стране уже пятнадцать лет, а это, куманек, тебе не шуточка. Они аргентинцы,— объяснил он Фернандо, который уже и сам догадался об этом.— Пусть они приезжают, qu'ils s'amènent, как мы говорим тут во Франции, я уверен, что у Маркоса есть свежие новости из Гренобля и из Марселя, где вчера была драка гошистов с полицией.

— Гаучистов? — переспросил Фернандо, у которого были проблемы с произношением.— В Марселе есть гаучо?

— Ты понимаешь, если бы я перевел «гошисты» как «леваки», это бы дало тебе неточное представление, потому что в твоей стране и в моей это означает весьма различные вещи.

— Уже начинаешь с ним спорить? — сказала Сусана.— А по-моему, такой уж большой разницы нет, просто для тебя слово «левак» противно, как разбавленный мате, из-за того, что ты провел юность в Народном доме, вот и все, возьми этот мате, он только заварен.

---

[1] окружения, обстановки *(франц.)*.

— Ты права,— сказал Патрисио, размышляя с бомбильей во рту, как Мартин Фьерро [1] в сходных обстоятельствах.— Левак, или перонист, или что там еще, в этих словах уже ряд лет нет ясности, это факт и ты, кстати, переведи-ка парню еще другую заметку на той же странице.

— Еще переводить? Ты что, не слышишь, Мануэль уже проснулся и требует от меня гигиенических процедур? Погоди, вот приедут Андрес и Людмила, они будут переводить, а заодно кое-что узнают из современной истории.

— Согласен, займись своим сыночком; ребенок просто голоден, старушка, принеси его сюда, да кстати бутылку виноградной водки, чтобы утрамбовать мате.

Фернандо, напрягаясь, расшифровывал заголовки в газете, а Патрисио смотрел на него с ворчливым сочувствием, спрашивая себя, не придумать ли предлог, чтобы его выпроводить до прихода Маркоса и остальных,— в эти дни гайки в Буче завинчивались все туже, а ему об этом чилийце мало что было известно. «Но ведь наверняка придут еще и Андрес с Людмилой,— подумал он.— Речь пойдет о чем угодно, но не о Буче». В ожидании звонка он передал гостю еще один мате без идеологического содержимого.

Да, конечно, механизм есть, но как это объяснить и, в конце концов, зачем объяснять, кому нужно объяснение — такие вопросы задает себе мой друг всякий раз, когда люди вроде Гомеса или Люсьена Вернея глядят на него, удивленно округлив брови, а однажды вечером я сам осмелился сказать ему, что нетерпение — родная мать всех, кто встает и уходит прочь, захлопнув дверь или книгу, а между тем мой друг медленно потягивает винцо, смотрит на нас минуту-другую и как бы соизволит сказать или только подумать, что этот механизм есть в некотором роде лампа, которую зажигают в саду перед тем, как люди придут, чтобы ужинать, наслаждаясь прохладой и ароматом жасмина, тем ароматом, с которым мой друг впервые познакомился в деревне в провинции Буэнос-Айрес давным-давно, когда бабушка доставала белую скатерть и накрывала ею стол в увитой виноградом беседке среди кустов жасмина, и кто-нибудь зажигал лампу, и слышался стук столовых приборов и тарелок о подносы, разговоры на кухне, шаги тетушки, которая шла к проулку за белыми воротами позвать детей, игравших с друзьями в соседнем саду или на улице, и стояла теплая январская ночь, а из сада и огорода, которые бабушка под вечер поливала, доносились запахи влажной земли, цепкой бирючины да жимолости, усыпанной прозрачными капельками, в которых огонек лампы множился для глаз мальчика, рожденного, чтобы это видеть. Все это не так уж важно теперь, после стольких прожитых, хорошо или плохо, лет, а все же как приятно дать волю нахлынувшей ассоциации, которая связала описание механизма с лампой летних вечеров в саду твоего детства, и получится так, что мой друг с особым удовольствием заговорит о лампе и о механизме, чувствуя, что теперь-то его не упрекнут в чрезмерном теоретизировании, просто каждый нынешний день ему все ярче вспоминается прошлое — по причине склероза или обратимого времени,— и иногда ему удается показать, как то, что ныне для кого-то, обуреваемого нетерпением, начинается, это некая лампа в летнем саду, которую зажигают на столе среди цветущих растений. Пройдут двадцать, сорок секунд, пройдет минута, мой друг вспоминает комаров, мамборета [2], ночных бабочек фаленас, жуков каскарудос; подобие может уловить всякий: сперва лампа, голый, одинокий свет, затем она обрастает другими элементами, лоскутами, клочками — зеленые туфли Людмилы, курчавые волосы Маркоса, белоснежные трусики Франсины, некий Оскар, который привез двух королевских броненосцев, не считая пингвина, Патрисио и Сусана, муравьи, их скопленья, и танцы, и эллипсы, и скрещиванья, и столкновенья, и внезапные падения на тарелку со сливочным маслом или на блюдо с кукурузной мукой, и крики матери,

[1] Герой одноименной знаменитой поэмы аргентинского поэта Хосе Эрнандеса (1834—1886).

[2] Один из видов прямокрылых насекомых.

которая вопрошает, почему еду не прикрыли салфеткой, неужели не знаете, что в эти ночи полно всяких козявок, а Андрес однажды обозвал Франсину «козявкой», но, возможно, механизм уже становится понятен и уже нет причин прежде времени предаваться во власть энтомологической круговерти; да только так сладко, так томительно сладко перед уходом оглянуться на секунду назад, на стол и на лампу, увидеть седую голову бабушки, подающей ужин, а во дворе лает сука, потому что наступило новолуние, и между жасмином и бирючиной все зыблется, а мой друг оборачивается к нам спиной и нажимает указательным пальцем правой руки на клавишу, которая отпечатает нечеткую, робкую точку, рубеж того, что начинается, того, что следует сказать.

Со своей стороны и на свой лад, Андрес также искал объяснения чего-то, что от него ускользало при слушании «Prozession» [1]; моему другу в конце концов становилось забавно это смутное почтение к науке, к эллинскому наследию, к назойливому «почему» относительно всего, какой-то возврат к сократизму, боязнь тайны, того, что некие вещи происходят и воспринимаются как таковые, без всяких «почему»; он подозревал влияние всемогущей техники, требующей более рационального видения мира при пособничестве правых и левых философских теорий, и тогда мой друг оборонялся, пуская в ход мамборета и свежеполитый жасмин, но отчасти уступая требованию показать часовой механизм происходящего, правда давая объяснение, которое мало кто счел бы удовлетворительным. В моем случае вопрос стоял менее остро, моя проблема в тот вечер, перед тем как должны были прийти Маркос и Лонштейн и нарушить все мои планы,— вот треклятые кордовцы! — состояла в том, чтобы понять, почему, слушая запись «Prozession», я поочередно то отвлекаюсь, то сосредоточиваюсь, и прошло немало времени, прежде чем я сообразил, что все дело в фортепиано. В общем, я понял: достаточно повторить один пассаж на пластинке, чтобы в этом удостовериться; среди звуков электронных или традиционных, но измененных из-за применяемых Штокхаузеном фильтров и микрофонов, время от времени совершенно четко слышится натуральный звук фортепиано. По сути, все очень просто: в человеке, сидящем в стратегически замыкающей точке стереофонического треугольника, есть человек старый и человек новый, тут имеет место разрыв мнимого единства, обнажаемый немецким музыкантом в полночный час в одном из парижских департаментов. Да, это так, вопреки многим годам музыки электронной или экспериментальной, free jazz [2] (прости-прощай, мелодия, прощайте, четкие старые ритмы, завершенные формы, прощайте, сонаты, прощайте, концертные ансамбли, прощайте, парики, атмосфера tone poems [3], прощай, предсказуемое, прощай, самое любимое в привычном), все равно старый человек продолжает жить и помнить, в самых головокружительных духовных перипетиях всегда звучит некая постоянная дорожка и трио эрцгерцога, и вдруг становится так легко понять: в звуке фортепиано сгущен этот неистребимый пережиток, посреди звучащего комплекса, где сплошные новации, где проглядывают, как старинные фотографии, его колорит и тембр, из фортепиано могут рождаться ряды менее пианистических звуков или аккордов, но сам инструмент здесь, его сразу узнаешь — фортепиано иной музыки, ушедшая эпоха, звуковая Атлантида посреди расцвета юного нового мира. И еще легче понять, сколь неизбежно влияние истории, условий времени и культуры, ибо в любом пассаже, где господствует фортепиано, оно звучит для меня как узнавание, и тогда сосредоточивается внимание, острее становится восприятие того, что доныне связано во мне с этим инструментом, мостом между прошлым и будущим. Конфронтация человека старого и человека нового, отнюдь не дружественная встреча в музыке, литературе,

[1] «Процессия» *(нем.)* — произведение современного немецкого композитора Карла-Хайнца Штокхаузена (род. в 1928 г.).

[2] свободный джаз *(англ.)*.

[3] музыкальных поэм *(англ.)*.

политике и мировоззрении, включающем их все. Для современников клавикорда первые звуки фортепиано, вероятно, пробуждали постепенно этого мутанта, ставшего ныне традиционным сравнительно с фильтрами, которыми манипулирует немец, дабы заполнить мне уши свистящими и воющими звуками, целыми блоками звуков, никогда еще не слышанных в подлунной. Вывод и мораль: все дело в том, чтобы выровнять внимание, нейтрализовать вред от этих вторжений прошлого в новую манеру наслаждения музыкой. Да, в новую манеру бытия, стремящуюся охватить все — уборку сахарного тростника на Кубе, телесную любовь, живопись, и семью, и деколонизацию, и одежду. Естественно, что я еще раз спрашиваю себя, как же надо наводить мосты, искать новые правильные контакты, помимо любовного согласия между поколениями и различными мировоззрениями, между фортепиано и электронной обработкой звука, помимо коллоквиумов католиков, буддистов и протестантов, помимо разрядки между политическими блоками и мирного сосуществования; ибо речь идет не о сосуществовании, старый человек не может жить в человеке новом, хотя этот новый есть виток той же спирали, новый поворот в бесконечном балете; теперь нельзя говорить о терпимости, все ускоряется до тошноты, дистанция между поколениями растет в геометрической прогрессии, уже ничего нет общего ни с двадцатыми годами, ни с сороковыми, а скоро так будет и с восьмидесятыми. Когда пианист в первый раз прервал исполнение, чтобы провести пальцами по струнам, как по арфе, или ударил по корпусу инструмента, чтобы отметить ритм или паузу, на подмостки полетели башмаки; ныне молодежь была бы удивлена, если бы при извлечении звука из фортепиано ограничились одними клавишами. А книги, эти ископаемые, нуждающиеся в неуклонной тяге к старому, и эти левацкие идеологи, упорствующие в почти монашеском идеале жизни частной и общественной, и идеологи правые, непробиваемые в своем презрении к миллионам неимущих и отчужденных от собственности? Новый человек, да, это он: как далеко ты ушел, Карл-Хайнц Штокхаузен, супермодерновый музыкант, вставляющий ностальгическое фортепиано в радужное электронное многоцветье; это не упрек, я это говорю о себе самом, с дорожки твоего попутчика. Выходит, и у тебя есть проблема моста, и тебе приходится находить способ говорить понятно, даже когда вся твоя техника и великолепно оборудованная среда требуют от тебя сжечь фортепиано и заменить его еще одним электронным фильтром (это просто рабочая гипотеза, речь идет не об уничтожении ради уничтожения, фортепиано, пожалуй, служит Штокхаузену не хуже, а то и лучше, чем электронные средства, но, думаю, мы друг друга понимаем). Итак, мост, ну ясно! Как навести мост и в какой мере принесет пользу его наведение? Интеллектуальная практика (sic!) закоснелых социалистов требует моста полноценного; я пишу, а читатель читает, то есть предполагается, что я пишу и тем самым навожу мост на уровне чтения. А ежели я нечитабельный, старина, ежели нет читателя и, следовательно, нет моста? Потому что мост — при всем желании его навести и при том, что всякое произведение — это мост от чего-то к чему-то,— не будет настоящим мостом, пока по нему не ходят люди. Мост — это человек, идущий по мосту, че.

Одно из решений: поставить на мост фортепиано, и тогда по нему будет движение. Второе: навести мост, как уж придется, и оставить его, глядишь, эта малышка, что сегодня на руках у матери сосет грудь, вырастет когда-нибудь в женщину, которая пойдет по мосту одна, а быть может, держа на руках малышку, которая сосет грудь. И тогда уже не понадобится фортепиано, мост все равно будет, будут идущие по нему люди. Но попробуйте сказать это самодовольным строителям мостов, и дорог, и пятилетних планов!

— Кто звонил? — спросил Фернандо.

— А, это тот самый, чем меньше о нем упоминать, тем лучше,— высказался Патрисио с явной нежностью.— Через десять минут ты его

увидишь, это Андрес, один из многих аргентинцев, которые невесть почему живут в Париже, хотя у него есть своя теория об избранных местах, и, во всяком случае, он себе заработал право на квартиру, Сусана была с ним знакома еще до меня, она может тебе о нем рассказать, возможно даже и то, что она с ним спала.

— В его квартире, раз уж ты говоришь, что он заработал право на нее,— сказала Сусана.— Не обращай внимания, Фернандо, он настоящий турок — каждого латиноамериканца, который встречался на моем пути до этого чудовища, он автоматически заносит в список своей ретроспективной ревности. Еще, слава Богу, он верит, что Мануэль его сын, не то бедное дитя было бы все в синяках.

— А чем занимается этот Андрес? — поинтересовался Фернандо, который был изрядной занудой в том, что касалось личной жизни друзей.

— Слушает какую-то дикую экспериментальную музыку, много читает, путается с женщинами и, вероятно, ждет часа.

— Часа чего?

— Да этого...

— Ты прав,— сказала Сусана.— Андрес словно бы ждет какого-то часа, но какого, во всяком случае, не нашего.

— А какой же это ваш? Революция или что-то вроде того?

— Что за манера допрашивать, прямо как в полиции,— заметил Патрисио, подавая гостю мате.— Давай мне твоего сыночка, детка, раз уж ты уверяешь, что он не ретроспективный, и переведи-ка этому парню заметку о Надине, надо, чтобы этот чилиец приобрел местную политическую культуру, чтобы он ясно понял, почему в один из ближайших дней ему проломят голову, если он вздумает присматриваться к тому, что творится, а творится Бог весть что.

— А кто придет с Андресом?

— Если ты еще немного посидишь, чилийчик, сам просечешь, и точка, а когда эти ребята нагрянут, это уже надолго. В общем, придут Маркос и Лонштейн, они тоже аргентинцы, но из ученой братии,— ты меня понял? — и, наверно, явится Людмила, если останется жива после русских бурь, которые представляют во «Вьё Коломбье», три действия, сплошняком самовар да кнут, а вдобавок в разгар веселья звонок зазвонит в пятый раз и на нас свалится мой друг, хорошо еще, что он обычно является с бутылкой коньяка или, по крайней мере, с шоколадом для Мануэля, смотри, как у этого лежебоки засверкали глазенки, подавай ему кашку, о сын мой, ты будешь моим оправданием перед историей!

— И еще я не очень понял, что тут говорилось про травку, которую кто-то где-то украл.

— Мама родная! — сказал Патрисио, пораженный.

— Видно, ты никогда не читал про похождения Робина Гуда,— сказала Сусана.— Понимаешь, Моника пишет диссертацию, да не какую-нибудь, а об Инке Гарсиласо [1], и еще она вся в веснушках. И вот она с группой маоистов отправилась штурмовать склад Фошона, а он как бы Кристиан Диор в торговле харчами, это, знаешь, символический акт борьбы с буржуа, которые платят по десять франков за один паршивый авокадо, доставленный самолетом. Сама идея не новая, ведь новых идей не бывает, в твоих краях, вероятно, тоже делали нечто в этом роде — задача была погрузить продукты в две-три машины и раздать их народу на северной окраине Парижа. Моника увидела пакет с травкой и куда-то его сунула, чтобы потом принести мне,— в их операции это не было предусмотрено и намечено, но, если вспомнить, что в тот вечер творилось, надо признать — она поступила героически.

— Отличное предисловие к заметке, которую мы тебе переведем для твоего образования,— сказал Патрисио.— Понимаешь, дело обернулось худо, прохожие чуть не линчевали этих ребят, и заметь, это были случайные

[1] Инка Гарсиласо (1549—1617) — испанский историк, сын испанского конкистадора и принцессы инков. Летописец Перу.

прохожие, которые, уж наверно, никогда не заглядывали к Фошону,— достаточно посмотреть на его витрины, и ты поймешь, что тебе надо три месяца вкалывать, чтобы купить дюжину абрикосов или кусок вырезки... но так уж тут ведется, чилийчик, что идея порядка и частной собственности владеет даже теми, у кого нет ни гроша. Моника вовремя смылась на одной из машин, полиция сцапала другую девушку, и, хотя обвинить ее в грабеже они не могли, потому как группа молодежи разбросала листовки с объяснением своих намерений, судья засадил ее на тринадцать месяцев в кутузку — ты понял? — причем без... без чего?

— Без права на апелляцию или что-то в этом роде,— сказала Сусана.— Мол, посидите, мадемуазель, под замком один год и один месяц в назидание тем, кто замышляет новые нападения на чужое имущество, какими бы ни были их резоны. Тут как раз будет к месту вот эта заметка в газете, речь идет о другой девушке, тоже знакомой нашей Моники.

— Сколько женщин! — восхищенно сказал Фернандо.

— Слушай. Нападение на мэрию в Мёлане. Мадемуазель Надина Ренгар условно выпущена на свободу. Это заголовки. Мадемуазель Надина Ренгар, арестованная 17 марта за участие в нападении на бюро по найму рабочей силы в мэрии Мёлана (Ивелин), на днях выпущена условно на свободу месье Анжевеном, следователем Отдела государственной безопасности. Эта девушка, студентка социологии в Сорбонне, обвиняется в насильственных действиях против полиции, причем преднамеренных, в нарушении неприкосновенности жилища и в порче общественного здания.

L'ATTAQUE DE LA MAIRIE DE MEULAN

MLLE NADINE RINGART EST MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

Mlle Nadine Ringart, détenue depuis le 17 mars dernier pour avoir participé à l'attaque du bureau de main-d'oeuvre de la mairie de Meulan (Yvelines), vient d'être mise en liberté provisoire par M. Angevin, juge d'instruction à la Cour de sureté de l'État.

La jeune fille, étudiante en sociologie à la Sorbonne, reste inculpée de violences à l'agent, violences volontaires avec préméditation, violacion de domicile et dégradation de monument public.

— Сколько пунктов! — с удовлетворением отметил Фернандо.— Если верить заметке, эта девчушка превзошла Каламити Джейн и Агату Кристи, то бишь Агату Галиффи, которая была там у вас в Аргентине. Когда ты читала, я подумал, что заметка похожа на шутку; попробуй вообразить такую в газете лет пять назад! И прямо так и говорят — преднамеренные насильственные действия, нарушение неприкосновенности жилища, обвиняется студентка социологии в Сорбонне. Нет, честно, это похоже на розыгрыш.

— Все равно как если бы нобелевский лауреат по теологии разрубил на части свою жену,— сказал Патрисио.— А нам-то все равно, какое наше дело, зато теперь высаживаются на Луне по два раза в неделю.

— Ну-ну, не рассуждайте, как моя тетушка,— сказала Сусана, энергично укачивая Мануэля, все более веселенького и улыбающегося.— Есть вещи, к которым я никогда не привыкну, потому я и взялась переводить такие заметки — хочу почувствовать, до какой степени они уникальны в своем жанре и сколько нам предстоит сделать.

— Что ж, об этом мы и поговорим здесь с нашим трансандийским товарищем, но не надо его так сразу ошарашивать, че.

— Ух сколько таинственности! — сказал Фернандо.

— И сколько битых задниц! — сказал Патрисио.

Наверно, это для самозащиты, подумал Андрес, потому-то Лонштейн изобрел себе особый язык, который в конце концов все начали понимать, что ему иногда, видимо, не очень нравится. Было время (мы тогда жили вместе в дешевой комнатушке на улице Томб-Иссуар, и было это зимой шестидесятого или шестьдесят первого года), когда он был более понятен, а

порой снисходил до того, чтобы сказать — видишь ли, все, что есть стоящего в окружающей нас действительности, доходит до тебя через слова, остальное оставь обезьянам и герани. Он изображал из себя циника и реакционера, говорил — не будь это написано, оно бы не существовало, эта газета, она и есть мир, и иного мира не существует, че, эта война существует, потому что приходят телеграммы, напиши письмо своей женушке, ты этим придашь ей чуточку жизни. Потом мы встречались редко, я познакомился с Людмилой, околачивался где попало, и меня поколачивали, появилась Франсина, однажды в Женеве я получил от Лонштейна открытку и узнал, что он работает в каком-то институте судебной медицины (это было подчеркнуто и со многими !!! и ???), и в конце одна из его фразочек: Ты не очень-то финти, чучело; накалякай побыстрее ответ. Я в свой черед послал ему открытку с видом ручья на берегу Женевского озера, придумав текст с помощью всех знаков электронной IBM; уверен, что ему не понравилось, четыре года он молчал, но это неважно, главное, я должен признать, что слова «мейд ин Лонштейн» никогда не были просто игрой, хотя никто бы не догадался, что это такое — защита или нападение,— но, на мой взгляд, в них каким-то образом выражалась истина Лонштейна, то, чем был Лонштейн, малорослый, довольно неряшливый кордовец, неприкаянный и исповедально нетающийся, убежденный онанист и любитель паранаучных экспериментов, резко выраженный еврей и аргентинский креол, безнадежно близорукий,— словно можно было быть таким, как Лонштейн, не будучи близоруким и малорослым, и вот он снова здесь, двадцать минут как прилунился в моей квартире, без предупреждения, как истый южноамериканец, и, конечно же, он явился с Маркосом, который, чтобы не предупреждать о приходе, пользуется случаем, вот сукины дети!

Оба эти типа нагрянули не вовремя, застали меня в растрепанных чувствах, с десяти вечера — а теперь двенадцать (для Лонштейна и Маркоса, ясное дело, время вполне нормальное) — я расшвыриваю все вокруг себя и никак не могу окончательно решить, то ли настал момент поставить пластинку с «Prozession», то ли сесть и написать две строчки в ответ венесуэльскому поэту, приславшему мне книжку, в которой все как бы подчеркнуто или где-то было прочитано, все слова ровненькие, отшлифованные, как конторская щеколда, метафоры и метонимии запатентованные, намерения благие, результаты налицо, дрянная псевдореволюционная поэзия, но если бы только это — Штокхаузен или венесуэлец,— беда, что я трачу время на проблему с мостом, на путаницу с Франсиной и с Людмилой, но особенно на путаницу с мостами, которая докучает мне до такой степени, что другой на моем месте послал бы ее ко всем чертям, это желание не уступать ни пяти (к чему здесь поговорочное «ни пяди», если мы применяем десятичную метрическую систему? Ловушки, ловушки в каждой строке, раввинчик прав, действительность приходит к нам через слова, тогда моя действительность куда более лжива, чем действительность какого-нибудь астурийского священника; ты не очень-то финти, чучело), не попятиться ни на сантиметр, отчего толку все равно мало, хоть и придерживайся метрических мер. И в то же время знать, что ты соучаствуешь, содействуешь, состоишь, соответствуешь, сопутствуешь, но ни под каким видом не соглашаешься, и тут возникает путаница, а почему бы не сказать «страх», раньше со мной такого не случалось, бывали разные обстоятельства, я ими манипулировал, их выворачивал и бумерангом отсылал обратно, не выходя из своей скорлупы, и вдруг одно из таких обстоятельств именно тогда, когда я как будто более чем когда-либо защищен своей скорлупой, не только превращается в путаницу, от которой моя пепельница наполняется горькими окурками, но вообще все — любовь, сны, вкус кофе, метро, картины и митинги — начинает искажаться, смешиваться, переплетаться, речь Пьера Гоннара в «Мютюалите», попка Людмилы, о которой я сейчас не хочу вспоминать,— и в довершение всего Лонштейн и Маркос в такой час, пропади они пропадом!

Все выглядит примерно так: выходит бычок на площадь и, сопя, замирает. Он ничего не понимает, он раньше был в темноте, ему давали

вдоволь корма, все шло хорошо, были грузовики, тряска, все привычное, все становилось то ли запахом, то ли отдаленным звуком и полным отсутствием прошлого,— и вдруг узкий коридор, заполненный криками и дубинками, гигантское кольцо, переливающееся всеми красками и звуками пасодоблей, заходящее солнце бьет в глаза, и тогда — топ! — копыто пишет на песке точный символ путаницы, смятения. Что за черт, думает бычок, который, конечно же, испанец, потому что японцы еще не подняли бизнес боя быков до уровня их бизнеса с французскими устрицами, что это, черт возьми! Хотел бы я спросить об этом, например, у Лонштейна или у Маркоса, теперь, когда они уже ввалились в мою квартиру (не говоря о Людмиле, которая заявится, как только сыграет свою роль во «Вьё Коломбье»), но что толку спрашивать у них и зачем, если эту путаницу не вместишь в один вопрос,— ведь совершенно ясно, что и Штокхаузен, и попка Людмилы, и венесуэльский поэт всего лишь осколки, малая толика кусочков смальты в мозаической картине, и кстати, имею ли я право употребить слово «смальта», которое очень многим ничего не говорит, а почему бы, черт возьми, и не употреблять, коль оно выражает то, что мне нужно, и вдобавок помогает контекст, но проблема не в этом, а в понимании, что это проблема в понимании, которого раньше у меня не было и которое мало-помалу проникало в мою жизнь и в мой язык, как Лонштейн и Маркос в мою квартиру, поздно и без предупреждения, словно украдкой, да, совершенно ясно, что я, чучело, слишком зафинтил. Почему, в довершение всего, Лонштейн и Маркос затеяли разговор — и это еще один пункт проблемы, вызов, брошенный невозможному, но они все говорят и говорят, поди останови. На всякий случай позвоню Патрисио, если слишком уж надоедят, тихонько их спроважу и снова буду слушать «Prozession», да, кажется, выбор сделан, и проиграл венесуэльский поэт, вот бедняга.

Речь идет об институте судебной медицины, в просторечии о морге, об утопленниках, Лонштейн в эту ночь разошелся, это он-то, который никогда не говорит о своей работе, но Маркос, окутанный сигаретным дымом, медленно покачивается в кресле-качалке Людмилы, время от времени запускает пятерню в свою курчавую шевелюру, отбрасывает назад со лба вихор и неспешно выпускает дым из ноздрей. Андрес у Маркоса ни о чем не спросил, словно вваливаться с Лонштейном за полночь в его квартиру дело вполне естественное, и Маркосу даже нравится эта чуть отчужденная позиция Андреса, какое-то время он еще выжидает, а Лонштейн все толкует о самоубийцах да о своем рабочем расписании, совершенно разошелся, несмотря на инструктаж на протяжении восьми станций метро и за двумя рюмками водки в чашке кофе. Сам Андрес вроде понимает, что тут что-то не так, он слушает Лонштейна, но поглядывает на Маркоса, как бы спрашивая, какого черта и до каких пор, че.

— Заткни фонтан, ты, раввин-недоучка! — приказывает Маркос, забавляясь в душе,— чистый Эдгар По для простонародья, придержи свои байки до визита к Патрисио, женщины будут тебя слушать с раскрытыми ртами, ты же знаешь, какие они некрофилки. Идея, понимаешь, была в том, старина, чтобы воспользоваться этим визитом для разговора о вещах чуть более живых, включить тебя и твою полечку в прохождение ускоренного курса латиноамериканской информации, от которой ты, я гляжу, немного отдалился. Этому талмудическому ослу было поручено сломать лед, но твоя взяла, гонг пробил, и мне уже обрыдли все эти хвастливые прелиминарии.

— Ну ладно, валяй,— говорю я ему покорно.

— Так вот, дело примерно вот в чем.

В конце концов я уразумел, что одним из главных поводов визита Маркоса было желание воспользоваться моим телефоном, так как своему он в эти дни не доверял. Мне бы спросить почему, но если я не спрошу, Маркосу не придется мне врать, и, кроме того, у меня не было большой охоты вникать в дела Маркоса, во всяком случае до визита к Патрисио,

в чьем доме практически единственным резоном открыть рот были политика и прямое и непрямое действие. Маркос меня хорошо знал, его моя умышленная сдержанность не волновала; со мною и с Лонштейном отношения у него были как с бывшими соучениками (хотя мы таковыми не были), и других контактов не требовалось. С Людмилой он оживлялся, рассказывал последние новости, сообщал о более или менее невинных передрягах, в которые попадали он и Патрисио; по временам он посматривал на меня из клубов табачного дыма, как бы интересуясь, о чем я думаю, почему не делаю хоть шажка навстречу, или же я нарочно отодвигаюсь чуть в сторону, чтобы затем выйти на орбиту. И пока он говорил по телефону с несметным числом мужчин и женщин на французском, испанском, а порой на каком-то загадочном коколиче [1] (собеседника звали Паскуале, и говорил он из Генуи, в этом квартале счет за телефон будет жирный, не отпускать Маркоса, пока не рассчитается), Лонштейн и я беседовали, попивая белое вино и вспоминая «Семильон» в погребках Бахо [2]. Бедняге Лонштейну на этой неделе повысили жалованье, и он сокрушался при мысли, что на всякое благо есть противовес и что работа его вконец замучит; такое несчастье сделало его необычайно словоохотливым. Маркосу приходилось ежеминутно на него шикать, чтобы не мешал слушать кого-то, кто говорил, видимо, из телефонной будки в Будапеште или в Уганде, тогда раввинчик слегка понижал голос и нес свое про утопленников, про ночное расписание в морге, про задохнувшихся, выбросившихся из окна, обгоревших, про изнасилованных девушек с предварительным (или последующим) удушением, то же про мальчиков, про самоубийства с помощью яда, выстрела в голову, газовой горелки, снотворных, про заколовшихся ножом, погибших при авариях (автомашины, поезда, военные учения, фейерверки, строительные леса) и last but yes least [3], про нищих, которые погибли от холода или алкогольной интоксикации при попытке одолеть первое зло вторым, устроившись на решетке люка метро, там всегда теплей, чем на тротуаре, где проходит, не останавливаясь, трудящееся и честное мелкобуржуазное и рабочее население столицы. Конечно, Лонштейн выкладывал мне эти сведения не в такой точно последовательности — что касается его работы, то его описания — это, главным образом, лингвистические упражнения, и тут трудно сказать, что воздается кесарю, а что моргу, в эту ночь Лонштейн превзошел самого себя и с кордовским акцентом описывает голышиков и надувальчиков, что я из предыдущего контекста расшифровываю как тела, лежащие на судебно-медицинских столах, и он плачется, что работенка у него преотвратная и что, когда между восемью и десятью часами утра он приходит в морозилку, там уже его ждут с полдюжины голышиков, чтобы он их раздиорил и расшанелил, кое-как собрал кусочки, уложил поровнее на мраморе, на горизонтали, так, чтобы щиколотки, ягодицы, лопатки и затылок более или менее равномерно подвергались действию закона тяготения, ничего другого не остается, что поделаешь.

— Паскуале, puoi dire a cuelola que è un fesa [4],— говорит Маркос,— пусть пришлет мне дыни прямо на адрес Красной Шапочки.

Шифр здесь несложный, думает Андрес, дыни — это, наверно, брошюры или автоматы, Красная Шапочка — конечно, Гомес, который бреется каждые два часа.

— Потом мне приходстоит делать обмывку,— продолжает объяснять Лонштейн.— Если можешь, представь — начинаю осмотр девчушонки лет четырнадцати-пятнадцати, вся белая как мел, мордашка что японский парк субботним вечером, только на шейке кругом кольцо сине-черное да на нижней юбке вроде географической карты, томатным концентратом нарисованной, и вот, надо удалить все тряпки, разрезать резинки и снять

[1] Испано-итальянский жаргон.

[2] Район Буэнос-Айреса.

[3] Последнее, но и впрямь наименее важное — перефразированная английская поговорка «last but not least» (последнее, но не наименее важное).

[4] можешь этому сказать, что он остолоп *(искаж. итал.)*.

бюстгальтер, все прилипшее, пока не будут видны каждый изгиб, каждая складочка, каждый рубец от операции, следы прожитой жизни. Иногда мне помогает хромой Тергов, но если попадается хорошушечка, я отправляю его работать за другим столом, мне нравится обмывать ее одному, совсем-совсем одному, голышечку, как мать родила, понимаешь, губкой здесь, губкой там, становится чистенькой, будто только родилась. Тергов, тот едва ли один кувшин воды выльет и небрежно этак откинет прядки волос и выровняет все четыре конечности, а я-то, ежели стоит того, и переверну, не подумай, не только для того, чтобы смотреть,— а по-твоему, что делал Леонардо? — и знаешь, они это уважают, иногда даже кажется, что им еще хочется повоевать, подвигать туда-сюда совсем будто живой попкой, ты им будто помогаешь, хотя, конечно, в результате тебе грустно, че, они же тебе не ответят тем же. Вот, например, вчера вечером, в одиннадцать часов, ее привезли, когда я ушел в бистро к Марте выпить рюмочку рома, вернулся, и на́ тебе — на шестом столе есть работа, уж не знаю почему, но на шестой всегда кладут самых красотулечек, я стираю румяна, тени, снимаю с нее комбинашку, даже самому не верилось, что мертвая, у Тергова была ее карточка из борделя, мол, отравилась газом, но это можно было узнать только по носику да по ногтям, но ты подумай, клянусь, она была еще теплая, ее, наверно, сразу же доставили в карете «скорой», теперь их накупили, огромные, прямо швейцарские шале; лет едва восемнадцать, волосенки крашены в два цвета, а коленки такие гладкие, в жизни таких не видел; с нею делов было много, потому как газ, ты-то, наверно, не знаешь, но я тебе потом расскажу, в общем, полчаса основательной с детергентами обмывки, потом этап в перчатке да по разрывам, надеюсь, ты не подумаешь, что я стану некрофилом.

— Этого, возможно, не будет, но что тебе это нравится, уж ты не спорь,— говорит Маркос, который слушает его как бы издалека и одновременно отмечает очередной телефонный номер, уже седьмой.

— Когда они отравились снотворным и кажется, будто они только что с танцульки, тогда, конечно, иной раз взыграет ретивое, в конце-то концов, это неплохой способ дать курносой пинка под зад, не позволить ей измываться над бедняками,— потому и стараешься, старик, прибираешь их, обмываешь, и вот, когда их хорошенько прилижешь, лежат они, лапушки, ей-ей, не хуже тех, кто издох у себя дома или в главной клинике с помощью Пречистой и эскулкторов; что ни говори, нет такого закона, чтобы мои голышики, пусть они иногда совсем еще молоденькие, считались как бы вторым сортом, мякиной какой-то, ты ж понимаешь, я имею в виду, что им просто не повезло, выражаясь суперфигурально и архинаучно.

— Опять, че! — говорит Маркос с досадой то ли из-за Лонштейна, то ли номер у него занят.

— Да пусть его! — говорю я.— Он целый век так не расслаблялся. Когда бешеный конь понесет, надо скакать с ним рядом, будем милосердны.

— Ты прямо как мать родная,— говорит Лонштейн, явно довольный.— Я, знаешь, вроде тех классических палачей, которые становились невротиками, потому что никому, кроме как своей не менее классической дочери, могли рассказывать о деталях пыточнодыбия и четверто-колесования; ты ж понимаешь, в бистро у Марты я не стану распускать язык, как говорят мои копены [1], и это обрекает меня на молчание, не говоря о том, что я холостяк и чистонанист и у меня нет иного способа изливержения, кроме монолога, да еще ватерклокнота, где я иногда дефесказываюсь и душеиспускаюсь. Беда в том, как я уже тебе сказал, что на меня навалили работы вдвое под предлогом, что будут платить вчетверо больше, а я и согласись, никогда толком не подумаю, и теперь, кроме инсти, у меня еще и госпи. Сплошные индусы, была, правда, лавина чехов, но теперь одни индусы мейд ин Мадрас, слово чести.

[1] От copain — товарищ *(франц.)*.

— Что еще за индусы? — говорит Маркос.

— Похищенные с погребального костра,— настаивает Лонштейн,— и герменевтически укупоренные в нумерованные контейнеры с указнадписью насчет пола и возраста, как там устраиваются с этим рэкетом, один Бог знает, но я думаю, вскоре торговцы дровами для кремации в Бенаресе поднимут бучу, вроде калькуттского бунтежа́, о котором мы учили в Национальном институте в Боливаре, провинция Буэнос-Айрес, помнишь, нам еще читал зануда Кансио, знаменитый наш проф — о ностальхолия, о восторкование!

— Ты хочешь сказать, будто импортируют трупы индусов для вскрытия? — говорит Маркос, начиная интересоваться.— Иди рассказывай дуракам, пустобрех.

— Святусь тебе самым клянтым,— говорит Лонштейн.— Мне и хромому Тергову вменяется в обязанность вскрывать контейнеры и готовить товар для ночи длинных ножей — по четвергам и понедельникам. Тут, видите ли, один из многих отрицанаучных элементов, о которых хромой и я тихомалкиваем, потому что профы желают одного — подавай им сырье в состоянии интегральной голонаготы.

Он вытаскивает из кармана бумажный цветок на проволочном стебле и бросает в Маркоса, тот, вскочив из кресла, разражается бранью. Я начинаю подумывать, что надо бы их потихоньку подтолкнуть к выходу — нехорошо заставлять Патрисио и Сусану ждать до часа ночи, а теперь уже пять минут второго.

По всем этим причинам, идея, что абсурд — это всего лишь предыстория человека, как считает мой друг и многие другие, а также по причине летающих вокруг лампы козявок — а это один из способов отвечать на абсурд (по сути homo faber [1] означает то же самое, но есть столько фаберов номер один, два и три, утонченных или тупиц, целомудренных или кастрированных), по всем этим причинам и сходным с ними наступит момент, когда мой друг сочтет, что набралось уже достаточно жуков, комаров и мамборета, отплясывающих безумный, хотя и весьма впечатляющий джерк вокруг лампы, и тогда — продолжая метафору — он вдруг погасит ее, мгновенно заморозит некое определенное расположение всех козявок, сидящих спокойно или движущихся,— внезапно лишенные света, они застынут в последнем взгляде моего друга в тот миг, когда он погасит лампу,— так что самый крупный мамборета, летавший высоко над лампой, окажется симметрично противоположен красной фалене, вычерчивавшей свой эллипс под лампой, и так, в некоей последовательности, различные назойливые летние козявки примут облик неподвижных, окончательно замерших точек в картине, которая, будь света на секунду больше или меньше, оказалась бы совершенно иной. Кто-то назовет это выбором — в их числе будет мой друг, а кто-то назовет случаем — в их числе будет мой друг,— потому что мой друг твердо знает, что в некий данный миг он погасил лампу и сделал это потому, что решил это сделать в этот миг, не раньше и не позже, но он знает также, что соображение, побудившее его нажать на кнопку выключателя, рождено не каким-либо математическим расчетом и не мыслями о пользе, а просто возникло из нутра, нутро же — это понятие весьма смутное, о чем известно всякому, кто влюбляется или играет в покер в субботние вечера.

— Ну что, продолжим еще немного, покажем, что ожидает этого трансандийца, если он не будет безвылазно сидеть в своем отеле?

— Да ладно, я уже понял,— говорит Фернандо.

— Нет, нет, у тебя в глазах еще светится что-то, о чем сказано в одном из лучших наших стихотворений, или же этот мате, который ты пьешь, наполнен злосчастными иллюзиями. Therefore [2], Сусана, переведи это сообщение в двух колонках, которое Моника тебе передала вместе с мате.

[1] человек-деятель, созидатель *(лат.)*.

[2] Поэтому *(англ.)*

LES «JEUX DU CIRQUE»

Nous avons reçu de M. Etienne Metreau, jeune Grenoblois de vingt ans, la lettre suivante:

Me promenant au campus de Saint-Martin-d'Hères, samedi 6 dans l'après-midi, pour voir des étudiants et pour comprendre la raison de leur violence, j'ai été invité à venir à la «boumbarricade».

Dans le courant de la soirée, je me suis approché de l'avenue qui longe le campus. C'est alors qu'une voiture s'est arrêtée à ma hauteur. Un commando de sept personnes en descend. L'un d'eux m'assomme de sa matraque, tandis que les autres passent à tabac deux autres jeunes qui étaient a côté. Ils m'enferment dans leur voiture et demarrent en abandonnant les deux autres sur le carreau.

Au cours du trajet, ils me frappent d'une serie de coups de cravache, tout en me menaçant de mort (par injection de cyanure ou par noyade...). Après un halte dans une cour d'immeuble où ils se livrent à divers matraquages, ils m'amènent en face d'un magasin Record, où ils renoncent à continuer leurs tortures à cause de la présence de temoins. C'est alors qu'ils me remirent aux C. R. S. qui, un par un, me frappèrent. Puis ils firent un cercle autour de moi et commencèrent «divers jeux de cirque»: me faisant courir pour échapper à leurs coups, me forçant à crier: «Vive Mao! Vive Mao!»

Puis ils m'enfermèrent dans un car: coups de poing, coups de pied, coups de matraque, coups de casque ininterrompus pendant une demi-heure, se disputant entre eux pour avoir le privilège de participer aux réjouissances (parmi eux se trouvaient deux gradés). Ils me ramenèrent alors dans la voiture «banalisée» qui m'avait kidnappé au départ.

Ce n'est qu'alors (plus d'une heure après m'avoir enlevé) qu'ils m'interrogèrent et que je pus dire que je n'étais pas étudiant et que je n'avais pas participé à aucun affrontement. Ils me deposèrent alors sur un trottoir a 150 métres de la préfecture.

— Вы мне уже осточертели, я с вас потребую таксу ЮНЕСКО за переводы на дому,— огрызнулась Сусана.— На днях мне приглянулась модель у Доротеи Бис и, если ты будешь скупиться, возьму и куплю себе два таких платья, как подсказывает подсознательно фамилия хозяйки магазина, вот, наверно, толковая дама. «Цирковые игры», это заголовок. Мы получили следующее письмо от Этьена Метро, молодого человека двадцати лет, жителя Гренобля, двоеточие. В субботу 6-го под вечер, когда я прогуливался по кампусу Сен-Мартен-д'Эр, чтобы посмотреть на студентов и понять причину их насильственных действий,

> Разрешите мне здесь улыбнуться — уж если он еще не понял причины их насильственных действий, это почти оправдывает то, что приключилось с беднягой Этьеном.

меня пригласили присутствовать при «бум-баррикаде». Когда стемнело, я подошел к шоссе, у которого расположен кампус. Рядом со мной останавливается машина. Из нее выходят семь каких-то личностей, целый отряд.

> Эта смена глагольного времени звучит немного жестковато.
> — Хватит тебе комментировать, детка,— говорит Патрисио

Один из них

> Вот и здесь, видите, от «личностей» в женском роде мы перешли к «одному из них», уж конечно, мужчине и с дубинкой. Ну что это за язык, вы должны платить мне вдвое больше, не то бензин кончится.

обрушивает на меня удар дубинкой, а остальные колотят двух парней, оказавшихся по соседству. Меня затаскивают в машину и увозят, а те двое остаются лежать на земле. Во время поездки меня избивают ремнями и угрожают прикончить (либо впрыснут цианистый калий, либо утопят). Машина останавливается во дворе какого-то дома, где меня продолжают избивать дубинками,

тут я должна сказать, что неясно, били только одного Этьена или же в том дворе были и другие, которым тоже досталось

затем подводят к магазину фирмы «Рекорд», где перестают истязать из-за присутствия свидетелей. И тут меня передали в руки молодчиков из службы безопасности,

вот опять меняется время глагола, видно, эти ребята начитались Мишеля Бютора [1], но, конечно, без пользы для их нравственности,

которые принялись меня избивать поочередно. Затем они стали в круг и начали «цирковые игры» — гоняли меня тумаками и заставляли кричать «Да здравствует Мао! Да здравствует Мао!». Затем меня заперли в тюремной машине: там тоже тумаки, пинки, удары сапогами, полчаса без перерыва, причем они спорили между собой за право участвовать в развлечении (среди них были два офицера). После чего меня опять повезли в «замаскированной» машине, в которой забирали из кампуса. Только теперь (более чем через час после задержания) меня допросили и я смог им сказать, что я не студент и не принимал участия ни в каких стычках с полицией. Тогда меня просто выбросили на мостовую в 150 метрах от полицейской префектуры. Теперь я нахожусь в больнице с травмой черепа (во время «приключения» я три раза терял сознание). Точка.

— Вот видишь, чилийчик,— сказал Патрисио.— И этот парень, он французский гражданин, а ты себе представляешь, окажись он каким-нибудь метеком из Осорно или Темуко, например, ай-ай-ай, и не воображай лучше.

— Ну что ж, во всяком случае, их тут не убивают, как в Гватемале или в Мексике.

— Или в Кордове, или в Буэнос-Айресе, дорогуша, не отнимай у моей страны ее законных привилегий. Конечно, пока еще не убивают, но не потому, что не хотят, просто имеется некая шкала ценностей, и по этой шкале еще не дошло до расстрелов, потому что существуют тяжелая индустрия, международные отношения, фасад, который надо оберегать. Детка, мне сдается, что твой сын хнычет, где же этот хваленый материнский инстинкт, эти сказки, выдуманные вами же, чтобы мы по крайней мере не лезли в критическую зону колыбели.

— И очень правильно, любовь моя, потому что всякий раз, когда на вас находит приступ нежности, вы норовите колыбель опрокинуть. *Твой сын,*— добавляет Сусана, показывая ему язык,— он говорит так, будто он в ту ночь был в кино, а не в постели.

— А ты уверена, что я был в постели, а не валялся на коврике в ванной? — сказал Патрисио, обнимая ее за плечи и запрокидывая назад, пока ее затылок не коснулся пола,— любовная игра, на которую Фернандо смотрел со смущением. А они, точно забыв о нем, целовались, щекотали друг друга и как будто забыли, что Мануэль все прибавляет децибелы своего хриплого возмущенного рева. Натурально, что именно в этот момент, когда возня была в самом разгаре, должен был зазвонить звонок. Фернандо немного подождал, но так как Патрисио и Сусана скрылись и он слышал, как они успокаивают Мануэля хохотом и воплями, не уступающими взрывам рыданий дитяти, он решил на свой страх и риск открыть — акция всегда малоприятная, когда пришедшие друзья дома вдруг видят незнакомого и возникает момент неловкости,— все держатся весьма благовоспитанно, но каждый спрашивает себя, что за черт, не ошибся ли я квартирой, в два часа ночи башка немного того, но вот все выясняется, и от фазы выяснений времени устных объяснений переходят к рукопожатиям и представлениям, но всегда после общего недоумения, неудачного начала

[1] Современный французский писатель, представитель «нового романа».

церемонии остается привкус, наносящий ущерб всей литургии,— облатка совпала с приступом кашля и превратилась в мучнистую кашицу, в общем, во что-то внесерийное, как иные экземпляры автомобилей, и в довершение беды Лонштейн, представляясь, сказал: «Я гранджуирую знакомством», фраза, которую Фернандо принял за французскую, да не стойте же на пороге, проходите, пожалуйста, и мы вошли и не ошиблись, это была квартира Сусаны и Патрисио, потому что с порога пошло о Мануэле да всякие «как поживаете».

Возможно, что нескончаемые разговоры о протесте, который они называли сопротивлением, слегка действовали ему на нервы; возможно, что письма Сары появились просто по словесной ассоциации или из чистого удовольствия появиться внезапно (почему бы памяти не иметь своих причуд, своих приливов и отливов, наглости выдавать или отказывать под влиянием каприза или же гула голосов вокруг?), во всяком случае, мой друг на какое-то время задумался об этих письмах, меж тем как Маркос комментировал или критиковал самые недавние формы сопротивления в пределах Парижа. Письма приходили в то время, когда один знакомый Сары жил у моего друга, у которого провел месяц до возвращения в Аргентину; уезжая, он их оставил, потому что они отчасти предназначались и моему другу, хотя он уже десять лет не видел Сару, которая в Европу никогда не приезжала,— последнее его воспоминание о ней была кофейная ложечка, рука Сары медленно крутит ложечкой, точно боясь повредить кусочек сахара или кофе,— все это в три часа дня в кафе на улице Маипу́.

В те дни, когда Маркос и Патрисио и все прочие из нашей бражки готовили Бучу, мой друг, вероятно, понял, что хотя бы Маркос достоин ознакомиться с письмами Сары, и он дал их ему почитать однажды вечером, пока Маркос ждал важных сообщений по телефону (Маркос ждал, а Лонштейн и мой друг, как всегда, присутствовали — неразлучный с Маркосом и отчужденный раввинчик и мой друг — тоже, но в меньшей степени; они также помешивали сахар в чашечках, но отнюдь не бережно). Я пришел, когда Маркос читал письма, и меня задело, что мой друг, по мере того как Маркос прочитывал письма, забирал их, даже не извиняясь, что оставляет как бы в стороне Лонштейна и меня, хотя какое, к черту, нам до них дело, дело-то есть, но какого черта стали бы мы признаваться. Что ж, во всем этом нет ничего нового, заметил Маркос, так же, как с несчастным случаем — производит впечатление, если касается твоей тети. Дай взглянуть на почерк, сказал Лонштейн, содержание меня не интересует. Письма были уже в кармане у моего друга, он ограничился тем, что согласился с замечанием Маркоса. Было это не из недоверия к Лонштейну, но скорее из-за того, что письма эти не годились быть предметом его графологических коньков,— маятник лучечувствительности и некая весьма раздражающая психоспелеология, которые он применял, основываясь на типе бумаги и чернил, на отступах между словами и строчками и даже на том, как наклеена марка; что до Андреса, ему-то почему не дал прочесть письма, видимо, тут было смутное раздражение, подозрение, что Андреса, сравнительно с Маркосом и Лонштейном, они бы заинтересовали по другим причинам, он захотел бы узнать больше, перенести в некотором роде образ Сары и историю в это кафе на улице де Бюси́, не имеющее ничего общего с кафе на улице Маипу́. Таков уж он был, мой друг, по мере своей власти он вел игру по своему произволу, и его даже забавляла эта метафора — поскольку речь шла о письмах,— что в этот вечер они будут предоставлены только Маркосу, хотя в них не было ничего, связанного напрямую с Бучей. Что ж до него самого, обычно выбрасывающего письма, то письма Сары он не только сохранил, но иногда их перечитывал, хотя отвечать и не думал. Во-первых, это были письма, требовавшие не ответа, а скорее какого-то поступка; к тому же он бы предпочел снова увидеть Сару, овал ее лица — самое яркое его воспоминание наряду с голосом и кофейной ложечкой, да еще с ее пристальным и ясным взглядом. 2 октября 1969 года

Сара писала дорогие, у меня для вас целая длинная история [1]. Длинная, путаная (возможно, даже забавная, хотя мне теперь таковой не кажется), и озаглавить ее можно было бы «Сара, или Печальные приключения добродетели в Центральной Америке». Конечно, вначале надо было бы написать первую часть истории: «Как Сара добирается до Центральной Америки through the Canal Zone [2] в Панаме». От одной мысли, что придется все это описывать, мне становится скучно, посему лучше я просто приведу одно письмо как оно есть.

Первый шок был для меня в (...). Пепе, твои друзья, эти Х.,— люди «порядочные». Ты знаешь, что это такое? Это значит, что у нас негде тебя поместить, моя дорогая,— и дело вовсе не в том, что негде или что они дурные люди. Они замечательные, но из другого мира, другого поколения, другого мышления, другой манеры существования, *всего — другого*. Пепе, Лусио, не знаю, правда ли это, но я уверена и, после всего, что произошло (в Коста-Рике меня чуть не засадили в кутузку), все более проникаюсь уверенностью, и дело в том, что... Простите, пишу бессвязно,— потому что здесь, в Манагуа, нас трое в одной комнате. Пожалуй, стоит это описать. Анхелес — панамская негритянка, я это я, а Джон — американец. Мы сказали, что мы — родня, а так как разговариваем мы на гнусном винегрете из английского, арго разных стран и испанского (я теперь — с перуанским акцентом) и, кроме того, на нас на всех лежит некий неощутимый налет нашего обычного окружения — который «прочие» вмиг ощущают и который вроде семейного сходства,— то нам поверили. «Прочие» нас объединили. И хотя вы, милостивые судари, и не поверите, но каждый из нас в этот день решил, что уже по горло сыт всем.

Что значит «всё»? «Всё» — это вот что: что люди на улице над нами смеются, что на нас указывают пальцами, что нас оскорбляют и, честное слово, в Джона кидали камнями, а я научилась давать оплеухи, а Анхелес начинает вопить — словом, обороняемся как можем. Это не трагедия, но иногда мы плачем, правда, лишь потому, что думали раньше, что здесь жизнь отличается, или что мы не будем так отличаться, или потому что не понимаем, за что нас ненавидят.

Итак, каждый по своим причинам сегодня решил, что озеру в Манагуа мы говорим «нет», и странствиям пешком «нет», и точка. Сидим в комнате, очень жарко, иногда идет дождь, завтра отправляемся в Сан-Сальвадор, где будет то же, что здесь; я стараюсь раздобыть одежду, Джон выходит из дому с потрясающим шарфом, которым мы утром обвязываем ему шею, чтобы спрятать его космы, а Анхелес (она никуда не выходит) хочет возвратиться в Панаму, чтобы собрать деньжат и попытать счастья в какой-нибудь другой стране. Мне кажется, в Мексике должно быть по-другому, но сведения от приезжающих оттуда ужасные. Да, я забыла, дело в том, что в тех странах, где царят нищета, проституция, где болезни и ненависть сокращают твою жизнь, принялись наводить чистоту — во имя морали, религии и закона. Долой хиппи! Неряхи, наркоманы, преступники. Так рассуждают таможенники и политики, а как население — я не знаю. Не понимаю. Но они ненавидят меня, ненавидят нас, мне пришлось спрятать все мои побрякушки, я должна подбирать волосы, я попыталась найти другой вещевой мешок, он тоже оскорбляет их взор: только увидят мой мешок, сразу грубо его открывают, все выбрасывают, туфли, грязное белье, бусы, мате и бомбилью, расшвыривают как попало и обыскивают меня всю, ведь мало того, что я хиппи, я, возможно, еще и партизанка. И в конце концов как получишь столько колотушек во имя *Разума, Морали* и всего прочего, что они себе навоображали, так думаешь — а может, они правы. Никогда в жизни я не чувствовала то, что чувствую теперь: это не ненависть

[1] Письма Сары подлинные; образцы могут быть предоставлены каждому Фоме неверующему, который пожелает их увидеть и у кого хватит наглости (и глупости) прислать письменную просьбу. Изменены лишь некоторые имена, пропущены ссылки на обстоятельства личного плана и такие, которые могут политически скомпрометировать третьи лица *(прим. автора)*.

[2] через зону Канала *(англ.)*.

или скорбь по отдельности, это их смесь, а порой (поверьте!) к ним присоединяются сочувствие и огорчение, и я ничего не понимаю, хуже того, бывает, что без всяких чувств, всего лишь не понимаю.

3.10.69

Еду в автобусе одна. Вчера вечером ко мне в гостиницу «Коста-Рика», где мы остановились, явился один аргентинец и, хотя он дурак, оказал мне большую услугу. Он пришел покупать одежду (мы кое-что продаем, но денег тут нет ни у кого) и повел меня к своей группе — два швейцарца, чилиец и парочка из Канады. Вначале минута недоверия, расспрашиваем, прощупываем друг друга, чтобы выяснить, насколько можно доверять новым знакомым, потом один из швейцарцев мне рассказал, как обстоят дела на границе с Мексикой и как на границе с Гватемалой. Я ему не поверила, тогда он показал мне свой паспорт и свою шевелюру. У него были виза, письмо от швейцарского консула и 80 долларов. В Гватемале у них осталось денег на три дня, но кое-как обошлись (он тоже направляется в Соединенные Штаты), но таможенники на границе с Мексикой решили, что волосы у него чересчур длинные (а они намного короче, чем у вас) и что он должен предъявить 100 долларов. Представляешь, как чувствует себя человек, после долгих месяцев странствий добравшийся до Мексики, ему только проехать Мексику, и он уже в Штатах, *а его не пропускают?* Так себя чувствую и я. Его визу объявили недействительной, его самого поколотили и приказали вернуться в Гватемалу. И вот он дней двадцать колесит по Центральной Америке, пытаясь убедить кого-нибудь одолжить ему денег, только чтобы пересечь границу. И все это потому, что он, *возможно,* хиппи. Им известно, что у хиппи с деньгами туго, так они вдобавок ко всему придумали фокус с возвращением денег. Ты должен *предъявить свои деньги,* и если чуть зазеваешься, их у тебя крадут, и это уж твоя беда. И не задавай мне вопросов вроде того, зачем нам странствовать или зачем в Штаты (кто больше, кто меньше, мы все хотим в Калифорнию). Почему нас ненавидят, не знаю, наверно, потому, что мы от них отличаемся и можем быть счастливыми. Вот они и стараются сделать нас несчастными! Я пыталась сближаться с самыми бедными людьми в каждой стране, и от Колумбии до здешних мест встречала только насмешки, презрение, ненависть. А другой слой, интеллектуалы и «артисты», иногда помогают, но с опаской и тревогой о своем холодильнике, сразу спрашивают: но вы же не такие, как эти распутные и грязные гринго? Правда? Ты же меня не втянешь в какой-нибудь скандал, правда? Они по уши погрязли в своем истеблишменте и забыли о единственно важном: о жизни, о мысли и о том, о чем мы столько раз говорили, Пепе, и о чем, я знаю, ты, Лусио, никогда не забываешь. Так что теперь я уже окончательно еду в Сан-Франциско к своим родным слушать музыку и рисовать, и *прежде всего* потому, что хочу жить не как винтик, а как живое существо, среди своих близких, хочу завтракать пусть черным хлебом, но поднесенным с любовью, и хочу свой разум, и свое тело, и свою жизнь открыть жизни. Точка.

Итак, вчера вечером мы решили снова разделиться — еще в Коста-Рике мы обнаружили, что так легче пересечь границу, и сегодня я еду в Сальвадор одна и постараюсь получить [неразборчиво]. Расскажу вам один эпизод. Джон помог мне нести чемоданы. Мой автобус отправлялся в пять утра, и мы спали с включенным светом, потому что в гостинице никто не пожелал нас разбудить и одолжить будильник,— они, понимаете, увидели наши вещевые мешки, а «гринго» (теперь уже и нас, аргентинцев, называют «гринго») опасные люди. Перед выходом я с Анхелес сделали Джону его повязку, но все мы были очень сонные. Разделили деньги Анхелес — у меня и у Джона было не больше пяти-шести долларов у каждого — и отправились — я на мой автобус, выходящий в 5 часов, Анхелес на свой, выходящий в 6 часов в Коста-Рику, а Джон оставался еще на день, надеялся получить работу на судне, чтобы таким образом перебраться в США. В агентстве какая-то женщина, приняв Анхелес за здешнюю никарагуанку,

сказала: Не кажется ли вам, что это парень из той компании хиппи? По-моему, космы у него со всех сторон лезут.Анхелес предупредила нас на английском, и мы вышли из конторы. Джона уже начали оскорблять. Какой-то тип принялся говорить Анхелес сальности, а на меня здесь в автобусе все смотрят косо, и каждый раз, когда кто-то проходит мимо меня, я слышу, как бормочут: свинство [неразборчиво], подонки, darling [1] и тому подобное... В Коста-Рике мы, только приехав, были еще неопытные и держались вместе, а этого не надо было делать, в другой раз опишу наши тамошние злоключения. Вдруг я обнаружила, что в этом автобусе едет аргентинец. Так странно услышать между Манагуа и Гондурасом характерный акцент Родины. Тип этот с претензиями, толкует о Яне Кипуре и Палито Ортеге. Дорога сплошь по болоту, грязь брызжет во все стороны. Но пейзажи красивые, по горам ползут тучи, вот и солнышко показалось наконец, и я потратила свои последние кордовы на [неразборчиво] со сластями. Жизнь — это смесь, и она goes on, sometimes too much for me to take. I love you both [2] искренне, с большой любовью, и скучаю по вас,

Сарита.

3.10.69
Сан-Сальвадор

На эту ночь я получила кровать (походную раскладушку), которую мне устроил директор студии теленовостей Сан-Сальвадора. Смогу поспать и принять ванну. И кроме того, этот господин [неразборчиво] рассказал мне, что он на какой-то дискуссии защищал хиппи и что его не смущает, что я ношу штаны, и что он любит всех ближних своих. Goes on, правда? Целую, целую, Сарита.

6 октября 1969
Сан-Сальвадор — Сальвадор

. . . . . .

. . . . что отнюдь не легко в той сложной эмоционально-ментально-физически-психологической ситуации, в которой я оказалась. Мне не удается, не получается, я не справляюсь, я не в состоянии понять мир. Я имею в виду не проблему метафизических ценностей. Нет, это проблема невыносимого убожества и разложения. В другой раз я напишу Лусио, просто чтобы рассказать, что собой представляют лагеря сальвадорских беженцев, высланных из Гондураса — как их принимает родина,— и множество самых разнообразных болезней, которые здесь можно обнаружить. Я работаю как доброволец Международного Красного Креста, и не потому, что очень уж верю в помощь, оказываемую индивидуально, но просто потому, что когда никто ничего не делает, кто-то же должен помогать умножать население, правда? Заодно я научилась дружить со всеми, и сочувствие и скорбь, любовь и огорчение, которые я испытываю,— это уже некоторый «релакс» [3], как здесь говорят. Я потрясена, я не понимаю, но об этом я уже писала в других письмах. Сейчас занята изменением своего облика, что мне поможет в дальнейших поездках, и часть заработанных здесь долларов потрачу именно на это. У меня есть полный список обвинений, по которым я в Коста-Рике едва не угодила в тюрьму, им я руководствуюсь, чтобы исправить свои прегрешения: перво-наперво надо избавиться от торбы, освободиться от книг, особенно от книг на английском. Не помню, писала ли я, что однажды мне пришлось прибегнуть к словарю Эплтона-Куйаса, с которым я не расстаюсь, чтобы убедить одного капитана в сильном подпитии, мужчину хоть куда, че, что «Alice in Wonderland» [4] — это не коммунистическая пропаганда, но никто, даже англо-испанский Эплтон, не мог его убедить, что эта книжка не входит в ассортимент распутного образа жизни хиппи. Итак,

[1] дорогая *(англ.)* — *Здесь:* с издевательским смыслом.
[2] продолжается, иногда для меня трудноперенosима. Люблю вас обоих *(англ.)*.
[3] От лат. relaxatio — ослабление, смягчение.
[4] «Алиса в стране чудес» *(англ.)*

избавиться от штанов, носить нижнюю юбку ниже колен, подбирать волосы, никаких украшений, и при всем при том я все равно буду особой подозрительной — то ли из-за своей «гринговской» внешности, то ли потому, что имею привычку спрашивать разрешения, когда куда-то вхожу. Но так я, по крайней мере, не буду подвергаться оскорблениям на улице, в меня не будут швырять камни и тому подобное. Да, со всех сторон я на подозрении. Одни считают меня шпионкой «Юнайтед фрут компани», другие, что я подослана Кастро (о ужас!), третьи — что перевожу наркотики. Как бы то ни было, твоя телеграмма спасла мне жизнь — продать уже почти нечего, денег тоже нет, но ждать денежного перевода — это сладостное ожидание, совсем не то, что отчаянные попытки собрать деньги для переезда через границу, когда заранее знаешь, что ничего не выйдет, что ничего не сделаешь [...]. Боже мой, как часто я всех вас вспоминаю! Я чувствую себя так, словно бреду по топкой грязи огромной свалки, а теперь, о счастье, скоро выберусь, выберусь!

Ввиду всех этих дел моего друга не могло удивить, что в те дни, когда он давал Маркосу читать письма Сары, в цивилизованнейшей «Монд» появились две заметки, каковые он без комментариев присовокупил к своеобразному всеобщему досье, которое составлялось и которое Сусана... (но не будем забегать вперед, как говорил в критические минуты Дюма-отец).

● **Trente-cinq évêques d'Amérique Centrale dénoncent la «constante violation des droits de l'homme en Amérique Centrale»** dans un document diffusé à Mexico par le Centre national de communication sociale (CENCOS). Ce document, résultat des travaux de l'assemblée de l'épiscopat d'Amérique Centrale, est signé notamment par les archevêques du Guatemala, du Salvador, du Nicaragua et du Panama.

«Тридцать пять епископов Центральной Америки заявляют «о постоянном нарушении прав человека в Центральной Америке» в документе, опубликованном в Мехико Национальным центром социального общения (ЦЕНСОЦ). Этот документ, итог трудов епископской ассамблеи Центральной Америки, подписан, среди прочих, архиепископами Гватемалы, Эль-Сальвадора, Никарагуа и Панамы».

REFUS D'UNE «ABDICATION MORALE»

IL SE DONNE LA MORT PAR LE FEU PARCE QU'ON L'AVAIT OBLIGÉ À SE FAIRE COUPER LES CHEVEUX.

Un jeune homme de dix-neuf ans, Jean-Pierre Souque, qui demeurait rue Maurice-Berteaux, aux Mureaux (Yvelines), avait, lors d'un récent voyage en Angleterre, adopté la «philosophie hippy». Il avait laissé pousser ses cheveux et adopté la tenue vestimentaire appropriée. Du coup, il fut en proie aux moqueries de ses camarades et des adultes. Il travaillait cependant a la société Mingory, 128, boulevard de Charonne, a Paris, où il était entré comme aide — cuisinier après avoir suivi les cours de l'école hôtelière.

Mais voici que, mercredi dernier, son patron lui donna un avertissement à propos de sa tenue... et, samedi matin, son père l'accompagna chez le coiffeur. Jean-Pierre subit sans protester. Et pourtant... l'après-midi, il quittait le domicile de ses parents et achetait du gas-oil. Puis, il se dirigea par un chemin peu frequenté vers une ferme voisine des usines Renault de Flins. C'est là qu'un ouvrier de l'usine, regagnant son domicile, le decouvrit sur le chemin de terre, mort, à demibrûlé. Dans le sac qui lui avait servi à dissimuler le bidon de gas-oil, on trouva un carton sur lequel le jeune homme avait ecrit: «La reponse est dans la boîte aux lettres». On y decouvrit une lettre dans laquelle il expliquait qu'il ne pouvait accepter cette «abdication morale». Il ajuotait en particulier: «Vous ne comprenez pas, vous, les adultes. Vous imposez votre expérience, vous jugez votre prochain». Dans cette longue lettre, il déclarait en outre vouloir imiter les bonzes, préférant se donner la mort que d'accepter la «dictature» de la société.

ОТКАЗ ОТ «НРАВСТВЕННОГО ОТРЕЧЕНИЯ» ОН СЖИГАЕТ СЕБЯ, ПОТОМУ ЧТО ЕГО ЗАСТАВИЛИ ПОСТРИЧЬСЯ.

Девятнадцатилетний юноша Жан-Пьер Сук, проживающий на улице Морис-Берто в Мюро (Ивелин), во время поездки в Англию приобщился к «философии хиппи». Он отпустил волосы и начал одеваться, как принято в этой среде. Вскоре он стал предметом насмешек своих товарищей и взрослых. Несмотря на это (sic!), он работал в фирме «Мингори» (ее адрес: бульвар Шарон, № 128, Париж), куда поступил в качестве помощника повара после прохождения курсов гостиничного дела.

Но вот в прошлую среду хозяин сделал ему замечание насчет его внешности и в субботу утром отец пошел с ним в парикмахерскую. Жан-Пьер согласился идти без возражений. И однако... после полудня

он ушел из родительского дома и купил бензину. Затем по малооживленной дороге направился к ферме, находящейся по соседству с заводом Рено-де-Флен. Заводской рабочий, возвращаясь домой, обнаружил лежащий на дороге обуглившийся труп. В сумке, в которой был спрятан бидон с бензином, оказался кусочек картона, на котором было написано: «Ответ в почтовом ящике». Там было найдено письмо, в котором юноша объяснял, что не мог согласиться с подобным «нравственным отречением». И еще была приписка: «Вы, взрослые, этого не понимаете. Вы навязываете нам свой опыт, вы судите ближних». В пространном письме он, кроме того, заявлял, что хотел подражать буддийским монахам, предпочтя самоубийство подчинению «диктатуре общества».

Да, пожалуй, мой друг не дал мне читать письма как человек, подающий некий туманный знак, не зная, будет он понят или нет,— я уже давно подозревал, что он в душе упрекает меня за Франсину, и в каком-то смысле выступает союзником Людмилы (которая о таком союзе не имела ни малейшего понятия, бедняжка, не то она послала бы его к черту), и не желает понять то, чего, впрочем, никто не понимает, начиная с меня самого. Прийти в кафе и смотреть, как мой друг прячет письма прямо перед протянутой рукой раввинчика, все это было частью знака; еще раз мне ничего не оставалось, кроме как пожать плечами и подумать, что это правильно, что Людмила или Франсина или мой друг, насколько возможно, правы в своем отношении к такому положению вещей, которое, к поведению, которое и т. д. Потому что потом придет Людмила, свеженапичканная русской душой (три действия, насыщенные степью и отчаянием, в конце концов действуют и на такую жизнелюбивую и отважную польку, как она), и в присутствии Людмилы я как бы почувствую присутствие Франсины, равно как, находясь с Франсиной, я всякий раз отчетливо чувствую соседство Людмилы,— чувства, которые мой друг не слишком одобрял, и правильно делал, ибо они были как бы экстраполяцией русской пьесы во «Вьё Коломбье», хотя я, кабы кто-то поинтересовался моим мнением, сказал бы еще раз (сколько раз я тебе это говорил, Людмила?), что в этом нет разумной причины, нет разумной причины, черт возьми, не могло быть разумной причины.

Ладно, но все же как пройти мимо этого презрительного отчуждения у моего друга, этого прятанья писем в карман, дабы дать мне почувствовать, что моя концепция жизни — чистейший мелкобуржуазный анахронизм,— вот и в жалостливой доброте Франсины крылась ее манера приберегать для себя то, чего я поистине желал от нее, а безупречная товарищеская дружба Людмилы воздвигала все более плотную сероцементную стену между ней и мною. Что же мне-то оставалось, кроме музыки и книг, как не продвигаться к горьким завершающим и вполне предсказуемым следствиям; разве что внезапно что-то вынырнет, откроется кратчайший путь, какой-нибудь перекресток, последний выход, который поможет мне остаться при своих, не разбивая чувства остальных. Иногда мне казалось, что Маркос протягивает мне палец, чтобы приманить попугайчика, Педрито, вкусно, кушай кашку, но Маркос не был склонен к сантиментам, он был полностью поглощен делами Бучи, делами мира телеграмм, бомбардировок, казней и лейтенантов Келли или генералов Ки, но все же Маркос, о да, иногда Маркос, протянутый палец, Буча для Педрито, да? Как теперь, у меня дома, расположились они с Лонштейном в самое неподходящее время, он трезвонит в Жужуй или в Реджо-ди-Калабрия, а раввинчик все про своих голышиков да бумажные цветы, на которых следы крови, и на лестнице уже слышны шаги Людмилы. Ах, что толку в моей внутренней машине, в моем упорном желании жить Людмилой, жить Франсиной и «Prozession», сберечь звук фортепиано среди электронных завываний. Куда важнее письма Сары и кровавое кольцо вокруг лейтенанта Келли — этот град сообщений, которыми Патрисио (мой друг всегда пытался охватить разом все обстоятельства — идея слегка безумная) потчевал чилийца Фернандо, недавно приехавшего из родной Тальки, в тот час, когда Оскар и Гладис заходили в

самолет «Аэролинеас», дабы привезти в Бучу юной крови старцам, не говоря уж о некоем Эредиа, который садился в «Боинг» в Лондоне, и о Гомесе, который, или о Монике. Но Маркос был не из тех, кто настаивает, палец протянут на какую-то долю секунды, и уже о другом; точно как мой друг с письмами, едва заметный знак. И раввинчик вдруг принимается вздыхать, размышляя о повышении жалованья, и выясняется, что по лестнице шла не Людмила, можно еще немного поболтать.

— Хочешь, я тебе продемонстрирую вой? — предлагает Маркос.

— Ох, сукин ты сын,— говорю я ему миролюбиво, но с легкой тревогой,— это в час-то ночи, подумай сам, из-за тебя меня выгонят из моей такой удобной, такой белехонькой квартирки, которую я себе заработал многими годами рекламного дизайна, ты, чертов кордовец.

— После стольких телефонем он стал экстрацедентным фонограмом,— говорит Лонштейн,— то, что он тебе предлагает, без сомнения, это поливопль души, отравленной миазмами масс-медиа, че.

— Пусть так,— соглашается Маркос,— тогда я тебе объясню теоретически и вой, и другие формы сопротивления, которые применяются здесь нашими ребятами, например, в автобусах.

— Ваше сопротивление — вроде неправильно употребленной эпифонемы,— говорит раввинчик,— по сути же некий отвратительный галлицизм, гибрид ответа и отбрыка.

— Нет, ты послушай,— говорит Маркос, который не слишком озабочен лингвистическими тонкостями.— Только вообрази, что мы сидим в пригородном кинотеатре в десять вечера семейство отправилось посмотреть на Брижитт Бардо до восемнадцати лет вход воспрещен «ЭСКИМО ЖЕРВЕ ТРЕБУЙТЕ ЭСКИМО ЖЕРВЕ ТРЕБУЙТЕ ЭСКИМО» одно семейство и другое семейство и много-много семейств после целого дня благородного труда, благородного и святого, да, именно так, труд облагораживает, твой папа начал трудиться в пятнадцать лет, твоя мать

твоя мать бл	агороднейшая женщина	} напевает
у нее в гол	ове	} Лонштейн в соль-
полно муд	рых мыслей	} диез мажоре

а тетя Илария, такая самоотверженная, а дедушка Виктор с его больными ногами, он, который всю семью содержал, с семи утра до семи вечера разносил уголь

предместье, эта тошнотворная магма Парижа, смесь силы и нравственной грязи, то, что не есть народ хотя кто знает что есть народ, но в общем обычное предместье, семейства в кино, те, кто голосовал за Помпиду потому что уже не могли опять голосовать за де Голля

— Минуточку,— говорит Андрес,— что ты тут толкуешь о народе и о семье,— или семья это не народ, или население предместья, состоящее из семей, это не народ, что за белиберда, че.

— Ты что, не понимаешь,— говорит Маркос,— что я пытаюсь приемом ташизма, сиречь пятнизма, набросать мгновенную картину атмосферы в кинотеатрах «Камбронн», например, или «Сен-Ламбер», этих залов, провонявших полувеком лука-порея и потной одежды, этих святилищ, где Брижитт Бардо снимает трусики, дабы зал видел как раз то, что разрешено статьей 465 на промежуток времени, указанный в статье 467, и — знай — всякое сопротивление, коль оно хочет сделать нечто полезное, должно начинать с базиса, в мае [1] это была улица, или Сорбонна, или заводы Рено, но теперь товарищи поняли, что надо сопротивляться так, как человек, вдруг покидающий ринг между четвертым и пятым раундами, что повергает соперника в растерянность, говорит хроникер. Предположим, что мое описание до тебя дошло, хотя на самом деле оно было излишним, просто неким способом подвести тебя к порогу озарения, и вот, именно тогда, когда Брижитт начинает превращать экран в один из звездных часов человечества, вернее — в два, и каких два, че, тут уж нечего спорить и

[1] Имеются в виду выступления молодежи в мае 1968 г.

нечего сопротивляться, но, к сожалению, надо пользоваться этим состоянием упоения, экстаза — ты меня понимаешь, дабы антиклимактерическое воздействие было более эффективным, и именно в этот момент Патрисио встает и издает ужасающий вой, который длится и длится и длится и — что случилось, свет, в зале сумасшедший, позовите полицию, это эпилептик, он в двенадцатом ряду, иностранец, наверняка негр, где он, думаю, что это вон тот, но, кажется, он опять сел, да разве не видите у него курчавые волосы, это алжирец и эй вы почему вы кричите

— Я? — сказал Патрисио.

— Да, вы,— сказала капельдинерша, опуская фонарик, так как сидящая подальше публика уже блуждает в межреберных пространствах обнаженной и ничуть не смущенной происходящим Бардо, а зрителей поблизости от места происшествия и его виновника обуревает вполне понятное замешательство — то ли продолжать протест против возмутительного поведения этого чужестранца, то ли стараться не упустить ни сантиметра полусдвинутых шелковистых бедер в постели шикарного отеля в роще Рамбуйе, куда некий Томас увлек Брижитт с целью ею овладеть перед часом гастрономических утех, всегда предусмотренных в этом жанре похождений богачей, по каковым причинам луч фонарика капельдинерши начинает ползать по всем зрителям, уже не говоря о Патрисио, и капельдинерша опускает его как можно ниже, и луч света упирается в оттопыренную ширинку Патрисио, который, по-видимому, считает это вполне естественным, неким доказательством того, что

— Это со мной иногда случается,— сказал Патрисио.

— Что значит «случается»?

ШШ!

— Я хочу сказать, что я не могу сдержаться, что-то на меня находит и тогда,

(*ah ma chérie ma chérie* [1])

— Тогда будьте любезны, выйдите из зала.

ШШШШШ!!!!!!

— Ах, черт,— сказала капельдинерша,— сперва меня зовут, а теперь не дают слова вымолвить, нет, так дело не пойдет, нет, что они себе думают, только этого не хватало

(*J'ai faim, Thomas* [2])

— Это почему ж я должен выходить из зала? — сказал Патрисио очень тихо и никому не мешая, кроме капельдинерши, но она-то стервенеет в судорожно геометрической прогрессии.— Это, знаете, как икотка, только еще сильнее.

— LA PAIX!
— A POIL! [3]

— Икотка? — прорычала капельдинерша, выключая фонарик.— Погодите, вот вызову полицию, мы еще посмотрим, что это за икотка, ça alors [4].

ШШШ!!!!

— Делайте что хотите,— сказал Патрисио всссетакжешшшшепотом,— я не виноват, у меня есть справка.

Упоминание о справке, как всегда во Франции, возымело действие, и луч света заскользил по проходу именно тогда, когда подошло к тому, что все хотели бы увидеть, но, как говорил один бродяга своему другу, только, мол, они начинают трахаться, как эти сукины дети выключают свет, но ты же успел увидеть, что у него гол

[1] ах моя дорогая, моя дорогая *(франц.)*.
[2] Я голодна, Томас *(франц.)*
[3] Тихо! Взять его! *(франц.)*
[4] еще чего *(франц.)*.

овой качает Лонштейн, не слишком интересующийся рассказом, но Маркос улыбается с хитрой миной и говорит aspetta, ragazzo [1], это еще не все потому как в третьем ряду балкона обнаруживают Сусану которая участвовала в беспорядках в Сорбонне и имеет еще другие отличия, и если ее не выселили из Парижа, то лишь потому, что поведение у нее весьма блл агонравное, но все объяснения бесполезны, ибо в этот момент Томас, а он вовсе не такой распутник, каким казался, решил жениться на Брижитт, которая теперь летит над Андами в одном из тех «Боингов», которые так и плывут на тебя а вокруг него голубое небо и внутри льется виски за милую душу и господа в первом классе в разгар обеда приготовленного у Максима, не уверен, что ты знаешь, кто это,

пока наконец Сусана — как раз когда Томас во мраке ночи является в отель и кажется в верхнем правом углу уже мелькают искорки, обычно предшествующие слову «Конец», если только это не предпоследняя катушка но зачем нужны искорки в последней если киномеханик уже надел пиджак и закурил «Голуаз» и рука у него уже на выключателях и как раз тогда

— Я знаю,— говорит Андрес,— опять вой.

— А он у нас догадливый,— доверительно говорит Маркос Лонштейну.— На лету все схватывает, наш портеньо [2].

— Но какой смысл, объясни на милость, устраивать скандал в условиях, скажем, столь узкого круга, ведь в партере стандартного кинотеатра около четырехсот мест, что для сравнения с населением Франции надо соотнести примерно с пятьюдесятью девятью миллионами.

— Тебя, я вижу, нисколько не интересует судьба Сусаны,— говорит Маркос.

— Не больше, чем прошлогодний снег. Если хочешь знать, я уверен, что у этой девушки больше храбрости, чем у ее супруга Патрисио, за битого двух небитых дают.

— А ей пришлось провести два часа в комиссариате,— говорит Маркос.— Конечно, сделать ей ничего не могли, ведь вся публика разошлась, едва Брижитт удалось настоять на своем и Томас оказался в решающем инфайтинге, в общем, все потопали вон, осталась только капельдинерша, железная тетка, потом она в комиссариате, кажется, обозвала полицейских рогоносцами за то, что не сразу взяли у нее заявление, а ее Фернану вставать в полседьмого, чтобы идти на завод, и кто же ему приготовит кофе с молоком, скажите на милость.

— Она была из народа,— говорит Андрес.— Полицейские заслужили, чтобы их отругали, и Сусана, по сути дела, тоже получила свое. Но теперь я всерьез хочу узнать, какой толк от этого воя, потому что из твоего рассказа можно заключить

ничего, действительно ничего, но, видишь ли, ничего плюс еще раз ничего не дает ничего, но иногда дает чуточку чего-то, как говорится «всего ничего», но все же кусочек чего-то, и заметь, если операция проведена толково, никакой жандарм и никакой судья не может придраться, вторая проба была в кинотеатре «Сельтик» и гораздо более усовершенствованная, то есть сам Маркос и некий Гомес — панамец и филателист — испустили вой, не вставая с мест, Маркос в разгар рекламы, как раз между NUTS [3] и КУНЦ, а Гомес — в той части фильма, где Биби Андерсон ложится ничком на постель с черными простынями и из разных концов кинозала слышится как бы рычанье, посещают его главным образом студенты-стипендиаты, и вот наши, не двигаясь с мест, издали вой, и что тут с ними сделаешь, правда, какой-то тип попытался ударить Гомеса, хотя потом извинился, сказал, что просто хотел прервать у него приступ пощечинами с обеих сторон, что рекомендуют учебники психиатрии, когда приступ острый и психически больной засунул себе в рот осколки стекла, дабы самому себя

[1] подожди, парень *(итал.)*.
[2] Житель Буэнос-Айреса.
[3] Орехи *(англ.)*.

наказать и заодно запятнать репутацию доктора. Нет, ничего серьезного им пришить невозможно, че, особенно когда Маркос после воя сидел совершенно спокойно, и многие дамы — которые сперва покраснели, чтобы затем, почти мгновенно, обрести дополняющий цвет, предвестье наихудших бурь,— в конце концов, после внутрисемейного перешептыванья, пришли к согласному выводу, что бедный парень, видимо, страдает от

хотя в случае с Гомесом уже никто не попался на удочку и была попытка его департеризации и вышвыриванья на улицу, но уберег мрак, а также, наконец обнажившаяся, Биби Андерсон — если у тебя выдурили восемь франков за то, чтобы поглядеть, ты же это не упустишь из-за какого-то чокнутого, разве что

— История в Опере была прикрытием,— сказал Маркос.

— Ах, в Опере,— сказал я, настроившись ничему не удивляться.

— Как раз в момент, когда появляется лебедь, не знаю, видел ли ты эту оперу,— пояснил Маркос.— Опера Вагнера.

— Это незаконно,— сказал Лонштейн.— Свернуть шею лебедю, когда у нас хватает хлопот с Утенком Дональдом, вы просто перепутали птиц, че.

Так они и продолжали, было много шума и воя, пока не пришло сообщение, что в последние две недели уже не было возможности повторять номер по тактическим соображениям,— пошли толки прямо на улице, народ отправлялся в кино с намерением разбить башку всякому, кто хоть зевнет, люди, знаете ли, платят налоги и терпеть такое, уж извините.

— Это уже успех, че,— сказал Маркос.— Зачем продолжать действия в храмах седьмого искусства, когда имеются автобусы и кафе. В кафе, правда, не очень эффективно — во-первых, там все не говорят, а кричат, и уровень децибелов очень высокий, а во-вторых, невесть почему, народ меньше злится, когда ему мешают потреблять пиво или чинзано, чем кинокартину,— тут требуется исследование. Но зато на

— У меня осталось еще три могильных цветка,— пригрозил Лонштейн.— Один из желтой бумаги и другой белый, но, клянусь, на них такие пятна как будто

любой линии, скажем автобуса номер 94, который хвалится более-менее буржуазной клиентурой, там Люсьен Верней, истинный специалист, он уже обучил своей технике Патрисио, Сусану и других, которые действуют почти во всех концах Парижа. Раздается звонок перед остановкой, все весьма корректно (уж не говоря о том, что ты хорошо одет и под мышкой у тебя книга или портфель, дабы подчеркнуть облик интеллектуала), и когда этот мастодонт тормозит у самой кромки тротуара, Люсьен Верней подходит к водителю и протягивает ему руку. Ледяной взгляд водителя (бывают варианты), выражение лица, переводимое как

Какого черта
Эй
Псих или просто идиот
Можешь сунуть свою руку себе в

но Люсьен Верней выдает почти пасторальную улыбку, нечто вроде манной кашки для пай-мальчика, невозможно устоять перед столь невинной улыбкой и протянутой рукой в ожидании, что честный водитель, чье лицо приобретает цвет (по выбору) пурпурный/ зеленый/ черный/ стеклянный/ и тогда

— Я желаю вас поблагодарить за приятную поездку,— говорит Люсьен Верней. Ответы воспроизводить не стоит, вдобавок Маркос не утруждает себя их перечнем. Люсьен Верней: «Вы управляете автобусом с

таким чувством ответственности, каковое в наши дни выказывают далеко не все водители». Или: «Я не могу покинуть автобус, не выразив вам свою благодарность». Или: «Я никогда не позволил бы себе завершить поездку, не выразив во всеуслышание удовольствие, полученное от нее, которое прошу вас передать администрации». Варианты на этом этапе: 1) Прекращение контакта, вставанье с места, катапультический толчок по направлению к тротуару; 2) Пена на губах; 3) Смертельная бледность и тетанические судороги туловища и конечностей. Подварианты в environnement [1] (особенно у старух и у господ с розетками ордена Почетного легиона): надо вызвать полицию /Исчезло уважение к (под-под-под варианты:.... религии) /Вот нынешняя молодежь, куда мы катимся/ Из-за него мы опоздаем на службу (многочисленные инфра-варианты)/. Ругательства и угрозы. На шум выходит из своей стеклянной клетки постовой и направляется к автобусу точно тогда, когда Люсьен Верней, у которого не глаза, а хронометр, весьма учтиво в последний раз приветствует водителя ваш покорный слуга и спускается по двум ступенькам, за пределами коих начинается территория, на которую ни один постовой не ступит ради какой-то взбучки, ибо в его обязанности и т. д.

— Превосходно,— говорю я Маркосу,— но вот позавчера в Лилле один юноша сжег себя заживо в знак протеста против положения во Франции, и это второе самосожжение в стране, не говоря о других, тебе известных по телеграммам из-за границы. Не кажется ли тебе, что рядом с такими делами

— Конечно, кажется,— говорит Маркос,— но только, как сказано в японском гимне, капля по капле образуются моря, и из песчинок вырастает скала, поросшая мхом, или что-то вроде этого. Был один Ян Палах, а сейчас есть все чешские студенты, и они не дремлют, уж не говоря о многих буддийских монахах. Как легко ты отвергаешь доброе, пусть маленькое, дело! В общем, погоди, сейчас я тебе опишу другую форму сопротивления, которая не далее как вчера наделала шума в ресторане «Важенанд», и она будет повторена на будущей неделе во многих других ресторанах, насколько у нас хватит монет, потому что это ужас, сколько стоит жратва в подобных заведениях. Однажды Гомес пошел со мной туда в час дня, когда там самые толстосумы да пижоны с чековыми книжками, ты же видел эту царящую там обстановку art nouveau [2] и чуток отдающую нафталином атмосферу, которая придает особую престижность. Заказали мы лук-порей в уксусе и бифштекс с перцем, красное вино и минеральную воду — меню, сам понимаешь, вполне солидное и достойное. Едва нам подали лук, как Гомес встал и принялся есть стоя, одну луковку за другой, разговаривая со мной как ни в чем не бывало. Статистика взглядов: восемьдесят процентов негодующих, десять процентов досадливых, три процента забавляющихся, еще три процента невозмутимых, четыре процента заинтересованных (что там: геморрой, спинная сухотка или, чего доброго, сумасшествие?). Официант спешит с другим стулом, Гомес ему, спасибо, не надо, я всегда ем так. Но, месье, вам же неудобно. Напротив, в высшей степени удобно, больше ощущается действие закона тяжести, луковица опускается в желудок как пуля, это полезно для двенадцатиперстной. Вы надо мной смеетесь. Ни в коем случае, это вы меня беспокоите, не сомневаюсь, что с благими намерениями, однако это факт. И вот метрдотель, старик с лицом потрепанного карпа. Месье, извините, но здесь. Что — здесь? Здесь у нас принято. Понимаю, но я не согласен. Да, но все же. Месье никому не мешает, встреваю я, очищая тарелку кусочком хлеба, лук-порей был восхитительный. И не только никому не мешает, но ест с изысканными манерами и скромностью, и это вы ему досаждаете, не говоря уж об официанте, до такой степени, что. Тут во всей полноте развертывается ортеговская ситуация, дамы на ухо друг дружке шушу-

[1] окружении *(франц.)*.
[2] нового искусства *(франц.)*.

шушушушушу, закатыванье глаз, да это скандал, сюда приходят посидеть и побеседовать, пусть отправляются в забегаловку. Тогда Гомес, утирая губы с истинно бруммелевским изяществом: Если я ем стоя, так это потому, что я с мая месяца живу стоя. Ты бы поглядел, старик, на этот вертеп, какой переполох, кассирша звонит в комиссариат, бифштексы с перцем сохнут на дощечке, бутылка вина откупорена, и ничто не оплачено, представляешь, ради того, чтобы мы убрались, эти сукины дети готовы были устроить складчину, и именно тогда Гомес, держа в руке сложенную салфетку, уселся с видом графа и сказал достаточно громко: Я это делаю ради ближнего моего и надеюсь, что ближний мой научится жить стоя. Мертвая тишина, только два-три смешка, явно от нечистой совести, поверь, обед этот мало кому из них пошел на пользу. Завтра мы это повторим в бистро у Бастилии, возможно, что там набьют нам морду, там, знаешь ли, другая среда, но во всяком случае, кто тебе говорит, что

Enters [1] *Людмила*

в своем облике третьего действия и еще в гриме, она села в свой «двухлошадный» чуть ли не до того, как опустили занавес, и очень голодна, пьет вино, пока я ей готовлю омлет, а Лонштейн, этот закоснелый приверженец ритуала, в энный раз затевает еще один театр: значит, вы русская? нет, мои родители поляки, но это правда, что вы работаете во «Вьё Коломбье»? да, правда, ах, я это спрашиваю, потому что вон этот тип такой выдумщик, и Людмила в восторге, что раввинчик находит каждый раз новые варианты, для «Вьё Коломбье» это непривычно, а эта полька — поклонница свободного театра и тому подобное. Хочешь из трех яиц с луком? спрашивает Андрес, пытаясь переключить ее по сю сторону, о да, о да, всего побольше, говорит Людмила, упадая в кресло и разрешая раввинчику поднести зажигалку к ее «Голуаз», он еще наливает ей стакан вина и начинает излагать новую версию своего путешествия в Польшу два года назад, вероятно, мнимого, думает Маркос, который ждет последнего звонка из дальних стран и словно издали наблюдает за программированием омлета и за площадью в Кракове, фиолетовым колоритом площади в сумерки (скорее оранжевым, говорит Людмила, но, конечно, я была очень маленькая). Продавцы цветов и кафе в подвале башни, где пьют что-то вроде крюшона или жидкого меда или что-то горячее с гвоздикой и корицей и миррой и алоэ, и оно сразу ударяет в голову/ В прошлый раз ты сказал, что это был какой-то старинный сорт пива, говорит Людмила, которая допускает варианты только в рамках некой довольно загадочной системы /Мы говорили о вас, возражает обиженный раввинчик, но Людмила просто блаженствует, после нескончаемого третьего действия так приятны вино, аромат омлета, наплывающий из соседней комнаты как сумерки в Кракове, надо уважить Лонштейна, ритуалы следует исполнять, посмотрим, а вы откуда, сеньор, я уже давно здесь живу, сеньорита, и чем вы тут занимаетесь в Париже, я ладно, наверно, приятней будет объяссказывать до омлета, но если вы желаете после

— C'est toi, Laurent? [2] — спрашивает Маркос чуть ли не прежде, чем раздается звонок.

— Ни до, ни после,— прошу я, телепатически следя за рыжеватой вспухлостью омлета и одновременно с похвальной быстротой накрывая стол, если можно назвать «столом» бумажную салфетку с фиолетовым рисунком, полбутылки красного вина и початый хлебец,— ласковые, немудрящие заботы, все для тебя, Людмила, для тебя, сидящей тут в кресле, усталой, маленькой, хотя какой уж там маленькой, метр шестьдесят девять, а об осанке и говорить нечего, но нет, маленькой, потому что я хочу, чтоб ты была такой, когда думаю тебя и даже когда тебя вижу и тебя целую и тебя, но это не сейчас, и твои соломенные волосы, зеленые-презеленые

[1] Входит *(англ.)*.
[2] Это ты, Лоран? *(франц.)*.

глаза, вздернутый нос, который иногда трется о мое лицо, отчего у меня искры в глазах, вот и соль и перец, два листка салата, оставшихся с обеда, слегка приунывших, потому как от уксуса овощи вянут, давай ешь, Люд, давай быстрей, комедиантка из старой голубятни, кусочек восточного неба, хорошенькая попочка, здесь, в этом кресле, а теперь я сделаю кофе для everybody [1], ristretto [2], че, ristretissimo [3], как картинка Шардена, сплошная субстанция, свет и аромат, кофе, в котором сгущены чары ночи, как в песнях Леонара Коэна, которые мне подарила Франсина и которые мне так нравятся.

«Когда ему приспичит»,— думает мой друг.

— И почему же ты не хочешь, чтобы он мне объяснил, чем он занимается в Париже?

— После омлета, гнусная некрофилка,— говорю я.— Это единственная часть психодрамы, которую вы оба никогда не меняете. Ты что, не понимаешь, что Маркосу необходимо дать мне исчерпывающее описание сопротивления new style [4]?

— Я хочу, чтобы он мне рассказал, чем он занимается в Париже,— говорит Людмила.

— Слушай, че, с твоими звонками ты мне будешь должен кучу денег.

— Au revoir, Laurent [5],— говорит Маркос,— n'oublie pas de prevenir ton frère [6]. Уже все, старик, а тебе, малышка, приятного аппетита.

— Я хочу, чтобы он рассказал,— говорит Людмила, но Маркоса, конечно, смерть интересует меньше, чем жизнь, по каковой причине он сразу начинает рассказывать о Ролане, который входит в лавочку и долго выбирает один баклажан из тех, что в натуральную величину («ммм, чудно пахнет луком, ммм, ммм»),

а мадам Бакалейщица искоса глядит на него, ждет, когда ж он решится, глядит, как он кладет один баклажан, но тут же берет другой и щупает его, мадам Бакалейщица громко напоминает о распоряжении муниципалитета, Ролан швыряет баклажан в корзину и смотрит на мадам Бакалейщицу как на диковинного, но еще не классифицированного жука, клиенты ропщут на задержку, начинают толпиться любопытные, а Ролан все глядит на мадам Бакалейщицу, и постепенно нагнетается обстановка крупного скандала, и тогда Ролан очень медленно сует руку в карман брюк и медленно вытаскивает оттуда шпагат, не спеша разматывая клубок и оставляя размотанную часть на полу, он тянет и тянет, а меж тем Патрисио, ожидавший его на улице, так вот, Патрисио входит в лавку с весьма уверенным, и решительным, и гонористым видом, подходит к мадам Бакалейщице, отчетливо произносит «ПО-ЛИ-ЦИЯ», показывает ей зеленую книжечку и быстро прячет ее, пока не увидели, что она из общества «Молодые музыканты Франции», затем хватает конец шпагата и внимательно его рассматривает, дергает конец, меж тем как Ролан продолжает тянуть шпагат из кармана и народ уже сбился в плотную толпу.

— Никаких возражений. Следуйте за мной.

— Но я пришел купить баклажаны,— говорит Ролан. Сильный рывок, шпагата на полу уже валяется метра четыре. Вы что, вздумали мешать розничной торговле. Но ведь я только. Не спорьте, все более чем ясно. Рассматривает шпагат вблизи. А это что такое. Шпагат, месье. Ага, тогда немедленно следуйте за мной, не то я прикажу увезти вас в тюремной машине. Но ведь я только.

— Два кило картошки,— просит одна дама, стремясь возобновить нормальное течение событий, because [7] у нее малышка осталась одна дома на пятом этаже.

[1] всех *(англ.)*.
[2] крепкий *(итал.)*
[3] крепчайший *(итал.)*.
[4] нового стиля *(англ.)*.
[5] До свидания, Лоран *(франц.)*.
[6] не забудь предупредить твоего брата *(франц.)*.
[7] потому что *(англ.)*.

— Вот видите,— говорит Патрисио, дергая шпагат.— Недозволенное нарушение коммерческой деятельности, вы, похоже, не даете себе отчет, что в обществе потребления существует некий *ритм,* месье, некий *темп,* месье. Этим дамам никак нельзя терять время, потому как если они, теряя его, начнут более детально рассматривать то, что их окружает, то что они увидят?

— Не знаю,— говорит Ролан, продолжая вытягивать шпагат.

— Они увидят, что кило картошки подорожало на десять сантимов и что помидоры стоят вдвое дороже, чем в прошлом году.

— Да эта парочка в сговоре,— догадывается старик с кучей пустых бутылок и боевых шрамов.— Ils se foutent de nos gueules ceux deux là [1].

— И что их заставляют платить за полиэтиленовую тару, которую потом не сдашь обратно, и за рекламу нового стирального порошка, который отмывает ничуть не лучше прежнего, так что прекратите чинить препятствия ритму продажи, пусть себе покупают и покупают, не слишком приглядываясь к ценам и к таре, таким образом общество развивается как нельзя лучше, поверьте.

— И вы затеяли эту комедию, чтобы нам объяснить, что цены поднялись до небес? — говорит дама, у которой малышка осталась одна.— Напрасно трудились, нам и без того тяжко нести свой крест, чтобы еще из-за вас терять время, взвесьте мне два кило некрупной картошки, s'il vous plaît [2].

— Сейчас же убирайтесь, или я вызову полицию,— говорит мадам Бакалейщица, уже не верящая в зеленые книжечки.

— Извольте,— говорит Патрисио, помогая Ролану подобрать шпагат и засунуть его обратно в карман,— но вы же сами слышали, что эта дама нас поддерживает.

— Ни в коем случае,— говорит встревоженная дама,— но то, что цены растут, это да, растут.

— И вы очень правильно делаете, что протестуете,— говорит Патрисио.

— Я не протестую,— протестует дама,— я только подтверждаю, и что тут поделаешь.

Так проходит минут десять, а вечером Гомес и Сусана в «Галери Реюни» на улице Терн, в час, когда все толстухи околотка покупают белила, и румяна, и детские нагрудники, и гигиенические полотенца, и колготки, и у основания лестницы и над каждым стендом огромное объявление с лозунгом, столь удачно придуманным одной из умных голов за двести тысяч франков в месяц

ЕЖЕГОДНОЕ ПОДМЕТАНИЕ

и Гомес ждет, пока на нижнем этаже наберется побольше народу, да еще этот надзиратель в синем, направляющий толстух по всем этажам, обувь третий этаж, терки в подвальном помещении, и только тогда Патрисио вежливо спрашивает, неужели в «Галери Реюни» подметают только раз в году, очень-очень вежливо, но так, что несколько толстух и их мужья или дети заинтересовались вопросом, и несколько голов поворачиваются к надзирателю, который, судорожно кашляя, вперяет в Гомеса взгляд идиота, ну, конечно же, нет, месье, на что вы намекаете.

— Намекаю? О нет,— говорит Гомес.— Но если вы, как требует гигиена, подметаете каждый день, то я не понимаю, как можно бравировать объявлением, в котором вы цинично провозглашаете, что производится ежегодное подметание.

— Невероятно! — встревает Сусана, роняя пару чулок в отделение с туфлями по двадцать франков, счастливый шанс.— Вот как в этом магазине борются с полиомиелитом, о, бедные малютки! Глядите на эту девочку, она забавляется нейлоновыми трусиками, она заражается!

[1] Они издеваются над нами, эти два нахала *(франц.).*

[2] пожалуйста *(франц.).*

— Прошу вас, мадемуазель,— говорит надзиратель, а он отнюдь не идиот.— Если вы пришли, чтобы устроить скандал, мне придется.

— Скандал уже состоялся,— говорит Гомес, демагогически обращаясь к матери малышки и другим ошеломленным женщинам.— Они сами признаются, что подметают только раз в году. Кто сочтет, сколько бацилл тут скапливается! В каждом бюстгальтере, в каждой губной помаде! А мы приходим сюда и ПОКУПАЕМ ЭТО! ПОКУПАЕМ ЭТО! О!

— Убирайтесь вон, или я вышвырну вас силой,— рычит надзиратель.

— Только посмейте,— говорит Сусана, хватая одну из туфель по двадцать франков пара.— Мало того, что вы нас заражаете всякой гадостью, взгляните на это несчастное дитя, как она побледнела, наверняка завтра проснется с симптомами болезни, ах, вы молчите, вам нечего сказать!

Мой друг, Лонштейн и я — мы тоже присутствовали при этом, не говоря ни слова, поскольку нам представлялось, что от подобной микроагитации мало толку, и надо признать, что сам Маркос рассказывал, как бы забавляясь, в промежутках между телефонными звонками, потому что после Лорана были еще Люсьен Верней, Гомес, которым полуночный час кажется самым что ни на есть телефонным, особенно если телефон мой. Рьяной поборницей воя и прочих бесчинств оказалась Людмила, которая уплетала омлет с видом огромного удовлетворения и, вероятно, доставила немалую радость Маркосу, сказав, что действия их группы это vox populi, особенно же идея о резерве из двух наблюдателей в каждом театральном зале (умножьте на соответственный множитель не только для Парижа, но добавьте еще Марсель, Лион и так далее), во всяком случае, поскольку Людмила из этого цеха, по ее мнению, очень удачен последний вой в театре «Шатле» в момент, когда романтический тенор таял от нежности в арии, полной шелеста и музыки ангельских крыльев, и тут разразился один из тех скандалов, которые всегда завершаются сопутствующим ассортиментом, сиречь привод к дежурному судье, заметки в газетах, многие и разнообразные гражданские и судебные последствия.

Мы еще беседовали обо всем этом, когда незнакомый нам парень, оказавшийся уроженцем Тальки, отворил нам дверь квартиры Патрисио, а потом все уселись пить мате и виноградную водку, и Мануэля передавали с рук на руки, потому что этот маленький брахицефал затеял собственное сопротивление с воем, словно в два часа ночи и так далее, так что пошло тут гоп-гоп, лошадка, поехали в Вифлеем, меж тем как Сусана отправилась часочек вздремнуть, ведь завтра праздник, веселье будет всем. Тощий, угрюмый Патрисио, казалось, не находил ничего ненормального в том, что в такой час у него собралась куча народу без видимой причины, кроме их южноамериканизма, и примкнувших к ним, я имею в виду Людмилу, которая придумала для Мануэля целый театр, для Мануэля и, возможно, для меня также, ибо в эту ночь у меня с ней не было иного моста, кроме омлета, кроме накрытого стола-моста для Людмилы и взбивания омлета-моста, ммм сколько лука ммм, хотя в любом случае, даже оставшись наедине, мы бы много не разговаривали, стена из серого цемента высилась бы так же, а может, еще прочнее, чем теперь, при взрывах хохота Сусаны и диалоге о ядовитых грибах между Лонштейном и Фернандо, при отчужденном спокойствии Маркоса, глядящего на нас так, как он, кажется, всегда глядел на то, что старался хорошо рассмотреть, то есть из-за клубов табачного дыма, полуприкрыв глаза под упавшими на лицо завитками волос. Почему же мне подумалось, будто игры Людмилы с Мануэлем (она вроде бы изображала ему механического соловья китайского императора) предназначались и для меня, зашифрованный язык, последний призыв, как мое долгое взбиванье омлета тоже было призывом, мостом надежды, эти жалкие знаки, которые еще оставались у нас, когда мы бывали на людях, когда нейтрализовалось наше одиночество вдвоем, прямой взгляд, первое слово первой фразы первого,

нескончаемого расставанья. Потом шестеренки механического соловья вдруг разлетелись во все стороны, Людмила мим-паяц все высказала пальцами, и локтями, и гримасами, вызывая у Мануэля состояние блаженства, все более похожего на сон, Сусана такого случая не могла упустить и, тихонько подняв его с ковра, унесла в сопровождении мима Людмилы (китайская процессия с фонарями, триумф истинного соловья) в спальню. Андрес, видя, что они ушли, не спеша достал сигарету, Патрисио и Маркос беседовали понизив голос, конечно, о Буче, и двух минут не проходило, чтобы кто-то из них не прилип к телефону, эти ребята хотят сделать революцию на базе телефонных номеров и не забывай про муравьев (на этом они очень настаивали), скажи своему брату, чтобы прислал фрукты, этакие телефонные романтики, кибернетические шифровальщики. Мой друг, который тоже был настроен скорее на ироническую волну, подумал, что Андрес, как всегда, немного отстает, он слишком занят тем, что предпримет Людмила, во всяком случае, он придерживается своей версии мира, который остальные, эти телефонно-кибернетические кордовцы и портеньо («скажи ему, пусть позвонит Монике в восемь часов»), понимают по-иному, как по-иному наконец начинают понимать многие латиноамериканцы все происходящее в мире. Бедняге Андресу выпало быть в предыдущем поколении, и он, видимо, не слишком стремился включиться в джерк и твист современности, иными словами, этот парень еще пребывает в эпохе танго, танго огромного большинства, хотя, парадоксальным образом, именно это огромное большинство начинает говорить «хватит» и двигаться вперед. Ох, ох, одернул себя мой друг, огромное большинство еще не поняло этого прекрасного образа или же поняло, но не может осуществить его на практике, на каждого Патрисио и на каждого Маркоса есть тысячи таких, как Андрес, укоренившихся в Париже или в танго своего времени, в своих любовных историях, и своей эстетике, и своих личных какашках, они все еще лелеют литературу благоприличия и национальных или муниципальных премий и Гугенхеймовских стипендий, а также музыку, уважающую определенность инструментов и границы их применения, не говоря о структурах и о закрытых орденах, вот-вот, для них все должно быть закрытым, хотя потом они весьма восхваляют Умберто Эко, так как он в моде. «Лучше подожди меня в забегаловке мадам Бонье», твердит Маркос уже в третий раз какому-то типу, который, видимо, плохо слышит, но терпение Маркоса у телефона достойно жития святого с золоченым обрезом, подумал Андрес, которому хотелось спать и уже до чертиков надоели ядовитые грибы, каталогизацией коих в районах Тальки, Чильяна и Темуко продолжали заниматься Лонштейн и Фернандо. Я и понятия не имел, что твои края такие грибные, с удивлением говорил раввинчик. Как же, могу тебе раздобыть справочники, предлагал Фернандо. Надо тебе побывать у меня, посмотреть на мой гриб, че. У тебя есть гриб? Конечно, в моей комнате. В твоей комнате? Ясное дело, и всех прочих я тоже приглашу, пора уже им заниматься серьезными вещами. Меж тем Сусана и Людмила занимались сверхсерьезной задачей усыпления Мануэля, который, похоже, ждал новых выступлений мима Людлюд и не слишком-то давался себя раздевать, ну-ка, эту лапку сюда, вынь пальчик изо рта, наконец-то он раздет, но еще надо сделать ползающего червячка, на животик, на спинку, маленький массажик, сунули в рот ложку успокоительного, Мануэль стал засыпать, а они остались сидеть у кроватки, куря и выжидая, ибо знали его повадки, и обмениваясь впечатлениями о Фернандо, который, по мнению Сусаны, кажется, неплохой парень, но немного простоватый, погоди, возьмут его в оборот твой муж, и Лонштейн, и Маркос, посмотришь, куда подевается его простоватость. Конечно, сказала Сусана, для того он и приехал, нам его прислал один надежный человек, да, парень с виду немного неотесанный, но здесь это быстро проходит, ты только посмотри на моего сына, че, у меня слов нет, Мануэль во сне вздыхал, его ручонка, блуждая, скользила вниз, пока не наткнулась на пипиську; он нежно придержал ее двумя пальчиками, слегка раздвинув ножки. Подает надежды, сказала Сусана, корчась от хохота, но Людмила смотрела без

смеха, Мануэлю, видимо, что-то снилось, кто знает, что снится в этом возрасте, возможно, сны о будущем, и Мануэлю грезится, что он лежит с гондурасской мулаткой или что-либо в этом роде. Пожалуй, согласилась Сусана, но, право, у тебя болезненное воображение, сразу видно, что землячка Шопена, от его ноктюрнов по лицу словно могильные пауки ползают, но твоя выдумка про гондурасскую мулатку, ха-ха, бедный Манолито. Смеяться молча — хуже смерти, особенно для Людмилы, чем больше она зажимала себе рот, тем сильнее задирался ее нос, вроде кулька с жареной кукурузой, пришлось Патрисио явиться, чтобы навести порядок в строю, какого черта вы устроили этот сепаратистский и дискриминационный гинекей, мужчины требуют женщин, че, но из-за чего вы так хохочете? А, ну в точности как я, в девять лет тетя меня донимала своим «держи руки на одеяле», и поди знай, что сама-то она делала со своими руками под предлогом, что она старше, да еще была не замужем. Пошли к нам, девочки, тут такой разговор о ядовитых грибах, что у меня прямо мороз по коже. Андрес то ли загрустил, то ли дремлет, посмотрим, дадут ли нам еще немножко мате, или придется им влепить пару шлепков по заду.

— Вот это настоящий мужчина,— сказала Людмила Сусане.

— Слушай,— сказал Патрисио Людмиле,— ты должна с нею договориться и прийти в субботу или в воскресенье немного помочь нам приготовить окурки и спички.

— Она не в курсе, чучело,— сказала Сусана, видя изумленное лицо Людмилы. Но та вскоре поняла, так как об этом шла речь в гостиной, микроэксперимент Гомеса и Люсьена Вернея в ресторане на улице дю-Бак, где Гомес в поте лица трудился мойщиком посуды.

— Мы, латиноамериканцы, все кормимся тем, что что-нибудь моем в этом психоблядском городе,— заметворчал Лонштейн.— В этом есть какой-то знак, непонятное мне знамение, нечто таинственное в детергентах. Вот увидишь, тебе тоже придется что-нибудь мыть, как только понадобятся бабки,— сказал он Фернандо.— Распроклятые здешние такси, сразу видно, что тебя любой ворюга облапошит, со мной-то такой номер не пройдет.

— Иногда мне трудно понять, что ты говоришь, но вернемся к грибу копиуэ...

— Минутку,— сказал Патрисио,— вы оба вконец задурили мне голову грибами, а нам тут надо Людмилу обучить изготовлению обгоревших спичек, так что давай подвинься со своим мате и перейдем к серьезным вещам, ты, Маркос, знаешь дело назубок, уж не говоря о твоей интонации, утеха жизни моей.

— Я тут им рассказывал,— терпеливо объяснил Маркос,— что, поскольку Гомес в этом бистро пользуется доверием и кухня у них рядом со стойкой, где продают сигареты, ему было нетрудно подменить двадцать пачек «Голуаз» и двадцать коробков спичек на те, что изготовили наши девочки. Моника была на стреме, пила за стойкой томатный сок, а Люсьен Верней из уличного автомата на углу звонил хозяину, чтобы его отвлечь, задача не из легких. Затем Монику сменил Ролан, так как хозяин в эти минуты действовал дедуктивно, объединяя в своем поле зрения телефон+томатный сок+панамца-мойщика посуды, три вещи, если подумать, равно малоприятные.

— Больно говорить, но все это пошлость,— сказал Лонштейн, ища какую-то книгу среди последних библиотекофагических гекатомб Мануэля.

— Ты прав, это действительно миниагитация, инфрабатрахомиомахия.

— Не мешай ему,— заметил Андрес,— наше мнение мы ему выскажем потом, че.

— Дело началось почти сразу же, клиент из местных попросил сигареты и рюмку вермута, он, похоже, время от времени захаживал туда в полдень и был другом хозяина. Только представьте этот момент, когда

он вскрывает пачку «Голуаз» и обнаруживает, что сигареты все разной длины, тогда он вытаскивает одну,— иным способом эти дурни не могут убедиться, что установленный порядок рухнул,— и оказывается, что это вонючий окурок. К нему бежит хозяин, Ролан проявляет жгучий интерес к странному случаю, они достают другой чинарик и еще один, и все это более или менее выкуренные окурки. Должен тебе сказать, что вначале их поразил не столько сам факт, как то, что пачка выглядела совершенно нетронутой, новехонькой, только с фабрики,— техника у Моники и Сусаны на высочайшем уровне, и, кстати, оставляйте, пожалуйста, свои окурки в этой пепельнице, в ближайшие дни наши девочки приготовят еще одну партию.

— Меня уже втянули,— призналась Людмила Андресу.

— Гротеск,— сказал Лонштейн,— но не лишенный необъясмножественного шарма. Отказываюсь от слова «пошлость», хотя и не от чувства недостабсурда.

И пока они это обсуждают, вдруг раздается у стойки вопль, какая-то старуха купила спички и хотела закурить сигарету, дабы скрасить ту дрянь, которую там пьют, смесь пива и лимонада. Монотонный рецидив, как сказал бы раввинчик, однако весьма эффективный — на пятой горелой спичке старуха издает рычанье и вытряхивает коробок на стойку, из пятидесяти спичек только три годные, и бедная старушенция призывает в свидетели весь белый свет и поднимает шум невообразимый, и хозяин в отчаянии уже не знает, какой рукой хвататься за голову, и Гомес выглядывает из кухни с нарочитым видом идиота, и Ролан подливает масла в огонь, рассуждая о том, что в этой стране все идет наперекосяк, и уже пошла речь о войне четырнадцатого года, о колониях, о евреях, о полиомиелите и о хиппи. Возмущенный звонок к поставщику сигарет и спичек, второй этап скандала, из кабины доносится голос хозяина, гремит не хуже Шаляпина. Теперь для успеха дела надо было, чтобы состоялись по крайней мере три аналогичных инцидента, тогда это выходит на уровень прессы, а иначе затея не обретет реальности, как уже объяснил Маклюэн [1],

— Это установил я,— сказал обиженный Лонштейн,

и, к счастью, у нас было еще несколько внедрившихся в разных кафе в Бельвилле и в парке Монсо, и вот мораль — заметка в «Франс суар», которая заставила всех задаться вопросом, да что ж это творится, если теперь такое с сигаретами, этим совершенным продуктом, который вселяет уверенность, что ты бодрствуешь, что все идет нормально и что правительство крепко держит бразды власти,— но ведь это означает, что что-то не ладится, и уже нет смысла выложить за здорово живешь полтора франка и сунуть в карман пачку сигарет, чтобы, придя домой, в свое скромное жилище, обнаружить в ней кучу слизняков или вермишель с салом.

— Если речь пошла о вермишели, а главное, о слизняках,— сказал Лонштейн,— я всех зовприглашаю ко мне посмотреть, как растет мой гриб.

— Уж верно, будет лучше, чем все эти ребячества,— сказал я, силясь не уснуть.— Глядите, как бы кто-нибудь в полиции не решил, что с него довольно, и устроят они тогда генеральную уборку, выметут вас за границу, и посыплются мне открытки из Бельгии и Андорры.

— Похоже, ты нарочно стараешься не понимать,— сказала Сусана, подавая мне уже сильно разбавленный мате.

— Ничего он не старается,— сказала Людмила,— это у него само так выходит.

Маркос смотрел на нас как бы издали, но Сусана и Патрисио явно

[1] Герберт Маршалл Маклюэн (1911—1980) — канадский философ, социолог и публицист, занимавшийся проблемой влияния средств массовой информации на формирование личности современного человека.

URUGUAY

UN COMMANDO D'EXTRÊME GAUCHE DEROBE DES DOCUMENTS A L'AMBASSADE DE SUISSE

L'ambassade de Suisse à Montevideo a été attaqué vendredi par quatre gerilleros appartenant au Front armé révolutionnaire oriental / FARO, aile extrémiste de l'organisation d'extrême gauche des Tupamaros.

Les quatre assaillants sont arrivés à l'ambassade à bord d'un camion volé. Après avoir tenu en respect l'ambassadeur et les fonctionnaires présents, ils sont repartis en emportant les documents, deux machines à écrire et une machine à photocopier. C'est la première attaque de ce genre commise contre une ambassade étrangère à Montevideo, où de nombreuses attaques de banques et de casernes ont eu lieu au cours des derniers mois.— (A. F. P., A. P., Reuter.)

искали повода для ссоры со мной, и началось зачем ты живешь, если весь ты сплошное равнодушье (похоже на строчку из болеро) Людмила по крайней мере поможет нам наготовить еще спичечных коробков (о да, о да) и вот например Фернандо, он только приехал и уже понимает лучше тебя, что происходит во Франции (возможно, но я еще не совсем) по-моему я всех зовпригласил, но вы что-то отклосвернули в другую сторону (объясни, что это за гриб) это невозможно, гриб разрастается за пределы экзегезы (заварика еще мате) а больше его нет, и так постепенно все осознали, что уже двадцать минут четвертого и что некоторым на работу с утра, но перед прощаньем Патрисио достал газетную вырезку и вручил ее Маркосу, который вручил ее Лонштейну, который вручил ее Сусане. Переведи это для Фернандо, приказал Патрисио, и

в Уругвае группа боевиков крайней левой захватила документы в швейцарском посольстве. На посольство Швейцарии в Монтевидео было совершено нападение четырьмя партизанами, принадлежащими к Восточному революционному Вооруженному Фронту (ВРВФ), экстремистскому крылу крайней левой организации Тупамаро [1].— Автор нагромоздил тут столько крайностей и экстремизма, что середины не видно.— Четверо нападавших подъехали к посольству на украденном грузовике. Приказав послу и сотрудникам посольства стоять с поднятыми руками, они захватили документы, две пишущие машинки, фотокопировальный аппарат и удалились. Это первое нападение на иностранное посольство в Монтевидео, где за последние месяцы было совершено много нападений на банки и полицейские участки (АФП., АП., Рейтер). Налей ты еще мате, я же не могу повсюду поспеть.

— Крутые ребята, эти тупамаро,— сказал Патрисио. В это время Лонштейн показывал Фернандо наброски поэмы, чилийца в эту ночь все опекали, а я меж тем развлекался, еще раз спрашивая у Маркоса, а главное у Патрисусаны, какой смысл в этих более или менее рискованных шалостях, которыми они занимаются с бандой французов и латиноамериканцев,— особенно же после чтения уругвайской телеграммы, которая все их дела сводит на нет, уж не говоря о многих других телеграммах, которые я читал днем и где, как обычно, были внушительные цифры пытаемых, убитых и арестованных в разных наших странах, и Маркос смотрел на меня молча, будто забавляясь, проклятущий тип, меж тем как Сусана на меня наступала, держа по вилке в каждой руке, по ее мнению, устраивать вой в кино не менее опасно, чем отобрать у швейцарского посла две пишущие машинки, а Патрисио как бы просил разрешения или вроде того у Маркоса (ребята, видимо, в смысле иерархии неплохо организованы, хотя во внешнем поведении это, к счастью, не было заметно), чтоб выдать мне речугу из тех, что Лонштейн назвал бы аргумскорблением, и под конец, когда Людмила уснула на ковре и я понял, что, по сути, пора уходить, по рукам пошла поэма или как ее там, тут уж ничего не поделаешь, не говоря о том, что Патрисио, слегка удивленный ее содержанием, для него неожиданным, передал ее Сусане, приказав прочитать вслух. По сей причине нам перед уходом довелось еще выслушать лонштейновские

[1] Производное от Тупак Амару, имени руководителя борьбы индейцев Перу против испанских завоевателей (1544? —1572).

ФРАГМЕНТЫ ОДЫ БОГАМ НАШЕГО ВЕКА

Карточки для закладки в IBM

На обочине дорог
останавливайтесь
приветствуйте их
совершайте жертвенные возлияния
(traveler's cheque are welcome [1])

AZUR
SHELL MEX
TOTAL

ESSO BP YPF
ROYAL DUTCH SUPERCORTEMAGGIORE *

* Их могущество — это грохот, полет, блицкриг. Им приносят в жертву кровь, голых женщин, авторучки, карточки Diner's Club [2], развлечения уик-энда, подростков с темными кругами под глазами, поэтов-стипендиатов («creative writing» [3]), поездки на конференции, планы Камело; за каждого купленного сенатора дается индульгенция на год и т. д.

Придорожные столбы на обочине дорог
храмы
snack-bars [4] и нужники
дряблые лингамы которые жрец в синей форме и фуражке с козырьком поднимает и сует в отверстие ВАШЕЙ МАШИНЫ, и вы смотрите чтобы он дал сдачу
ДВАДЦАТЬ ЛИТРОВ РЕЗИНА ВОДА ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
придите и поклонимся
hoc signo vinces [5]
СУПЕР: самый надежный.

ПОМЕСТИТЕ В ВАШ МОТОР ТИГРА
ПОМЕСТИТЕ ЛИНГАМ БОГА

Его храм пахнет огнем

TOTAL AZUR BP SHELL MEX

Его храм пахнет кровью

ELF ESSO ROYAL DUTCH **

** Главные боги (умалчиваем о неназываемых, младших, второстепенных, сопутствующих, двойниках, заместителях); культ главных богов публичный, зловонный и громогласный, его представляют под именем «Положительное», «Праздник», «Свобода». Один день без главных богов — это паралич для рода людского; одна неделя без богов — это смерть для рода людского. Главные боги — совсем недавние, еще неизвестно, останутся ли они или покинут своих поклонников. В отличие от Будды или Христа они — проблема, неопределенность; поклоняться им надлежит горячечно, помещать в мотор тигра, требовать максимальное количество, наполнять баки их холодным, презрительным оргазмом: смотреть пока еще можно бесплатно, до нового распоряжения, но это также ненадежно. Теологи совещаются: Где находится тайный смысл священных текстов? Поместите в свой мотор тигра: Неотвратимый апокалипсис? Покинут ли нас когда-нибудь главные боги? (Ср. Кавафис [6].)

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЕГДА НАЙДУТСЯ ДРУГИЕ

Да, у нас есть в резерве, они нас защитят
храм техники, запасные части

---

[1] охотно принимаем туристские чеки *(англ.)*.
[2] Обеденный клуб *(англ.)*.
[3] оригинальное творчество *(англ.)*.
[4] закусочные *(англ.)*.
[5] Сим стягом (знаменем) победишь *(лат.)*.
[6] Костантинос (Константин) Кавафис (1863—1933) — греческий поэт.

БОГА МЕРТВОГО ЗАМЕНИМ БОГОМ НОВЫМ
Это уже бывало и мир не провалился в тартарары ***

*** Представляется несомненным, говорят теологи, что главные боги не спорят об иерархии; если легкомыслие верующих перемещает симпатии и алтари, если вдруг небольшой божок четвертого порядка (ср. инфра) воцаряется безраздельно среди курильщиков и спортсменов, великие божества, по-видимому, не обращают на это внимания; так-то лучше, говорят теологи, которые в 1950 году затрепетали, когда главный бог Паркер и его сподвижник Уотермен были заменены божочками Бироме, Бик и Фьельтро.

На обочине кроватей
останавливайтесь
приветствуйте их
совершайте жертвенные возлияния
EQUANIL
BELLERGAL
OPTALIDON
их мурлыкающие названия
покой, покой, покой
от половины одиннадцатого вечера до шести утра аминь
И ГРОЗНЫЕ
героические
к которым взывают в часы тоски
загадочные заступники
пред таинственными Матерями с неведомыми именами
ANDROTARDIL TESTOVIRON PROGESTEROL ERGOTAMIN

и трехгранный CORTISON
На обочине дорог
останавливайтесь
приветствуйте их
совершайте жертвенные возлияния
МИРСКИЕ БОГИ
воплощенные
сыны и дщери Бога
погибшие на кресте (на разбившемся самолете)
или под сенью дерева Боди (швейцарская клиника с садом)
HELENA RUBINSTEIN
молись за нас грешных
JACQUES FATH
CARDIN CHANEL
DOROTHY GRAY
над нашими веснушками прыщами грудями и бедрами смилуйся, владычица
IVES SAINT-LAURENT
MAX FACTOR BALENCIAGA
laudate adoremus [1]

На обочине жизни
останавливайтесь
приветствуйте их
совершайте жертвенные возлияния
(операторы компьютера могут дополнить информацию)

[1] восхвалите да поклонимся *(лат.)*.

Стало быть, подумал мой друг, спускаясь по лестнице после обычного своего прощанья, которое, по сути, сводилось к тому, чтобы ни с кем не прощаться, если надо писать текст с идеологическим и даже политическим содержанием, раввинчик отказывается от своего оригинального устного языка и изъясняется на самом что ни на есть пристойном литературном. Странно, странно. А как поступал бы Маркос, кабы перипетии Бучи сделали его когда-нибудь тем, что в ассирийских табличках называется «начальник над людьми»? Его обычная речь похожа на его жизнь, это смесь иконоборчества и творчества, реакция сознательного революционера на всю систему; но уже Владимир Ильич, не говоря о Льве Давидовиче и — более близком нам и нашему времени — Фиделе, вряд ли понимал, как далеко от слова до дела, от улицы до кормила власти. И все же задаешься вопросом о причине этого перехода от речи, обусловленной жизнью, как речь Маркоса, к жизни, обусловленной речью, вроде правительственных программ и неоспоримого пуританства, таящегося в революциях. А что, если когда-нибудь спросить у Маркоса, забудет ли он свое «к черту» и «к такой-то матери» в случае, если придет его час приказывать; конечно, это лишь умозрительная аналогия, дело не в словечках, а в том, что скрыто за ними, божество плоти, великая жаркая река любви, эротика революции (пусть не этой, но ближайших, тех, что еще впереди, то есть почти всех), которой когда-то придется подбирать другую дефиницию человека, ибо, насколько мы видим, у нового человека обычно проглядывает обличье старого, едва он увидит мини-юбку или фильм Энди Вароля. Ах, все это ни к чему, подумал мой друг, ребята из Бучи и так достаточно теоретизируют, чтобы еще мне добавлять эти свои чепуховые и явно излишние размышления. Но я хотел бы знать, что об этом думает Маркос и как бы он жил, если бы настал его час.

Была еще глубокая ночь, но на маленькой площади Фальгьер нас поджидал как бы предрассветный ветер. Людмила, пока мы шли по улицам, почти не разговаривала, видно, была сонная и покорно разрешала себя вести; я снял куртку, накинул ей на плечи. Хорошо бы найти такси, сказал я без всякой надежды. Ради десятка кварталов, дурачок, когда так приятно идти пешком в это время. Но ты же устала, озябла. Чепуха, сказала Людмила. Во всяком случае, дело было не в этом. А в чем же — но после такой ночи я был не способен связно размышлять. Завтра я усну прямо на сцене, надо будет воспользоваться моментом, когда старик пытается меня соблазнить на диване, ох, и дрянная же пьеса, пять месяцев ежедневно это говно, и еще как аплодируют, а в театре прямо разит гнилью. Вот где надо бы продавать окурки, Андрес, мы должны им немного помочь.

— Не знаю,— сказал я, заставляя ее ускорить шаг, холод пробирал меня до желудка, если то был холод.— Я уже отказался от попыток чрезмерно вникать в их дела, но ты же видела — баклажаны, да шпагаты, да горелые спички, месяцами они заняты этой ерундой, и что с того.

— Маркос до сих пор об этом почти не говорил.

— Да. Вопрос — почему.

— Он Лонштейна привел как предлог затронуть эту тему так, чтобы не показалось слишком нарочито, и обращался к нам двоим. У Патрисио это повторилось, все время у меня было впечатление, словно он нас ищет, надеется, что-то в этом роде. Какими глазами он смотрел на нас.

— Тебе холодно, Людлюд. И зачем только мы засиделись так поздно, при твоей работе это безумие, ты захвораешь.

— Ба, из-за одного раза! Мне понравилось, я же не жалуюсь, и Лонштейн, со своими цветами в пятнах и поэмой, это что-то невероятное. С каждым разом он мне кажется все более сложным и одновременно все более простым, ну, как Маркос, но в другом плане, хотя еще неизвестно, насколько в другом, интересно знать, было ли такое же различие между Лениным и Рембо. Конечно, разные профессии, главное, разные словари и цели, но в основе, в основе...

Она обозначала основу, указывая рукой вниз, на плиты тротуара. Я привлек ее к себе, погладил ее маленькие груди, почувствовал, что она вся какая-то зажатая, далекая, мне стало еще холодней, и я рассмеялся — в самом деле, сравнивать Маркоса с Лениным, уж не говоря о другом сопоставлении. Но Людмила все указывала на основу, опустив голову, точно пряча лицо от холодного ветра, и молчала, и вдруг она тоже засмеялась и рассказала мне про Мануэля, про пипку спящего Мануэля, какое чудо были эти два крохотных пальчика Мануэля, охвативших розовую пипку, не прижимая ее, но изумительно нежно придерживая. Такого в театре никогда не увидишь, такого явления благодати, такого потрясающего (но также нежного) впечатления от невинности, утраченной теми, кто смотрит на действительность по-взрослому, с другого берега, носясь со своими идиотскими грехами, желтыми в пятнах цветами, взятыми с трупов индусов.

Раздевшись догола, изнеможенные, сделав последний глоток остывшего мате, Патрисио и Сусана лежали рядом с Мануэлем, который сбросил простынку на пол и спал ничком, похрапывая. У него на затылке складочка, с восхищением сказал Патрисио. Уже две недели, как появилась, обиженно сказала Сусана, складочка, точно как были у тебя на том фото, которое мне дала твоя мама, когда приезжала в Париж. Старуха хотела меня уязвить, это ж надо, дарить тебе такое, а ну-ка дай сюда, посмотрю, верно ли это. Дудки, сказала Сусана, я знаю, ты хочешь фото сжечь, сеньору не терпится уничтожить следы прошлого, эх ты, дурень ты этакий, фото я надежно спрятала вместе с моими любовными письмами, ты его никогда не найдешь, погаси свет, я уже без сил, такой день, такая ночь, такая жизнь, ах, ах. Комедиантка. Болван. Значит, любовные письма. Конечно, от балканского графа, того, что мне хотел подарить зеленый бриллиант, единственный в мире, а я не приняла, он наверняка был фальшивый или же упал в хорошо заваренный мате. Да не смейся так, разбудишь ребенка, нам пришлось дать ему ложку успокоительного, он весь прямо искрился, но теперь неизвестно, до каких пор он будет спать. Еще спасибо, что вы не подержали его у газового крана. Чудовище. Спокойной ночи, милашка. Тебе также, противный. А Фернандо симпатичный парень, правда? Да, только он еще не вполне встал на задние ноги. Да не смейся же, ты его разбудишь. Убери руку с моего рта, ммм. Спокойной ночи, мой цветочек. И тебе также, пых-пых, спичка. Завтра в одиннадцать надо быть у Гомеса, беднягу выгнали из ресторана, это можно было предвидеть. Не думаю, чтобы он огорчился, такую работу найти нетрудно, ведь метекам почти ничего не платят. Как тебе понравился Андрес в эту ночь? Гм. Не знаю, почему Маркос его так тщательно прощупывает. Сколько шипящих, болтушка. Спи, образина. Насчет фото мы еще с тобой потолкуем, напрасно ты думаешь, что я потерплю в доме подобную иконографию. Возможно, когда-нибудь, а пока я ее храню. У, ископаемое. Голый младенец на шкуре пумы, ах ты осел. Это ты выпросила фото. Ладно уж, скелетина, а почему у этого чилийца такое странное произношение? Спроси у своего балканского графа, малышка. Это невозможно, его убили в финале партии в покер в пятнадцатой главе, автор Эрик Амблер. Ну тебя, с твоими кровавыми книжными любвями. Не предавайся ретроспективной ревности, моим единственным возлюбленным был парикмахер из Альмагро, а потом, в злосчастный день, появился ты. Все парикмахеры педики. В Альмагро и думать не моги. Я из Ла-Патерналь, че, мне незачем знать, что там творится за границей. Кому ты это рассказываешь. Спи, любовь моя. Сплю, и ты спи, и уже протянулся какой-то серый коридор, Сусана видела а fulltime [1] сон из своей жизни, рука Патрисио, лежавшая на ее бедрах, была тем розовым платьем, которое ей тесновато, и Мануэль остался один в доме, где полно собак и карликов, как она могла его там оставить, надо спешить, повторяющийся кошмар, но, пожалуй, спешить не стоило, я обхватил Людмилу за талию и почти бегом провел ее последние два квартала, еле живые от

[1] полнометражный *(англ.)*.

холода и желания лечь спать, мы прошли по улице Просессион на улицу Уэст, home sweet home [1], всего лишь пять этажей без лифта, и на третьем опять о Мануэле, какой милашка этот Мануэль, когда держит пипку пальчиками. Впопыхах готовя ей очень горячий чай с ромом и лимоном (афония, этот театральный бич, все что угодно, только не потерять голос), я в тысячный раз подумал, что, без сомнения, в конце концов, уже пора, что я был слишком эгоистичен,— принес ей чай в постель и, раздеваясь, все это ей выложил.

— Нет, не надо, лучше не надо,— сказала Людмила.— Я могу говорить о Мануэле совершенно спокойно, без всякого надрыва. Театр и материнство плохо совмещаются, вдобавок уже поздно.

— Нет, не поздно, Люд. До сих пор мы не хотели, я согласен, но я сам не знаю, ты так говоришь о Мануэле, и потом, черт возьми, всегда находится какой-то выход, только идеальным отцом я не буду, это точно.

— Поздно,— повторила Людмила, она пила чай, не глядя на меня.— Поздно уже, Андрес.

Я взял у нее чашку, лег, стараясь согреться, ноги Людмилы заскользили по моим ногам, теплые собачки — конечно, Франсина. Неодолимо. Но не только это, Людмила закрыла глаза и покорялась тому, что руки Андреса медленно ласкали ее, очерчивая в темноте ее тело, и в какой-то миг Андрес снова включил свет, они никогда не занимались любовью в темноте, им надо было видеть друг друга, насладиться всей полнотой бытия, отказаться от какого-либо из пяти чувств было бы плевком в лицо жизни, и дело не только во Франсине, хотя и в ней тоже, ведь если б они дали себе волю и сделали ребенка, ей было бы безразлично, будет ли отцом Андрес или кто-то другой, хотя кого-то другого не было, ей было бы безразлично, потому что Андрес уходит и приходит, Франсина или другая, было бы безразлично, ведь по сути он бы не был отцом этого ребенка, он только что сам сказал, что не будет идеальным отцом, в этом вопросе он не способен врать, он ей предлагал нечто такое, с чем она никогда не сможет вполне согласиться. Да не все ли равно теперь, лучше поскорее уснуть, но я не хотел, чтобы она уснула вот так, усталая и грустная, три действия каждый вечер и утренники по воскресеньям, и все же я не мог дать ей вот так погрузиться в забытье, пусть даже тут была Франсина, рыжий инкуб в ночи.

— Да, и из-за этого тоже, из-за твоей манеры жить и желания жить мною,— сказала Людмила.— И Франсина, в случае чего, не захочет иметь от тебя ребенка, она слишком умна, почти как я. Давай спать, Андрес, я совершенно без сил. Нет, пожалуйста, не надо, я чувствую себя вроде тех сигаретных пачек Гомеса. Ах да, я же обещала Сусане прийти и помочь изготовить еще одну партию.

— Ну что ж, придется соединить наши окурки,— сказал я,— тогда наша деятельность, вероятно, станет более захватывающей.

— Не говори глупостей, не надо смотреть на это свысока.

— Но это неизбежный вывод — предъявляешь к жизни огромные требования, доискиваешься до ее глубинного смысла, и обнаруживаешь, что мы идем прямехонько к куче горелых спичек, так ведь. Да, знаю, это фразы, но также — истина, ведь было бы так просто и так благоразумно, Людлюд, ничего тебе не говорить, никогда ни словом не обмолвиться ни о Франсине, ни о какой-либо другой женщине.

— Сказал, и ладно, дурачок, зачем опять возвращаться к этому. Не то чтобы я молитвенно сложила руки, восхищаясь твоей прямотой, ведь в основе тут нечистая совесть, которая любой ценой жаждет отмыться, но эту проблему, Андрес, мы уже обмусолили до тошноты, а все дело в том, что мне следовало иметь от тебя ребенка раньше, когда нас было только двое, и именно поэтому мы не желали быть тремя, не желали детского рева и грязной ваты по всему дому, тебе был необходим порядок, покой и твой Бодлер, а мне репетиции перед зеркалом «все ароматы Аравии не заглушили бы» и так далее. Союз двух Нарциссов, двух законченных эгоистов,

[1] дом, милый дом (*англ.*).

подписавших пакт, дабы к тому же чувствовать себя менее эгоистами. И вместо пугающего нас писюна и сосуна является Франсина, свеженькое дитя университета и haute couture [1] со своим красненьким авто, и своим книжным магазином, и своей свободой. Я могу это понять, хотя ни она, ни я никогда не усвоим твоих Сцилл и Харибд, но ребенка я не хочу, уже не хочу. В тот день, когда мой метаболизм потребует этого слишком сильно — кажется, так было этой ночью,— я лягу с первым, к кому меня потянет, или отправлюсь к Ксавьеру, чтобы он осеменил меня, как корову. Good night, sweet prince [2].

— А я, Люд. Почему ты меня терпишь, если не можешь усвоить мой стиль жизни? Вернее, мой стиль жаждать жизни, который на каждом повороте терпит аварию.

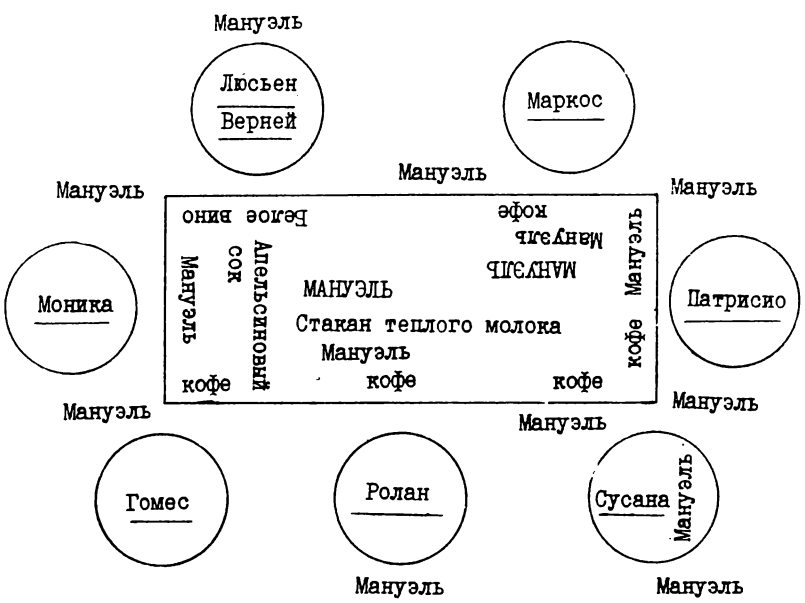
— Потому что я тебя очень люблю,— сказала Людмила, и, по коварству языка, словечко «очень» почти полностью лишало силы слово «люблю», но это была правда, она его очень любила, потому что он был добрый и веселый, как котенок, и всегда увлечен неосуществимыми планами, и пластинками экспериментальной музыки, и метафизическими восторгами, и нежными маленькими заботами, он делал нарядными ее дни, как бы завешивал разноцветными занавесками окна времени, играл с нею и разрешал играть собой, уходил к Франсине и возвращался с полным собранием сочинений Роберто Арльта, к тому же время делало свое дело, установилась привычка, такая миленькая квартирка, уже не надо было ничему учиться, ни учить, было вдоволь здоровья и здорового смеха, прогулок под руку по Парижу, встреч с друзьями, был Маркос, сдержанный немногословный кордовец, который что-то часто стал захаживать, разговаривать, приводить Лонштейна, рассказывать об агитпропе, о вое, о спичечных коробках, да так, будто говорил только для нее, хотя Андрес полагал, что это прямо касается его, но почему же «будто», лицемерная полечка, она только что ощутила это, до сих пор ощущала как бы кожей небрежные кордовские интонации Маркоса, говорящего прежде всего для нее, для того, чтобы она поняла, что происходит, пусть это пока не столь существенно, но в конце-то концов будет Буча, полечка.

Я почувствовал, что она отдаляется, поворачивается ко мне спиной, good night, sweet prince, good night, little thing [3], я легонько погладил ее спину, попку и передал ее сну или бессоннице, и, как всегда после долгого разговора, я ее хотел, но знал, что в эту ночь я встречу только покорный механизм, нет, ни за что, go to sleep [4], sweet prince, они в самом деле свихнулись на этих спичках, только подумать, что в Биафре, но нет, че, так ты не уснешь, да еще Лонштейн со своими придорожными богами, что-то не клеится, братец, я же мог остаться дома и слушать «Prozession», зачем мне поддаваться на волну Маркоса, они сумасшедшие, убери волосы, Людлюд, они лезут мне в глаза, ох, извини, я спала, и мне что-то снилось, не извиняйся, глупенькая. мне нравятся твои волосы, спи, забудься, да, Андрес, да.

Теперь, например, кафе у Порт-де-Шамперре, Мануэль совсем ошалел от кусочков сахара и ложечек, гоп-гоп, лошадка /поехали в Вифлеем/, не трудись, этот ребенок не уснет даже от фильма Пазолини, и сквозь платаны на площади вечереющее небо, нежный ветерок, который уносит моего друга в край воспоминаний, к сумеркам в пампе, far away and long ago [5], но в то же время он внимательно наблюдает за тем, что происходит за столом, да почти ничего, вот только Мануэль, хотя так или иначе, думает мой друг, о чем-то они должны заговорить, не зря ведь Ролан и Маркос провели главную часть совещания, не пригласив Лонштейна (а кстати, и меня и Людмилу, но Людмила не может, because [6] занавес поднимается, и с

[1] высокой моды *(франц.)*.
[2] Спокойной ночи, милый принц *(англ.)*
[3] спокойной ночи, милый принц, спокойной ночи, малышка *(англ.)*.
[4] засыпай *(англ.)*.
[5] в дальнюю даль и в дальнее прошлое *(англ.)*.
[6] потому что *(англ.)*.

половины девятого идет славянская меланхолия), то есть в кафе у Порт-де-Шамперре, совсем не в их районе, они засели не для того, чтобы дружески посудачить о том, что творится в мире, сеньор, можете себе представить, донья, хотя покамест самое яркое, что мог отметить мой друг, это погремушка, которой Сусана судорожно трясет, дабы отвлечь Мануэля от снующих вокруг столика выутюженных брюк. И так проходит с полчаса, пока из автобуса № 92 не выходит Гомес и, фактически не здороваясь, подает Маркосу две телеграммы, которые тот прочитывает и без комментариев передает Сусане (над этой девушкой они иногда подшучивают), чтобы она их перевела для Люсьена Вернея, Моники и Ролана, этих закоснелых французов, которым лень сделать малейшее усилие, чтобы изучать языки, хотя так легко понять «ПАПОЧКЕ ЛУЧШЕ ТОЧКА ЦЕЛУЮ КОКА» (это из Буэнос-Айреса) и «A BANANA DO BRAZIL NAO TEM CAROÇO» [1], посланную из Лондона, тексты исключительно идиотского содержания для непосвященных, однако же их элементы складываются в тот смысл, что некий Оскар Лемос прилетает в Орли и везет с собой некие вещи, не слишком напоминающие молочные ириски, чем отчасти объясняется то, что не пригласили Лонштейна (и меня) явиться раньше в кафе у Порт-де-Шамперре, ибо еще неизвестно, насколько Лонштейн, хотя Маркос говорит «да», но он не спешит и до самого конца предоставит Лонштейну требовать меню или благодарить официанта, в таких случаях обычно можно повременить, но придет момент, когда надо определиться, как может произойти с Людмилой (или со мной, но тут мы еще посмотрим), вот по этим-то причинам у моего друга создается впечатление, что кафе у Порт-де-Шамперре — вроде двускатной крыши с острым коньком, и теперь что-то произойдет,— хотя с виду все идет нормально и Мануэль путешествует от стула к стулу, к ужасу Ролана и Люсьена Вернея, которые уже давно предвидят смачный плевок на незапятнанный лацкан, уж не говоря о лужице, растекшейся без предупреждения вопреки гарантиям розовых резиновых трусиков. Что касается лондонской телеграммы, то, конечно, это Эредиа, который почему-то возвращается из города, где, судя по предыдущим письмам и открыткам, он жил великолепно, и посему мой друг вполне самостоятельно делает вывод, что личинка Бучи, видимо, на грани превращения в мотылька, хотя ожидать большой последовательности от этого веселокрылого существа не приходится, достаточно посмотреть, что творится за этим столом (мысленный чертеж моего друга), но прояснить удается очень мало, разве лишь то, что эксперты ЮНЕСКО называют



[1] бразильский банан не имеет косточки *(порт.)*.

«групповым напряжением», а именно тот факт, что Люсьен Верней явно нервничает, ведь за этим столом для французов время течет гораздо ощутимей, чем для латиноамериканцев,— к счастью для кого, спрашивает себя мой друг,— а дело в том, что у наших никак не прекратится веселье из-за «ЦЕЛУЮ КОКА», и тогда Люсьен Верней смотрит на Ролана, который смотрит на Монику — краткая пассовка национальной солидарности,— хотя моего друга еще больше веселит мысль, что Моника, которая уже полгода живет с Гомесом и даже помогает ему клеить марки в альбомы, включилась в неспешное панамское течение времени, напрасно разрезанное пополам Фердинаном Лессепсом [1], каковой не случайно был французом, и Моника тоже не спешит, уж не говоря о том, что никто не сравнится с Патрисио в предложениях выпить еще по чашечке кофе, а это все равно что переводить часы назад. Даже в этом видна их слаборазвитость, бесится Люсьен Верней как раз в тот момент, когда Маркос небрежно роняет первую фразу, которую все выслушивают с совсем другим видом, вот это да, это уже Буча, думает мой друг, теперь игра идет всерьез, приходят телеграммы, ergo [2], каша заваривается круче, решаются логические задачи, вроде: Оскар прилетает в четверг в тринадцать часов, надо приготовить партию из Венсенна, Эредиа приземляется сегодня вечером в Ле-Бурже, уберите от меня этого мальчишку, он лягается так, что проткнет мне живот. Это он от любви, объясняет Сусана. Во-первых, муравьи, наверно, уже знают, говорит Маркос, так что atenti al piato [3], с Венсенном не должно быть ни малейшей промашки. Бабочбуча, думает мой друг, стремится вылететь без излишних метаний, и он ощущает нечто похожее на жалость, на смутное щемящее чувство в устье желудка, значит, Буча, это она, теперь муравьи полезут со всех сторон со своими жвалами, со своими долларами; возможно, я в последний раз вижу их всех вместе за столом в кафе, вижу, как они передают Мануэля с рук на руки поверх чашек и блюдец. Мир тесен, говорит Ролан, обращаясь к Патрисио, он оторвал кусок «Геральд трибюн» и передал ему, здесь тоже у муравьев будет работенка. Никто не просит Сусану перевести, заметка на английском, а французы, разумеется, люди культурные, тем паче латиноамериканцы, английский — это язык будущего, и, хочешь не хочешь, родители тебя заставляют его учить, надо же, сынок, думать о будущем, о стипендии и прочее.

BRAZILIAN LEFTISTS KILL GUARD, KIDNAP BONN AMBASSADOR

RIO DE JANEIRO, June 12 (AP).— Leftists terrorists kidnapped the West German ambassador last night after brocking his car, killing a Brazilian quard in a gun battle and wounding another security agent.

A third security agent and the ambassador's driver were not hurt.

Police said that four men and a woman abducted ambassador Ehrenfried von Holleben and that five cars were used in the kidnapping.

Officers said that the terrotists pulled the ambassador from his car and drove away with bullets still flying.

Later, the police said that nine men and a woman participated in the kidnapping.

The kidnappers killed a guard sitting in the front seat of the ambassador's car when he drew his gun.

They also riddled with bullets a station wagon in which two security agents were riding behind the car, wounding one of them.

In pamphlets left behind, the terrorists said that they would hold Ambassador von Holleben hostage for the release of political prisoners but they did not say how many. The demand was signed by the Popular Revolutionary Vanguard, one of several leftists terror groups that are active in Brazil. Sixteen hours later, no word still had been received from the kidnappers.

[Reuters reported that the Jornal do Brazil, a Rio de Janeiro daily newspaper, had received a telephone call, allegedly from one of kidnappers. The caller said that a letter had been left at a suburban train station. Police are investigating.] [4]

---

[1] Фердинан Лессепс (1805—1894) — французский инженер и дипломат, возглавлял акционерное общество по прорытию Панамского канала, которое скандально обанкротилось (отсюда «Панама» как обозначение жульнической аферы).

[2] значит *(лат.)*

[3] Здесь: берегитесь козявок *(искаж. итал.)*.

[4] Бразильские левые террористы, убив охранника, похитили посла ФРГ. Рио-де-Жанейро, 12 июня (АП).— Левые террористы в эту ночь похитили западногерманского посла, остановив его машину, убив в перестрелке охранника-бразильца и ранив другого охранника. Третий

По временам мой друг совершает ошибку: вместо того чтобы протоколировать — такую миссию он себе отвел и, по-видимому, неплохо ее выполняет,— он устраивается за столиком в кафе или в гостиной с мате и рюмкой водки и не только протоколирует, но анализирует — о, несчастный! — судит и оценивает — о, противный! — нарушая труднодостижимое равновесие, которое до сих пор он поддерживал в деле компиляции и накопления карточек — кесарю кесарево — и прочих таблиц и перечней,— вот и теперь, когда Гомес уже минут десять протестует против буржуазной музыки, включая экспериментальную, электронную и конкретную, панама-упорно отстаивая искусство с участием масс, пенье хором и прочие способы пересадки канарейки в аорту народа. Не то чтобы Гомес был глуп и мечтал о Шостаковиче или Курте Вайле, но трудность той музыки, которую, например, Андрес пытается заставить его слушать, кажется ему доказательством, что капитализм lato sensu [1] и здесь старается и до последнего издыхания будет стараться автоматически создавать элиту во всех областях, включая эстетику. И именно в этот момент моему другу вздумалось заметить (вместо того чтобы точно записывать, что сказано Гомесом и остальными, тусующимися в бистро мадам Северин), что некий Терри Райли, янки, на первый взгляд, идеальное воплощение всего того, что Гомес клянет с яростными спиралевидными жестами, является автором одного сочинения (и многих других), в коем контакт с публикой («народом» Гомеса) самый быстрый, простой и эффективный, какой только приходил на ум кому-либо, начиная с Перотена или Жиля Беншуа [2]. Grosso modo [3] (о деталях моему другу не хочется расспрашивать Андреса, который сразу же превращается в энциклопедию), идея Райли состоит в том, что кто-то начинает бесконечно повторять две-три ноты на фортепиано, и постепенно, один за другим, вступает каждый, кто способен бренчать на каком-либо инструменте согласно партитуре, доступной даже сурку. Когда исполнителю надоедает играть свои две или три ноты, он переходит к двух-трем следующим, также весьма немудреным, а тут кто-то другой или другие в свою очередь вступают с первым рядом нот; так каждый исполнитель, по своему умению и разумению, проигрывает секвенцию из тридцати или сорока мелодических элементов, но поскольку каждый вступал, когда хотел, и менял тему, когда ему вздумается, то минут через десять после начала музыкального исполнения в него включается масса музыкантов, играющих каждый на свой страх и риск, а минут через сорок или вроде того уже не остается ни одного, все они завершают последний ряд нот и в конце концов умолкают; финал — это всегда самое приятное, ибо совершенно невозможно предвидеть, чем завершится исполнение, проиграет последние ноты скрипка, или барабан, или гитара, а фортепиано упорно долбит свое с педалью вместо коагулянта. Ну и ну, говорит Гомес, но ведь это получится жуткая дребедень, хорошенький винегрет ты мне тут предлагаешь, парень. Да уж, признает мой друг, но, во всяком случае, ты можешь собрать десятка три парней, объяснить им технику, и они в течение часа разведут

охранник и водитель машины не пострадали. Полиция сообщила, что посла Эренфрида фон Голлебена увезли четверо мужчин и одна женщина и что похитители ехали на пяти машинах. Офицеры полиции говорят, что посла вытащили из его машины и увезли, когда перестрелка еще продолжалась. Позже полиция сообщила, что в похищении участвовали девять мужчин и одна женщина. Похитители убили охранника, сидевшего на переднем сиденье, в тот момент, когда он доставал пистолет. Они также обстреляли автомобиль, в котором ехали два охранника, сопровождавших посольскую машину, и одного из них ранили. В оставленных террористами листовках говорится, что они будут держать посла фон Голлебена в качестве заложника, чтобы обменять его на политзаключенных, однако количество последних не указано. Требование подписано Народным революционным авангардом, одной из нескольких террористических групп, действующих в Бразилии. Шестнадцать часов спустя от похитителей еще не было получено никаких новых заявлений.

[Рейтер сообщает, что в редакцию «Жорнал до Бразил», ежедневной газеты, выходящей в Рио-де-Жанейро, позвонил неизвестный, предположительно один из похитителей. Он сказал, что на пригородной железнодорожной станции оставлено письмо. Полиция ведет расследование.]

[1] тайно, скрыто *(лат.)*.

[2] Французские композиторы начала XIII века.

[3] Грубо говоря *(итал.)*.

такую музыку, что чертям тошно станет, а коли захочешь расширить круг, пригласи всех жителей Боки или Риверы устроить «Терри Райли» в воскресный вечерок, раздай им индейские флейты, всякие нетрудные, дешевые волынки; читать ноты умеют почти все, уж не говоря о том, что имеются цифровая и буквенная системы и прочие упрощения. Это полный идиотизм, говорит Гомес. Возможно, что идиотизм, говорит мой друг, но, с твоей революционной точки зрения, это музыка, которая более всякой другой приближена к народу, раз он может ее исполнять, тут есть и сопричастность и веселье и всеобщая раскованность, долой оркестр и публику, теперь они тождественны, и, говорят, на концертах Райли молодежь веселится как сумасшедшая. Но это же не искусство, говорит Гомес. Не знаю, говорит мой друг, во всяком случае, это народ и, как превосходно сказал Мао, одним словом, увидишь.

Мы проснулись после одиннадцати, почтальон позвонил дважды, продемонстрировав еще раз, что природа подражает искусству, но какому искусству — жалкая открытка, взяв которую, я опять улеглась, так как еще не выспалась. Андрес, воспользовавшись моим отсутствием, стащил мою подушку, теперь он сидел и курил, волосы свисали ему на глаза. «London suinginn biutiful plenti богачек, готовьте мате, quises [1], Чарльз». Это остолоп Эредиа, сказал Андрес, едва уложил чемодан, и уже подавай ему мате, кстати о мате, неплохо бы нам глотнуть крепенького. Уж мы знаем, на что намекает твое множественное число, сказала я, устраиваясь без подушки и пытаясь найти теплое местечко. Ладно, мате заварю я, но я должен тебе рассказать свой сон, Люд, прежде чем он рассеется, такой странный сон. Юнг [2] слушает и толкует, сказала я, уверенная, что ему снились поезда.

Нет, то были не поезда, а кинотеатр, и то, что там произошло, надо рассказать побыстрей, почти болезненная потребность закрепить это словами, хотя, как обычно, останется лишь нечто вроде гипсовой маски на чем-то таком живом, антиматерия того, что с головокружительной скоростью удаляется, оставляя лишь клочья и, возможно, вымыслы, мне снилось, Люд, что я пошел в кино с другом, с кем, не знаю, лица его я не видел, посмотреть фильм ужасов Фрица Ланга; кинотеатр — огромный зал, совершенно нелепый, который мне снился уже не раз, я тебе, кажется, о нем рассказывал, там два экрана, расположенных под прямым углом, так что можешь садиться в разных секторах партера и выбирать один из экранов, а секторы пересекаются бог весть как, кресла тоже поставлены то под прямым углом, то еще как-нибудь, в духе Алвара Аалто [3], и я без конца ищу место, откуда мне будет хорошо видно, но все оказывается или слишком далеко, или что-то заслоняет мне экран, тогда я опять встаю, теряя из виду друга, а кто это был, черт его знает, вспомнить не могу. И вот начинается фильм, сцена в суде, там женщина с лицом дефективной, вроде Эльзы Ланчестер,— вспоминаешь ее? — она что-то выкрикивает, сидя на скамье не то подсудимых, не то свидетелей, а я все сижу как-то боком и пытаюсь найти более удобное кресло, как вдруг ко мне подходит капельдинер, этакий типичный молодой человек с усиками бармена отеля «Хилтон», в белом пиджаке, и предлагает следовать за ним. Я ему говорю, что, мол, хочу посмотреть фильм (знаю, что я упомянул название, там, кажется, было слово «полночь»), тогда капельдинер с жестом досады или нетерпения властно указывает мне на выход: я понимаю, что надо идти за ним. Пока мы идем по залам, одному, другому, третьему, это мне тоже снилось много раз, нечто похожее на частный клуб, капельдинер извиняется за свою суровость. «Я был вынужден так поступить, сеньор, тут один кубинец хочет вас видеть»,— и он ведет меня ко входу в почти совсем темную комнату.

[1] Лондон поют очень красиво много... целую *(искаж. англ.)*.

[2] Карл Густав Юнг (1875—1961) — швейцарский психолог и психиатр, в 1907—1912 гг.— один из ближайших сотрудников Фрейда, занимался проблемой психоанализа.

[3] Алвар Аальто (1898—1976) — финский архитектор и дизайнер, повлиявший на развитие «органического» стиля в мировой архитектуре.

— Хальт! — приказал доктор Юнг.— Насчет кубинца это элементарно: вой, сопротивление, все вчерашние разговоры, нечистая совесть, которая угнездилась в нашем доме.

— Не перебивай меня, Люд, не то все улетучится, сейчас будет то, что трудней всего объяснить, уложить в ячейки проклятого словесного улья. В общем, я как бы знаю, что пропускаю фильм с тайной, который так хотел увидеть, и в то же время и по той же причине я сам включаюсь в эту (или в другую) тайну. Капельдинер остановился и указывает — удивительно, как я все это вижу, Люд,— указывает мне в полутемной комнате лежащую на диване фигуру; я едва различаю ноги человека, который хочет со мной поговорить. Я вхожу в комнату один и направляюсь к кубинцу. А теперь, погоди, погоди, теперь будет самое невероятное — я совершенно четко знаю, что в этой части не забыл ни одной сцены, но вдруг, когда я приблизился к человеку, который меня ждет, сцена обрывается, а за нею следует момент, когда я уже выхожу из комнаты, после того как поговорил с кубинцем. Понимаешь, такой удивительный киномонтаж. Я совершенно уверен, что говорил с ним, но такой сцены не было, и дело не в том, что я ее забыл, старушка, нет, там была купюра, и в этой купюре что-то произошло, и вышел я с чувством человека, которому поручена какая-то миссия, но, зная это, а главное, чувствуя, я также знаю, что ни малейшего понятия об этой миссии не имею, извини, рассказываю как могу, у меня, понимаешь ли, нет никакого представления об этой встрече; сцена оборвалась, когда я подходил к дивану, но в то же время я знаю, что должен, не теряя времени, что-то сделать, то есть, возвратясь в кинозал, я одновременно действую и внутри и вне фильма Фрица Ланга или любого фильма тайны, я одновременно и фильм, и зритель фильма. Заметь, Люд, это здесь прекрасней всего (убийственно для меня, но прекрасно, если рассматривать это как образец сна), я, несомненно, знаю, что мне сказал кубинец, раз мне надо выполнить какое-то задание, и в то же время смотрю на себя самого с любопытством и интересом человека в самый захватывающий момент триллера, так как уже не знаю, что мне говорил кубинец. Я раздвоился, один «я» пришел в кино, другой замешан в типично кинематографическую путаницу. Но о раздвоении я говорю теперь, наяву, во сне же у меня не было никакой двойственности, я был я, такой, как всегда, теперь я четко сознаю, что, вернувшись в зал, чувствовал в едином блоке все то, что теперь разрезаю на куски, чтобы можно было хоть частично тебе объяснить. Мне чудилось, что я смогу узнать, что мне говорил кубинец, лишь благодаря поступку, который я должен совершить, этакая инверсия причинной связи, сама понимаешь, совершенно абсурдная. Есть некий механизм триллера, но я должен в нем действовать и в то же время им насладиться: детективный роман, который я пишу и одновременно живу в нем. И как раз в этот момент меня разбудила треклятая открытка Эредиа, этого чертова бразильца.

— И тебе тоже разрушили твой Кубла-Хан [1],— сказала Людмила, целуя меня в затылок.— Признаю, что проблема судьбы, стучащейся в дверь, заслуживает глубокого размышления. Но какой странный сон, прямо мороз по коже подирает.

— Сам не пойму, однако теперь, как подумаю, мне кажется, что звонок почтальона сильно все исказил: вероятно, я тогда вошел в ту размытую стадию почти всех снов, когда они утрачивают свою божественную гармоничность; заметь, что я не ощущал никакого фатального разрыва,— тяготило меня лишь то, что я согласился играть роль человека, у которого была важная встреча и который должен соответственно действовать, и в то же время я продолжаю быть неким типом, который, глядя на экран, так сказать, с самим собою, следит за таинственным действием, разгадка которого будет в финале. Итак, Эредиа возвращается. че, уверен, что и он

[1] Кубла-Хан — (1214—1294) — император монголов, завоевавший в 1279 году Китай. Английский поэт Сэмюэл Тейлор Колридж (1772—1834), увидев во сне сооруженный Кубла-Ханом дворец, описание которого читал перед тем, во сне же сочинил о нем поэму. Проснувшись, начал ее записывать, но нежданный визит прервал его работу, сохранился лишь фрагмент, остальное поэт уже не сумел вспомнить.

там, в Лондоне, занимался подделкой спичечных коробков или чем-то вроде этого, хотя в открытке он говорит только о женщинах. А как насчет глотка мате, Людлюд? Ты что, еще дуешься на меня, моя полечка?

— Нет, мой каркающий ворон, но не будем об этом говорить, я должна учить новую роль, а скоро уже полдень, не помню, говорила ли я тебе, что я чахоточная больная, которая живет в нескольких верстах от Москвы, кашляя и ожидая некоего Корученко, который так и не появляется, мне всегда достаются такие роли, зато теперь я могу спокойно простужаться и если чуточку поднажму, то могу еще и прибавку получить за мучительные приступы кашля. Не смотри на меня так, я и правда не хочу разговаривать, нам так хорошо, ноги у тебя тепленькие, и постель наша как надушенное иглу.

— Я тебя крепко люблю, полечка, и это единственное, чего ты не желаешь понять, что я тебя крепко люблю, но все же. Ладно, пусть так, в другой день. Если будет другой день, полечка.

Она не ответила, устремив глаза на розовое пятнышко на простыне, но, конечно, мысленно она мне отвечала, здесь купюр в сцене не было, упоминать Франсину бессмысленно, да и ни к чему, само молчание было вспышкой ясности — другого дня не будет, странным образом и этот день, и многие другие были последним днем, хотя мы будем и дальше просыпаться вместе, и резвиться, и целоваться — ритуальное повторение, останавливающее время, первый поцелуй в голову, рука на плече, бесполезное щадящее перемирие.

ЦЕЛУЮ КОКА, хотя, разумеется, подписавшая не звалась Кока, равно как Оскара никогда почти не звали Оскар, потому что это было его третье имя, но, не считая этих деталей, телеграмма была полна смысла для посвященных, как сумел иронически определить мой друг, и внезапно, между двумя подскоками Мануэля в кафе на площади, Буча становилась почти осязаемой, целую Кока и banana do Brazil, разъехавшиеся во все концы наши ребята, чтобы подготовить торжественную встречу. Об этом толковали в другом кафе мой друг и Лонштейн, ибо Лонштейн был больше в курсе дел Бучи, чем можно бы предположить, вспомнив о его склонности к иконоборчеству и порой откровенной реакционности. Таким образом и переводя на добрый аргентинский то, что раввинчик называл тайнопереливанием и космозадним околописанием, мой друг сумел установить параметры ЦЕЛУЮ КОКА — то давнее знакомство, начавшееся в пансионе доньи Ракели в Сантос-Пересе, провинция Энтре-Риос, с помощью портеньи Коки (имя коей было Гладис) и с предбучей в виде королевских броненосцев и бирюзового пингвина.

— Экзотика открывает все двери,— объяснял раввинчик.— К примеру, ты преподносишь президенту Танзании эдельвейс, и через двадцать четыре часа он тебя принимает, че, так что идея с бирюзовым пингвином кажется мне вполне хитроумной. Прибавь к этому другие силы, о которых иные люди понятия не имеют, кроме Маркоса, да и тот не очень, раз сам Оскар,— думаешь, он-то понимает, что делает, и однако, как видишь, он вдруг посылает Маркосу газетную вырезку чисто живописного вида, и тут нужно быть мною, чтобы уразуметь скрытности, междуаргентинские перенаречия. Ты, наверно, уже понял, что я имею в виду интернат для несовершеннолетних в этом нелепом городе Ла-Плате.

Мой друг еще совершенно ничего не понял, но он уже привык поддакивать, чтобы раввинчик продолжал без помех свои каббалистические экзерсисы.

— Все дело в полнолунии,— объяснил Лонштейн,— и мой гриб растет, и несовершеннолетние девчонки удирают из интерната,— поди объясни людям вроде Гомеса или Ролана, что это тоже некая Буча, они плюнут тебе в лицо; потому-то я боюсь завтрашнего дня, че, когда нас уже здесь не будет, когда они останутся одни. Пока еще контакт есть, с ними еще можно разговаривать, но беда в том, что в один прекрасный день именно эти люди тебя же обругают. Сам Маркос, вот увидишь. В итоге.

— Объясни мне по крайней мере, что это за бирюзовый пингвин.

— Так я и думал,— сердито сказал раввинчик,— никто меня не спросит про гриб, который здесь рядом, в десяти кварталах, и, напротив, все

восхищаются и безумахают из-за какого-то пошлого пингвина. По-моему, пингвины — преотвратные твари, ты лучше спроси о них у Патрисио, он тебе объяснит, что делал Оскар во время стачек в Росарио и в кордовском деле.

Мысль была хороша, ибо Патрисио любил рассказывать с подробностями, и хотя роль Оскара в упомянутых акциях представала довольно неясной, это имело значение скорее для полиции и для службы безопасности, но не для Маркоса или Эредиа. Задача состояла в том, чтобы продолжать действовать, не идя на самосожжение, но, когда стало ясно, что любая деятельность Оскара в Буэнос-Айресе вызовет выброс пара из кипящей скороварки, некое влиятельное лицо устроило ему все, что было нужно, дабы он быстро превратился в стипендиата знаменитого Аргентинского общества защиты животных и отправился в Энтре-Риос под предлогом исследований мочеточников совы и других подобных почтенных тем. Там он устроился со своими книгами и пинцетами в пансионе доньи Ракели, устрашая ораву хозяйкиных дочек банками, где в формалине плавали всякие насекомые, да рассказами о вампирах и оборотнях, которые он приберегал для вечеров во дворе при лунном свете. В это время Гладис работала стюардессой в «Аэролинеас» и не могла просто так приезжать в Сантос-Перес, чтобы немного растормошить Оскара, он ходил унылый и не имел другого утешения, кроме Моньи, третьей дочурки доньи Ракели, милой крошки, которая сперва не хотела входить в комнату Оскара из-за сов в формалине, но уже помогала ему перекладывать их из банки в банку и рассматривать их поджелудочные железы и хромосомы этих бедных ангелочков. Вечера рассказов про оборотней были теплые, пахнущие жасмином во двориках пансиона, девочки с кухней и шитьем управлялись рано, телевизор работал только для старичком и кота Порото, постояльцы пансиона обнаруживали прелесть некоторых кресел, затаившихся среди цветочных горшков и колонн, девочки вдруг исчезали из виду, и часов в пол-одиннадцатого донья Ракель, в последний раз махнув посудным полотенцем по подносу, направлялась к калитке, пройдя по бесчисленным прихожим и дворикам, этой провинциальной шахматной доске с квадратами света и тени; из зарослей жимолости и герани до ее слуха доносилось приглушенное бормотанье, и в конце концов она укладывалась в постель, переполненная событиями дня, не преминув сказать — как однажды явственно услышали скрытые кустом жасмина Оскар и Монья: «Вот сукины дети, куда ни кинь, всюду парочки». Однако донья Ракель уже была не в силах бороться с ликантропией и менадизмом под влиянием полнолуния, в конце концов, какой смысл, если все равно они повыходят замуж за приезжих и банковских клерков, которые ценили воскресные пучеро [2] и прохладные, недорогие комнаты пансиона.

HOROSCOPE AVAIT PRÉDIT

LE COUP D'ÉTAT EN ARGENTINE

Dans les prédictions mondiales du № de juin, paru le 20 mai,

JEAN VIAUD

annonçait en page 15 le coup d'état menaçant l'Argentine.

AMÉRIQUE DU SUD: On peut s'attendre à de graves nouvelles concernant l'Argentine, puisque Neptune au Milieu du Ciel – est en carré avec l'Ascendant de Buenos-Aires. Cela présage des moments difficiles pour l'équipe en pouvoir.

Le 29 mai, l'ancien président Aramburu était enlevé et le 8 juin, la junte militaire renversait le général Ongania pour s'emparer du pouvoir.

UNE FOIS DE PLUS, L'AVENIR C'EST HOROSCOPE Chaque mois, HOROSCOPE guide votre vie avec la précision qui a rendu célèbres ses prédictions ACHETEZ VITE LE № DE JUILLET HOROSCOPE en vente partout le 20 du mois 120 f [1]

[1] «Гороскоп» предсказал государственный переворот в Аргентине. В предсказаниях на июнь о событиях в мире в номере, вышедшем 20 мая, Жан Вио предсказал на стр. 15, что Аргентине грозит государственный переворот. «Южная Америка: Можно ожидать важных событий в Аргентине, ибо Нептун в центре Неба — находится в квадрате, куда восходит излучение Буэнос-Айреса. Это предвещает трудные моменты для правительственной команды». 29 мая прежний президент Арамбуру был похищен, а 8 июня военная хунта свергла генерала Онганиа и захватила власть. Еще раз, Ваше будущее — это «Гороскоп». Каждый месяц «Гороскоп» ведет Вашу жизнь с точностью, которая прославила его предсказания. Спешите приобрести июльский номер. «Гороскоп» поступает в продажу 20-го числа каждого месяца. Цена 120 франков *(франц.)*.

[2] Мясо с овощами и турецким горошком.

Но полная луна светила не только во дворы Сантос-Переса; в эти дни Оскар послал Маркосу газетную вырезку взамен другого астрологического текста, который Маркос прислал ему вместе с кучей вопросов насчет возможности применения способностей старика Коллинса, и с этого момента Лонштейн смешивал все эти факты в некий метабучный салат, который моему другу приходилось разбирать на элементы, откладывая в одну сторону астрологическую заметку «Гороскоп» и вырезку, посланную Оскаром, и в другую — проблему старика Коллинса и фальшивых долларов. В первой части размещались уже изложенные сведения о пансионе доньи Ракели и заметка, посланная Оскаром Маркосу, которая пришла вместе со сведениями о старике Коллинсе и первой рабочей гипотезой о королевских броненосцах и бирюзовом пингвине, из чего наиболее интересной для моего друга и для раввинчика была заметка о полнолунии в городе

Ла-Плата: БУНТ В ЖЕНСКОМ ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Усиленные поиски 16 сбежавших девочек

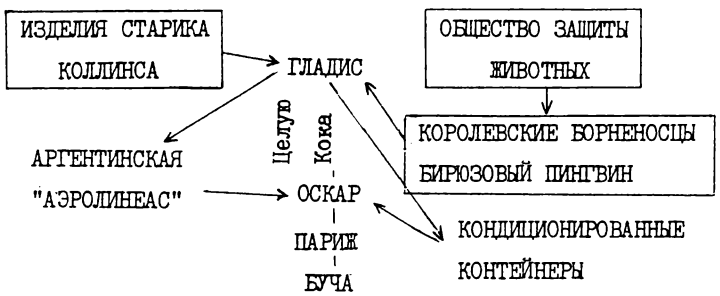
Полиция ведет усиленные поиски шестнадцати несовершеннолетних девочек, сбежавших во время бунта в интернате имени Рикардо Гутьерреса. В бунте участвовало около двухсот девочек, содержащихся в заведении на улице 120, между улицами 39 и 40.

— «Внезапное выключение света,— прочитала Сусана, переводя на французский для Моники и Ролана,— стало причиной ожесточенной баталии между персоналом интерната и девочками, которые в эти дни проявляли крайнюю нервозность». Оскар упоминает полнолуние, но сейчас вы увидите официальное объяснение и кстати оцените стиль хроникера. «Отсутствие света стало причиной хаотического зрелища — прежде всего группа девочек ринулась врассыпную по направлению к кухне, чтобы потом взломать дверь и выбежать на улицу. В то же время другие девочки пробили дыру в проволочной решетке кухонного окна и вылезли через него на пустырь, прилегающий к 41-й улице. Быстрое вмешательство полиции (воображаю быстроту этих поганцев, когда они почуяли некие приятные возможности) «воспрепятствовало повальному бегству и ценою больших усилий восстановило порядок». Гм. «При первом известии об этом событии на место происшествия прибыл начальник районного отделения полиции Ла-Платы, инспектор Хорхе Шоо, с подчиненным ему отрядом и с подмогой в виде взвода пожарников и персонала из второго комиссариата». Парни держались железно, сказал Патрисио. Эта часть мне нравится, заметила Сусана. «Завязалось настоящее решающее сражение» (а вы знаете, что значит «решающее сражение»?), «в течение которого полицейским пришлось действовать жестко и бесстрашно, дабы восстановить порядок, ибо расходившиеся девицы пребывали в величайшем нервном возбуждении». Бог ты мой, сказал Патрисио, вот уж будет через девять месяцев работенка для монахинь в ихнем лазарете. Это он по поводу жестких и бесстрашных действий полицейских и пожарников, сообщила Сусана Ролану и Монике. «Под конец, когда внешне воцарилось спокойствие, 24 девочки были переведены в женскую тюрьму под наблюдение врачей и будут содержаться там, пока власти не примут надлежащие меры». Никто никогда не узнает, почему репортер употребил наречие «внешне», однако вы послушайте конец, это лучше всего. «Технический секретарь Общего совета по делам несовершеннолетних не придал большого значения этому происшествию» (ну ясно, пустячок!), «заявив, что подобные волнения в интернатах для подростков — обычное явление накануне карнавала. Директриса заведения в свою очередь сообщила, что интернат рассчитан на 80 человек, а в действительности в нем теперь содержится 196 девочек и в ближайшие дни должны поступить еще 56». И несчастная женщина — это говорит

прибавила — дальше говорит хроникер,— «что причиной волнений была карнавальная реклама танцевальных вечеров в соседних клубах, от которой интернированные девушки впадают в безумие». Теперь вы понимаете, вы, двое, дети Корнеля и Расина, что такое третий мир. Ба, сказала Моника, если ты думаешь, что в некоторых заведениях в предместьях Парижа дело обстоит лучше, то я кое-что об этом знаю, меня в четырнадцать лет мои нежные родители отдали к монахиням в маленьком райском местечке близ Страсбура — им, видите ли, надоело ловить меня за чтением Сартра и Камю — ах, эта современная безнравственность! — монахини были жалкие тупицы, преисполненные благих намерений и дурных запахов, в общем, дело обычное, купаться в сорочке, «Аве, Мария», не задавай неприличных вопросов, это называется регулы, но об этом не говорят, сестра. Онорина даст тебе тряпочку и расскажет, как ее закладывать, возможно, тогда тоже было полнолуние, как говорит Оскар, помню, что было жарко, что меня застали с романом Селина, замаскированным ботаникой Эвилье и Монтери, затем наказали и еще наказали пятерых девочек за похожие провинности,— на беду монахинь, мы были очень популярны у младших девчонок, но, конечно, главной причиной было полнолуние, потому что, когда монахини спохватились, дело обстояло точно так, как в твоей газетной заметке, хотя без полицейских и пожарников; Маите́ и Жертрюд сломали замок зала, в котором мы были заперты, и мы с воплями и песнями выбежали во двор, где росли апельсиновые деревья; младшенькие, которым уже полагалось ложиться спать, прорвались мимо сестры Мари-Жанны, и вдруг все мы оказались во дворе, под сенью апельсиновых деревьев, мы водили хороводы и что-то распевали — точь-в-точь как в том польском фильме, где монахини валятся наземь, будто пикирующие самолеты,— и вот монахини хватают нас за волосы, за сорочки, бьют кулаками по лицу, они были в такой же истерике, как и мы, а младшие давай вопить и плакать, ни за что не хотели нас покидать, и вдруг все остальные старшие девочки полезли через окно дортуара на втором этаже и, цепляясь за ветви росшего рядом дерева, стали спускаться вниз — мне никогда не забыть это дерево, осыпанное девочками, этакими белыми фруктами, которые сыпались вниз одна за другой и бежали во двор; первой с ремнем в руке появилась сестра Клодина — это можно было предвидеть,— другие Бог весть где раздобыли веревки и плети, они принялись нас стегать и сгонять к двери в трапезную, подальше от входа в актовый зал, чтобы они могли нас запереть, младшие с ревом и визгом разбежались, и нас, старших, осталось у стены не более двух десятков, семеро монахинь остервенело нас стегали, защищаться было нечем, как вдруг я увидела, что Маите голая, она сорвала с себя сорочку и швырнула ее в голову сестре Онорине, так же поступила Жертрюд, а монахини все больше впадали в неистовство, хлестали так, что оставались следы, и вдруг я слышу какой-то шлепок — красная тряпка угодила прямо в лицо сестре Фелисе, это называется регулы, четыре или пять девочек швыряют гигиенические тряпки в головы монахиням, я разделась догола, то же сделали почти все старшие, свернув сорочки жгутом, мы отвечали на удары, подбирали с земли вонючие, затоптанные тряпки и снова бросали их, норовя попасть в рожи монахиням. Тут во дворе показался садовник с палкой, но сестра Мари-Жанна закричала ему, чтобы он ушел, ну прямо смех разбирал, какая дилемма стояла перед этой гусыней,— не дай Бог, он, мужчина, увидит нас голыми, а Маите подбежала к садовнику и стала перед ним, преграждая ему дорогу, она была самая старшая, груди у нее были торчащие, пухлые, она тыкала ими в лицо садовнику и орала песни, монахини, защищая нравственность, кинулись к ней, садовник опешил, началась заключительная фаза истерики, рыданья, мы все вдруг устали и бегом возвратились в свои дортуары, волоча по полу сорочки, жалкие победительницы в свете полной луны, сиявшей меж апельсиновых деревьев; через неделю я снова была дома, и, если хотите знать, Маите теперь одна из лучших танцовщиц в Лидо, да, эта девочка сделала лучшую карьеру, чем я.

— Если бы ты прекратила автобиографические подробности,— сказал Ролан,— мы бы смогли поговорить о чем-нибудь полезном, я, например, никак не возьму в толк, зачем Оскар посылает эти газетные вырезки и всякие там полнолуния, которые вас так возбуждают.

Потому что он поэт, подумал мой друг, но он ошибался — Оскар, напротив, погряз в самой что ни на есть прозе со стариком Коллинсом и Обществом защиты животных, изобретенным по стратегическим соображениям; задача состояла в том, чтобы эффективно соединить старика Коллинса с королевскими броненосцами и бирюзовым пингвином (и, офкорс [1], с Оскаром, ибо именно Оскар должен был привезти этих экзотических животных, а остальное было делом Маркоса): схематически это выглядело так:



Особых трудностей не было; Гладис взялась поддерживать контакт со стариком Коллинсом после тайного визита, нанесенного ему Оскаром, чье повторное появление в Бернале могло бы возбудить у полиции дурные предчувствия, и старик согласился передать Гладис фальшивые доллары за некую сумму, которую Общество защиты животных собрало не без труда, поскольку членов всего-то было четверо, включая Оскара и Гладис; идея заключалась в том, что доллары старика Коллинса стали в его городе более чем горящими, палеными, после того как некий меняла в центре выудил одну купюру чуть менее зеленую, чем «made in Washington», но изделия старика не подверглись бы слишком строгой критике в зонах более девственных в смысле Коллинса, и двадцать тысяч долларов, напиханных в двойную перегородку кондиционированных контейнеров, специально изготовленных членами Общества защиты животных, можно было бы без риска погрузить в самолет компании «Аэролинеас», всегда стремящейся познакомить заграницу с лучшими образцами национальной культуры и с разнообразием аргентинской фауны — в данном случае с парой королевских броненосцев и бирюзовым пингвином, которых ввиду особой чувствительности их организма требовалось перевозить в упомянутых кондиционированных контейнерах под наблюдением и постоянной опекой ветеринара Хосе Карлоса Оскара Лемоса, каковому, кроме сложной операции при выгрузке, предстояло заниматься адаптацией животных в другой среде и торжественной их передачей директорату зоопарка в Венсенне, откуда на двух страницах с подделанными Коллинсом штампами известили, что с благодарностью принимают столь щедрый дар от Общества,— что побудило тронутого до глубины души служащего «Аэролинеас» в конце концов заявить, что он будет счастлив дать разрешение — еще бы! — на погрузку вышеупомянутых животных — ну как же! — и сопровождающего их ветеринара, но последнего, разумеется, с предварительной оплатой проезда из рук в руки, и дело с концом.

— Вот так все и было,— сказал Патрисио, очень довольный ясностью своего изложения. Мой друг поблагодарил — а что ему еще оставалось?

Было пустое, мертвое время между десятью и двенадцатью утра, и, видимо, потому, что оно было пустым, Маркосу не пришло в голову ничего

[1] От английского of course — конечно.

интересней, чем подняться на пятый этаж в мою кв. именно тогда, когда я погружался (sic!) в девятую главу одного из тех французских романов, где все как на подбор невероятно умны, особенно же читатель, по каковой причине я не слишком обрадовался, когда меня резким звонком вырвали из чтения, и как поживаешь, Андрес, я пришел одолжить у тебя машину, но спешки нет, если хочешь, можем немного поболтать. Беседа началась с глубокой мысли, вроде тех, какие обсуждались в романе,— между стаканом вина и чашечкой кофе мы толковали о том, почему говорят «мертвое время» и «убивать время», а именно о таком намерении заявил, войдя, этот кордовец,— или о последнем выступлении Онгании, которое в изложении и в переводе «Монд» выглядело совершенно пустопорожним. Я всегда был эгоистом и злюсь, когда меня вдруг отрывают от музыки или от чтения, а в это утро получилось и того хуже, ибо французский роман служил неким успокоительным, чтобы хоть отчасти приглушить «до свиданья», брошенное Людмилой, когда она отправилась к Патрисио и Сусане мастерить спички или что-то в этом роде, ее отчужденную улыбку меж двумя глотками мате, а главное, еще одну бесполезную попытку вконец бесполезного диалога накануне вечером, перед сном. Интересно, понимает ли Маркос все это, меня раз или два подмывало заговорить с ним про сон о Фрице Ланге, но мое желание постепенно рассеивалось в ходе разговора, который подспудно включал в себя отсутствие Людмилы, ее «до свиданья», брошенное на пороге как бы через плечо, ее красные туфли; возможно, не по чистой случайности Маркос заговорил о женщинах и из клубов табачного дыма все смотрел на меня и все говорил о женщинах,— да, мы и впрямь замечательно убивали время.

Суть нашего разговора:

— Я им всем отравлял жизнь,— говорит, к примеру, Маркос.— Вероятно, попросту требуешь невозможного, или тебе не везет, ты не способен выбрать. И все же дело тут не в умении выбирать, ведь в других отношениях я не могу пожаловаться, напротив. Но восторгов не встречаю, чего нет, братец ты мой, того нет.

— Твоя идея о восторгах очень мне напоминает образ мыслей тарантула,— говорю я.— Для тебя увидеть что-то привлекшее твое внимание означает тут же пуститься плясать и бить в ладоши. Пресловутую микроагитацию ты начинаешь у себя дома, че, а вот я, например, не требую, чтобы женщина сразу принималась ахать от музыки Ксенакиса [1] или от холста Макса Эрнста [2]; у них, брат, свой особый метаболизм, и еще неизвестно, может, они в глубине души даже больше способны восторгаться, чем мы, только не следует смешивать эмоции с гимнастическими телодвижениями.

— Мне кажется, будто я слышу речи Сони, Магдалены, Люсии,— говорит Маркос,— не буду называть имена дальше, а то еще ты подумаешь, будто я прикидываюсь этаким Фрэнком Харрисом [3]. Видишь ли, восторг — это вспышка, это кризис, это выход из себя, чтобы полнее воспринять то, что вывело тебя из равновесия, а восторгов атараксических [4] я не понимаю, во всяком случае, это что-то другое, это сосредоточенность или духовное обогащение, как тебе угодно, но не восторг; я не могу по-настоящему полюбить человека, не способного во всякий час дня или ночи ошалеть от радости, узнав, что в кинотеатре на углу идет фильм с Бестером Китоном. Вот в таком духе.

— Теперь я понимаю, старик, почему они у тебя так недолговечны.

— К примеру, вчера, когда ты предложил пойти поесть хрустящего картофеля на Севастопольском бульваре и прогуляться по району Биржи, Людмила, ты же помнишь, запрыгала от радости, глаза у нее стали как блюдца, и вся она, ну прямо как гитара, трепетала и вибрировала, и не из-за

---

[1] Яннис Ксенакис (род. в 1922 г.) — греческий композитор, живущий во Франции.

[2] Макс Эрнст (1891—1976) — немецкий художник, живший и умерший во Франции.

[3] Фрэнк Харрис (1856—1931) — англо-американский писатель, чья автобиография, вышедшая в конце 20-х годов, изобилует описаниями его любовных похождений.

[4] Атараксия — в древнегреческой философии — невозмутимость, состояние душевного покоя.

твоего Макса Эрнста или Ксенакиса, а всего лишь из-за хрустящего картофеля и прогулки до рассвета, из-за таких вот пустяков.

Я преспокойно смотрю на него, пусть договаривает до конца, но Маркос опускает голову над стаканом, и завеса его волос, густых-прегустых, отделяет его от меня.

— Да, Людмила всегда так реагирует,— соглашаюсь я.— Я люблю ее не за это, но это тоже имеет значение, еще бы! Она и теперь способна очертя голову броситься в омут. Видал я ее, когда она, вся мокрая, как кутенок, забивалась в угол и день за днем вылизывала шерстку, пока снова не обнаружит, что солнце восходит в полседьмого.

— Никто не требует, чтобы женщина пребывала в постоянном пароксизме, и если ты думаешь, что я не бросаюсь в омут... Не в этом суть, но есть некие константы, скрытые свойства, назови как хочешь. По мне, способность к восторгу должна быть константой, а отнюдь не исключением или праздничным днем для чувств. С Люсией и с Магдаленой было именно так, и не их, бедняжек, в том вина, просто их одолевало какое-то равнодушие, но самое худшее, старик, не это,— говорит Маркос, протягивая мне пустой стакан,— самое худшее, что способности к бурным проявлениям чувств они не лишены, о нет, только они норовят употреблять ее в отрицательном смысле, то есть когда им что-то не нравится и все идет плохо в политике или на кухне, вот тогда они способны чертыхаться, негодовать, быть красноречивее Стокли Кармайкла [1]. У них, видишь ли, мотор крутится наоборот, я хочу сказать, что они чемпионки в том, чтобы тормозить,— не знаю, понял ли ты меня. Ну, например, если завтра или послезавтра я буду здесь и услышу, что Людмила чертыхается из-за сломанной молнии, я сочту это вполне оправданным, вспомнив про хрустящий картофель, да, у нее есть полное право проклинать все на свете, раз она раньше прыгала до потолка и была счастлива, что ты поведешь ее есть хрустящий картофель и бродить по улицам.

— С таким настроением ты, пожалуй, влюбишься в Людмилу,— сказал я ему напрямик, еще, видно, и потому, что Маркос был абсолютно прав, а это никому не может понравиться.

— Почему бы и нет,— сказал Маркос.— И не только из-за восторгов, как ты сам прекрасно понимаешь.

— По сути, ты хочешь, чтобы женщина в своем эмоциональном поведении походила на мужчину, чтобы она на все реагировала, как ты. Вчера ты был в таком же восторге от хрустящего картофеля, как и Людмила, и, естественно, тебя донельзя восхитило, что она делала и говорила то же, что и ты.

— Не совсем так,— сказал Маркос.— Дело не в том, что я хочу тех же реакций, это было бы скучно, я, по-моему, говорил о готовности, о скрытой способности, так, чтобы взрыв происходил в должный момент, а причины вовсе не должны совпадать, женщины, конечно, восхищаются другими вещами и т. д.,— сам понимаешь, я не стану прыгать от радости перед витриной с модными летними платьями.

— Гм,— сказал я.

— Что — гм? — спросил Маркос.

— Я с тобой согласен, что ледышка, она и есть ледышка, будь она во всех других отношениях чудо, а не женщина.

— Если она ледышка, то чудом уже быть не может.

— Позволь договорить, че. Должен заметить, что то, что ты называешь взрывом или восторгом, есть свойство преимущественно мужское, особенно у взрослых, ведь всем известно, что ребенок в мужчине сохраняется дольше, чем в женщине.

— Пусть так, во всяком случае, я всегда буду искать тех женщин, которые каждые пять минут, выражаясь фигурально, изобретают самолет или подводную лодку, которые, увидев лист бумаги и ножницы, не преминут вырезать кролика, которые, стряпая, льют на сковородку мед вместо масла, чтобы посмотреть, что станет со свиными ребрышками, и которые то и дело мажут губы тушью, а ресницы помадой.

[1] Стокли Кармайкл (р. 1941) — американский юрист, защитник негров, был лидером партии «Черные пантеры».

— Mutatis mutandi [1], ты желаешь, чтобы они были, как ты, не считая туши.

— Не то чтобы были как я, но чтобы ежеминутно помогали мне чувствовать себя самим собою.

— Короче, требуются музы.

— Это не из эгоизма и не потому, что мне нужны рычаги, чтобы перевернуть мир. Просто, когда я живу с женщиной пассивной, это меня мало-помалу приводит в уныние, пропадает охота заваривать свежий мате, горланить песни в ванной, все время как бы слышишь глухой призыв к порядку, чтобы каждая вещь на своем месте, канарейка скучает, молоко не убегает на плиту, прямо жуть.

— Да, понимаю, иногда я это испытывал, но я бы сказал, старик, что это цена, которую платишь за кое-что другое. Возможно, что только самые бесшабашные приключения, междуцарствия любви, могучие взлеты с какой-нибудь Надиной или Ауделией могут дать ощущение того тысячелетнего царства, которого ты ждешь. Другое — это две комнаты, ванная и кухня, то, что зовется жизнью, то, что длится, мне это нередко говорили женщины, и они были правы, конечно, правы. В сущности, если мы с Людмилой живем так, как живем, то наверно, потому, что долго это не продлится, вот и позволяешь себе восторги, если уж придерживаться твоего столь изысканного словаря.

— Тебе видней,— сказал Маркос, выплескивая вино в стакан с некоторой яростью, отчего граммов сто пролилось на скатерть, к счастью, синтетическую, моющуюся.

— Но если женщины для тебя такие слабые стимуляторы, я подумал, а не стоит ли тебе попробовать то, что называют гомосексуальным опытом, в общем, не мне об этом тебе говорить. Вспомни Ореста и Пилада, Гармодия и Аристогитона, Тесея и Пирифоя — где еще искать-то большего восторга, судя по тому, сколько шуму наделали эти парни в мифологии и в истории.

— Ты так говоришь, словно речь идет о том, чтобы купить себе другой вид желчегонных таблеток или о чем-то подобном.

— И ты никогда не проделывал этого опыта? Слыша твои характерологические требования, спрашиваешь себя, не в них ли содержится ответ.

— Нет, никогда, это меня не привлекает. Дело тут не в предрассудках, а просто в либидо [2]. А ты?

— Я — да, еще подростком, и это было чудесно и гнусно и много помогло мне в тот день, когда я открыл для себя женщин,— та привязь была начисто отрезана, и я в отличие от тебя не искал на вербе груш. Забавно, что и у Людмилы было когда-то гомосексуальное переживание, из-за которого она там, в Кракове, как она рассказывает, однажды в снежный день едва не вскрыла себе вены. Но если разрешишь мне некое da capo al fine [3], все твои слова о восторгах и взрывах хороши, пока держишь в уме цели более высокие; меня, например, восторги болельщиков «Сан-Лоренсо» или Николино Локке, не говоря о хрустящем картофеле, оставляют более чем холодным, и если уж начистоту, так вчера вечером меня, например, чуть не стошнило от вашего знаменитого «карманного» сопротивления. Когда знаешь, что, по данным уважаемой организации, на этом дерьмовом шарике томится двести пятьдесят тысяч политзаключенных, твои горелые спички не вызывают слишком большого восторга.

«Сообщение
«Эмнисти интернэшнл»

В МИРЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ
250 000 ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ

[1] С необходимыми изменениями *(лат.)*.

[2] Влечение, страсть *(лат.)* — одно из основных понятий психоанализа.

[3] Повторение с начала до конца *(итал.*, музыкальный термин).

Selon Amnesty International

IL Y A 250 000 PRISONNIERS POLITIQUES DANS LE MONDE

Londres (A. F. P., U. P. I.).

Il y a quelque **250 000** prisonniers politiques de par le monde, estime un rapport de la section britannique d'Amnesty International, intitulé «le visage de la persécution en 1970» et publié dimanche.

L'Indonésie, indique le rapport, détiendrait le record avec quelque cent seize mille prisonniers politiques dont la plupart, arrêtés pour leurs sympathies communistes, n'ont pas été jugés.

L'U. R. S. S. compterait «quelques milliers» de prisonniers, et en Afrique du Sud, où la situation «ne cesse de s'aggraver», une quinzaine d'entre eux seraient morts, estime encore le rapport.

Le rapport fait valoir que grâce aux efforts d'Amnesty International plus de deux mille détenus politiques ont pu être libérés depuis 1961.

Лондон (АФП., ЮПИ).— По оценкам, содержащимся в докладе британской секции «Эмнисти Интернэшнл», озаглавленном «Облик гонений в 1970 году» и опубликованном в воскресенье, в мире насчитывается около 250 000 политических заключенных.

Рекорд, как указано в докладе, достигнут в Индонезии, где имеется около ста шестнадцати тысяч политических узников, арестованных за симпатии к коммунистическим идеям, большинство которых заключены в тюрьму без суда.

В СССР предположительно есть «несколько тысяч» узников, а в ЮАР, где ситуация «неуклонно ухудшается», человек пятнадцать, по данным доклада, скончались в тюрьме.

В докладе подчеркивается, что благодаря усилиям «Эмнисти Интернэшнл» с 1961 года было освобождено более двух тысяч политзаключенных».

Маркос зажег сигарету хорошей спичкой и пристально глянул на Андреса.

— Одолжи мне машину, чтобы я мог встретить Оскара, он прилетает в час.

— Пожалуйста, она стоит на углу слева. Почему ты не отвечаешь на то, что я только что сказал?

— Если ты сам себе не ответишь, мой ответ ни к чему.

— Ладно, но ты не воображай, будто я не думаю о ваших скандальчиках, и единственное им оправдание я вижу в том, что это, возможно, некий вид тренировки, такие, скажем, попыточки, испытаньица для проверки людей, которых до конца не знаешь или которые сами себя не знают. Другая гипотеза была бы слишком гнусной, и я предпочитаю умолкнуть, выключим эту музыку.

— И правильно делаешь, побереги батарейки для своей экспериментальной музыки,— сказал Маркос.— Давай ключи от машины. Привет.

— Привет,— сказала Людмила, входя с пакетами артишоков, лукапорея и детергентов.— Я просто жалкая черепаха, пока я приготовила кое-как два коробка, Сусана успела сделать пять, так что о спичках лучше не будем говорить. By the way [1], Мануэль погрыз один из лучших коробков, пришлось перевернуть проказника вниз головой и дать ему касторки, вот будет нынче работа у бедной Сусаны. Останешься поесть с нами аргентинского пучеро с жареной кукурузой и всем прочим? Андрес научил меня его готовить, можешь спросить, вкусно ли получается.

— Мне надо ехать встречать бирюзового пингвина,— сказал Маркос.

— О Андрес, поехали с ним встречать бирюзового пингвина!

— Поезжай ты,— сказал я.— Я хочу закончить книгу. Этот тип мне все удовольствие испортил, да заодно присмотрю за пучеро.

— Что это за история с пингвином?

— Объясню в машине,— сказал Маркос,— пока ты будешь вести, в этом треклятом городе твоя помощь будет весьма ценной. Значит, ты не едешь, че?

— Нет.

— Подожди, я сейчас вымою лук и положу все что надо в кастрюлю,— сказала Людмила, устремляясь на кухню.

— Она в восторге,— сказал Андрес.— И это тебе не хрустящий картофель.

[1] Кстати *(англ.)*.

— Ты не видел, как кормят гусей, чтобы у них развился цирроз печени и у паштета был более тонкий вкус? Такая воронка, думаю, понадобится и нам, чтобы заставить этого карапуза глотать суп.

Мануэль благоразумно проигнорировал далеко идущие планы своего отца, но Сусана произнесла несколько словечек, которые невинному примерному дитяти в его раннем детстве не следовало бы слышать. В глубине комнаты мурлыкал ротатор, по возможности заглушенный ширмой с навешанными на нее одеялами и пластинкой Анибала Троило, Пичуко. В руках у Гомеса и Моники он работал вдесятеро лучше, и материалы на французском и испанском были почти все готовы; мой друг, пробежав их, удивился лаконичности и объективности документов, рассчитанных на то, чтобы спровоцировать самую бурную реакцию; во всяком случае, требования Бучи там были изложены совершенно ясно и господам из Рейтер и прочих вашингтонствующих агентств, чтобы их исказить, пришлось бы пустить в ход весь свой риторический арсенал. На другом конце того же стола, за которым Патрисио и суп ополчились вдвоем против одного — правда, Мануэль был не из тех, кто погибает молча,— дальновидная Сусана продолжала изготовлять книгу для чтения, задуманную на предмет будущего, пусть отдаленного, обучения грамоте, вклеивая туда газетные заметки на разных языках, что, кстати, помогло бы билингвизации бедного малыша. Моему другу, который внимательно наблюдал за созданием книги, а порой и участвовал в нем, особенно нравилось то, что Сусана заботилась о развитии у Мануэля интуиции и изобретательности, и среди прочего там был подаренный моим другом эпиграф, который Эдгар Варезе поместил в «Аркана» и который, по мнению Андреса, был заимствован не у кого иного, как у Парацельса [1], а впрочем, поди узнай после всех мутаций, ибо мой друг перевел его на испанский с французского текста, который, видимо, был переведен с латинского или немецкого оригинала и гласил следующее: «Первая звезда — звезда Апокалипсиса. Вторая — звезда восходящего. Третья — звезда стихий, коих есть четыре. Итак, есть шесть звезд. И есть еще одна, это звезда Воображения».

— Пустая болтовня! — появляясь из-за ширмы, сказал Гомес, весь измазанный типографской краской.— Обычная болтовня иллюминатов или алхимиков, во всяком случае, спиритуалистов. Меня на такой дребедени не проведешь.

— Ты говоришь глупости, — учтиво заметил Патрисио.— Одно дело — ошибка в системе, обнаруженная в свете последующих научных уточнений, и другое — заключенная в ней истина, нечто вечное, хотя и покоящееся на груде всякого хлама. Еще вопрос, много ли теперь найдется приемлемого в платонизме или аристотелизме, а все же каждый, кто читает этих двоих древних греков, становится богачом почище того, другого грека, супруга Марии Каллас [2].

— Гульп! — сказали враз суп и Мануэль, чей прочный союз был мгновенно разрушен приступом кашля, разметавшим их в противоположные стороны. Глядя, как Патрисио, изрыгая грязные междометия, вытирает себе лицо, мой друг подумал, что, слава Богу, здесь нет раввинчика, уж тот бы сцепился с Гомесом; сам же он, склонный стать на сторону Парацельса и Сусаны, предпочел промолчать и продолжить просмотр книги Мануэля, припоминая фразу Берн-Джонса [3], который утверждал, что, чем более материалистической будет наука, тем больше ангелов будет он изображать. Конечно, в подсказках воображению Мануэля ничего ангелического не было, Сусана предвидела, что к девяти годам он уже будет способен приняться за курс современной истории с помощью таких материалов, как:

[1] Парацельс (Филипп фон Гогенхейм, 1493—1541) — немецкий философ, естествоиспытатель, врач.

[2] Имеется в виду греческий мультимиллионер Аристотель Онассис.

[3] Эдуард Берн-Джонс (1833—1898) — английский художник.

«Кордова: ЧЕТЫРЕХ ЭКСТРЕМИСТОВ ПОДВЕРГЛИ ПЫТКАМ»

Подтверждение судебного врача

Кордова, 9 (АП).— Судебный врач подтвердил, что четырех экстремистов подвергали пыткам, и по сведениям, имеющимся в юридических кругах, прокурор возбудил иск против ответственных чинов полиции. Имена пострадавших: Карлос Эриберте Астудильо, Альберто Кампс, Маркос Осатинский и Альфред Кон, обвиняемые в участии в совершенном 29 декабря нападении на Кордовский банк, в результате чего, согласно данным прокурора Хосе Намба Кармоны, были убиты двое полицейских. Этот же чиновник сообщает, что судебный врач Рауль Дзунино после соответствующего осмотра узников подтвердил факт варварского, бесчеловечного обращения и жестоких пыток.

«У всех задержанных,— утверждает врач,— после недели пыток и истязаний имеются на теле ссадины и следы зверских побоев. У Астудильо вся спина — сплошной синяк и на теле множественные волдыри от применения пиканы. У Осатинского — причиненные избиением повреждения внутренних органов, по-видимому, имеется также нарушение сердечной деятельности, так как он говорит с трудом, передвигается медленно и охает от боли. Все четверо нуждаются в срочной медицинской помощи».

— Позвони Маркосу,— сказал Гомес, обращаясь к Патрисио,— пончики готовы, с пылу с жару. Моника, налей-ка мне глоток вина, а то краской всю душу затопило.

Образы, образы! Мой друг подумал, что три минуты тому назад Гомес восстал против Парацельса, а теперь, видите ли, краска затопила ему душу, то самое воображение, которое он только что охаял, подарило ему такой оборот для описания его усталости. Вы только взгляните, настаивала Сусана, вклеивая еще одну вырезку для будущего ученика и хохоча до слез, хорошо еще, что в этом дерьмовом мире иногда можно получить утешение из того самого уголка, где начиналось твое существование,— дело было в кинотеатре на улице Суипача,— а вот пойди я посмотреть на проделки Грегори Пека, ох и нахмурился бы мой супруг, он ревнует меня даже к киноленте. Нет, лучше я вам прочту, эта заметка из тех, где схвачена сама суть.

«ЕГО ОСУЖДАЮТ ЗА НЕУВАЖЕНИЕ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ГИМНУ»

Уголовный суд Федеральной палаты приговорил к двум месяцам тюрьмы условно Альберто Дионисио Лопеса, аргентинца двадцати двух лет, холостого, служащего и учащегося, за неуважение к Национальному гимну, согласно статье 230-бис Уголовного кодекса, недавно включенной в свод нашего репрессивного законодательства, трактующей о публичном неуважении к национальным знамени, гербу или гимну или к эмблемам аргентинских провинций и предусматривающей наказание от двух месяцев до двух лет тюремного заключения.

«9 июля сего года при исполнении Национального гимна во втором зале ночного показа в кинотеатре на улице Суипача, 378, Лопес не встал и на обращение к нему капельдинера ответил, что он не встает потому, что по национальности он англичанин и если бы он знал, что это наказуемо, он бы лучше сходил на это время в уборную». Дальше идут несколько скучных абзацев о первой судимости и отмененном приговоре, и появляется прокурор, который inter alias [1] говорит: «Нет сомнения, что Лопес слышал аккорды Национального гимна и умышленно и сознательно продолжал сидеть вопреки традиции и глубоко укоренившемуся обычаю, порожденному инстинктивным и патриотическим почтением к этому символу нашей

[1] между прочим *(лат.)*.

нации. Примечательно, что он не внял предложению встать, что позволило бы ему избежать суда, а предпочел выйти из зала и нагло заявить, что он лучше бы сходил в уборную».

— Верно, он пошел бы туда слушать грохот разрываемых цепей,— сказал Патрисио.— Такая была у нас шутка в четвертом классе, а в общем, очень хорошо, что ты включила эту заметку в чтение Мануэля, и, кстати, я избавлюсь от ехидных упреков моего друга. (Каковой, задумавшись о Парацельсе, и ухом не повел.)

Как часто мы что-то делаем шутки ради или считая это шуткой, а потом, когда исподволь, постепенно начинается настоящее дело, эта шутка, или каламбур, или случайная выходка вновь и вновь вторгается в то, что шуткой отнюдь не является, и, взобравшись на житейский постамент, диктует оттуда лукавые приказы, нарушает ваши движения, разлагает мораль,— во всяком случае, Оскар шутки ради послал Маркосу газетную вырезку о бунте девочек в Ла-Плате и на время совершенно об этом забыл, так как подготовка контейнеров на службе у Гладис была делом долгим и деликатным, и Гладис порой еще прекращала обивку контейнеров, чтобы растормошить Оскара, который отвечал тем же, а потом они принимали душ, и пили, и слушали сообщения по радио, и спускались поесть, но воспоминание о бунте снова пробивалось наверх, образы, возникшие при обычном чтении хроники, оседали в уме, как образы снов, которые не желают выселяться, несмотря на все протесты рассудка. У Гладис, которая тоже читала эту вырезку, был более рациональный взгляд на вещи, и намеки Оскара она считала следствием усталости или нервного состояния, то и другое обычно идут в паре, и отвлекала его от навязчивых мыслей легким умственным толчком, Оскар начинал смеяться и прятал еще одну пачку долларов, made by стариком Коллинсом, в двойную стенку контейнера, готовился к сварке стенок, ходил приласкать бирюзового пингвина, который с прошлого вечера поселившись в ванной, принимал душ вместе с людьми, радостно хлопал крыльями и уплетал за милую душу свою порцию хека. Королевские броненосцы в тот же вечер прибыли из Чако, и в Эсеису следовало приехать к одиннадцати утра, в последний суматошный момент, а тут еще из-за служебных перестановок вдруг изменяют дежурства стюардесс, и вдруг раздается звонок заместителя начальника диспетчерской, он предупреждает Гладис, что, мол, ей придется лететь ночным самолетом в Нью-Йорк, но Гладис оказалась неподражаема в драматически-астрологическом амплуа, слушай, Отеиса, у каждого есть свои предчувствия, я ни за что не переменю самолет, вспомните, как было с Мариалин, да, да, я знаю, глупости, если вам угодно, но прошу вас, я ведь уже не раз говорила, что, если не будет предупреждения за пять дней, я остаюсь дома, ладно, тоже неплохо, Лола наверняка согласится, ей-то все равно, она говорила мне, а Оскар тем временем в ванной ласкает пингвина, чтобы ему не вздумалось издать крик, способный телефонически встревожить суетящегося Отеису, который, чтобы не огорчать Гладис, уладил дело за пять минут. Они вздохнули с облегчением, в девять явился Фелисиано с королевскими броненосцами и менее плохими, чем обычно, новостями с севера; и вот уже место 234В, зависшее где-то на высоте десяти тысяч метров над Атлантическим океаном, в хвосте «Боинга», в этой всегда немного хаотической зоне, где корзины, апельсиновый сок, IWC, бумажные стаканчики, бутылочки виски, стюардессы, раскладывающие на каталках для продажи духи и сигареты, и относительно свободное пространство между стенными шкафами с подносами и крайним рядом кресел, так что контейнеры находились между креслом Оскара и стенным шкафом в левом борту, и Гладис ежеминутно приходила взглянуть на территорию Оскара, надежно защищенного своим ученым видом, когда он авторитетно руководил операцией размещения контейнеров и производил первый осмотр броненосцев и бирюзового пингвина. Несколько дам уже успели выразить свой вос-

почему полнолуние?

торг при виде пингвина, которого Оскар каждые полчаса выпускал из контейнера, чтобы дать ему порцию хека и подбодрить в столь критический момент его жизни, так что Оскар развлекался, давая пингвину свободно погулять по салону, и стюард Тельес и Пепита, вторая авиакрасотка, одобряли гигиеническую прогулку пингвина, которого пассажиры единогласно объявили талисманом их воздушного корабля, ведомого капитаном Педернерой, и все это среди подносов, пледов и возлияний, делавших, клянусь, этот полет незабываемым для тех, кто столь разумно выбирает для своих поездок отечественную авиакомпанию. Как бы там ни было, настало время подумать о том, что ждет на другом конце полета, надеть загодя личину ветеринара, сознающего важность своей миссии, проблема в том, чтобы не расхохотаться в лицо Маркосу, когда тот будет представлять его сотрудникам зоопарка в Венсенне (одним из них уж точно будет Патрисио, и как тут не расхохотаться!) и в присутствии множества зрителей состоится передача броненосцев и пингвина. Будет ли там хоть какая-то выпивка, будут ли речи? Боже милостивый, думал Оскар, как я сумею не покатиться со смеху, когда увижу Маркоса и Патрисио, возможно, и этот недотепа Эредиа уже в Париже и явится ex professo [1] лишь для того, чтобы пожрать за мой счет, чертов болван. Оскар смутно сознавал, что ему не хочется думать о дальнейшем, все это предисловие, предварение, предбуча, а затем будет первая беседа с Маркосом, шпики, настоящая Буча, которая должна воспоследовать вскоре за передачей броненосцев, ведь муравьи уже что-то пронюхали, они, муравьи, не идиоты, возможно, что и здесь, в самолете, есть кто-то из них и следит за ним, как за каким-нибудь Пеле на футбольном поле, да это же честь, старина. Маркос, наверно, все организовал, и в Париже много спать никому не придется, хорошо бы вздремнуть теперь, между прогулками пингвина, все равно невозможно себе представить, что ждет там, да и никакой охоты нет думать об этом, мешает урчанье «Боинга», двойные порции виски, место с краю, где можно развалиться удобнейшим образом, но почему полнолуние, может, и не было в ту ночь полнолуния, в заметке шла речь о карнавале, о музыке, о танцах в соседних клубах,что и вызвало возбуждение у девчонок, но все это представлялось вновь и вновь с полной луной, в свете которой блестели бутылочные осколки на ограде, терялась немощеная дорога к городу, белели длинные ночные сорочки, и опять бегство, удары по дверям, крики и истерический смех, так же и в патио доньи Ракели полнолуние было властным зовом, толчком, от которого пресекалось дыхание, сжималась кожа, вибрировал голос, словно тебя настигла чья-то могучая хватка или удар хлыста, неодолимая одержимость стесняла грудь и живот, блестели глаза в уголках под сенью жасмина, рядом с оградой, через которую перепрыгивали девочки, ошалевшие от рекламы соседних клубов, влюбляющиеся с одного поцелуя, следящие друг за дружкой, целующиеся в темноте, полуголые, заранее трепещущие при звуках полицейских сирен, отшельницы, стоящие со сжатыми кулачками в ожидании первого натиска, чтобы сражаться до потери сознания, или бегущие по темной улице, усеянной колючками и опасностями, истерически вопя, сами не зная почему,— из-за полнолуния и карнавала или из-за неутоленных желаний,— пока не попадут в объятия услужливых горожан или веселых пожарников, которые подхватывали их и несли, как перышко, до первого яростного царапающего удара по лицу, и в ответ грубая мужская оплеуха, успокойся, ты, стерва, тебя бы надо каленым железом прижечь, ну, лейтенант, я уже сыт по горло, какую бучу подняли эти кобылки, черт меня побери. Открывая глаза и видя простирающиеся в глубь салона ряды иллюминаторов и затылков, Оскар впадал в полузабытье, но вот в проходе идеальная мини-юбочная и дезодорированная фигурка Гладис с небольшим подносом, и на нем два стакана

почему полнолуние?
ограда с насыпанными наверху осколками
какой деликатный хроникер
мне бы лучше подготовить какое-нибудь выступление
мне же наверняка придется что-то сказать при передаче животных
и почему снова эта история в Ла-Плате
может, и не было полнолуния, но лучше подумаем о выступлении
скажи Сосе, чтоб он не слишком резвился с малышками

[1] по обязанности; *здесь:* по своему обыкновению *(лат.)*

виски, на губах улыбка стюардессы, а в сущности ее собственная, они тут уже достаточно набрались, теперь я могу минутку посидеть с тобой. Ему хотелось бы поговорить о том, о своем, о полнолунии и бегущих к ограде девчонках и их воплях, но это же нелепо, надо думать о приезде, о Маркосе, который его представит сотрудникам зоопарка в Венсенне, ну и конечно там будет Эредиа, и Гладис будет переводить и поможет преодолеть без проблем всяческие оборонительные рубежи цивилизованной нации, которая
это усталость, просто нервозность, что мне до этой истории в
опасается заразы от экзотических животных, а потом ученые представители Ла-Плате
зоопарка будут в машине корчиться от хохота, потрясающе получилось, как дела, старик, нет, все, что ждет на другом конце после прилета, пока совершенно неясно, его будут вводить в курс дел Бучи, Маркос и Эредиа
вот была глупость посылать эту вырезку Маркосу
постараются скрыть, что рады его приезду, судьба бирюзового пингвина после выполнения миссии будет под вопросом, уж не говоря о королевских броненосцах, хотя Маркос, вероятно, что-то придумал, чтобы в дальнейшем кто-то по-настоящему подарил бедных тварей в зоопарк, неизвестные люди оставят корзины у порога директора, на шее у пингвина будет висеть напечатанное на машинке руководство по обращению с ним, ибо пингвин птица нежная и его не ублажишь треской из холодильника или несвежей зеленью, Антарктика — это аргентинская область, черт возьми.

оставь это, пожалуйста, оставь

Нет, он не мог говорить об этом с Гладис, лучше вместе выпить виски, следующая посадка в Дакаре, Гладис у его плеча, вся благоухающая Герленом, виски истинно шотландское, хранилось двенадцать лет в
и когда я рассказал об этом в Буэнос-Айресе, никого не удивил, так, полицейская хроника
дубовых бочках, и как приятно ощущать кожу Гладис под копной шафранно-желтых волос, тихонечко ее щекотать, чувствовать, как она вздрагивает, шептать ей, ты потрясающая девчонка, если бы только тебе удалось сбежать из интерната, да если бы и ты сам мог когда-нибудь сбежать, но как сказать ей это последнее, Гладис бы посмотрела на него с недоумением (какой еще интернат?), и вдобавок это было бы несправедливо, ведь Гладис в каком-то смысле уже была на полпути своего бегства, она уже взобралась на ограду под лучами полной луны, расчудесная моя малышка, которая рискует своим местом, взявши в самолет животных и ветеринара, да если
сколько их порезало себе руки об осколки на ограде
бы муравьи об этом прознали, они были бы способны на все, они бы пытали ее или убили, как Росу в Тукумане или итальяночку в Авельянеде. Да, именно об этом надо бы сразу же поговорить с Маркосом и Эредиа, муравьи могут быть уже здесь, в самолете, правда, это маловероятно, но, во всяком случае, они быстро пронюхают и забьют тревогу. Ты потрясающая девчушка, сказал Оскар, всем лицом погружаясь в шевелюру Гладис, ты сама не знаешь, какая ты потрясающая. Понятия не имею, сказала искренне удивленная Гладис, но прошу тебя, не порть мне прическу, у нас на этот счет жуткая статья внутреннего устава. Я тебя очень люблю и ты потрясающая, настаивал Оскар, и как бы ему хотелось переманить ее к полнолунию, сказать ей то, что он не знал, как сказать, ведь Гладис тогда уставилась бы на него, сказать что-то вроде того, что когда будешь прыгать, то поосторожней, или же что там, наверху, полно осколков стекла,— разве не видишь, как они блестят? — да, он, конечно, изнервничался, это уже какое-то наваждение, он кретин, даже опасный кретин, особенно со своей идеей о прыжке, о том, чтобы карабкаться на усыпанную осколками ограду, выбраться на проселочную дорогу и оставить интернат, он уже видит не кого иного, как самое Гладис среди обезумевших девчонок, которые бегут по двое или по трое, что-то выкрикивая и подбадривая себя, поддерживая одна другую, чтобы залезть на ограду, вот одна девчушка
неужто я это скажу вместо речи, че
скинула сорочку, чтобы накрыть ею осколки, лезьте сюда, я первая, подай руку Марте, разве не видишь, она не достает, погодите, я заберусь первая,
внезапное выключение света стало причиной баталии
еще неизвестно, было ли в ту ночь полнолуние, на самом деле именно темнота позволила им бежать, кажется, так, я уже плохо помню, но почему, дружище, ты должен об этом беспокоиться.

— Я хочу эту ночь провести с тобой,— сказал Оскар,— надеюсь, после волнующей церемонии мне позволят немного отдохнуть. Как вы тут, в Париже, заказываете номер в отеле заранее или как?

— Мы, стюардессы, ведем в высшей степени нравственный образ жизни,— помирая со смеху, объяснила Гладис,— так что кавалеру придется самому нанимать номер в отеле.

Мурлыча, она встретила поцелуй в ухо, ласкающую руку, забравшуюся под блузку, ощутила тихо округлившийся розовый бугорок на верхушке холмика, который оглаживала кругами ладонь Оскара. В конце концов, сказала Гладис, хотя в принципе нам подобные интимные отношения с господами пассажирами запрещены, сообщаю, что у тебя уже есть номер с ванной рядом с моим, олух ты несусветный, я перед вылетом дала телеграмму, здесь, знаешь ли, есть свои тонкости. И не только эту телеграмму, ведь другая «ЦЕЛУЮ КОКА», уже заставила две автомашины мчаться по шоссе на юг, благодаря чему три трассы — одна воздушная и две наземные — синхронно сходились в нужное время и в нужном месте, где редкие, необычные экземпляры аргентинской фауны будут переданы французским представителям, также не слишком обычным. Оскар, закрывая глаза, видел, как Гладис удаляется, чтобы лишний раз раздать подносы, кто знает, что в конечном итоге более абсурдно, церемония на аэродроме или же осаждающие его образы того, что он не видел и не пережил, что не должно бы его волновать, две колонки в газете, сумасшедший побег по причине внезапно погасшего света (по причине внезапно погасшего света?), девушки, завороженные луной и карнавалом, полуголые в потоке лунного света, толкающего их к чему-то другому, на другую сторону, к началу чего-то, Бог
и тогда Буча, если слишком много думать
знает чего, ведь об этом не думалось, изнасилование, или сломанный нос, или удар хлыстом по ягодицам, лишь бы не прежнее, не сто девяносто
заявляет директриса
шесть девушек, ютящихся в помещении для восьмидесяти и между двумя полнолуниями ожидающих прибытия других пятидесяти шести маленьких женщин.

Бывало, что мой друг не всегда был в курсе деятельности наших ребят; он, например, понятия не имел о том, что суровые представители зоопарка в Венсенне изберут Лонштейна вести машину североамериканской марки, взятую напрокат в Герце, с предварительным уточнением цвета и характеристик, соответствующих важности церемониала. Чтобы понять что-нибудь в пересказе раввинчика, всегда требовалось его текст расшифровывать, но на сей раз симфонический размах лонштейновского восприятия уложил моего друга в постель на несколько дней, хотя он никогда не пожаловался на то, что узнал о выгрузке королевских броненосцев и бирюзового пингвина по изложению, жанр коего Лонштейн определил как плюраспектромутантный,— короче говоря, броненосцы, вступив на французскую землю, видимо, почувствовали себя неуютно, зато пингвин тотчас проявил опасную резвость, стал биться о стенки контейнера, несмотря на укротительские свистки Оскара и воду с экванилом, которой его напоила Гладис, едва «Боинг» вошел в предварительную фазу приземления и капитан Педернера голосом Пепиты пожелал уважаемым пассажирам счастливого пребывания в Париже.

— Все трое они были мегааккордом,— резюмировал Лонштейн,— представь себе эту церемонию в зале для приемов, малыш, не хватало только, чтобы Хайле Селассие [1] в черном плаще вручал абиссинские ордена.

Не хватало там и меня, но вечером Людмила мне рассказала, что Ролан и Люсьен Верней вышли из машины с таким видом, будто аршин проглотили, и что обмен приветствиями между аргентинским ветеринаром, сопровождающим животных, и представителями зоопарка, получателями упомянутых тварей, был воспринят таможенниками, инспекторами и полицейскими аэропорта как нечто совершенно нормальное, уж не говоря о местном ветеринаре, по долгу службы осмотревшем заморских зверюшек и проверившем их медицинские свидетельства, все это изящно переводила Гладис, с явным весельем решая лингвистические проблемы ученых мужей.

[1] Император Абиссинии (Эфиопии) с 1930 по 1974 г.

Еще по пути в аэропорт Маркос сказал Людмиле, что в принципе трудностей быть не должно, сама операция слишком абсурдна, чтобы ей мог грозить провал; единственный риск был в том, что какому-либо хитроумному таможеннику могло прийти в голову, будто эти контейнеры больше пригодны для транспортировки леопардов, чем пингвинов, но Люсьен Верней и Ролан были готовы это опровергнуть научными аргументами, основанными на Бюффоне и Джулиане Хаксли [1], не говоря об импозантности взятой напрокат машины, идеальный Gestalt [2]. Однако не только таможенники были очарованы редкими животными, но некая дама, с виду начальница, смуглая и полная особа, прямо влюбилась в бирюзового пингвина и посулила время от времени навещать его в Венсенне, что с величайшей серьезностью восприняли представители зоопарка и с особым патриотическим волнением ветеринар-сопровождающий. Ты упустил изумительное зрелище, сказала Людмила, сугубо аргентинского вида Оскар в клетчатом пиджаке, причесавшийся в последнюю минуту и щедро опрысканный нашим бортовым одеколоном, который я издали узнаю, потому что он скорее для женщин, и Лонштейн в кожаной куртке и берете, чтобы выглядеть как средний француз, какого теперь и днем с огнем не сыщешь, но все же...

— А ты что там делала? — спросил Андрес.

— Напи́сала в трусики, сама не знаю, то ли от страха, то ли от смеха, но думаю, скорей от страха. Погоди, раз уж вспомнила, сейчас переоденусь, если найду чистые.

По всей квартире пахнет луком, но я не голоден, у меня есть последний квартет Бартока, вино и сигареты, взгляну раз-другой на кастрюлю и подумаю, ждать ли мне Людмилу или пойти побродить. Эта история с пингвином, о которой говорил Маркос, прежде чем пришел просить машину, вероятно, одна из идиотских выдумок его микроагитации; окруженный последними аккордами квартета, еще участвуя в некоем порядке, которого у меня не будет ни раньше ни позже (ну конечно, ну ясно, будущее в прошедшем), я по возможности затягиваю эту ненадежную примиряющую передышку — жалкая, неискренняя уловка, я заставляю себя сидеть дома, а потом вдруг позвоню Франсине и побегу вниз по лестнице. Бродить по Парижу — это для меня тоже музыка, ночь не принесла утешения, мне словно бы хочется еще одной, дополнительной части квартета, которую Барток не сочинял, но которая где-то таится в той зоне времени, которую не измерить часами, оттуда мне слышится тревожащее меня требование порядка, некое неосознанное знание, из которого снова возникает аура, беспокойство сна в кинотеатре в ночь Фрица Ланга; когда идешь по улице как бы ощупью, без назначенной цели, в этом есть какая-то открытость, возможность того, что за любым углом и в любой миг ты можешь услышать первую фразу той музыки, которая сумеет тебя примирить со всем ускользающим или ненадежным, Людмила моя и чужая, Людмила, все более увлеченная пингвинами и агитаторами,— я испытываю легкую тошноту от того, что ее теряю из-за скопления непримиримых обстоятельств, и заодно чувство неотвратимости, чувство, что мы подошли к рубежу и теперь что-то будет тихо обламываться так, чтобы каждый из нас остался на своей стороне трещины, огромного разлома времени, с напрасными жестами дружбы, слезами и платочками, оба голые под порывами черного ветра. Зато каждый вход в метро еще раз унесет меня в любимые районы или по фонетической, смутно магической ассоциации представит мне еще какую-нибудь неведомую станцию, где начнется новый кусок бесконечного парижского ковра, новая волшебная шкатулка, новые приключения. Впрочем, это мрачноватое умонастроение, которое издавна тянет меня погружаться в город, будто в музыку, в метания от Франсины к Людмиле (почему метания, почему их не объединить, к чему это тягостное раздвоение, от которого мне так хочется избавиться и которое порождено

[1] Жорж Бюффон (1707—1788) — французский естествоиспытатель; Джулиан Хаксли (1887—1975) — английский биолог и философ.

[2] образ *(нем.;* соответствие слову «имидж»).

исключительно их собственными точками зрения?), приводит к любопытным открытиям, глухо созвучным состоянию моего духа, служащему мне компасом. Вчера, пройдя по убогой площади Клиши с ее безумной и хмурой толпой и углубившись в улицу Куленкур, я впервые увидел под аспидно-серым небом нос «Отель-Террасс», его шесть или семь этажей с окнами и балконами, выходящими на Монмартрское кладбище. На середине моста, подвешенного над склепами и могилами, как скорбный меч халтурного Страшного суда, я облокотился на перила и спросил себя, неужели это возможно, неужели это вероятно, неужели туристы и провинциалы, живущие в «Отель-Террасс», каждое утро как ни в чем не бывало поднимают жалюзи своих окон, выходящих на это окаменевшее море надгробий, и неужели после этого возможно заказывать себе завтрак с круассанами, выходить на улицу, начинать обживать новый день.

Надо бы мне провести ночь в этом отеле, послушать во тьме гул Монмартра, медленно уступающий тишине, услышать последний автобус на резонирующем мосту, нависшем над смертью, на этом балконе, заливаемом иным, неподвижным и тайным, гулом, который жизнь отвергает своими словесами, своей любовью, своим упорным забвением. Я приведу сюда тебя, моя маленькая француженка Франсина, чтобы ты, книжница, картезианка [1] (как и я), получила здесь первый настоящий урок патафизики [2] вместо поверхностного литературного взгляда, который ты так часто смешиваешь (мы смешиваем) с тем, что струится под кожей дня. И однажды я также поведу тебя в галерею близ Пор-Руаяля, где постепенно оседает пыль, как если бы время засыпало своим прахом витрины и переходы, пыль, пахнущая перчатками, и перьями, и сухими фиалками, и там покажу тебе — не торжественно, но мимоходом, как следует поступать в «жилых» местах,— витрину со старинными куклами. Запыленные, они стоят там невесть как давно, в своих чепчиках и бантах, в немыслимых париках, в черных или белых башмачках, наводя уныние глупостью улыбающихся лиц, которые теперь тоже прах, к которым прикасались крошечные пальчики и были обращены любовные сонеты, сохранившиеся, быть может, в каком-то альбоме мещанской гостиной. Лавочка эта маленькая, и в те два раза, что я подходил к витрине, я внутри никого не видел; в глубине там есть намек на лестницу, темные занавески и опять же пыль. Видимо, некая постыдная торговля производится в другие часы дня, приходят люди продать фамильных кукол, самых лучших, фаянсовых или фарфоровых, а другие приходят их покупать для своих коллекций и, прогуливаясь по этому мини-борделю типа голландских витрин, рассматривают ляжки, трогают грудки, заставляют кукол вращать голубыми глазками, обязательный ритуал, сопровождаемый возгласами и долгими паузами, комментариями продавщицы, которая мне представляется сухощавой старухой,— и, возможно, посещением чердака, где валяются отдельные головы и ноги, взаимозаменяемые одежки, чепчики и башмачки, тайника этакого Синей Бороды, куда забредают подобрать подарок перед визитом к тетушке, коллекционирующей кукол, дабы остановить время. И возможно.

— Может быть, так, а может быть, совсем иначе,— сказала Франсина, проводя пальцем по стеклу и отворачиваясь, как бы с досадой.— Почему ты вечно погружен в сомнения? Ведь можно зайти, посмотреть. Ну да, ты предпочитаешь тайну, всякое определение тебя разочаровывает.

— Так же, как тебя раздражает сомнение,— сказал я,— и все, что ты видишь, кажется тебе доказуемой теоремой. Я не хочу туда заходить, мне там нечего делать, мне ни к чему это знание, с которым ты, засунув ладошки под подушку, спишь так крепко и без снов там, где безумные

[1] В основе картезианства лежат декартовские самодостоверность сознания (мыслю, следовательно, существую) и теория врожденных идей.

[2] Патафизика — слово, изобретенное французским писателем Альфредом Жарри (1873—1907) для обозначения иронического отношения к миру, пародирования и насмешки над традиционными ценностями. Существовал «коллеж патафизики», его членами были Жак Превер, Рене Клер, Борис Виан и др. Сам Кортасар, после выхода «Игры в классики» был избран членом этого «ордена».

девушки в белых чепчиках бросаются с балконов отеля, выходящего на кладбище.

— Нет, ты никогда не поумнеешь, не научишься понимать меня.

— Вот видишь — понимать тебя. А что же мы делаем, если не стараемся понять друг друга единственно возможным способом — кожей, глазами, словами, которые не просто сухие термины? Ах ты моя машинка айбиэм, светоориентирующаяся пчелка, да ведь никто тебя, рыжую-прерыжую, не понимает лучше, чем я. Чтобы тебя понять, мне не нужны твои рассуждения, незачем входить в эту лавку, чтобы знать, что это западня с кривыми зеркалами.

— О да, иллюзии,— сказала Франсина, прижимаясь ко мне,— блаженство тех, кто предпочитает правде фантазию. Ты правильно поступаешь, Андрес. Очень правильно.

Ее влажные губы, всегда ищущие и так не похожие на то, что они говорят. Мы оба принялись смеяться, пошли бродить по улицам, пока усталость и желание не привели нас в квартиру Франсины в Марэ, над ее магазином, где продаются книги и бумага; мне нравилось заходить в торговое помещение, где в этот час хозяйничала мадам Франк с видом идеальной ответственной совладелицы, глядящей на приход младшей партнерши с ее другом так, как если бы то были клиенты: мне нравилось листать новинки, покупать у мадам Франк пачку бумаги или книгу и платить за них на глазах у Франсины, которая так охотно подарила бы их мне. По внутренней лестнице мы поднимались в квартиру, аккуратную, четкую, как сама Франсина, надушенную лавандой, с затененным освещением, уютную, как мурлычущая кошка, кошачий уют исходил от гостиной и двух комнат, от голубого ковра, от библиотеки с коллекцией «Плеяд» и словарем Литтре,— ну разумеется, Франсина и холодильник, Франсина и хрустальные стаканы, Франсина и шотландское виски, Франсина, трогательно приверженная интеллектуальной честности, которой так противоречило путаное и скользкое существование всяких там витрин и отелей с балконами, выходящими на кладбище, Франсина в своей точно пригнанной клетке, другая сторона моей жизни-Людмилы, конкретизация давней тоски по определенному рисунку дней и всего быта, но также почти мгновенное неприятие столь многих разумных, рациональных условностей, симметричное другому неприятию — Людмила посреди беспорядка в кухне, где на полу остались разбросанные куски лука, где транзистор изрыгает звуки «Радио Монте-Карло», где замусоленное посудное полотенце, подобно гнусной длани, обнимает единственную уцелевшую чашку из чайного сервиза, а сама Людмила бежит встречать какого-то пингвина.

— Но ты же ее любишь, Андрес. Я для тебя — контрудар, я, побыв с тобой, возвращаю тебя ей. Это не упрек, ты знаешь, что я тебя люблю, тебя такого, какой ты есть в твоем мире, в другом кругу, где я ничего и никого не знаю, не знакома ни с одним из твоих друзей, не знаю, как вы общаетесь, ты и эти южноамериканцы, которых я встречаю лишь в романах да в кино.

— Это не только моя вина,— хмуро сказал я,— в это племя включена Людмила, а вы обе порешили, что никогда, ни за что не сможете и не должны встречаться.

— Я спрашиваю себя, как могли бы мы встречаться, на чем в окружающем мире могут быть основаны наши отношения. Ты уходишь и приходишь, как могла бы уходить и приходить я, будь у меня кто-то другой; однажды, довольно давно, я смутно подумала, что это возможно, но на том все и кончилось, на смутной мысли. Ты, Андрес, не любишь нас по-настоящему, вот единственное объяснение, уж ты извини, я знаю, что тебе претит копанье в любовной психологии и тому подобное, претит все, что для тебя, по сути, невыгодно, извини еще раз.

— Мне претит не это, а все, что за этим скрывается, абсурдное сопротивление обветшавшего мира, который продолжает яростно отстаивать свои самые дряхлые формы. Любить, не любить — все это пустые формулы. Я был так счастлив с Людмилой, я был с ней совершенно счастлив, когда встретил тебя и понял, что ты — это другая извилина

счастья, другой способ быть счастливым, не отказываясь от прежнего образа жизни; и я сразу тебе это сказал, и ты разрешила мне приходить сюда без всяких условий, ты согласилась.

— Что ж, соглашаешься,— сказала Франсина,— времени впереди много, вот и говоришь себе, что. Может быть. Когда-нибудь. Потому что любовь.

— Вывод, ясное дело, будет один: вы обе любите по-настоящему, тогда как я, и так далее. Пойми, у меня с Людмилой все поломалось вдрызг, ты это знаешь, потому что она не согласна, потому что мое желание быть честным ничего не дало, да, знаю, честным на мой лад, для меня это значит, что она и ты должны знать, что есть ты и она, вот и все, но так не пошло, никогда не пойдет, мы живем в такое время, когда все летит к черту, и, однако же эти схемы прочно живут в людях вроде нас — ты, конечно, понимаешь, что я говорю о мелкобуржуазной и рабочей среде, о людях оседлых, и осемеенных, и женатых, и очагочтящих, и многодетных, ах, дерьмо, дерьмо.

— И ты,— сказала, чуть ли не забавляясь, Франсина,— разыгрываешь У Тана [1] между мной и Людмилой, примирителя, пчелу между двумя цветками, так, что ли; хотела бы я посмотреть, как бы ты пил кофе с нами обеими сразу или вел бы нас под руку в кино. Ах, ты выводишь меня из себя.

— Хорошо бы, любовь моя, хорошо бы!

— Нет, У Тан, я тебя люблю вот таким, рядом со мной, и когда-нибудь ты меня покинешь или я тебя покину, уж не говоря о том, что Людмила, по твоим словам, устремилась куда-то к пингвинам, но это ты мне еще не объяснил.

— Я слишком хорошо знаю, что тебе неприятно, когда я о ней говорю.

— А Людмилу наверняка бесит, когда ты упоминаешь мое имя, это очевидно. Но остается еще пингвин, согласись, это нечто из ряда вон, тут можно бы сделать исключение.

— Ты добрая,— сказал Андрес,— ты слишком добрая, малышка.

— Теперь ты таки выведешь меня из себя. Довольно того, что все обстоит гадко и нелепо, ты знаешь, я терплю, я сама этого хотела, я дала тебе ключ от дома, и ладно, я приемлю нас обоих в этом виде, я приемлю себя на одном конце клубка, и Людмила, думаю, поступает так же, моя сестра по другую сторону, держащая другой конец веревки.

— И последнюю фразу она произнесла с ироническим и почти жестоким смехом,— сказал я, целуя ее плечо, прижимая ее к себе так, чтобы сделать больно.— Да, конечно, да, твоя сестра по другую сторону думает то же самое, хотя стремится это выразить более наперченным языком, чем твой. И так мы движемся втроем, и так мы движемся втроем, пока клубок не попадет в когти космического кота или Маркосова пингвина, пора объяснить тебе его появление на сцене, сегодня ровно в тринадцать часов в аэропорту Орли. Вероятно, это политическая тайна, так что, пожалуйста, не рассказывай мадам Франк, ведь мы знаем, что она настоящая гидра реакции.

— У Тан удаляется,— сказала Франсина,— и входит ухмыляющийся палач.

Мы уже давно отработали ритуальные диалоги, идеально удобные начала, которые с Людмилой были горячечным бредом, завершавшимся борением на ковре и хохотом, а с Франсиной были обменом очень тонкими стрелами, которые вонзались все ближе к сонной артерии, к заветному месту соединения бедер.

— Палач,— сказал я,— дарит тебе маленькую древнюю мудрость: para más despacio atormentarme llevóme alguna vez por entre flores, что в переводе с испанского означает «И чтобы дольше меня помучить, однажды он повел меня в цветы».

— В те давние времена этот поэт уже знал нас,— сказала Франсина ритуальным голосом.

---

[1] У Тан (1909—1974) — генеральный секретарь ООН с 1962 по 1971 г.

— О да: Франсина Захер Мазох и Андрес де Сад.

Мы могли долго тянуть этот ритуальный диалог, грусть и желание не спеша обменивались легкими щелчками, туманными выпадами, заниматься любовью с Франсиной означало нечто большее, чем, поспорив, помириться, определить временную территорию для контакта,— Франсина тогда не только отбрасывала все, что поднимало ее против меня, но сама устремлялась из потока споров в зону немыслимых бурь и как бы звала меня срывающимся голосом, превращаясь в шквал ликующих кимвалов и ногтей. Она всегда первая протягивала руку к тому переключателю, который гасил часы враждебных лиц и колючих слов, чтобы мы раскрылись другому свету, в чьих лучах из нашего словаря, немногих, но насыщенных смыслом словечек, создавался особый язык-постель, шепот-подушка, где тюбик крема или прядь волос были ключами шифра, знаками; Франсина дает себя раздевать, стоя у кровати с закрытыми глазами, и ее рыжие волосы, мягко вьющиеся, лезут мне в лицо, и она вздрагивает при каждом движении моих пальцев среди пуговиц и молний, плавно садится на кровать, чтобы я снял ей чулки и спустил трусики, и все это не глядя, живет лишь осязание, даже когда я на миг отрываюсь от нее, чтобы раздеться в напряженной, как струна, тишине, объединяющей любовников, которые, полные ожидания, совершают подготовительные движения; и вот Франсина, упершись ступнями в ковер, мягко откидывается на спину, заранее постанывая жадными, отрывистыми всхлипами,— музыка кожи, отвечающей своим трепетом на губы, скользящие по ее бедрам, и руки, раздвигающие их для первого глубокого поцелуя, сдавленный возглас, когда мой язык касается клитора и начинается малое, легкое соитие, и я чувствую, как ее рука забирается в мою шевелюру, безжалостно дергая меня за волосы, призывая подняться и в то же время заставляя оставаться на месте до предела, тешить ее наслаждением, которое я пока не разделяю, я, коленопреклоненный на ковре раб, которого держат за волосы, принуждают посасывать что-то соленое и теплое, и тут мои пальцы углубляются к укрывшемуся меж двумя лепестками клитору, и указательный скользит назад, ища другое, твердое, упругое отверстие, и я знаю, что Франсина будет роптать: «Нет, нет», сопротивляясь двойной ласке, яростно сосредоточенная на наслаждении, накатывающем спереди, призывая меня теперь обеими руками, вцепившимися в мои волосы, и, когда я увлеку ее за собою в постель и повалю на спину в глубине кровати, она, приподнявшись и подмяв меня, хватает мой член рукою и втягивает в свой пересохший, шершавый рот, постепенно наполняющийся пеной и слюной; она сжимает губы так, что мне становится больно, и словно цепенеет в непрерывной одышке, из которой мне приходится ее вывести насильно, я не хочу, чтобы она сглотнула, я хочу познать ее глубже, в головокружительных недрах ее чрева, которое пожирает меня и тут же отдает обратно, наши уста сливаются, я обнимаю ее плечи, терзаю ее груди, до боли придавливая их, и она сама этого хочет и требует, самозабвенно изливаясь в приглушенном длящемся стоне, утробном зове, в котором звучит почти протест и вместе с тем желание подвергнуться насилию, каждый мускул ее, каждое движение охвачены одержимостью, рот приоткрыт, глаза заведены, подбородок упирается мне в шею, руки блуждают по моей спине, захватывая ягодицы, прижимая меня все больше и больше, пока она не начнет изгибаться в судорогах, либо же я первый, когда огненная влага обжигает мне бедра, погружаюсь в нее до предела, и мы соединяемся в общем стоне, освобождаясь от власти могучей неодолимой силы, которая еще раз истекла, излилась в слезах и всхлипах, в биении замедленного ошеломляющего мига, когда вселенная, бешено кружась, бросила нас в жарком поту на подушки, в сон, в благодарный шепот, замирающий вместе с ласками дрожащих рук.

О, эта нежная, неуемно женская музыка тела Франсины, как ей сказать когда-нибудь, что только через любовь она обретает свободу, решается или заглядывается на самые причудливые выдумки желания, забывая о ножницах здравомыслия, которыми до и после будет подрезать формы насто-

ящего, чтобы подогнать их к каким-то идеям и придать четкость, требуемую бдительным рассудком. Как ей сказать, что эта кровать, эта свойственная рыжим белая кожа, ее светлый пушок — вот портики, через которые она сможет по-настоящему войти в кукольную лавку, отбросив требования трезвого ума, что мало-помалу уже пробуждается — сигарета и оттененный подушкой профиль, удовлетворенная и, пожалуй, горькая улыбка, первый цепкий взгляд, пробежавший по всем четырем углам спальни, заглянувший в близящийся вечер, надо кому-то позвонить, предстоит душ, дезодорант, кинофильм ровно в девять, подведение дневного баланса с мадам Франк в безупречном бюро при магазине, где никто никогда не увидит валяющегося на полу лука или чашек, обернутых грязным полотенцем. Как иначе сказать ей, что я ее люблю, когда все остальное опять по другую сторону, когда я, оказывается, У Тан, ну ясно, когда Людмила. Проснуться, поглядеть на нее еще спящую — слабый свет ночника скользит по рыжим, мягко вьющимся волосам, очень белая рука лежит на груди; разбудить ее ласками, от которых она ежится и мурлычет невнятный, улыбчивый протест, еще смешанный с обрывками сна; и знать, что наступит наконец минута, когда ее глаза уставятся на меня будто издалека, а затем сосредоточатся внимательно и скорбно на моих глазах, пробегут по моему лицу, голове, будто сомневаясь, что я это я. И целовать ее и знать, что будет жажда, будет виски со льдом, будет ужин, уход, возвращение в одиночество, долгая прогулка с остановками в ресторанах, у витрин с пыльными куклами, разговоры о пингвинах.

Что ни говори, Оскар провел изрядно напряженные полчаса, и, хотя ему, к счастью, пришлось произнести всего несколько слов, чтобы сообщить, что Аргентинское общество защиты животных и все прочее, тот момент, когда он очутился в машине, а таможенники остались в аэропорту, принес ему великое облегчение из числа тех, которые можно выразить только тем, что откроешь портфель и достанешь коробку с кордовскими миндальными пирожными, предназначенными для Маркоса, чьи права тотчас были попраны Людмилой и Гладис, которые ухитрились съесть большую часть, пока их жертва и Оскар обменивались первыми впечатлениями о скандале с Арамбуру и о стремительном восхождении генерала Левингстона. А что с этим недотепой Эредиа, поинтересовался Оскар, вдыхая воздух автострады с такой жадностью, словно он был свежайший, и чувствуя себя невероятно счастливым. Он сегодня вечером прилетает из Лондона, сказал Маркос. В Польше делают похожие пирожные, заметила Людмила, но молочные сласти, о нет, этого там нет. Хочешь, я научу тебя их готовить, предложила Гладис, тоже словно возродившаяся после получаса протокольных церемоний, надо только раздобыть тростниковый сахар, ведь свекольный сахар — это гадость, значит, ты полька? На заднем сиденье сыпались имена и быстрые, отрывистые замечания, Оскар отряхивался от новостей, как от мух, самое срочное было выяснено еще перед въездом в Париж. Нет, вначале, я думаю, муравьев на борту не было, но знаешь, все возможно. Здесь они орудуют вовсю, сказал Маркос, последнее письмо Эредиа, видимо, было перехвачено. Метров за двести машина с представителями зоопарка Венсенна начала правильный обгон полицейского пикапа, и Лонштейн снова занял свое место справа, безупречно соблюдая дорожный кодекс, меж тем как два представителя хватались друг за дружку, чтобы не свалиться от хохота на широкое зачехленное заднее сиденье, вспоминая примечательные моменты церемониала вручения и получения, что вызвало легкую тревогу у броненосцев, помещенных в багажнике, и сонное презрение пингвина, на которого экванил оказал невероятное действие. Высади нас в Порт-д'Орлеан, попросил Ролан, надеюсь, что с животными ты сумеешь управиться сам. Прекрасно управлюсь, господин директор, Маркос мне уже сказал, что чем меньше будут видеть вас двоих возле моего дома, тем лучше с муравьелогической точки зрения. Дело в том, сумеешь ли ты сам поднять контейнеры, сказал Люсьен Верней. Моя консьержка весит сто восемь кило, заметил Лонштейн, и это сомати-

чески, сиречь телесно действует на лестницу, хотя как будто противоречит закону тяжести; когда этой толстухе вдруг взбредет в голову отнести мне наверх телеграмму, куда там ракете «Аполлон». В таком случае, сказал Ролан. Надеюсь, Маркос тебя предупредил, чтобы ты не выпускал животных из контейнеров, счел своим долгом прибавить Люсьен Верней. Ты, вероятно, хочешь мне внушить, что я не должен выбрасывать контейнеры на помойку, о, ангел любви, сказал Лонштейн, спи спокойно, уж если Маркос мне что-нибудь объяснил, это все равно, что рассказ о Троице для кафров [1]. Прощайте, господа директоры, счастливого возвращения к дромадеру и гиппокентавру. Ах, чуть не забыл, че, гриб-то вырос на полтора сантиметра, ей-богу, вам стоит на него посмотреть; когда мы преодолеем этап с контейнерами и всей этой дерьмовой бучей, нет, я без намеков. Почему ты упорно стараешься повторить мне весь этот идиотский разговор? посетовал мой друг. Потому что он вовсе не идиотский, говорит Лонштейн, надо было, чтобы эти ребята, я хочу сказать, господа представители, знали, что я не меньше в курсе дела, чем они, хотя им это ни капельки не понравилось, потому как они технократы революции и считают, что веселье, грибы и моя консьержка не относятся к диалектике Истории. Итак, говорит мой друг, который отнюдь не технократ, но попросту торопится, ты поднял животных в свои апартаменты и возвратил машину. Да, говорит раввинчик, и гриб подрос еще на три миллиметра.

Когда они поехали по бульвару Распай, стало очевидно, что Оскар просто засыпает. Давай чуточку вздремнем, сказал Маркос, поговорим вечером, когда приедет Эредиа, да поосторожней с телефоном. У меня куча новостей для тебя, сказал Оскар, борясь с десятым зевком. Но Маркос только поблагодарил его за пирожные под наглое хихиканье Гладис и Людмилы, приканчивающих коробку, и предоставил Гладис описать местонахождение отеля для вечерней встречи. Стоя на тротуаре возле отеля «Лютеция», Оскар с минуту ошалело смотрел на дорожное движение этого Севра-Вавилона, держа в одной руке чемодан и другой — Гладис.

— Почему они так быстро умчались? Мы же могли вместе пообедать или так посидеть, у меня столько есть чего рассказать Маркосу.

— Этот парень знает что делает,— сказала Гладис,— когда ты посмотришь на себя в зеркало, ты поймешь, что не зря я тебе заказала номер люкс; что до меня, любовь моя, мне надо принять душ, хотя на сей раз в ванной у нас не будет пингвина.

Они проделали дыру в решетке, эти девчонки

— Стало быть, это и есть Париж,— сказал Оскар.— Мы находимся в центре?

— Здесь нет того, что называется центром, либо центр понемногу есть повсюду, как не упомню в каком определении,— пояснила Гладис.— Я уже не держусь на ногах, оставь думать о Париже-by-day [2] и пойдем в отель помыться и поспать, сразу видно, что тебе не пришлось раздать триста подносов с едой и присматривать за четырнадцатью детьми, у которых не в порядке у одного верх, у другого низ.

— Прости, я немного обалдел, верно, действует непривычный климат, отрежьте им дорогу в этом месте, иначе они удерут

че, как же это ты и та полечка умяли все пирожные.

— Пирожные очень вкусные, только слишком сладкие,— заметила Людмила, сворачивая с бульвара Распай на улицу Деламбр.— Почему ты не остался с Оскаром? Мне показалось, вид у него был какой-то разочарованный.

— На самом деле, скорее сонный,— сказал Маркос,— а в таком состоянии не больно-то поговоришь. Но если хочешь знать правду, я должен попытаться уяснить кое-какие обстоятельства, и теперь, когда мы удачно провернули наше дельце, я могу спокойно подумать. Остановись здесь, приглашаю чего-нибудь выпить.

Еще раньше, отправляясь в полдень в Орли, Маркос себя спрашивал, почему Людмила. Ему понравилось, что она предложила вести машину, что

[1] Народность в Южной Африке.

[2] дневном *(англ.)*.

не пришлось действовать через Андреса, который, повернувшись спиной, нарочито занялся проигрывателем. Объяснить ему уловку с бирюзовым пингвином было бы делом недолгим, а на Людмилу накатил такой приступ хохота, что она, узнав, что едут Ролан и Люсьен Верней, была готова париться в автобусе № 94. Но потом, когда выехали на автостраду, Маркос почувствовал, что она начинает отчуждаться, думая о чем-то, изменившем ее манеру вести машину,— она вдруг стала какой-то резкой и словно бы встревоженной. Он искоса взглянул на нее, зажег сигарету и протянул ей.

— Это как жизнь,— сказала Людмила,— глядишь, вроде шутка или фарс, а там где-то притаилось совсем другое. Тут два момента, не думай, что я не понимаю, два очень понятных момента. Первое то, что история с пингвином вовсе не шуточка, а второе, что ты меня посвятил в это дело. Ты посвятил в это дело меня. Теперь я, понимаешь ли, соединяю и то и другое. И будет логично, если я тебя спрошу, почему ты со мной об этом заговорил, почему рассказал мне.

— Просто так,— сказал Маркос.— В таких вещах причина не всегда ясна.

— А Андресу ты об этом рассказал?

— Нет, мы все больше говорили о женщинах. О пингвине я только упомянул, и, как ты сама видела, его это не слишком заинтересовало.

— Зато теперь ты... Почему? Потому что я предложила подвезти тебя в Орли? Ты мне ничем не был обязан. Представь себе, что я... ох, хрен едреный и ракушка кудрявая, пардье, не подберу слова.

— Ты смешиваешь в равных дозах аргентинские и галльские ругательства, милая полечка.

— А у меня то преимущество, что я не очень понимаю их смысл,— сказала Людмила.— Раньше Андерс заставлял меня повторять разные словечки, чтобы посмеяться вместе с Патрисио и Сусаной, а по-моему, они звучат очень мило.

— Да, звучат мило,— сказал Маркос,— только иногда их неправильно употребляют и тем все портят. Ну конечно, я тебе доверяю, тут твое наитие тебя не обмануло. И тебе незачем воображать что-то сверхнеобычное.

— Да, но... Ну ладно, я и впрямь пыталась немного помочь, эти сигареты с Сусаной и прочее, но то, что ты ни с того ни с сего вдруг выкладываешь мне все про пингвина и про двадцать тысяч фальшивых долларов, это уже нечто совсем другое.

— Если ты тревожишься, что я тебе об этом деле рассказал, можем это попросту забыть. Без всяких условий, все остается по-прежнему.

— Нет, нет, напротив. Напротив, Маркос. Это... Ох, черт, ты понимаешь.

Маркос положил руку ей на плечо, потом убрал руку.

— Все очень ясно, полечка. Не считай, что ты замешана в том, что мы делаем. Если я с тобой об этом заговорил, поверь, это потому, что, возможно, тебе когда-нибудь захочется быть с нами, но это должно прийти само, вроде желания лечь спать, или порезвиться, или сходить в кино, ну, как приступ кашля или невольное ругательство. И главное, тебе нечего беспокоиться. Если тебя это не интересует, больше об этом ни слова, и конец. Но не думай, что я забыл про Андреса.

— Его мнение никак не может повлиять на мои поступки,— сказала Людмила.— Я работала с Сусаной, и это его ничуть не интересовало, он, правда, не возражал, просто то, что вы делаете, кажется ему ребячеством и его раздражает. Меня сперва тоже это лишь забавляло, но теперь я начинаю смотреть по-другому. Да, мне надо это обдумать,— сказала Людмила, ловко обходя бельгийскую машину, которая упорно желала переместиться через три ряда, к величайшему негодованию местных водителей.

— Ты не здешняя,— сказал Маркос.— Никто не может требовать, чтобы ты встревала в ответственное дело, например, проявляла патриотизм.

— А директоры зоопарка в Венсенне тоже не патриоты? — спросила Людмила.

— Конечно нет, но, чтобы все так думали, достигнуть нелегко, и на это нельзя рассчитывать.

— Выходит, интербригады?

— Допустим. Они, я полагаю, были не хуже, чем многие другие.

— Без пяти минут час,— сказала Людмила.— Пингвин, наверно, уже приземляется.

Отчасти из-за всего этого, а также просто потому, что Людмила, они оказались в кафе на улице Одессы — укромный уголок, зеленые табуретки и тишина, располагавшая к белому вину, сигаретам и воспоминаниям. Теперь речь пошла о Кордове, о дружбе с Оскаром в буэнос-айресском пансионе, о старике Коллинсе — весь этот сложный, запутанный клубок, который Маркос разматывал для Людмилы, отвечая на ее вопросы или на ее молчание, не удивляясь тому, что Людмиле хотелось знать, есть ли у них пирожные другого сорта, учился ли с ними в университете Лонштейн, и тому, что в какую-то минуту, когда он объяснял ей резоны неизбежности Бучи, Людмила, подперев подбородок кулаками, уставилась на него, как цыганка, поднявшая взор над стеклянным шаром, прежде чем объявить зловещее пророчество.

— Я в этом мало что понимаю,— сказала Людмила,— и, по правде, в данный момент это неважно. Я только хотела бы, чтобы ты мне сказал одну вещь.

— Догадываюсь,— сказал Маркос.— Что через час ты вернешься домой и что тогда.

— Да. Потому что я не люблю врать, если можно этого не делать, и теперь мне этого особенно не хотелось бы. Андрес мне никогда не врет, хотя преимущества этой его системы весьма сомнительны. Итак, есть пингвин, старик Коллинс, все прочее. Но также есть пучеро, которым мы вместе будем ужинать, и между одним глотком и другим о чем-то надо же говорить.

— По-моему, можешь ему все рассказать, полечка. Андрес не с нами, я все ждал, что он сам сделает первый шаг, но ты же видишь. Возможно, мне надо было с ним поговорить, как с тобой, по праву старой дружбы, возможно, он бы хорошо отреагировал, как знать. С ним тоже надо действовать по наитию, но если я этого не сделал, значит, не сделал, и баста. Если хочешь, можешь, разумеется, обо всем ему сказать. Я знаю, он не ответит ни да, ни нет.

— Очень хорошо,— сказала Людмила.— Что до меня, то я, Бог весть почему, чувствую себя очень счастливой. Не смотри на меня с таким видом. Я всегда что-нибудь такое ляпну.

— Я смотрю на тебя не поэтому,— сказал Маркос.— Смотрю просто так, полечка.

Да, но кто ты, кого я держу в объятиях, кто уступает и отказывает, жалуется и требует, кто в этот миг упрямствует? И получается так, что она согласна на все (но кто ты, кого я держу в объятиях?), и лишь когда я хочу постепенно спустить ее трусики, она сжимает бедра и сопротивляется, она хочет это сделать сама, ей надо, чтобы именно ее пальцы ухватились за резинку и медленно сдвигали бледно-розовые трусики до середины бедер, потом она чуть приподнимает ноги, и трусы соскальзывают пониже коленок, и тут начинается мягкое колыханье шатунов, плавные велосипедные движения, трусики ползут вниз, меж тем как ее руки безвольно лежат вдоль тела, и вот трусики закатались в трубочку, и тут уж ничего не поделаешь, напрасно я хочу ей помочь, нет, нет, она сама, она снова действует руками, приподнимает бедра, и наконец мелькнули лодыжки, ступни, и вот последнее движение, и трусики уподобились розовому крохотному щеночку, свернувшемуся клубком у ее ног, которые, распрямляясь, отстраняют его, и именно теперь вздох, как раз теперь вздох, вздох примирения с наготой, и она, слегка улыбаясь, смотрит на меня искоса.

Я не понимаю, но люблю этот повторяющийся ритуал, почему ты не позволяешь спустить твои трусики, почему изгибаешься в постели, словно резвящийся дельфин, пока мои пальцы одним рывком не отшвырнут этого розового щенка чихуахуа, прильнувшего к твоим холодным ступням, на

которых я перецелую все пальчики, которые старательно оближу, щекоча тебя, чтобы ты, смеясь, отбивалась и извивалась и называла меня фетишистом и отталкивала, прежде чем покориться телу, которое, устремляясь все дальше, ищет твое тело, губам, скользящим по твоей коже, глупому члену, тычущемуся в твои коленки и живот, увлажняя их,— прелюдии, изобретаемые вновь при каждом повторении, на каждом отрезке нашего пути, аромат твоих ногтей, нарочито растянутые поиски уже найденного, непостижимое открытие уже известного, твои пальцы, блуждающие в моем паху, ухватывающие мой член, и вот мы барахтаемся друг на друге, утоляя жажду кожи, ставшей вдруг многоустой, многорукой и многозубой,— первозданная гидра, нежный головоногий андрогин [1], путаница средств и целей, рот-член, рот-анус, твой язык — фаллос, ищущий меня, мои уста — влагалище, куда ты его погружаешь, музыка багровой тишины, соната с переплетением двух голосов, двух змей кадуцея [2], стремящихся к финальному разрешению, к последнему аккорду, которого я не услышу, потому что в этот раз, как и много раз прежде, ты мне в нем отказала, будет как с трусиками, которые спускаешь только ты сама, и я поверну тебя на бок, буду целовать шею, скользить губами по спине, а ты будешь лежать неподвижно, покорно, и когда я вдруг, лишь вообразив, чего желаю, почувствую снова прилив силы и жажды, ты, обмякшая и слабая, всему подчинишься и, уткнувшись лицом в подушку, разрешишь себя целовать, будешь шептать «я твоя маленькая, слабенькая кошечка», я догадываюсь, что твои глаза закрыты, вижу откинутые кверху руки, вся ты похожа на пловчиху, словно раскачивающуюся на краю трамплина, готовясь к идеальному прыжку, и я буду спускаться по твоей спине, ты дашь ее исследовать и изучать, ощущая бесконечные касания моего языка, стремящегося все глубже, посасывания губ, которые припали к огненно-мшистому колечку, и, чувствуя, как оно то сжимается, то уступает, освобождают его от повседневного, потаенного рабства, призывая к таинству куда более высокому, чем обычные рассеянные прикосновения моющей и очищающей ладони, выводя это колечко из некоего небытия, которое иногда нарушается лишь болезнью ради пальцев более внимательных, ради свечкообразных снадобий, ради измерения температуры,— и ты позволишь себя лизать, и ласкать, и пальпировать до того момента, когда вдруг снова отпрянешь, отказываясь, изогнешься дугой, протестуя, «нет, это нет, ты знаешь, что это нет», и повернешься ко мне со стоном, потому что я сделал тебе больно, пытаясь тебя удержать и раздвинуть ягодицы, одним рывком ты оттолкнешь меня, и я увижу сжатые губы, твердое намерение не уступать, слышу в голосе металлические нотки, эхо вековых запретов, и снова еще раз вырастут передо мной врата роговые и врата костяные, и ангелы Содома с развевающимися кудрями проскользнут меж охранительными простынями, и вот опять ты лежишь лицом кверху, подставляя освященный традицией живот, четко разграничивая «да» и «нет», и опять катехизис и святая Церковь, слившиеся в единое «нет», о, пугливая газель, чтящая умеренность, ты слепок твоего Бога, твоей родины и твоей семьи, смехотворное порождение кучи условностей, комильфотная образцовая пай-девочка, аминь, аминь, разве что, разумеется...

— Мы теряем время на встречу с этими заморскими паршивцами,— возмущался Патрисио, угодив в семь вечера в плотную пробку на Севастопольском бульваре,— а Эредиа, ясное дело, уже должен был прилететь в Бурже, как пить дать.

— Не сыпь мне соль на рану, братец,— сказал Гомес.— Кому ты это говоришь, я занимался своей коллекцией марок Габона, а тут Маркос звонит. Но, если ты включишь свет, я тебе почитаю газету, и может, у тебя пройдет эта судорожная гримаса, от которой вид у тебя piuttosto [3] кадаврический.

— Я не люблю ездить с включенным светом, че, это будет вроде

[1] Двуполое существо.
[2] Жезл Меркурия с двумя переплетенными змеями.
[3] довольно-таки *(итал.)*

свадьбы гомиков, тем более что ты в этом голубом пиджаке, ей-ей, на это способен только панамец. Ладно, ладно, вот тебе свет.

— Вы, молодежь,— сказал двадцатитрехлетний Гомес,— полагаете, что, расхаживая в сорочке или в майке, вы тем самым подрываете устои. Ну вот, что ты скажешь про такую заметку?

— Давай читай, пока я спрямлю по этой улочке, тут, кажется посвободней. Что? В Ла-Калере?

Гомес на полной скорости читает: АРГЕНТИНА. ПАРТИЗАНЫ ЗАХВАТИЛИ СЕЛЕНИЕ С ДЕСЯТЬЮ ТЫСЯЧАМИ ЖИТЕЛЕЙ БЛИЗ КОРДОВЫ. Во вторник полтора десятка партизан на пяти машинах захва-

Argentine

DES GUERILLEROS INVESTISSENT UNE LOCALITÉ DE DIX MILLE HABITANTS PRÈS DE CORDOVA

Buenos-Aires.— Une guinzaine de querilleros circulant à bord de cinq véhicules ont investi mardi La Calera, une localité de dix mille habitants, située à 25 kilomètres de Cordova. Divisés en plusieurs groupes, communicant entre eux au moyen de walkie-talkies et agissant, selon les témoins, avec beaucoup de sangfroid, les assaillants ont occupé le central téléphonique, le bureau des postes et télégraphes, la mairie et, après avoir soumis la garde, le commissariat de police.

тили Ла-Калеру, селение с десятью тысячами жителей в 25 километрах от Кордовы. Разбившись на несколько групп, осуществлявших связь с помощью «уоки-токи», и действуя, по словам очевидцев, с величайшим хладнокровием, нападающие захватили телефонную станцию, почтово-телеграфную контору, муниципалитет и, подавив сопротивление полицейских, комиссариат. Опять не проехать,— сказал Патрисио,— вот шикарная новость для Эредиа, да он буквально будет на седьмом небе. «Ворвавшись в банковский филиал, они взяли десять миллионов песо» /двадцать пять тысяч долларов, Боже праведный, вот будет злиться старик Коллинс, как подумает, что это же настоящие, да, кстати, заметь, как это совпало с пингвином и броненосцами, если дело и дальше так пойдет, мы станем миллионерами/, но дай же мне дочитать, черт возьми, «дабы обеспечить расходы на революцию и утолить голод рабочих кордовского автозавода. С начала июня эти рабочие бастуют. Смелая операция напоминает совершенную 8 октября прошлого года, когда тупамаро захватили Пандо, небольшой уругвайский поселок».

Несомненно, что для Эредиа это была шикарная новость, жаль только, что они не смогли сразу же ее сообщить ему, потому что в очереди на проверку паспортов он беседовал с каким-то высоким, тощим типом, вероятно тоже бразильцем. Эредиа издали их поприветствовал, помахав руками, державшими портфель и бутылку виски, весьма полезная уловка для того, чтобы попутно подмигнуть, что было должным образом воспринято Патрисио и Гомесом, каковые, естественно, встретили путешественника объятиями и восклицаниями, абсолютно ничего не значившими, меж тем как Эредиа представлял их сеньору Фортунато, своему мимолетному соседу по креслам, который заявил, что он очень-очень. По каковой причине Гомес пристроился к Фортунато, и они вдвоем пошли получать багаж, а Эредиа вполголоса сказал Патрисио, слушавшему с полным вниманием, attenti al piato, это муравей, потом все объясню. Фортунато одобрил идею оставить чемоданы в камере хранения на выходе и сходить пропустить по стаканчику на прощанье, раз Эредиа пробудет в Париже всего несколько часов, уважаемый земляк уже рассказал ему о своей стародавней дружбе с Гомесом и Патрисио, о монмартрских шалостях, богемной жизни, ах, эти годы безденежья были лучшими годами, и Патрисио плетет муравью-

путешественнику, что Эредиа, мол, сеял разврат и мотовство на всей улице Бланш, меж тем как более скромный и трудолюбивый Гомес создавал свою коллекцию марок, предмет восхищения и зависти небольшого панамского землячества в Париже. Рассказ о Ла-Калере был отложен, дело в том, что муравей-путешественник чего-то вдруг заинтересовался новостями и, пока им подавали вторую порцию виски, накупил вечерних газет, однако его комментарии к известию, что в Хадельберге около тысячи студентов устроили пикет, протестуя против присутствия Макнамары, вызвали у Гомеса и Патрисио лишь учтивое «гм» и чисто алкоголический восторг у Эредиа, который еще в Лондоне принял три стакана

ALLEMAGNE FÉDÉRALE À HEIDELBERG

UN MILLIER D'ÉTUDIANTS MANIFESTENT CONTRE LA PRÉSENCE DE M. McNAMARA

Heidelberg (A. F. P.).— De violentes bagarres ont éclaté vendredi à Heidelberg à l'occasion de la conférence internationale sur l'aide au développement. Les manifestations étaient dirigées notamment contre la présence de M. Robert McNamara, président de la Banque pour la reconstruction et le développement (BIRD) et ancien secrétaire à la défence.

Un millier d'étudiants et de lycéens d'extrême gauche ont encerclé le grand hôtel où se tenait la conférence. Ils se sont heurtés à d'importantes forces de police, qui ont fait usage de canons à eau et de grenades lacrymogènes. De nombreuses personnes ont été arrêtées. Plusieurs blessés, manifestants et policiers, ont été hospitalisés.

виски да два, пролетая над Ла-Маншем, и которого, казалось, больше всего веселило то, что студенты перебили окна и зеркала в здании, где находился сеньор президент банка, созданного именно для реконструкции. Когда Фортунато добрался до Ла-Калеры на третьей странице «Монд», было вполне логично, что он спросил у Патрисио, знает ли Патрисио об этом, и что Патрисио ответил «да», в Аргентине дела идут из рук вон дрянно, несчастная страна, старик. Фортунато, видите ли, всегда интересовался аргентинскими проблемами, потому как он из приграничной области и жил в Ресистенсии и в Буэнос-Айресе, вы же заметили, что он говорит по-испански довольно бегло, конечно, не так, как его друг Эредиа, который скромно запротестовал, но все же никак не избавится от бразильского акцента, ошибок и ляпсусов и некоей африканской скороговорки, неуместной в чистой испанской речи, так что, поскольку Патрисио живет в Париже, было бы замечательно иногда встретиться и, если Патрисио познакомит его с другими аргентинцами, потолковать об этих делах, ну разумеется, дайте мне телефон вашего отеля, я позвоню, сказал Патрисио. За третьим стаканом виски, обменявшись необходимыми топографическими и ономастическими данными, полистав блокноты и записные книжки, заговорили о мировом кубке и о Пеле, да что тебе-то рассказывать, о землетрясении в Перу, о сафре [1] на Кубе, о которой Фортунато имел сведения из первых рук, тогда как остальные трое, казалось, были не очень-то в курсе, и еще о новом стиле жизни в Лондоне, где Эредиа провел совершенно оргиастический месяц, уж можете ему поверить, о да, можем. Фортунато, по-видимому, это не слишком интересовало, однако чувство симпатии к новому другу обязывало его слушать и смаковать услышанное — меж тем «Монд» лежала смятая, как тряпка, на коленях у муравья-путешественника, который после одной-двух попыток извлечь из нее злободневные темы смирился и стал слушать россказни Эредиа его дорогим друзьям о давней богемной жизни, тут уж не вставишь и малейшего намека на социоэкономический контекст, и Фортунато понимал, что лучше всего было бы уйти, но ничего не поделаешь. Эредиа пустился в воспоминания о районе Earl's Court, S. W. 5 [2], если ты туда как-нибудь поедешь, дам тебе адреса хороших отелей, старик, не

[1] Сезон уборки сахарного тростника.
[2] Эрлз-Корт — район в западной части Лондона.

сравнить с этим пуританским городом, Лондон for ever [1], черт его дери, ты, верно, тоже не дурак поживиться, и Фортунато с видом знатока ухмыляется, и Гомес толкает его в бок, ох уж эти мне распутники кариоки [2], да бросьте, я вовсе не из Рио-де-Жанейро, это неважно, все вы более или менее такие, это климат виноват, и Эредиа щедро расточает технические подробности того, как надо раздевать девчонок, когда они не хотят или прикидываются, будто не хотят, что еще хуже, потому как голова у них при этом ясная и всегда наготове ногти, оплеухи и апперкоты коленкой, что особенно противно, во всяком случае, верней всего действовать нежностью, подкрепляемой sotto voce [3] силой тяжести, многого, ясное дело, не добьешься, если девчонка уже не сидит или, еще лучше, не лежит в постели, и тогда Эредиа слегка ее обнимает, одновременно трепля ее прическу, и целуя, и расстегивая бюстгальтер, а это они обычно позволяют без особого страха и в Лондоне, и где угодно, и когда грудки под блузкой высвобождены, надо лишь улучить момент, чтобы их приподнять и нежно потрогать, пощипывая и обводя пальцем, а потом и всей ладонью — бессмертный, волнующий жест берущего бокал,— и в этом случае неважно, лежит ли она ничком, все равно твои губы прильнут и будут пить из розового бугорка, которому это приятно и который, как маленький вулканчик, набухает, хотя Диана или Дженнифер говорит «нет нет нет» и прячет лицо в подушку, и буря медных волос хлещет по лицу Эредиа, который исподтишка занялся язычком молнии на юбке, и это критический момент /sic!/, потому как Диана сдвигает коленки и поворачивается на бок или решительно ложится ничком, и тогда надо сосредоточиться на ее затылке и плечах, проложить вдоль спины пунктирную дорожку поцелуев, акупунктируя ее и картографируя, успокаивая легким прикосновением влажных губ к уху, покусывая мочку и шепча «глупышка», да «почему ты», да «повернись», да «пусти меня», да «не будь такой», и Диана или Дженнифер будет вздыхать и говорить «нет», но мало-помалу разрешит себя повернуть, и язычок молнии скользнет вниз, а это надо делать так, как показывает ее название, раз и готово, но в одном этом движении сказывается гений стратегии, гений Аустерлицев и Чакабуко [4], ведь если действует Эредиа, все делается синхронно — язычок молнии скользнет вниз до упора, одновременно юбка спустится на бедра, и тут Эредиа подчеркивает главную деталь, от которой зависит все остальное,— трусики должны спуститься вместе с юбкой, а порой это нелегко, потому как Диана сжимает ляжки, или же, бывает, зацепишь пальцами только юбку, а резинку трусов не ухватишь, но когда действует Эредиа, все включается в единую структуру опускания, как написали бы, рассуждая о подобных проблемах в «Тель Кель»[5], и тогда-то произойдет самое изумительное, та метаморфоза, задуманная бессмертными и зоркими богами, которые бдят у изголовья, а именно то, что трусики, опущенные одним ловким движением до середины бедер, и не более чем до середины, и не только опущенные, но тем же движением руки скатанные в трубочку — а это получается не само собой, тут надо помочь ладонью, словно бы разминаешь тесто для слоеного пирога,— превращаются в нечто, mutatis mutandi, похожее на пару полицейских наручников, достаточно сказать, что скатанные в трубочку трусики становятся двойным нейлоновым упругим ярмом, которое сковывает движения сомкнутых бедер, дерганья упирающегося и лягающего крупа, нейтрализует их, как кулаки опасного злоумышленника, схваченного блюстителями порядка, обращает их в два мелькающих веретена тщетного, вялого, бледно-розового сопротивления, которое где-то там, вверху, изливается стоном, ибо Диана или Дженнифер поняла, что уже не может воздействовать своими длинными, шелковистыми, абеляровскими ножницами в ментальном и физическом смысле на Эредиа, ведь

[1] вечным *(англ.)*.
[2] Кариока — житель Рио-де-Жанейро, также бразилец.
[3] вполголоса, тихо *(итал.)*.
[4] Селение в Чили, где в 1817 году армия патриотов под командованием генерала Сан-Мартина одержала победу над испанскими колонизаторами.
[5] Французский структуралистский журнал.

он теперь лег отчасти рядом, отчасти на и занялся длинным скользящим поцелуем, который начинается на устах и теряется где-то на животе, исследуя пупок, нежно пахнущий пшеницей и тальком, а затем возвращается к грудям, всегда, неизменно ждущим его в течение всех этих вылазок, и атак, и подкопов, и контрподкопов, и тут Эредиа свободной рукой начнет и сам разоблачаться, на этом этапе не претендуя на Адамову наготу, отнюдь, ведь такая претензия привела не одного максималиста к поражению в почти уже выигранном сражении, нет, коли удастся, надо только спустить брюки до середины бедер и, коли удастся, трусы, а коли нет, тоже покамест не беда, этот момент очень важен, теперь требуется отвлечь внимание Дианы поцелуями, и ласками, и щекочущими твоими собственными волосами, они всегда помогают, вызывая колебания ляжек, которые есть последнее «нет», а по сути «да», отчаянная попытка освободить бедра от пут-наручников, когда пальцы Эредиа пробегают по наэлектризованному пушку, чтобы углубиться в запретную, запрятанную территорию, где Диана почувствует, что слишком поздно и что она уже не может взбрыкнуть, и жалобно попросит, чтобы Эредиа ее освободил, еще твердя «нет», больше ничего она не способна произнести, но она вся ожидание другого его орлино-молниеносного броска, другого мгновенного рывка, когда трусики должны миновать Сциллу и Харибду ее колен, где они обычно норовят запутаться, и скользнут еще ниже, желательно до лодыжек, и здесь стоп, это последняя мера предосторожности, почти всегда излишняя, ибо слышится глубокий вздох, тебя обдаст не требующим пояснений жаром, выгнувшееся дугою тело возвращается к горизонтали, голова откидывается в сторону со всхлипом, в котором сосредоточен весь соглашательский дух Commonwealth [1], и тогда уж надо спустить трусики окончательно, помогая одной ногой, освободить пленницу, ее ноги почувствуют себя свободными, но уже тяжесть тела Эредиа накрыла всю территорию, которая ходит ходуном и бормочет «нет», «не хочу», «ты нехороший», «ты меня придавил», и тут наступает момент дарвинского атавизма, мягкого, бархатного регресса к лягушечке, бедра начинают ритмично раздвигаться, коленки поднимаются, хотя никто этого не требует, недоступная крепость сама отдает свой мшистый ключ, Эредиа по-архимедовски знает, что ему нужна лишь одна точка опоры, и он упирается коленями в удобную впадину, и его пальцы поползут ко рту за слюной, которая в эту ночь некий пароль и знак, помогающий отворить дверцу крепости, ключ к тайной комбинации цифр, Диана, эта распятая и всхлипывающая лягушка, застонет, а сиракузец еще раз почувствует, что он уже может перевернуть мир, что все начинает кружиться, и подниматься, и плыть, и погружаться по всем законам физики и химии в многоцветной круговерти, мелькающей перед закрытыми глазами, среди прерывистого шепота и растрепанных волос. На этом месте Фортунато решает, что настало время откланяться, и, после многих welcomes [2] и «успеха тебе с француженками», поднимается из-за стола, не преминув напомнить Патрисио, что он был бы счастлив снова встретиться, чтобы потолковать о южноамериканских проблемах, желание, которое Патрисио, конечно же, разделяет, еще бы.

— Да что ты говоришь,— замечает Гомес.— Стало быть, муравей-путешественник подцепил тебя в самолете.

— Дайте мне чуток отдохнуть после моего выступления,— говорит Эредиа, который, между прочим, исполнял свой номер с явным удовольствием, не так уж часто обстоятельства позволяют развить его до такого момента.— В общем, они гораздо глупее, чем нам казалось, они же могли предвидеть, что я не идиот и тоже имею кой-какую информацию. Ты помнишь Руя Мораэса, он еще приземлился однажды в Буэнос-Айресе с чемоданом, набитым пистолетами? Сейчас он в Лондоне, делает работенку для Ламарки и, кстати, сообщил мне некоторые точные сведения, которые понравятся Маркосу. Мурашка-путешественник попробовал появиться на

[1] Содружество *(англ.)* — межгосударственное объединение Великобритании и бывших английских доминионов, колоний и зависимых территорий.

[2] приветствий *(англ.)*.

одной дружеской вечеринке, ты же знаешь, как подобные типы просачиваются, и Руй мне его указал между стопкой можжевеловой и задом какой-то красотки, на этой party [1] толклось столько народу, что видимость, прямо сказать, была не из лучших, но все равно я приметил его нос продувного мошенника. Из осторожности я смылся пораньше, чтобы нас случайно не познакомили, и вот, на́ тебе, сегодня встречаю его в самолете, садится рядом и начинает «извините, но мне кажется, что вы тоже бразилец и так далее». Я немного тревожился, думал, что меня, возможно, будет встречать Маркос, и, сами понимаете, нисколько не обрадовался, когда увидел вас, но, к счастью, вы не такие уж олухи, какими кажетесь.

— Едем поскорей к Маркосу,— сказал Эредиа.— Во всяком случае, этот тип теперь не очень-то знает, что думать, на каждого Фортунато найдется свой Монтрезор [2].

Он сказал это в основном для самого себя, ни Гомес, ни Патрисио начитанностью не блистали, это было очевидно по тому, что они уставились на него, будто на какого-то глиптодонта, после чего — чемоданы, и вперед, предварительно оглядев горизонт, на котором, разумеется, не было никаких муравьев, кругом сплошной технический прогресс и двери, открывающиеся и закрывающиеся от одного твоего взгляда на них издали.

— Значит, ты собираешься заполнить вступительную анкету? — сказал я ей.

— Да. Театр отнимает у меня не слишком много времени, могу заняться еще чем-то, а в последние месяцы развлечений у меня было довольно-таки мало.

— Знаю, полечка моя, знаю. Я не уделяю тебе внимания, ухожу куда-то бродить, не вожу поглазеть на медведей.

— Не придавай себе слишком большого значения,— сказала Людмила, угрожая мне концом весьма острого каблучка своей туфли.— Я умею играть одна, но теперь другое дело, есть игра, которая, возможно, послужит чему-то, как знать.

— Ты правильно поступаешь, Людлюд, к тому же тебе всегда очень нравились пингвины.

Людмила провела ладонью по моему лицу, поцеловала в затылок и отобрала сигареты. О, эти ее повадки морского конька, аромат свежевымытых волос, веселый беспорядок всех ее телодвижений! Мы вместе закурили, вместе распили один стакан вина; я подумал, как было бы приятно послушать «Prozession», вот она, пластинка, под рукой, но предпочел, чтобы Людмила продолжила рассказ о поездке в Орли, прерываемый приступами хохота и немыслимыми отклонениями и отступлениями,— впервые у меня возникло ощущение, что есть перспектива каких-то перемен, вдруг проявились четкие контуры, линии и темы фуги (пусть не музыкальной), безошибочное чувство, что Маркос, и Патрисио, и остальные подходят к осязаемым делам, что Маркос уже не флегматичный, рассеянный гость, заглянувший ко мне в это утро. Конечно, ни у Людмилы, ни у меня не было ясного представления об их пресловутой Буче, мы лишь догадывались о том, что Лонштейн назвал бы эпименования или пролегочала, но довольно было и того, что в глубине души я почувствовал приближение Людмилы к Буче, и сразу же вся эта абстрактная болтовня воплотилась, резкое «играм конец» внезапно изменило и меня, сместило в другую позицию по отношению к Маркосу и остальным, особенно же к Людмиле, которой, уж непременно, придется платить за разбитые горшки, встревать со своей польской наивностью в немыслимые скандалы, лезть маленькими своими лапками в самую гущу кипящего супа, ах, сукины дети. Он думал об этом почти с нежностью, даже с радостью, потому что любил Патрисио, и Маркоса, и Гомеса, теперь и впрямь что-то происходит, близится смертельный номер на канате (королевские броненосцы и бирюзовый пингвин, моя полечка, скажите на милость), близится Буча, и будь что будет, это уже вам не вой в кино и не горелые спички.

[1] вечеринке *(англ.)*.

[2] Персонажи рассказа Эдгара По «Бочонок амонтильядо».

Наверно, лицо у Андреса во время этих размышлений было не слишком веселое, потому что Людмила воззрилась на него и снова принялась гладить его по щеке, но этот жест был внезапно прерван, ибо Людмиле понадобились обе ее руки, чтобы схватиться ими за голову.

— В полвосьмого репетиция! Господи, совершенно забыла вспомнить!

— Не плачь, киска, лучше выпей еще глоток со своим грешником Андресом, который не понимает тревог современной истории, и расскажи еще немного о муравьях, чувствую, что они застряли у тебя в горле.

— Хрен едреный и ракушка кудрявая,— сказала Людмила,— на сей раз меня уж точно убьют!

— Ба, не стоит заламывать руки, детка, все равно ты пришла бы, когда все уже перемрут или переженятся, давай лучше поедим пучеро, он такой вкусный, клянусь, я следовал всем твоим указаниям, овощ за овощем.

— Ты прав, пошли они все к черту,— сказала Людмила.— Они же могли позвонить мне еще разок, не так ли?

— Тебе звонили в шесть, любовь моя, и это было первое, что я тебе сказал, когда ты явилась после встречи пингвина.

— Мне заморочили голову, я все забыла из-за волнения, из-за этих долларов... Ах да, муравьи, конечно, я тебе расскажу, но сперва мне надо успокоиться, плесни мне чего-нибудь в стакан. А как поживает Франсина?

— Хорошо,— сказал я ей с той же неизбежной переменой интонации, какая послышалась в ее голосе, и начался этот диагональный бой, вопрос — ответ, шар в лузу, бессмысленный пинг-понг.

— Я думала, ты пойдешь к ней,— сказала Людмила.— Я это подумала, когда ты сказал Маркосу, что не поедешь в Орли.

— Расскажи, как прибыл пингвин.

— Уж так он тебя интересует, этот пингвин.

— Ну ладно, поговорим о Микеланджело, если угодно. Ах, Людлюд, возможно ли, что

Перерыв из-за вмешательства высшей силы

Мой друг нервничает, какое ему дело до Франсины, и пучеро, и грустной Людмилы, и прочих тонкостей свободомыслящего ума, попусту себя терзающего (да, да, думаю я, толкуй мне теперь всякие свои прогрессивные схемы, когда ты сам еще хуже), а ему-то требуется связное объяснение деятельности Гада, муравьев и Бучи, для чего мой друг первым делом ображает (скорее от «изображать», чем от «воображать») следующую схему.

Мой друг при этом воспользовался неким фотороботом Гада, который был изготовлен Гомесом и Люсьеном Вернеем и определялся следующими чертами:

1) Гад — явление южноамериканское (аргентинское? боливийское? По выбору, в алфавитном порядке).

2) Гад есть орган полно
-правный
-лунный (астральный признак, по мнению Лонштейна, столь же важный, сколь зловещий)
-властный (комплект, определяемый по всему алфавитному перечню, поименованному Supra [1], т. е. (гипотетично) ОАГ, ЦРУ, МБРР [2], Нельсон Рокфеллер, разные фонды и пр.)

3) Гад действует в Европе.

4) Гад защищен паравоенным отрядом — это муравьи, коими командует Муравьище. Для определения муравьев применима почти вся совокупность экологических ниш (например, Фортунато бразилец, а Муравьище, по предположениям, сальвадорец, хотя истинное его происхождение держится в секрете).

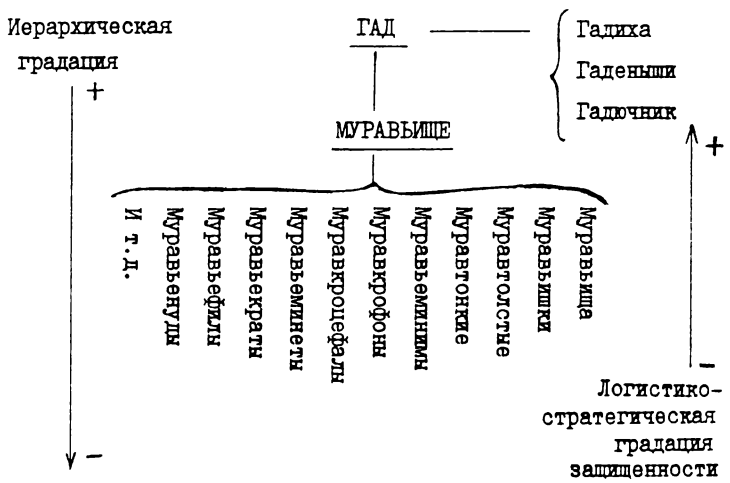
---

[1] выше *(лат.)*.

[2] Международный банк реконструкции и развития.

ГАДСКО=МУРАВЬИНАЯ ОРГАНИГРАММА[1]/

NB: Как все органиграммы, эта тоже не очень понятна,



Пуччиниево интермеццо

В номере 498 на ночном столике стоял радиоприемник. Оскар включил свет со всеми предосторожностями, чтобы не разбудить Гладис, спавшую с пальцем во рту в стиле Baby Doll [2] и выпятив попку, тоже как у Baby Doll, только совершенно неприкрытую. Сев на кровати, он зажег сигарету, пользуясь окопным способом времен войны 1914 года, усвоенным в тринадцатилетнем возрасте в кинотеатре «Рока де Альмагро»,— заслоняешь огонек ладонью, а спичкой чиркаешь по участку не более пяти миллиметров, дабы приглушить звукпустьлишьшорох, которого, конечно, не услышала Гладис, спавшая крепким сном, вполне заслуженным после сотен пластиковых подносов и трах-трах с Оскаром. Плохо было то, что радиоприемник в отеле был из тех, у которого всего три программы, и две из них всегда дерьмо, да еще на французском, а по третьей давали «Турандот», второй акт, ария принцессы. Манипулируя регулятором силы звука, как прежде спичкой, хитроумный Оскар убедился, что Турандот могла разряжать свое едва скрытое сексуальное порабощение на таком уровне громкости, который не разбудит Гладис, и, откинувшись на волшебно мягкую подушку, отдался во власть табака и музыки, чувства нереальности этого часа, когда одна только Гладис связывала его с другим концом света, с Аргентиной, вдруг оказавшейся непостижимо далекой и туманной, с пансионом доньи Ракели, который, Бог знает почему, возник в его уме, и, кстати, с грудками Моньи в полнолуние среди кустов жасмина. В полудреме он слушал пуччиниевскую мелодию, с детства знакомую и любимую, и было в ней и благоухание жасмина в Сантос-Пересе, и аромат спящей и удовлетворенной Гладис, аромат ее тела, еще не омытого душем, и три загадки, и воспоминание о где-то прочитанном случае, как Тосканини, дирижируя в Милане на генеральной репетиции «Турандот», после сцены самоубийства Лиу остановил оркестр и со слезами на глазах сказал: «Здесь рука маэстро перестала писать, на этом пассаже Пуччини скончался», и оркестранты молча встали, и все это рассказывалось для того, чтобы кстати сообщить Оскару, что завершил «Турандот», воспользовавшись оставленными Пуч-

[1] Схема организации фирмы.
[2] Кукла Малыш *(англ.)*.

чини указаниями, Франко Альфано, и тут невольно спрашиваешь себя, сколько же есть таких случаев,— мы восхищаемся статуями в музеях, не подозревая, что половина статуи была восстановлена, как скелеты диплодоков, по одной крохотной косточке, вспомните Амегино [1], вот так-то, а еще газетные сообщения, сфабрикованные из одной сплошной липы, другие девочки проделали отверстие в решетке на кухонном окне и вылезли на пустырь, прилегающий к 41-й улице, поди знай, отверстие, возможно, было проделано раньше, и неизвестно, сбежали ли девочки через пустырь, освещенный полной луной, в неистовстве устремляясь к ограде, к карнавалу по другую сторону, обезумев от жизни под замком и немыслимой скученности, от жирных похлебок и пощечин или более тонких педагогических оскорблений. Какого черта я к этому возвращаюсь, как муха к требухе, сказал себе Оскар, свободный от предрассудков по части метафор, но это не было метафорой, это возвращалось по-иному, словно повинуясь тайному сходству, и Турандот в финальном повторе арии сулила любовь или смерть в изумительно простой фразе, которую Андрес счел бы невыносимо пошлой после «Prozession»,— он наконец-то мог спокойно ее послушать, пока Людмила на диване внимала музыке на свой лад, то есть читая стихи Любича-Милоша [2], к которым у нее было перемежающееся влечение.

По временам мой друг забавлялся тем, что воображал Андреса как бы сидящего верхом на коньке двускатной крыши; в другую эпоху он был бы способен заполнить некую анкету, отметив сродство людей вроде Андреса, например, с Генри Джеймсом, также сидевшим на коньке между миром своего поколения и первыми встрясками, вызванными телефоном, автомобилем и Гульельмо Маркони [3]. Теперь, однако, моего друга больше интересовал иной вид пограничной ситуации для человека вроде Андреса: ведь Андрес, конечно, сознавал, что такое сиденье верхом в личной жизни приводило к самоедству, к настоящей бойне гладиаторов, к всегда нелепым потугам обособиться в плане языка, общественных связей, идеологических течений, что, вместе взятое, порождало некую туманную сумятицу, и тут мой друг пользовался случаем, чтобы взять лупу и пробормотать нечто вроде «погоди, вот зацепит тебя Мао, и будет тебе и Франсина, и твое освобождение чувств, и твое кресло перед стереофоническим проигрывателем».

Мне все это представлялось столь же очевидным, как и моему другу, особенно после сна о Фрице Ланге, сна, который, в каком-то смысле совершенно непонятный, был в то же время иной, темной формулой этого тупика без выхода, но с двойным именем Людмила-Франсина. В полной этой темноте все было яснее ясного, потому что я в то время ежедневно разбивал себе лоб об упрямую необходимость отказаться от прямой линии как кратчайшего расстояния меж двумя точками, любая неэвклидова геометрия виделась мне более применимой к моему ощущению жизни и мира, но как втолковать это Людмиле или Франсине,— после стольких блужданий и надежд остались лишь тошнота и фрустрация, упреки себе, всегда в рамках ортодоксального поведения, угрызения совести да противный привкус во рту раба своего западного и мелкобуржуазного вероисповедания, ощущение, что надо было что-то сделать и ты этого не сделал, отложил задание на потом, черный провал между тем моментом, когда капельдинер привел меня в комнату, где меня ждали, и моментом, когда я оттуда вышел, зная, что я что-то забыл, что-то должен сделать, но не могу, ибо не помню, что именно. И так каждый день и, разумеется, при бдительном «Сверх-Я», насильно теснящей надстройке дневной жизни, а сидящий на коньке человек все пытается соединить мир-Людмилу и мир-Франсину (и больше, много больше того, целую розу ветров, которая

[1] Флорентино Амегино (1854—1911) — аргентинский естествоиспытатель и публицист.

[2] Оскар Владислав де Любич-Милош (1877—1939) — французский поэт литовского происхождения, в чьих стихах сильны мистические мотивы.

[3] Гульельмо Маркони (1884—1937) — итальянский физик, лауреат Нобелевской премии. изобрел беспроволочный телеграф.

включит мельчайшую различимую на горизонте деталь), чтобы хоть иногда, в отчаянном порыве желания, прикоснуться к миру Людмилы-Франсины, и, конечно, на каждом шагу наталкиваешься на бинарность, на несоединимое двойное зрение с конька двускатной крыши.

— Знаешь,— сказал Андрес, подливая вина Людмиле, пряча пластинку с «Prozession» и нашаривая трубку,— знаешь, полечка, когда я был мальчиком, меня восхищало такое глупое развлечение, как верховая езда,— ты мчишься вперед и наблюдаешь, как почти одновременно перемещается двусторонний пейзаж, ранчо слева, тополевая роща справа, заброшенный дом справа, красивый ручеек слева, а впереди, можно сказать, ничего нет, два уха твоей лошади, горизонт, который уже издали начинает сдвигаться налево или направо, и ты знаешь, что в какой-то миг этот омбу [1] в центре окажется слева, меж тем как сидящая на сухом дереве совушка будет справа.

Людмила захлопнула книжку с литовскими стихами и уставилась на меня взглядом, еще блуждавшим в мире образов, очень далеких от того, что она видела перед собой, от этого мужчины, который, наслушавшись музыки Штокхаузена, уныло твердит, потому что, Люд, самое ужасное, понимаешь ли, не в том, что надо выбирать, люди каждый день что-то выбирают, это неизбежно, вот ты намерена включиться в Бучу, а я стал на сторону арабских стран, cum grano sablis [2], это точно — но всего лишь мысленно, что еще точней,— самое трудное или рискованное не это, хотя и это сулит всевозможные проблемы, и мой выбор арабских стран в особенности занесен песком, занудство всякого водораздела, дорогая моя девочка, в том, что простакам кажется, будто тут как ножом отрезал, одно здесь, другое там. Но конечно, полечка, ты ни слова не поняла из того, что я говорю.

— Как же ты хочешь, чтобы я тебя поняла,— пробормотала Людмила, придвигаясь поближе и засунув руку в мою шевелюру, почесывая меня коготками, как кошку, что всегда доставляло мне огромное удовольствие,— если ты начал говорить уже в конце туннеля, хитрец ты этакий. И все же заметь, насколько я понятлива, мне кажется, что я уловила твою мысль и что тебе не придется доставать атлас Мишлена.

— По сути, Людлюд, это несложно, я размышлял о том, что проблема выбора, которая все больше становится проблемой нашего гнусного и чудесного века с маэстро Сартром или без оного, перелагающего его на интеллектуальную музыку, так вот, эта проблема состоит в том, что мы не знаем, чистыми ли руками делаем свой выбор. Да, я знаю, сделать выбор это уже немало, даже если ты ошибся,— тут есть риск, есть фактор случая или генетического рока, но в конечном счете выбор сам по себе есть нечто ценное, он определяет и укрепляет. Проблема в том, что вдруг — я имею в виду себя, ведь когда я выбираю, я вижу в этом акт освобождения, расширения своих возможностей,— вдруг я в своем выборе повинуюсь импульсам извне, принуждениям, табу или предрассудкам, исходящим именно с той стороны, которую я хочу покинуть.

— Блуп,— сказала Людмила, которая всегда это говорила, чтобы меня подбодрить.

— Разве многие из нас, желая сломать буржуазные рамки, не руководствуются порывами, также по сути буржуазными? Когда видишь, как революция почти сразу пускает в ход машину психологических, или эротических, или эстетических репрессий, которая почти симметрично соответствует якобы сломанной машине в плане политическом и практическом, то задумываешься, а не надо ли более тщательно рассматривать большинство сделанных нами выборов.

— Ладно уж, чем рассматривать свой пуп, как ты сейчас делаешь, лучше было бы пытаться делать что-то вроде суперреволюции вся-

[1] Очень большое дерево, растущее в регионе Ла-Платы.

[2] С крупинкой песка *(лат.)*.— Андрес намеренно искажает латинское выражение «cum grano salis» (с крупинкой соли), означающее «с солью остроумия», «с некоторой поправкой, оговоркой».

кий раз, как представится случай, а я думаю, что он представляется ежедневно.

— Конечно, Люд, это так, но надо бы яснее различать это просачивание отвергнутого в новое, ибо сила полученных идей невероятна. Лонштейн, который, как ты знаешь, возвел мастурбацию в искусство,— впрочем, я, кажется, тебе об этом не рассказывал,— дал мне почитать научный текст викторианской эпохи с перечнем признаков мальчика-онаниста, точно таким, каким нас стращали родители и учителя в Аргентине тридцатых годов. Круги под глазами, желтый цвет лица, запинающаяся речь, влажные ладони, тусклый, блуждающий взгляд и так далее; этот портрет, безусловно, сохраняется и поныне в воображении у многих, хотя смена поколений наверняка его сотрет. Лонштейн очень веселился, и не только потому, что он меж одиннадцатью и пятнадцатью годами нисколько не соответствовал этому портрету, более того, он прекрасно помнит, что в то время мнил себя чудесным исключением и был страшно доволен, что его папаша не мог его уличить; то есть, если ты вдумаешься, им тогда было усвоено традиционное клиническое описание в такой мере, что он видел себя каким-то счастливым исключением.

— Я однажды в одиннадцать лет попробовала онанировать с помощью гребенки,— сказала Людмила.— Черт возьми, это чуть не кончилось плохо, я тогда, видимо, совсем дуреха была.

— Гребенки существуют для того, чтобы пай-деточки обертывали их папиросной бумагой и играли веселые мелодии, прошу это помнить. И раз уж мы углубились в сексологию, в упомянутой книге есть намек на другое явление, которое всегда привлекало мое внимание в развратных романах де Сада, а именно предполагаемая эякуляция у женщин. /Эякуляция у женщин?/ Вот-вот, моя дорогая, можно подумать, что ты никогда не читала «Жюльетту» или ее многочисленное потомство. /Да, «Жюльетту» не читала, потому что не достала, зато прочла «Жюстину».// Это намного слабее, но и там женщины эякулируют, и глубинные причины этого убеждения, которое разделялось всеми медицинскими светилами эпохи, тоже проблема, связанная с сексуальной дискриминацией полов и господством мира мужчин, которые становятся образцом для подражания, поэтому женщина соглашается или, возможно, выдумывает, что у нее тоже бывает эякуляция, а мужчина в свой черед признает это несомненным, поскольку именно он является образцом. /Чего только ты не знаешь./ Я-то нет, а вот некий Стивен Маркус, тот просто орел, но речь не об этом, я, знаешь, как-то беседовал с одним скрипачом-французом, любителем интимных тем, и он рассказал мне о своей любовнице кавказского происхождения, некоей таинственной Базилике, она, по его словам, была в любви так неистова, что в конце у нее происходила эякуляция, от которой его бедра становились мокрыми. /Блуп./ Заметь, этот парень знал о женщинах куда больше меня, однако он, видимо, считал, что у Базилики было лишь крайнее проявление того, что присуще им всем. Я не решился высказать ему мои сомнения, но на его примере видно, как некоторые представления, преодолев барьер между полами, внедряются в умы другой стороны, убеждая даже такого знатока женщин, как тот скрипач. Вот я и спрашиваю себя — а вдруг я, желая что-то в себе изменить, на деле желаю этого лишь настолько, чтобы в основе не менялось ничего существенного, и когда я полагаю, что выбрал что-то новое, мой выбор, возможно, продиктован подсознательно всем тем, от чего я хотел бы отказаться.

— Во всяком случае, ты выбираешь, и ладно,— сказала Людмила, и я почувствовал, как она, будто тряпочка, складывается вдвое, вчетверо, в восемь раз. Я стал ее целовать, щекотать, стиснул так, что она охнула, и все время мысли, разговоры, все время Андрес как бы удваивается, выходит из своей скорлупы, целует меня, щекочет, стискивает так, что я охаю, все время мысли, разговоры, послушай, Людлюд, я понимаю, все это Франсина, послушай, Людлюд, я выйду на поиски, мне необходимо выйти на поиски, значит, Франсина или та поездка в Лондон, когда я тебя оставил одну, потому что мне надо было побыть в одиночестве, но все дело в том, чтобы знать, действительно ли я ищу, действительно ли иду на поиски или

всего лишь самодовольно замыкаюсь в своем культурном наследстве, своем буржуазном Западе, в своей крохотной, презренной и изумительной индивидуальности.

— Ах,— сказала Людмила,— когда ты так рассуждаешь, я уже не верю, что ты сильно изменился с тех пор, как, по твоему выражению, начал выходить на поиски. Скорее наоборот, стало быть, quod erat demonstrandum [1], вот тебе, получай.

— Гм,— сказал Андрес, ища трубку, что у него всегда было отвлекающим маневром.— Почему же ты изменилась?

— Потому что ты меня разочаровал, потому что ты ненастоящий, потому что в душе ты прекрасно знаешь, что не хочешь ничего менять, что эта трубка всегда будет твоей трубкой и горе тому, кто попробует ее отнять, и в то же время ты готов разнести в щепки этот дом, точно так же как разнес бы в щепки дом Франсины,— ведь каждый удар там или здесь отдается vice versa [2], так что нам обеим, чтобы знать новости, и телефона не надо.

— Да,— сказал Андрес,— да, Людлюд, но все же это два дома и, если продолжить твою метафору — только постарайся меня понять,— два дома — это не восемь окон, а шестнадцать, это различный вкус соусов, это одна сторона, выходящая на север, и другая на восток.

— Тебе, во всяком случае, не так уж много пользы от твоего двойного жилья и от шестнадцати окон, ты и сам об этом догадываешься, а между тем многое уже никогда не будет таким, как раньше.

— Я хотел, чтобы ты меня поняла, я надеялся на какую-то мутацию в любви и взаимопонимании, мне казалось, что мы сумеем сломать стереотип пары и одновременно обогатим себя и что при этом не придется ничего менять в чувствах.

— Не придется ничего менять,— повторила Людмила.— Вот видишь, при твоем выборе ты не хотел ничего менять в сути, для тебя это была и есть пустая игра, научная экспедиция вокруг лохани, фигура танца, и вот ты снова на том же месте. Но при каждом пируэте ты разбивал какое-то зеркало, а теперь, оказывается, ты даже не уверен, что разбивал их, чтобы что-то изменить. Да, между тобой и Мануэлем невелика разница.

— В нашем разговоре, полечка, есть все же кое-что полезное — то, что ты вмиг его десакрализуешь, например, сводишь к Мануэлю. Ты права, не спорю, а я только создаю проблемы и, хуже того, сомневаюсь в самих этих проблемах. Но знаешь, меня не надо жалеть.

Людмила ничего на это не ответила, однако снова погладила мне лицо, почти не прикасаясь к коже, и это как раз было очень похоже на жалость. В конце концов, как узнать, кто из них двоих больше меня жалеет,— ведь и Франсина порой подолгу смотрела на меня, как человек, который желает утешить, но говорит себе, что это бесполезно, потому что здесь нет даже отчаяния, здесь нечто иное, не имеющее названия, чего я не могу не искать, пока существую, и так di capo al fine [3]. На этом ничто не завершалось, раз все мы были правы, каждый по-своему. Ничто не завершалось, но также ничего словно бы и не начиналось; в конце каждого разговора с Франсиной, с Людмилой открывалась новая ненадежная отсрочка, в которой ласки и улыбки были вроде мимолетных, вежливых постояльцев, ходящих на цыпочках; стало быть, надо убедить себя, убедить себя (но нет, это невозможно принять: невозможно сидеть на крыше всю жизнь, сломать себе башку, но сидеть на коньке над двумя скатами, над двумя мирами, стремясь сделать их одним-единственным — или десятью тысячами миров), убедить себя в том, что ТРЕУГОЛЬНИК. Да, геометрическая фигура, образованная тремя взаимно пересекающимися линиями. Нет. Хотя они пересекаются, и пусть себе пересекаются до и после ласк. Нет, Евклид, нет, черт возьми!

---

[1] что и следовало доказать *(лат.)*.
[2] в обратном порядке, обратно *(лат.)*.
[3] от начала и до конца *(итал.)*.

Почти невероятно, чтобы в одной парижской квартире могло собраться столько посторонних людей и консьержка при этом не разъярялась бы, по мере того как разные субъекты появляются и, как правило, спрашивают месье Лонштейна, словно его фамилия не значится на таблице в подъезде, уж не говоря о том, что вопросы эти задаются на таком наречии, которое немногие французские консьержки благоволят понять, однако в данном случае толстуха не только не устраивает даже маленького скандальчика, но, напротив, вид у нее вполне довольный и спокойный,— так, например, Оскару и Гладис, пришедшим сюда впервые, она указывает лестницу в глубине двора и провожает их до первой лестничной площадки, приговаривая, что нынче, видимо, у месье Лонштейна день рождения и это очень хорошо, что время от времени люди справляют дни рождения, потому как слишком мало радостей осталось у людей из-за проклятых войн и наводнений, вот, в субботу в долине Луары, где среди фруктовых деревьев живет ее матушка, все залило, только подумайте, какая беда. Оскар, естественно, внимает этому фонтану красноречия с видом полного кретина, приходится Гладис вставлять всяческие oh, oui, bien sûr, mais certainement [1], сопровождаемые многими merci beaucoup, vous êtes gentille [2] и прочими смазочными общества, в котором люди, встречаясь на лестнице, не преминут извиниться, клянусь, это правда, говорит Гладис, нажимая на кнопку звонка, да ты меня дурачишь, малышка, хотя должен признаться, мне за день пришлось пожать по разным поводам столько рук, что я еще не пришел в себя.

Толстуха консьержка насчет дня рождения раввинчика ошиблась, но не слишком, в сущности, это действительно некий праздник, хотя причина его неизвестна (вот идут Гомес и Моника, лестница трясется от их шагов, возгласов и хохота, совершенно бессмысленного); во всяком случае, Маркос и Эредиа в течение дня тоже заглянули к раввинчику, контейнеры были надлежащим образом выпотрошены, и доллары уже ждут своего часа на другом конце Парижа, так что ежели муравьи затеют обыск, они не найдут ничего, кроме бутылок с вином да латиноамериканцев во

ACCORD ENTRE BUENOS-AIRES ET LONDRES SUR LES ILES FALKLAND

***Londres (A. F. P.).*— A l'issue de négociations laborieuses, les gouvernements britannique et argentin se sont mis d'accord le ler juillet pour «géler» la question de la souveraineté sur les îles Falkland (Malouines). Situé au nordouest de la Terre-de-Feu, et colonie britannique depuis 1834, l'archipel est revendiqué par l'Argentine.**

Aux termes de l'accord, le gouvernement de Buenos-Aires permettra aux deux mille habitants des îles-isolés jusqu'à présent du continent sud-américain — de se rendre librement en Argentine. Ils y seront exempts du service militaire et jouiront de certains avantages fiscaux et douaniers.

D'autre part, le gouvernement argentin s'engage à établir des services aériens réguliers, ainsi que des communications postales, téléphoniques et télégraphiques, entre l'Argentine et l'archipel. La Grande-Bretagne se charge, de son côté, de créer un service de navigation entre Port-Stanley, capitale de l'archipel, et le continent.

ДОГОВОР МЕЖДУ БУЭНОС-АЙРЕСОМ И ЛОНДОНОМ О ФОЛКЛЕНДСКИХ ОСТРОВАХ

Лондон (АФП).— «В итоге трудных переговоров британское и аргентинское правительства 1 июля пришли к согласию «заморозить» вопрос о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов. На расположенный к северо-западу от Огненной Земли бывший с 1834 года британской колонией архипелаг теперь предъявляет претензии Аргентина.

Согласно договору, правительство в Буэнос-Айресе позволит двум тысячам обитателей острова — до сих пор отрезанным от южно-американского материка — свободно приезжать в Аргентину. Там они будут освобождены от воинской службы и смогут пользоваться некоторыми налоговыми и таможенными льготами.

Аргентинское правительство еще обязуется установить регулярное воздушное сообщение, а также почтовую, телефонную и телеграфную связь

[1] о да, конечно, ну бесспорно *(франц.)*.
[2] большое спасибо, вы так любезны *(франц.)*.

между Аргентиной и архипелагом. Великобритания, со своей стороны, берется наладить морское сообщение между Порт-Стэнли, столицей архипелага, и континентом».

всех углах квартиры: моему другу, который явился одним из первых, кажется, что толстуха угадала и что здесь действительно отмечают день рождения — вероятно, гриба, главного предмета рассуждений раввинчика, но вскоре моему другу становится трудней контролировать обстановку, ибо синхронное восприятие не из сильных его сторон, а всем известно, что на испаноязычных сборищах никто не желает слушать, а только хочет, чтобы слушали его, неустранимое испанское наследие, и единственный метод преодолеть его состоит в том, чтобы, как обычно, исказить действительность, превращая синхронность в последовательность, с неизбежными потерями и ошибками в параллаксе. Нет, вы только посмотрите на этих типов, мрачно говорит Лонштейн, ты их приглашаешь по серьезному делу, а у них на уме только одна тема для разговора, их Буча, вот уже битых полтора часа они дискусуждают о похищении Гада. А ты разве не в курсе? — удивляется мой друг. Ну конечно в курсе, только пусть бы они этот вопрос решали в рабочее время. Но раз уж я приютил их пингвина, могу и их потерпеть еще немного, правда ведь? Кстати о пингвинах, говорит Гладис после бурного обмена поцелуями, не знаю, видели ли вы заметку. Природа подражает искусству, уайльдирует уже знающий об этом Патрисио, но Гомес и Моника реагируют иначе, согласно установившемуся обычаю, они как подкошенные валятся на пол, чтобы вволю похохотать, а Людмила, которая в свой черед читает заметку, вспоминает, что Андресу, видимо, принадлежит определение Мальвин, над которым она тоже здорово смеялась: Дерьмовые Мальвины, где живут пингвины. Надо бы прочесть эту заметку главному заинтересованному лицу, говорит Сусана, хотя в данную минуту главное, чем она поглощена, это игры с Мануэлем в ванной. В *моей* ванной, говорит раввинчик, и вы пользуетесь *моими* полотенцами, и забрызгиваете *мои* изразцы. Ты же понимаешь, добавляет он гневно, обращаясь к моему другу, человек приглашает их посмотреть на гриб, а все сводится к гнусной навмахии [1]. Не знаю, вполне ли они поняли, что, согласно этому договору, пингвин освобождается от военной службы, говорит Патрисио, и будет пользоваться налоговыми и таможенными льготами. Кабы мы это знали, мы бы не затевали всю эту бучу в Орли, говорит Оскар. А вот хорошо бы, если бы кто-нибудь, например Лонштейн, дал бы нам чего-нибудь выпить, говорит Гомес. Есть вино и содовая, хмуро говорит Лонштейн. Тогда мой друг удаляется в свой нейтральный угол, который может быть в любом месте и может даже не быть углом, и оттуда глядит и слушает этих людей, которых знает и любит, людей из его края, разговаривающих, и смеющихся, и все больше углубляющихся в нечто взрывоопасное и отнюдь не забавное, не имеющее ничего общего с пингвинами, и телеграфными совпадениями, и вином с содовой. Как всегда, штука в том, чтобы понять, но без искажающих упрощений, и, быть может, заставить других понять, но последнее не слишком волнует моего друга, он ограничивается изложением того, что считает реальным, бесспорным и даже необходимым без обычных в таких делах театральных постановок. Как бы рассказал о подобных событиях какой-нибудь Гроссо, тот самый, историк? По-гроссовски выражаясь, закрытое совещание началось еще раньше, сперва в небольшом составе, с Маркосом и Эредиа, которые совершили потрошение контейнеров и отправили Люсьена Вернея с долларами; затем ввалились Патрисио и Гомес, и когда появился Оскар уже без пирожных, но отдохнувший, можно было подробно обсудить заключительную фазу операции, намеченной в ночь на пятницу. Был понедельник, вечер грибов и дрянного, разбавленного водой вина; во вторник не женись и на корабль не садись, зато это прекрасный день для одновременного обмена долларов в каких-нибудь двух десятках банков и агентств, это задание поручается группе

[1] Зрелище морского сражения в Древнем Риме.

аборигенов под командованием Ролана и Люсьена Вернея, ясно, что чем меньше южноамериканцев будет соваться в окошки банков, тем лучше, муравьи не так уж глупы, сразу приметят смуглых молодчиков, а французская полиция на их работу смотрит сквозь пальцы, что усложняет дело с банками. Патрисио пришлось объяснять ряд предварительных маневров, которые намечались на среду и на четверг, дошли уже до утра пятницы, как вдруг раздался грохот в дверь раввинчика, который, изрядно испуганный, открыл ее, дабы впустить одновременно ворвавшихся Людмилу и Сусану, причем последняя буквально уронила Мануэля, чтобы повиснуть на шее у Эредиа, меж тем как Эредиа искоса глянул на Маркоса с недвусмысленным намеком на Людмилу, которая только что соблазнила молодого студента во второй сцене последнего действия и сразу — занавес и такси, даже макияж не сняла и была удивительно хороша, и Маркос на нее взглянул и потом подмигнул Эредиа, чтобы тот спокойно продолжал объяснять дело с Гадом, с чем Патрисио и Гомес неохотно примирились, потому что это был Маркос, а возможно, и потому, что это была Людмила. Успокаивать Мануэля пришлось минут пять, мальчонка пришел в невероятное возбуждение, почувствовав себя центром вселенной — более или менее как всякий человек, только с большей наивностью,— и закрытое совещание открылось, как по волшебству, лишь после четвертой интермедии, во время коей была наполнена водою ванна и состоялось знакомство Мануэля и бирюзового пингвина, которые сразу же послали Бучу куда подальше и принялись барахтаться в ванне к величайшему наслаждению женщин, меж тем как штаб возобновил заседание и Гомес взял слово, чтобы уточнить некоторые детали большой Бучи, а именно: 1) Гад и его благоверная Гадиха еще до полуночи должны выйти из здания после полуофициального ужина; 2) Охрана Гада, которой ведает Муравьище (elementary, my dear Watson [1]), наверняка будет состоять из двух муравьев в машине, один это водитель, другой на всякий случай и тоже вооруженный; 3) Место подходящее, возле парка Монсо; 4) Время тоже неплохое; 5) Маршрут после перехвата и выезд из Парижа не представляют в этот час особых дорожных опасностей; 6) Почтенные представители зоопарка в Венсенне, возвратившись к занятиям, более соответствующим их натуре, все подготовили для приема Гада в пригородном поселке, носившем звонкое название Веррьер.

— Пойдемте посмотреть на гриб,— предложил Лонштейн, зевавший от скуки.

— А как же Гадиха? — спросил Оскар.

— Ее мы доставим обратно в Париж, как только она убедится, что гостя разместили с комфортом и что никто не намерен делать с ним то, что он охотно сделал бы с нами,— сказал Маркос.— Кстати, именно она сообщит в газеты, с чего и начнется большая Буча. С тобой и с тобой я должен еще кое-что уладить, но покамест главное это.

— Как ты смотришь на то, чтобы я их повел в другую комнату? — сказал Лонштейн моему другу.— Четвертая интермедия, офкорс. Не желаете ли по стаканчику вина, члены ложи Лаутаро [2]?

— О да,— согласился Гомес,— пора перейти в буфет, господа.

— Пришлось вытащить его из ванны,— сообщила Сусана, входя в комнату, вся в мыльной пене,— пингвин слишком нервничает, потому что Мануэль хочет помыть ему брюхо.

— Иди к дяде,— сказал Маркос, ловя на лету голого, лоснящегося Мануэля, который скорее был расположен забраться на колени к Гомесу, дрожавшему за панамскую стрелку на своих брюках.— Че, этот малец становится с каждым днем все упрямее.

— Пошел к такой-то бабушке,— сказала Сусана, и тут остальные соправительницы и болельщицы Мануэля, сиречь Моника, Людмила и last but not least [3] Гладис: Завистник, ты бы тоже хотел иметь такие складочки /Такие глазки/ А этот носик /Поглядите на ручки, что за прелесть/, и Мануэль

[1] элементарно, мой дорогой Ватсон *(англ.)*.

[2] Ложа Лаутаро — тайное общество, основанное в Буэнос-Айресе в 1812 г. с целью борьбы за независимость от Испании.

[3] последняя по счету, но не по значению *(англ.)*.

в восторге, что ему делают лошадку «поехали, поехали / в Вифлеем», уцепившись за Маркоса, как укротитель за необъезженного жеребца, «ведь завтра праздник, веселье будет всем», а главное, в пятницу, подумал Маркос, позволяя степному укротителю хлестать себя, поглядывая на Людмилу, которая, потрудившись вместе с болельщицами, прикорнула в любимом кресле раввинчика, досадливо скривившегося, но все же поднесшего ей стакан вина и нечто, именовавшееся сандвичем с сыром, но больше похожее на промокашку. Из ванной донесся ужасающий вопль, и Гладис кинулась развертывать пакет с рыбой, который она, как человек опытный, принесла с собой,— да, собрание начинало принимать решительно забавный оборот.

Кресло было широкое, удобное, усыпляемая мягкой паклей и красным вином Людмила улавливала последние детали Бучи, но даже потом, когда говорили о пингвине или о выступлениях Карлоса Монсона, она все еще спрашивала себя, как это Маркос и остальные могли до такой степени ей доверять: пятница, парк Монсо, муравьишки, Веррьер, все-все. Штампы, явно заимствованные из бесчисленных шпионских романов, убеждали ее, что все это ненастоящее, что Маркос с Патрисио и Гомесом просто развлекаются; возможно, позже, оставшись одни, они будут говорить серьезно. В какую-то минуту Маркос подошел к ней, наклонился с двумя стаканами вина и сигаретой во рту.

— Почему не пришел Андрес?

Это он сказал вполголоса, только для нее, отключившись от Бучи; вот уж совсем нелепо, подумала Людмила.

— Не захотел. Мы поговорили обо всем на свете, и он ушел бродить.

— Но ты же ему рассказала о нашем разговоре днем? Да? Тогда ладно, не захотел прийти, его дело.

— Не понимаю,— сказала Людмила совсем тихо, хотя возня сопрательниц с Мануэлем (в нее встрял и Эредиа и резвился с огромным удовольствием) отгораживала их и защищала,— я ничего не понимаю, Маркос. Я о том, что говорили Патрисио и остальные, об этой пятнице.

— Это правда, полечка.

— Но я, Маркос, как это понять, что ты...

— Не тревожься, полечка. Ты к Буче не имеешь отношения, но, сама видишь, есть вещи, которые каждый понимает по-своему, и на сей раз я знаю, что делаю. Не считай, что ты чем-то обязана,— будешь молчать, и этого достаточно. Теперь уже ты об этом Андресу не рассказывай.

— Ясное дело.

— Жаль,— резко сказал Маркос.— Я думал, что он придет, тогда мне с ним было бы так же спокойно, как с тобой.

— Все закономерно,— сказала Людмила.— В какой-то момент это должно было случиться, теперь он на одной стороне, я на другой. Ты подумаешь, что я шучу, но именно об этом мы с ним говорили весь вечер, то есть о расставаниях, об отчуждении. И вот отстраниться, уйти приходится мне.

— Жаль,— повторил Маркос.— Но мне это тоже отчасти знакомо, моя жена — секретарь министра в Буэнос-Айресе.

— Вот как.

— Не грусти, полечка. Если ты забудешь о том, что услышала, и как ни в чем не бывало вернешься домой, будет прекрасно. Но если то, что я тебе объяснял днем, и то, что ты теперь слышишь, тебя волнует, еще лучше. Как видишь, я беру на себя труд изложить две возможности.

— Я остаюсь с вами, Маркос.

— Хорошо, полечка. Ну да, да, зануда, твой гриб не засохнет же за каких-нибудь полчаса.

— Сейчас подходящий момент,— сказал Лонштейн,— после полуночи фосфоресценция у него слабеет. Если вы покончили со своими умствованиями, перейдем в его кабинет.

«Кабинет» был соседней комнатой, такой же обшарпанной, как и первая. Когда Людмила самовытащилась из кресла, Маркос остался рядом с ней, будто хотел сказать ей что-то еще, пока жены-сопрательницы не наградили их Мануэлем, уже засыпающим, но еще способным опрокинуть стакан или

засунуть окурок себе в ухо. Когда вошли в кабинет, первый, кто замолчал, был Эредиа — странным образом слова о грибе как бы изменили течение его мыслей, и переход из первой комнаты в кабинет посреди смеха и шуток был для него чем-то более серьезным, чем физическая перемена места, даже соправительницы и Мануэль притихли, Оскар смотрел на Гладис взором непонимающего новичка, ища объяснения, которое Гладис не могла ему дать; Патрисио и Гомес, более осведомленные, засунув руки в карманы, всего лишь сделали серьезную мину. Что ж до моего друга, он был как никогда поглощен тем, чтобы упорядочить происходящее, что было нелегко. Короче:

Лонштейн стоит рядом со столом
стол в глубине кабинета
кабинет в полумраке
никаких стульев и вообще мебели

луч зеленоватого света
с потолка падает на
нечто в небольшом горшке
стоящем на чайном блюдце
в центре горшочка гриб

вертикально стоящий, фиолетовый
цилиндр со шляпкой, но небольшой,
типичной фаллической формы
слабо фосфоресцирующий под
зеленоватым стимулирующим лучом

Не приближайтесь слишком, приказал Лонштейн, азот и сигаретный дым ему вредны. Гриб, сказал Эредиа, не доставало только галлюциногенов. У этого гриба нет никаких галлюциногенов, возмутился Лонштейн, как всякий знает, это lapsus prolapsus igneus [1], и он весьма ядовит. Но вообще, что тут происходит, какой-то церемониал? Бормочоскар. Отнюдь нет, сказал Гомес, просто теряем попусту время. Не дури, сказала Моника, можем же мы иногда поразвлечься. Развлечься я бы мог иначе, мог бы наклеивать марки Марокко или новую финскую серию, сказал Гомес. Оскар все еще ничего не понимал, за немногие эти часы столько всего обрушилось на его голову, а теперь этот гриб, правда, Лонштейн человек надежный, и каждому дозволено иногда подурить, что-то в этом же роде, видимо, думал Маркос, он смотрел на Лонштейна, и на его лице было выражение покоя, расслабления, хотя в полутьме мой друг не мог точно уловить выражение лиц и, вероятно, предался чисто субъективным предположениям. Эта ночь очень подходящая, сказал Лонштейн, соединение планет благоприятно, и ляпсус растет особенно быстро. Я не вижу, чтобы он рос, сказала Сусана, и соправительницы подтвердили, этого не может быть, растения растут незаметно и т. д. Этот гриб не растение, заметил Лонштейн, растения зеленые, вульгарные, это люмпены ботаники. Если погасите свои сигареты, можете подойти поближе и рассмотреть. В высшей степени научно, сказал Эредиа, одобрительно глядя на сантиметр, который Лонштейн легкими рывками вытягивал из футляра, прикладывал параллельно к ляпсусу и, как на эстрадных представлениях, обращался к Монике с призывом убедиться, что и в этой руке у него ничего нет, и в другой тоже. Точно восемнадцать сантиметров и два миллиметра, сказала Моника, проникшаяся собственной важностью. А ты — точное время, сказал Лонштейн Маркосу. Двенадцать часов пятьдесят четыре минуты двадцать секунд, сообщил Маркос. Как пройдет пять минут, скажешь, секунды необязательно. Это было и впрямь вроде какого-то церемониала, Оскар прижался к Гладис, которая, как лошадка, тихонько спала стоя, зажег сигарету на почтительном расстоянии от гриба и сказал себе, что с этого момента и до пятницы, а главное после пятницы, дела пойдут быстро и будет жарко, во всяком случае, гриб, и Лонштейн, и эта странная терпимость Маркоса не раздражали его, но, напротив, порождали необъяснимую, но ощутимую общность, были мимо-

[1] Вероятно, шуточное определение, что-то вроде «огненный ляпсус, переляпсус» *(лат.)*.

летной и оттого драгоценной встречей вещей несовместимых или казавшихся многим несовместимыми,— вот, например, Гомес, человек дела, которому кажется, что он теряет время, или корчащийся от смеха Эредиа, но Оскару нравился весь этот абсурд с зеленым светом и замерами с точностью до миллиметра, Лонштейн, глядящий на гриб и объясняющий, что здесь мы имеем характерный случай ускоренного размножения клеток, я видел, как он зародился на участке возле реки, там, где я причесываю моих голышиков. Моих — кого? спросил Эредиа. Покойничков, сказал Лонштейн, ну ладно, скажу попроще для присутствующих здесь иностранцев, сидел я как-то на скамейке и смотрел — на рассвете я устаю от работы и выхожу подышать,— вдруг вижу, камешек на земле задвигался, крот! крот! говорю я себе, но в Париже-то нет кротов, ну, говорю я, значит, какой-то огромный, здоровецкий червяк или астральная левитация, но тут камешек чуть поворачивается, и я вижу, высовывается ляпсус, вроде подталкивающего пальца, вот вам и незаметный рост, как говорят здесь некоторые, толчок, и выше, выше, не могла же это быть спаржа, воображаете, рядом с моргом, я пошел, отыскал старую консервную банку и нож, и, когда очень осторожно его вытащил, гриб возвышался над землей уже сантиметра на два. Пять минут, сказал Маркос. Измеряй, скомандовал Лонштейн, и Моника аккуратно, стараясь не прикасаться к ляпсусу, приложила сантиметр, невероятно, сказала Моника, ровно девятнадцать сантиметров. А что я говорил, подсчитай и сообрази, какая огромная внутренняя работа идет в грибе, сказал Лонштейн. Мог бы нам просто рассказать, и все, сказал Патрисио, спавший стоя, визуальное наблюдение вовсе не восхищает. Все вы, мужчины, одинаковы, возмутились соправительницы, очень интересно было посмотреть, это необыкновенный гриб, научный феномен, ни одна из них, правда, не сказала, что гриб красив, что он вырос, как то, о чем все они подумали, и, разумеется, Эредиа выпало провести аналогию, то же самое бывает у меня, когда увижу хорошенькую мини-юбку, ляпсус сразу вырастает, сказал он соправительницам к шумному их удовольствию. Только заговори с ними на эту тему, сразу волнение, сердито сказал Лонштейн. Хрен едреный и ракушка кудрявая, сказала Людмила, чем одновременно вызвала уважение Эредиа и изумление Оскара, который очнулся от полузабытья рядом с Гладис, спавшей крепким сном, и тут новый всплеск хохота и обратное движение,— кабинет и впрямь действовал удручающе с его полутьмой и зеленым светом, либо этот гриб испускал усыпляющую эманацию, лучше вернуться распивать вино в другой комнате, где на коврике, сося три пальца, спал Мануэль.

— С этого гриба нельзя спускать глаз,— сказал Лонштейн моему другу,— ты же понимаешь.

По правде, мой друг не очень-то понимал, но Лонштейн все смотрел на него пристально и иронически, и в конце концов получилось так, словно мой друг и Оскар, каждый сам по себе, стали лучше понимать, что происходит (и Маркос также, но Маркос это понимал с самого начала, с самого подключения Лонштейна к Буче, иначе раввинчика не допускали бы к тому, что на практике казалось ему не по плечу), и потому, когда впоследствии мой друг рассказал мне о визите к грибу, я с ним согласился и подумал, что Маркос умеет смотреть на вещи не только с одной стороны, не в пример прочим, решительно устремленным к Буче. В этой дурацкой комедии для Маркоса, возможно, было что-то вроде надежды, надежды не впасть в ограниченность, сохранить способность к игре, частицу Мануэля в своем поведении. Поди знай, че. Возможно, что типы вроде Маркоса и Оскара (о котором я от моего друга немало узнал) были в Буче из-за Мануэля, я хочу сказать, делали это для него, для многих Мануэлей во многих уголках земли, желая способствовать тому, чтобы Мануэль однажды вошел в другую эпоху, и в то же время сохраняя для него какие-то обломки после всеобщего кораблекрушения; а Гомеса игра эта раздражала, излишеством казались ему всякие проблески красоты, какие-то грибы в ночи, все то, что наполняло смыслом любые планы будущего. Понятно, подумал мой друг, считавший себя обязанным вмешаться и подвести конечный итог,— немногие члены Бучи, всех больших и маленьких Буч на

земле, поймут людей вроде Маркоса или Оскара, но всегда для Маркоса найдется Оскар и наоборот, найдется человек, способный понять, почему надо последовать за раввинчиком, когда он предлагает пройти в кабинет посмотреть на гриб.

После всего этого казалось, что гости вот-вот разойдутся, но они, естественно, остались еще на часок, соправительницы уснули где кто сумел, мужчины увлеклись вином и сообщениями Эредиа, и, хотя Лонштейн выключил почти все лампы по причинам, как решили его гости, талмудическим, на зевки раввинчика они не обращали внимания или сами им подражали, а между тем — Росарио, встреча миляги Переса с парнями из ПРОМ в Гондурасе, новости лондонские или уругвайские и лучшая из всех

О партизанах, сбежавших из тюрьмы в Кордове, ничего не известно

Операция совершена боевиками НРА, выказавшими высокую организованность и выучку

Кордова, 12 (АП). Осуществленные полицией розыски с целью выяснения обстоятельств дерзкого налета, совершенного вчера отрядом экстремистов на женскую тюрьму, где им удалось освободить пять городских партизанок, не дали пока никаких результатов. Одна из служительниц тюрьмы, открывшая дверь, чтобы вынести бак с отходами, была задержана и изолирована; ведется дознание на предмет ее соучастия в этом деле, ибо вчера она, собираясь открыть дверь, не предупредила охрану, как делала это каждый день.

одновременно Оскар и Маркос ревниво охраняли свои стаканы с вином от содовой, которой Лонштейн по совершенно дикому рецепту его матушки пытался улучшить вкус вина, и Маркос излагал Эредиа и Оскару кое-что из того, что должно произойти в ближайшие пятьдесят восемь часов, причем Оскар полулежал между чуть-чуть похрапывавшей Гладис и двумя огромными подушками, облокотясь в позе Тримальхиона на пачку старых «Гасетас» (из Тукумана), и комментарии по операции НРА доносились до него все глуше, как бы издалека, поворачивая его мысли в другом направлении, к игре сна и полумрака и вина, к другим образам полудремы, где луна светит высоко в небе и по немощеной улочке скачут лошади, и слышится извечный

Сегодня после полудня удалось узнать новые детали побега, осуществление которого приписывают Народной революционной армии (НРА) и который показал высокую степень организованности и опыта у этой террористической группировки.

Члены отряда, совершившего налет, выказали редкую отвагу — ведь женская тюрьма находится в самом центре города, в трех кварталах от Федеральной полиции и в четырех от Центрального департамента полиции.

топот копыт, отбрасывающих с глухим стуком комья земли, и снова видение — ограда со сверкающими бутылочными осколками, девочки, бросающие на нее свои сорочки, чтобы не порезать руки, и сбившиеся в кучу, крики, первый удар хлыстом, бег по пустырям,— какая тут связь с этой комнатой на другом конце земли, с грибом, и все же, все же требуется усилие, чтобы перескочить к сообщению, которое Патрисио читает для Эредиа, и Эредиа вдруг аж подскакивает

Тактика

Собранные сведения показывают, что террористы действовали с превосходным знанием местности и уже с полудня предпринимали ряд действий для отвлечения внимания полиции, чтобы совершить налет без риска.

Вчера в первые часы пополудни экстремисты напали на дом полковника Патрисио Ферреро, который служит секретарем финансового отдела муниципалитета, а прежде был министром экономики и финансов.

Несколько часов спустя небольшая группа взорвала гранаты на перекрестке авениды Генерала Паса и 9 Июля и забросала камнями и «коктейлем Молотова» помещение фирмы «Архенсор АО», концессионера фирмы «Фиат».

Гранаты вызвали пожар, а камнями были разбиты окна и ветровое стекло автомашины.

К расследованию этого происшествия привлечены многие полицейские отряды, меж тем как высшие чины полиции собрались в Центральном департаменте, дабы сообщить прессе об аресте четырех экстремистов, напавших на полицейского и участвовавших в нападениях на разносчиков товаров, чтобы раздать продукты и одежду жителям бедных кварталов.

Пока начальники показывали журналистам материалы и оружие, изъятое у четверых задержанных, пришло известие о нападении на приют Доброго Пастыря.

Освобожденные

Сусана Липранди Соса де Велес, Сильвия Урдамнильета, Алисия Кинтерос, Ана Мария Вильяреаль де Сантучо были освобождены отрядом экстремистов. Первая из группы Монтонерос [1], остальные из НРА.

Все пятеро обвинялись в совершении партизанских действий.

но послушай, че, в сердцах говорит Эредиа, я же эту Алисию Кинтерос очень хорошо знаю, а Гомес хмуро из своего угла — тоже мне светский путеводитель, всех на свете знает. Пошел к черту (это Эредиа), и Патрисио, смеясь, демонстрирует Маркосу, как на языке газетчика мусорное ведро превратилось в бак с отходами, и сколько же этих мусорных ведер было опорожнено на улицах, по которым бежали те девочки, которых никто не ждал в автомашине («выказали организованность и выучку»), а потом шлепали по болотам и прятались в канавах, откуда их, наверно, грубо вытаскивали, поднимая к седлам за волосы или за руки, с шуточками и пощечинами оскорбляя их, но все равно — Оскар чувствовал со своей хмельной вышки, что все равно это было освобождение, неодолимая потребность бежать, будь то девочки из интерната или Алисия Кинтерос, люмпены или юристки, спасающиеся от издевательств системы, бегущие голышом или спокойно садящиеся в поданное точно вовремя авто, обезумевшие от полнолуния и карнавальной музыки или отвечающие следователю, который, как прочитал Патрисио, указывает на высокую степень организованности и выучки у террористической группы. Террористическая группа, фыркнул раввинчик, подумайте, какая дерьмодрянь. Я более чем уверен, что ее знаю, сказал Эредиа, у нее зеленые глаза, а такое не забывается, старина.

— Я спущусь первым, надо осмотреться,— сказал Патрисио,— на всякий случай.

«Ты поосторожней»,— хотела сказать Сусана, но промолчала — эти несносные привычные словечки любви и заботы осаждают тебя, как мухи, смешно думать, что Патрисио выскочит на улицу без оглядки как раз тогда, когда следует не слишком бравировать, в этот час везде царит покой, мускул нации дремлет, и тебя могут запросто прихлопнуть тут же, на улице, и никто даже не приподнимет жалюзи, разве что провизжат, что вот уже порядочным людям не дают спать, sacré nom de putain de dieu [2].

Мануэль был уже разбужен, соправительницы дружно подняли его с ковра и завернули в шарф, взятый у Лонштейна с обязательством вернуть, тут появился Патрисио и сообщил, что все спокойно. Эредиа спустился первым с Моникой и Гомесом, пригласившими его к себе в отель; через восемь ступенек, неся две корзины, шли Маркос и Оскар, которых Лонштейн проводил, заметно радуясь тому, что королевских броненосцев и бирюзового пингвина уносят прочь. Остальные соправительницы и Патрисио присоединились уже в подъезде, Мануэль на руках у отца тихонько хныкал; улица Савуа была пустынна, они увидели, как Гомес открыл дверцу машины и, резко обернувшись к ним, указал в направлении перекрестка с улицей Сегье. Затем сел в машину и включил зажигание, но двигатель не завелся. Маркос, оставив женщин и Мануэля в темной прихожей, вышел из подъезда и остановился — корзину с пингвином он прислонил к двери. Attenti, сказал Маркос, у Гомеса и Эредиа что-то не в порядке, не двигайтесь. Оскар и Патрисио стали вплотную рядом с ним, Маркос вытащил

[1] Конные партизаны *(исп.)*.

[2] Ругательство; *букв.*: «священное имя господней шлюхи» *(франц.)*.

прут — две фигуры переходили по диагонали мостовую, идя с улицы Сегье, другие две, едва различимые, стояли, выжидая, у какого-то подъезда. Это все Фортунато, сказал Маркос, он, конечно, указал на Эредиа для слежки, они тоже не идиоты. Если подойдут к машине, надо им покрепче вмазать и смываться. У Патрисио был второй прут, он оглянулся назад, на Сусану и Мануэля, которые вместе с Гладис и Людмилой сливались в один темный силуэт. Вперед, сказал Маркос и побежал к перекрестку, Оскар за ним, приподняв воротник пиджака,— инстинктивное движение, которое когда-то его не раз забавляло, и, как на грех, у него нет даже перочинного ножа, а позади топот бегущего Патрисио — и вот первый из муравьев дергает дверцу машины, а второй чем-то замахнулся, словно намереваясь разбить стекло, но, видимо, не посмел, и все это надо провернуть как можно более бесшумно в этот час и в этом районе, ведь, того и гляди, может нагрянуть полиция, а здешние полицейские не признают ни правого, ни виноватого, на всякий случай всех заметут, там, мол, разберутся,— Маркос накинулся сзади и схватил за шиворот того, что дергал дверцу, и в этот же миг Гомес открыл ее изнутри, чтобы выскочить на улицу. А перед Оскаром очутился один из прятавшихся в подъезде, теперь они прибежали на подмогу первым двоим — чего вам, черт побери, надо, сказал Оскар, убирайтесь к свиньям собачьим, сукины дети, муравьи дерьмовые, и, почувствовав удар прутом по локтю, который он вовремя успел приподнять, двинул противника ногой изо всех сил и со всей сноровкой опытного футболиста, оказавшегося на чужом поле. Патрисио сцепился с типом в белом плаще и с вьющимися волосами, они покатились по земле, а тем временем Маркос, отбиваясь от двоих, что были у машины, орудовал своим прутом; в заднем окошке белело лицо Моники, Эредиа, выскочив вслед за Гомесом и споткнувшись, упал, что-то ударило Оскара в плечо, и он, перекувырнувшись, повалился, двое муравьев убегали по улице Сегье, Гомес и первый из нападавших барахтались рядом с Патрисио и вторым типом, Людмила и Гладис, стоя в подъезде, не могли разглядеть, где кто, Сусана прижимала к себе Мануэля и что-то ему шептала, Людмила стала впереди нее, чтобы она, чего доброго, не вздумала выскочить на улицу; они увидели, как двое мужчин промчались мимо подъезда и свернули на улицу Гран-Огюстен, увидели на углу Оскара, держащегося за локоть, и Гомеса и Патрисио, бегущих вслед за теми двумя, и все это почти беззвучно, один-два возгласа, случайный удар ногой по мусорному баку, немой фильм в бешеном темпе. Патрисио хватает Мануэля, живо в машину, они могут вернуться с другими, бегите, Людмила и Гладис колеблются, пока не увидели стоящих на углу Гомеса и Эредиа, Гомес согнулся в три погибели, Маркос стоит, прислонясь к стене, и словно бы отключился; тут женщины побежали на угол, и Маркос с усилием проговорил, давайте побыстрей, здесь нельзя оставаться, Эредиа и Гомес опять садятся в машину, а Моника, высунувшись чуть не до пояса из окошка, смотрит на Маркоса, что случилось, Маркос, что с тобой, и Гладис обнимает Оскара, который трет локоть здоровой рукой и зашибленное плечо — ладонью поврежденной руки, и так-перетак вашу мать, если это город Просвещения, плевал я на Ламартина, Гомес рванул по встречной полосе улицы Сегье по направлению к Сене, идем скорей к твоей машине, сказал Маркос Людмиле, она на Гран-Огюстен, о'кей, пошли живее, но, сделав шаг от стены, он пошатнулся, Оскар и Людмила вовремя его поддержали. Оскар снова ругнулся, резкая боль в локте пронзила его, он весь был локоть, будто его раздирала изнутри куча колючек, и так-растак вашу мать, что этих сукиных ублюдков выродила, сказал Оскар, знавший терапевтическую ценность брани, тогда Маркос выпрямился, сделал глубокий вдох и пошел вперед, поддерживаемый Людмилой, которая не сказала ни слова, ни к чему было теперь разговаривать, она поддерживала Маркоса за талию, пока он мягко не отстранил ее, все в порядке, давайте быстрей, и Людмиле, беги вперед и едем, эти молодчики вернутся, я их знаю. Но на улице Гран-Огюстен не было никого, кроме черного кота, нисколько ими не заинтересовавшегося; Оскару уже стало полегче, ты уверен, что рука не сломана, ты ж пойми, стюардесса, он ударил меня по косточке, боль уже

проходит, а Маркос все еще держится полусогнувшись, и вот он садится в машину рядом с Людмилой, которая заводит двигатель, впереди пустое место, где прежде стояла машина Патрисио, еще хорошо обошлось, сказал Маркос, в такой момент все могло полететь к чертям. Но чего им надо было? спросил Оскар. Оставь его в покое на минутку, сказала Людмила, гоня машину не хуже Фанхио, ты же видишь, он едва дышит. Какая ночь, танго Барди, пробормотал Оскар, осторожно потирая локоть, будто обжигающую присоску спрута, да еще с этой проказницей луной, ну чем не театральная декорация. Че, эти муравьи, уж точно наши ребята с берегов Ла-Платы. Один, по крайней мере, был бразилец, сказал Маркос, Эредиа сразу его приметил и дал ему специального пинка, зато другой, видимо, здорово треснул Эредиа по физиономии, бедняга, когда хотел вернуться к машине, не мог найти дорогу. А ты, пробормотала Людмила, резко свернув на улицу Бак. Я ничего, полечка, получил ногой в живот, от таких ударов выблюешь все вплоть до первого причастия, трудно дышать и прочее. Ты, братец, хочешь знать, чего им надо было, я тоже. Они думали, что Эредиа и Гомес одни с Моникой, четверо тут легко бы управились, это называется «проучить», мы, мол, ему покажем, как приезжать из Лондона, чтобы здесь воду мутить, олуху дерьмовому, стиль знакомый. Но, безусловно, дело не только в этом, Фортунато ведь тоже не зря прилетел из Лондона, видно, и сообщил данные об Эредиа, да такие, которые требуют жестких мер, понимаете, сломать полдесятка ребер или одну ногу, уложить надолго в больницу. Ладно, отправляйтесь теперь домой отоспаться, вы это заслужили. Погодите, я остановлюсь прямо возле «Лютеции», сказала Людмила, мне кажется, Оскару требуется двойная порция виски и лейкопластырь. Это я беру на себя, сказала Гладис, особенно что касается виски. А пингвин, сказала Людмила. Боже правый, сказала Гладис. Пусть засунут его себе в задницу, сказал Оскар. Жаль, сказала Гладис.

Черный кот с улицы Гран-Огюстен перешел на улицу Савуа, миновал угловой магазин и, приблизясь к подъезду, сердито выгнул спину; успокоился он, когда был уже на лесах на противоположном тротуаре, и лишь тихо шипел. Из опрокинутой корзины вылез пингвин, слегка встревоженный, однако ясно сознающий, что холодно и что луна вверху та же самая, какая светила в его антарктические ночи, и это придало ему духу, он прошел по улице Савуа до улицы Сегье, где в нескольких пятнах крови таилась резус-формула Эредиа и Патрисио, и, побуждаемый естественным инстинктом, направился к Сене — проследовав вдоль набережных, миновал угол улицы Жи-ле-Кер и добрался до площади Сен-Мишель, где его увидели пьянчуга и пара влюбленных и, понятно, опешили, а что уж говорить о враче, ехавшем в своей машине к больной старушке,— он резко затормозил перед пингвином, отчего следовавший за ним пикап разбил ему вдребезги бампер, происшествие, которое в иное время вызвало бы обязательные пять минут ругани, прежде чем будут предъявлены удостоверения страховых компаний, но тут, естественно, никто не обратил внимания, ибо вокруг пингвина уже собралась кучка обалдевших ночных гуляк и слышался свисток дежурного полицейского, бегущего со всех ног,— происшествие само собой, но еще надо быть начеку из-за всяких там маоистов да сопротивления. В центре кружка пингвин наслаждался своим звездным часом, он хлопал крылышками и произносил что-то напоминавшее сердитую жалобу, которую даже Гладис не сумела бы перевести дежурному, вконец растерявшемуся из-за отсутствия каких-либо инструкций насчет экзотических птиц и прочих необычных нарушений.

— Высади меня на какой-нибудь стоянке такси и поезжай домой отдохнуть,— сказал Маркос.— На тебе, полечка, лица нет.

— Я отвезу тебя домой,— сказала Людмила.— Кажется, надо ехать мимо Пантеона?

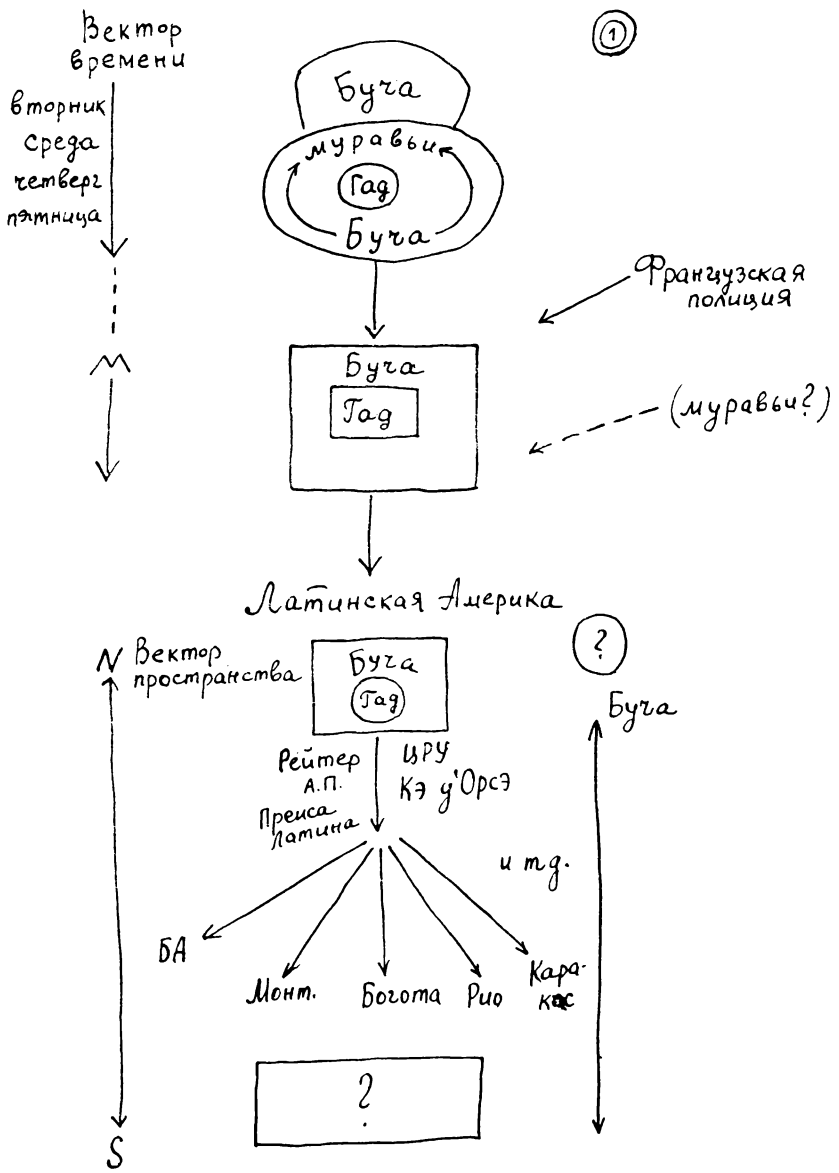
— Поезжай по Вожирар, дальше я тебе покажу, но тогда ты вернешься к себе уже совсем поздно.

— Тебе и правда лучше? Может, купим что-нибудь в аптеке, а?

— Прекрасно,— сказал Маркос.— Ты бы хотела купить льняной муки, сделать мне компресс на живот да еще пощупать пульс.

— Дурень.

Кое-что я в свой час узнал о происшедшем от Людмилы, а главное, от моего друга, начиная с того момента, когда он, идя обратно по набережным, вернулся на улицу Савуа, сам не понимая зачем, со смутным желанием поболтать с Лонштейном наедине и странной путаницей перспектив, которая в этот час привела его к ностальгическим мыслям не о ком ином, как о Капабланке. Верно ли, что Капабланка мог предвидеть все варианты партии и что однажды он на четвертом ходу заявил своему противнику, что даст ему мат на двадцать третьем,— и сделал это, и не только сделал, но потом доказал аналитически, что иначе и быть не могло? Южноамериканские легенды, думал мой друг, который, кстати, едва умел переставлять фигуры и всегда на двадцать три хода отставал, но как было бы полезно предвидеть развитие Бучи, когда сумятица в этих делах становится все более ощутимой. Отсюда его некоторые графики, или чертежики, с помощью коих он пытался уловить всю эту роящуюся в уме мошкару — «Целую Кока» и прочие варианты за различными столиками кафе.



Для Оскара, с изрядно опухшим локтем и лейкопластырем, уложенного в постель,— булькающее виски и голенькая Гладис, душистое облако, источающее кровосмесительные материнские ласки и заботу,— одолевавший его сон не слишком отличался от того, что произошло на улице Савуа, на любой улице, где есть стены домов и ограды, бешеный темп, ты бьешь, и тебя бьют, ты ругаешься, и тебя ругают, драка в незнакомом месте незнакомого города (он и города Ла-Платы не очень-то знал), местность, куда его доставили в машине, названия улиц и магазинов, которые невозможно запомнить; были, конечно, в его сне и муравьи, но муравьи также входили в эту киноленту без запоминающихся имен, они также были анонимами и где-то терялись в пути, как и боевики отряда НРА или конные полицейские, преследовавшие одуревших-от-полнолуния-девчонок; что ж до Гладис, она тоже мало что могла бы объяснить, лучше уснуть, и пусть все смешивается как попало, раз все равно невозможно отделить скопившееся в памяти от настоящего,— бедняжка, какой у тебя локоть, гм, чепуха, погоди, я погашу свет, гм, лежи спокойно, ах нет, веди себя хорошо, ты же ранен, гм, я же не двигаюсь, вот так, на боку, ты несносный, оставь меня, ну немножко так, ах, Оскар, Оскар, и в какой-то миг свет луны просачивается сквозь жалюзи вместе со смутным гулом рассвета на бульваре Распай, далекий звон, крик пьяного или сумасшедшего, едва слышное цоканье конских подков, большинство уже перелезало через ограду — только бы убежать, затеряться в городе, и опять пара подружек, блондинка и чернявая, они обнялись, скачет галопом конный полицейский, все сбились в кучу, бедра Гладис прижались к его бедрам, блондинка спиной к кладбищенской ограде, и мулат обхватил ее талию, нащупывает молнию, а жалюзи все светлеет, какой-то тюремный рассвет, серость тоски и поражения, тюремная служительница, открывшая дверь, чтобы вынести ведро с мусором, задержана и изолирована для ведения допроса, и Алисия Кинтерос, у которой, по словам Эредиа, зеленые глаза, и бегом, бегом, лезть через ограду, по битому стеклу, бегом, бегом, как

КУЧЕННОСТЬ В АЛЬНЕ С КРОВА ОДИН ТУАЛЕТ НА И НАДЗИРАТЕЛЬНИ ЛЮБИМЫЕ, ЯСНО ВСЕ ПЛАКАЛИ И ПОСЕЩЕНИЙ, НО НИКТО

теперь сон на рассвете, в котором все смешалось — Ла-Плата и Париж, телеграммы и названия, уже имевшие определенный смысл для Маркоса и Патрисио, но не для него, для него это пустые слова, парк Монсо, дом в

Веррьере, отель «Лютеция», угол на улице Савуа. Моему другу, напротив, не спалось, и он знал Париж досконально, посему он начал с того, что подобрал корзинку с королевскими броненосцами, каковые в отличие от пингвина воспринимали происходящее с подчеркнутым равнодушием, и отнес ее обратно наверх к Лонштейну, чтобы толстухе, когда она выглянет в семь утра, не любоваться этим зрелищем. Лонштейн, ясное дело, застыл на месте, увидев моего друга, а главное — броненосцев, хрюкавших в корзине, пока шло описание уличного происшествия.

— Это было предсказвидимо,— рычал Лонштейн.— Патрисио в качестве бойскаута никогда не блистал, и вот мне опять приходится быть baby-sitter [1] при этих вонючих тварях, хорошо еще, что пингвин улепетнул. Сообщаю, мой гриб уже достиг двадцати одного сантиметра — идеальный размер, принятый в высших слоях общества. Заходи, есть горячий кофе.

— Спасибо, полечка,— сказал Маркос, открывая дверцу и делая прощальный жест.

— Мне хотелось бы напоить тебя чаем,— сказала Людмила.

Маркос ничего не ответил, однако подождал ее возле машины и помог закрыть дверцы, глянув раз или два на улицу Кловис, белевшую в лунном свете и без каких-либо муравьев. У тебя даже есть лифт, невероятно, сказала Людмила. Я, знаешь ли, пижон, че, сказал Маркос, но уже вид квартиры это опровергал — помесь монашеской кельи и пивнушки, везде грязные чашки и стаканы, книги на полу и заткнутые тряпками щели в стенах. Телефон, да, и Маркос немедленно им воспользовался, чтобы на французском что-то сообщить или дать инструкции Люсьену Вернею и утрясти детали с обменом долларов, которые по телефону именовались «дынями», хотя вряд ли в такой час муравьи стали бы подслушивать. Людмила на кухне ловила обрывки фраз и искала жестянку с чаем, словно чай, дабы соответствовать своему назначению, должен быть в жестяной банке, и всякий разговор должен быть понятен, и все случившееся в эту ночь должно для нее, Людмилы, иметь объяснения и ключи. Идиотка, идиотка, идиотка, трижды произнесла Людмила, засунув голову в стенной шкаф, будто мне недостаточно слышать его голос, знать, что он мне доверяет, что все разрешили мне слышать его голос (Гомес, пожалуй, не совсем был доволен, это да) и присутствовать, когда они этой ночью обсуждали то, что будет в пятницу. Черт, тут только саго да куски сыра, чай наверняка где-нибудь в ящике для обуви. Однако она нашла его в склянке из-под бульонного концентрата и подумала, что поделом ей за педантизм — чтобы чай в жестянке для чая, Буча в рамках Аристотелевой логики, каждая вещь на своем месте, как Андрес, который спит с Франсиной или слушает пластинки в стереофоническом шлеме, купленном для бессонных ночей. Бедняга, смутно подумала Людмила — Андрес вдруг стал отдаляться, блекнуть, ведь он этой ночью не обсуждал пятницу, он не дрался на улице Савуа. Четыре года с головокружительной быстротой съеживались со всеми своими днями и ночами, поездками, играми, подарками, сценами, слезами, всем этим калейдоскопом,— но ведь это невозможно, невозможно. Это невозможно, громко произнесла Людмила, ища чайник, дерево не теряет сразу все листья, непостоянство, твое имя — женщина. Непостоянство или слабость? Предмет спора для переводчиков, во всяком случае, имя этому женщина, в чае завелась моль, и годы тоже точит моль, если время может так сокращаться, нет, я проснусь, я обязательно проснусь, я дала себя увлечь этой минуте и радости, особенно же радости, потому что Буча это радость и абсурд и я ничего не понимаю и именно поэтому хочу быть здесь, ну конечно, в этом доме куча склянок с перцем, но ни кусочка сахара, ах, мужчины, мужчины, кончится тем, что в жестянке со спагетти я найду презерватив.

Маркос снял пиджак и, расстегнув сорочку, потирал себе живот, Людмила увидела огромный зеленоватый кровоподтек с багровой каймой, с желтыми и синими пятнами. Только теперь она заметила, что у Маркоса

[1] приходящей няней *(англ.)*.

изо рта шла кровь,— высохшая струйка змеилась по шее; поставив чайник на пол, Людмила пошла в ванную за полотенцем, смочила его и принялась оттирать от крови губы и подбородок Маркоса, который, откинувшись в кресле, задерживал дыхание, словно ему было больно. Людмила осмотрела кровоподтек, он простирался вниз, под пояс брюк. Ни слова не говоря, она очень осторожно стала расстегивать пояс, слегка врезавшийся в тело; рука Маркоса поднялась к ее голове, слабо провела по волосам и упала обратно на подлокотник кресла.

— Я разрабатываю изобор,— сообщил Лонштейн, разлив предварительно вино в стаканы натуральной величины.— Твоя хорошая черта то, что ты один из всей этой шайки не возмущаешься моими неофонемами, посему я хочу тебе объяснить изобор, авось на минуту забуду об этих поганых броненосцах — слышишь, как они хрюкают? Исходная точка для меня — фортран.

— Ага,— сказал мой друг, настроившись оправдать высказанное о нем лестное мнение.

— Ладно, никто не требует, чтобы ты его знал, че. Фортран — это термин, обозначающий язык символов в программировании. Иначе говоря, фортран — составное слово из **формула транспозиции,** и изобрел это не я, но я считаю, что это изящный оборот, и почему вместо «изящный оборот» не говорить «изобор»? Тут будет экономия фонем, то есть экофон — ты меня понимаешь? — во всяком случае, экофон должен бы стать одной из основ фортрана. Подобным синтезирующим методом, то есть синметом мы быстро и экономно продвигаемся к логической организации любой программы, то есть к лоорпро. На этом вот листочке записан всеобъемлющий мнемонический стишок, я его придумал для запоминания неофонем:

Стремись синметом к экофону,
чтобы всегда фортран царил,
в любой беседе, коль желаешь,
чтоб лоорпро научным был.
Изобор!

— Похоже на какую-то из хитанáфор, о которых говорил дон Альфонсо Рейес [1],— решился заметить мой друг к явной досаде Лонштейна.

— Ну вот, ты тоже отказываешься понять мой порыв ввысь, к символическому языку, применимому по ту или по эту сторону науки, например, фортран поэзии или эротики, всего того, что уже стало редкими чистыми зернами в куче вонючих словечек планетарного супермаркета. Такие вещи не изобретаются систематически, но если сделать усилие, если каждый человек время от времени придумает какой-нибудь изобор, обязательно возникнет и экофон и алоорпро.

— Вероятно, лоорпро? — поправил мой друг.

— Нет, старик, за пределами науки это будет алоорпро, то есть алогическая организация любой программы — улавливаешь различие? Ну, я тебя уже достаточно помучил, так что, если желаешь взглянуть на гриб, надо всего только пройти в кабинет. Стало быть, они дрались насмерть на улице с муравминетами и муравьекратами, а может, то были лишь муравьеминимы. Вот увидишь, это плохо кончится, но все равно, дружище, это хорошо, Маркос из числа ищущих, он, ясное дело, за происшествия на улицах, а я скорее признаю граффити на стенках, только дураки не понимают, что и это улица, че, а Маркос понимает, и поэтому он мне доверяет, что мне самому бывает удивительно, ведь в конце-то концов, кто я, ловец поэтических рыбок или вроде того, программист всяких алоорпро.

— В общем,— сказал мой друг,— мне, к сожалению, недостает уймы синметов, фортранов и изоборов, чтобы разобраться, но, как бы то ни было, я рад, что ты видишь в Маркосе нечто большее, чем сухого программиста без воображения,— дай Бог, чтобы все намеченное, исполнившись, приняло когда-нибудь твои неофонемы или прибытие бирюзового пингвина, хотя товарищи Ролан или Гомес, как всегда, упрекнули бы меня в

[1] Альфонсо Рейес (1889—1959) — мексиканский поэт, филолог, лингвист.

легкомыслии,— но если кто получил иммунитет от подобного обвинения, так это я.

— Нас сотрут в порошок, это точно,— сказал Лонштейн,— для того-то здесь муравьи, и они не оплошают. И все же ты прав, надо продолжать развивать фортран, неопубликованный символ человеческого желания и надежды; Бухарин, видно, этого не говорил, но я считаю, что бинарные революции (я бы сказал манихейские [1], но от этого слова меня передергивает с тех пор как «Насьон» двадцать лет тому назад ввела его в моду) обречены еще до победы, потому что приняли правило игры — думая, что они все ломают, они сами перерождаются, что я и te la voglio dire [2]. Сколько требуется безумия, братец, безумия расчетливого и мужественного, и в итоге все сводится к тому, что гоняют с места на место муравьев. Вышибить из противника мысль о его могуществе, как говаривал Джин Танни,— ведь пока он навязывает ее нам, мы обречены усваивать его семантические и стратегические образы. Надо действовать так, как показано на рисунке Чаваля,— мы видим арену в момент, когда должен появиться бык, но вместо быка выходит жуткий вышибала, и на́ тебе — храбрый тореро и вся его квадрилья улепетывают кто куда. В этом-то суть, проблема условных рефлексов, надо отказаться от предвидимых, логических структур. Скажем, примерно, так: муравьи ожидают быка, а Маркос им подсовывает пингвина. В общем, пошли смотреть на гриб и поговорим о чем-нибудь другом.

Говоря о чем-нибудь другом, вот, например, газетная вырезка, которую пустил по рукам Эредиа, а Моника еле спасла in extremis [3] от Мануэля,

J'ai dirigé l'opération contre le deputé millionnaire de la majorité Edgar Almeida. Cette affaire nous a rapporté 70 000 dollars plus des bijoux évalués par un banque suisse à 30 000 dollars.

— Une opération considérable!

— Oui. C'est un de nos sympathisants qui nous avait informés que le deputé cachait dans un coffre de sa demeure des bijoux et des dollars.

Ce fameux deputé collectionnait également des toiles de maîtres et ne repugnait pas à une certaine publicité.

Nous lui avons envoyé une de nos séduisantes camarades qui s'est présentée comme reporter de «Realidad», hebdomadaire brésilien de grande diffusion.

Tout heureux de faire connaître au monde ses tresors, Almeida accepta avec plaisir de recevoir une «équipe technique» pour la photographie. Et tandis qu'il répondait aux questions, tout en servant des flots de whisky, les techniciens photographiaient les tableaux... et je pouvais repérer le coffre.

C'est alors que nous avons sorti nos armes. Almeida en eut une crise cardiaque. Mais nous étions accompagnés par un camarade medecin qui le remit sur pied rapidement.

Une voiture nous attendait dehors. Les précieux dollars nous ont été d'une grande utilité pour nous equiper ultérieurement. Et notre «victime» n'avait même pas osé nous denoncer.

засунувшего ее в рот с явным намерением пожевать. Эредиа был хорошо знаком с «Сидом» (настоящее имя Кейрош Бенхамин), он в Алжире рассказывал корреспонденту «Африказии» об операциях, которыми руководил в Рио. В тот момент моему другу было не вполне понятно, почему в рассказе Сида усматривали некий образец. Образец чего — кроме важности самого факта? Позже, беседуя этим ранним утром с Лонштейном, он яснее разглядел некую особенность того, что остальным представлялось одной из многих партизанских акций. Сид описывал операцию, предпринятую против некоего Алмейды, депутата правящего большинства и миллионера,— то была добыча стоимостью семьдесят тысяч долларов плюс на тридцать тысяч драгоценностей, хорош депутат. Один из наших симпатизантов (в переводе бедняжки Сусаны, всегда в таких случаях сыроватом) известил нас, что депутат хранит свои доллары и драгоценности дома в сейфе, что он, кроме того, коллекционирует полотна знаменитых художников и падок на рекламу. Поэтому мы послали к нему одну из наших женщин, весьма соблазнительного товарища (a traducção è um mal necessario [4], проворчал Эредиа, что значит «соблазнительного», я прекрасно знаю эту девушку, называть ее соблазнительной значит оскорбить ее и ее мать и всю Брази-

[1] Манихейство — религиозно-философское учение, основатель которого перс Мани (216—274) считал своими предтечами Зороастра, Будду и Христа.

[2] хочу тебе сказать *(итал.)*.

[3] в последний момент *(лат.)*.

[4] перевод — это необходимое зло *(порт.)*.

лию, потому как она самый что ни на есть бесценный символ нашей страны и ей не требуется никого соблазнять — достаточно ее увидеть, чтобы пасть ниц, этот журналист ни черта не понимает, продолжай читать), которая представилась как корреспондент «Реалидад», весьма популярного бразильского еженедельника. Обрадовавшись поводу показать миру свои сокровища, Алмейда с восторгом согласился принять «техническую бригаду», дабы они сфотографировали произведения живописи. Пока он отвечал на вопросы, щедро наливая виски, техники фотографировали картины, а я определил местонахождение сейфа. И тут мы достали оружие. У Алмейды случился сердечный приступ. Но один из наших товарищей был врач, и он живо заставил Алмейду реагировать на наши требования. Снаружи нас ждала машина. Добытые доллары нам впоследствии очень пригодились для экипировки. А наша «жертва» даже не посмела заявить в полицию. Славная работа, сказал Люсьен Верней. Работа, подумал мой друг, он видит здесь только это — работу.

— Очень легко отвергать порядок, а также логику,— заключила Франсина, глядя на меня из своей крепости, да, кошка, или кладезь галлоримской мудрости + декарт + паскаль + энциклопедия + позитивизм + бергсон + профессоры философии.— Плохо то, Андрес, что сегодня вечером ты здесь не для того, чтобы отвергать все это, а как раз наоборот; в твоем порядке что-то сломалось, в твоей логике что-то подвело, и бедняжка обиженный пришел поплакать на плече у своей подруги номер два. Сейчас ты скажешь «нет», потом мы будем пить кофе и коньяк, мадам Франк уйдет, мы спустимся вниз, чтобы ты полистал новинки в магазине, потом поднимемся опять пить коньяк, и тогда тебе полегчает, ты снова станешь маргинальным, свободным человеком, будешь целовать меня, а я тебя, мы разденемся, ты поставишь ночник на пол, тебе ведь нравится сизый полумрак (ты это сказал в первый раз, такое запоминается), ты меня обнимешь, я тебя поцелую, повторением мы победим время, старая система. И все будет хорошо, Андрес, но, во всяком случае, я должна тебе сказать — я не хочу, чтобы ты держался так, будто я не понимаю, что́ тебя удручает и тревожит.

— Теннис,— сказал я.— Парная игра.

Она выжидающе посмотрела на меня из-за дымка сигареты. Да, дорогая, теннис, игра между двумя, сперва Людмила, теперь ты, мячик летает туда-сюда, падает на труднодоступные места, но всякий раз его изумительно отбивают — изящная и вместе с тем жестокая игра, две безжалостные спортсменки решают спор.

— Полно тебе, Франсина, я пришел не с тем, чтобы, как ты говоришь, плакать на твоем плече, я просто рассказал, что происходит, и в который раз сознаю, что совершил ошибку, что надо четко разграничивать, что в этих делах не бывает ничего общего.

— Ничего,— подтвердила Франсина.— Если бы было, Людмила и я ходили бы вместе в кино или по магазинам, ухаживали бы за тобой, когда у тебя грипп, я по одну сторону кровати, она по другую, и, как в добрых фривольных романах, мы занимались бы любовью втроем, впятером, всемером. Знаю, тебя такого рода общность не прельщает, именно ты делишь участки, ты решаешь и указываешь, так что не говори об ошибке, раз это основа твоей системы.

— То есть мне следует молчать и здесь и там, приходить к тебе, словно все остается неизменным, и, когда возвращаюсь домой, поступать так же, ничего не говорить Людмиле, раздваиваться, не идя ни на малейшие уступки, убивая одну из вас в другой каждый день и каждую ночь.

— Это не наша вина, я имею в виду Людмилу и себя. Повторяю, здесь вопрос системы — ни ты, ни мы обе не можем ее нарушить, она слишком древняя и слишком многое вмещает; твоя хваленая свобода тут бессильна, это весьма бледная вариация все того же танца.

— Тогда давай пить коньяк,— сказал я, устав от слов.— Представим себе, что я только что вошел и ничегошеньки тебе не рассказывал. Как поживаешь, дорогая? Много работала сегодня?

— Шут,— сказала Франсина, гладя меня по голове.— Да, работы было много.

— Ты тоже будешь меня упрекать, что я на все смотрю или все вижу из своего закутка,— сказал Лонштейн.— Сам Маркос, а он знает меня лучше, чем кто-либо, иногда меня поругивает, находит чересчур радикальным. Как хочешь, а мне всегда нравилось в том парне, что он действительно пришел с мечом, захватил Галилею и перевернул ее, как оладью; не его вина, что потом ему смастерили церковь, не будешь же ты упрекать Ленина за Союз советских писателей, правда? Потомство — всегда эпигоны, диадохи [1] или как их там. Смотри, ну разве не прелесть?

Гриб достиг двадцати одного сантиметра ровно в пять утра и, казалось, решил на этом остановиться до нового распоряжения. Лонштейн, спрятав сантиметр, оросил основание гриба жидкостью, которую мой друг принял за воду, хотя с Лонштейном никогда нельзя быть уверенным. В общем, если мой друг правильно понял его речи /Смотри, какое голубое свечение /Ты мне говорил, что /Это не от лампы, если я ее погашу, фосфоресценция не прекратится, пойми /Ладно, если ты не хочешь говорить ни о чем другом, мне все равно /Почему же, вот, например, онанизм, я знаю, все возмущаются, что я себя объявил онанистом, им, видите ли, подавай приличия, скромность, и ты, я уверен, такой же, как все /Пожалуй, да, то есть, по-моему, тема не так уж увлекательна после тринадцати лет/ Жирная ошибка, как говаривал левый нападающий у Бенедетти, но давай оставим гриб в покое, пусть поспит, он в эту ночь здорово надрывался и ему нужна темнота; если хочешь, попьем мате, и, сдается, у меня где-то еще осталась водка.

Моему другу стало ясно, что с этой минуты его ждет

ЛОНШТЕЙН ON MASTURBATION [2]

и так и случилось — теперь проблема для моего друга состояла в том, запомнить ли речь Лонштейна для себя или при удобном случае повторить ее кому-либо. Он сам себе удивился, осознав, что при удобном случае он ее повторит, что в известном смысле это может оказаться необходимо, хотя некоторые будут ужасаться. Дело не в том, чтобы искать причины, их много, сказал Лонштейн, для этого существуют сыновья Зигмунда [3], но они не всегда сыновья Зиглинды, и потому на несколько голов отстают от Зигфрида — уж извини за эту вагнераналитическую ссылку /Если ты по-прежнему хочешь, чтобы я тебя понимал, решительно вставил мой друг, прекрати это дуракаваляние с изобором, неофонемами и прочими сокращениями твоих семантических сфинктеров/ Жаль, сказал Лонштейн, но в конце концов. Мы говорили, что важно не то, почему я онанировал вместо того, чтобы трахаться, а надо ухватить суть дела без психолипсических намеков. Например, пара, это универсальное понятие эротизма,— конечно, я, когда был молод, искал ее, как все, и во Флориде и в Корриентесе, но со мной было то же, что с Титиной. Я случай крайний, хотя отнюдь не редкий, то есть я не сумел найти себе пару, даже сменив пять-шесть объектов за столько же лет. Даже сделал попытку с почтальоном, приносившим мне «Сур», журнал, который я тогда выписывал, ему было — разумеется, почтальону — семнадцать лет. Заметь мой научный подход, решимость штурмовать проблему всесторонне. Результат — убеждение, что я никогда не смогу жить в паре ни с женщиной, ни с мужчиной, но также и то, что мне не хватает женщины и в дружбе, и в постели. Почтальон исчез из моей жизни, как из всей это парадигмы, ибо опыт in vivo [4] показал, что гомосексуальная связь меня не привлекает, скажу тебе, что я даже отказался от подписки на «Сур», чтобы его больше не видеть. Но женщина — да, обойтись без женщины невозможно, и тут было, как я уже сказал, пять или шесть попыток в молодости, сперва все шло прекрасно, ибо с обеих сторон метод страуса и невероятный восторг, любой недостаток вначале предстает интересной, характерной чертой, придающей человеку своеобразие, любой

[1] Преемники *(греч.)*. Полководцы Александра Македонского, разделившие после его смерти его империю.

[2] о мастурбации *(англ.)*.

[3] Имеется в виду Зигмунд Фрейд.

[4] на живом организме *(лат.)*.

спор кажется диалектическим стимулом к взаимному духовному обогащению, см. Хулиан Марйас. Я не смеюсь, че, это давным-давно известно и говорится этими самыми клишештампами, но также известно, что приходит день, когда недостаток это недостаток, и тут конец. В таком случае статистически обычное поведение — терпеть, вступить в брак и воспользоваться его благом, которого нередко больше, чем зла. Со мной эта система не сработала, я трижды пытался жить в паре, при третьей попытке у нас родился сын, и на этом всё, теперь он учится, чтобы мать могла похвалиться дантистом в семье, ты же знаешь, в Вилья-Элисе вода способствует развитию пиореи. Расскажу тебе подробней хоть об одном случае — второй раз я сошелся с Йоландой, а через полгода взаимное разочарование стало настолько очевидным, что мы решили жить каждый своей жизнью, но не разводясь,— то были времена, когда чертовски трудно было найти квартиру. Что тебе сказать, старик, это стоило бы показать через спутник — каждый приходил в дом и уходил, точно другого там и духу нет, и это понимай буквально, а не так, когда супружеская пара поссорится, а затем наступают часы неловкости, обида у обоих уже прошла, и они сожалеют почти обо всем, что было сказано, и не потому, что это неправда, но слово не воробей, всякие были намеки, ссылки на древнюю историю, временами угроза пощечины,— словом, оба бродят, как собаки, которых искупали в противочесоточной жидкости, но, конечно, воспитание сказывается, все этак вежливо, везде голубые бантики, хочешь чашечку чаю, я не прочь, я даже могу заварить, нет, уж позволь мне, ладно, спасибо, будем пить в гостиной, а то здесь жарко, ты прав, духота в эту пору в этой комнате ужасная, не думаешь ли, что можно было бы проложить какой-нибудь теплоизолятор, я видела в «Клаудиа» рекламу, принеси, посмотрим вместе, да, пожалуй, это выход, ладно, сперва я приготовлю чай, согласен, а я пока полью цветы на балконе, и так далее, к концу чаепития, глядишь, усмешечка, противный, нет, это ты противная, ты начала, да, я начала, потому что ты завел разговор об отпуске, ты ошибаешься, я завел, но не с таким намерением, ах так, а я-то думала, видишь, какой ты злюка, а ты драчливая курица, это твоя тетушка, вот она таки курица, бедная моя тетушка, она скорее на сову похожа, и тут уже оба смеются, потом поцелуи, а потом постель — все, молчи, все прекрасно, всякая ссора с благополучным концом — это предэротический акт, надо вам знать. Налей-ка мне мате, я задыхаюсь.

— Значит, с твоей так называемой Йоландой было по-другому,— сказал мой друг, не любивший отступлений и того, что сочиняется к случаю.

— Почему ты говоришь «так называемой»? — обиделся Лонштейн.— Вы, портеньо, уже ничему не верите, ублюдки чертовы. Да, ее действительно звали Йоланда, у нее и сейчас галантерейная лавка в Колехиалес — штука-то была в том, что я хотел выяснить, сумеем ли мы сохраниться как пара, даже не здороваясь по утрам; признай, что в этой идее были зародыши антропологической мутации. Вероятно, все могло бы потихоньку возродиться, и, долгое время не видясь, мы бы увидели друг друга такими, какими были на деле, но покамест наша квартира походила на театр марионеток — один уходит, другой приходит, один обедает в двенадцать, другой в час, разве что нам обоим вдруг вздумается поесть в четверть второго, и тогда мы одновременно накрывали на стол и стряпали, при этом случались ужасные ошибки, когда мы вместе хватались за солонку или за сковороду, доля секунды решала, кто победил, а другой оставался с повисшей в воздухе рукой, или, например, однажды я сидел на толчке, и тут входит Йоланда, и, увидев меня, она после многих недель молчания заявляет: «Или ты уберешься, или я наделаю на голову», и я, не поняв, на чью голову, ее или мою, сбежал, не завершив дела. Заметь, что вопрос секса решался у нас единственно возможным в то время способом, ведь для любви нужны были мы оба, и это составляло проблему, которая все же решалась в какой-то период,— когда великий слепой черный бог вонзал свое копье, один из нас подходил и клал другому руку на плечо, и тот мгновенно подчинялся. Варианты, повторения, капризы — все выражалось

инстинктивными движениями, и партнер понимал их и уважал; это и впрямь было ужасно.

— Ну ладно тебе,— с облегчением сказал мой друг, которому казалось, будто он слышит исповедь паука или кролика.

— Вот в то время, когда у нас с Йоландой все кончилось и она вернулась к родителям, я и начал заниматься онанизмом упорядоченно, а не так, как в детстве. Теперь у меня был богатый опыт, точное знание пределов удовольствия, его вариантов и разветвлений; то, что многие полагают — или, еще чаще, притворяются, будто полагают,— неким эрзацем эротизма в парном сексе, у меня постепенно становилось произведением искусства. Я научился онанировать, как человек учится водить самолет или вкусно готовить, я обнаружил, что эротизм этот здоровый, если не прибегать к нему только как к заменителю.

— Послушай, а тебе не трудно об этом говорить?

— Еще как трудно,— сказала Лонштейн,— и именно поэтому я считаю, что должен говорить.

Мой друг испытующе поглядел на него в профиль, в три четверти — Лонштейн был немного бледен, но глаз не отводил, руки его между тем доставали и зажигали сигарету. Было очевидно, что его исповедь не следствие эксгибиционизма или другого извращения. «Именно поэтому я считаю, что должен говорить». Почему «именно поэтому»? Потому что трудно и противоречит схемам благоприличий? Давай, давай, сказал мой друг, для меня, правда, это отнюдь не ночь Клеопатры, давай трепись, проклятущий кордовец, пока не покажется Феб.

В эти часы или дни — уж не помню, в среду или в четверг,— разговоры, в которых мне приходилось участвовать, походили на разговоры стрелочников — словами, гримасами, будто руками, медленно приводились в движение какие-то рычаги, и поезда, прежде мчавшие с востока на запад, поворачивали на север (один из них вышел из Парижа в Веррьер — эта поездка в нормальных условиях заняла бы двадцать минут, а на сей раз продолжалась несколько дней, но не будем подражать вышедшим из моды сфинксам или — но это подумал уже мой друг — пуччиниевским принцессам, поющим из динамиков в отеле); суть в том, что в разговор вступаешь, будто входишь в кафе или развертываешь газету — открываешь рот, дверь или страницу, не думая о дальнейшем, и вдруг — авария. С Людмилой я это знал заранее, однако рука нажала на стрелку слишком грубо, поезд пустился по новой колее со скрежетом неминуемой катастрофы уже на первой странице, не знаю, каким маневром тормозов машинист избегал крушения, но факт, что избегал,— эти воображаемые поезда валятся под откос, и никто даже не заметит. Любопытно (какое-нибудь наречие всегда подвернется, коль хочешь что-то замаскировать), что я как раз тогда прочитал Рене Шара [1] о периоде сопротивления нацистам на юге Франции, из многих страниц дневника и стихов мне запомнилась одна простая фраза: «Certains jours il ne faut pas craindre de nommer les choses impossibles à décrire» [2], и тут мой друг рассказывает мне о ночи с Лонштейном, и мы оба почувствовали, что, хотя Лонштейн говорил о чем-то конкретном, что ему было необходимо высказать, пусть через силу, в этом никак нельзя видеть лишь исповедь, поскольку раввинчик не относился к категории людей, нуждающихся в исповеди; скорее это было связано с некими внешне далекими обстоятельствами, на мой взгляд противоречивыми и меж собой не связанными, но мой друг, более осведомленный, сумел их соединить и связать воедино — вот, к примеру, Оскар, тот факт, что Оскар тоже состоит в Буче, выполняя функцию, совершенно необъяснимую в свете принципов разума или директив КП. Посему мой друг начинал преступно смешивать все вместе, он, претендовавший на то, чтобы все расставить по полочкам — чубарых в одну сторону, соловых в другую; теперь он уже понимал, что разделить все

[1] Рене Шар (род. в 1907 г.) — французский поэт.

[2] В иные времена не надо бояться называть прямо вещи, которые описать невозможно (*франц.*).

причины почти невозможно, во всяком случае, они были неразделимы и для Лонштейна, и для Оскара (также для Маркоса, но Маркос об этом не очень-то распространялся, разве что под действием можжевеловой, как при его хвалах «восторгам», где вдобавок темой была Людмила), и в те дни, когда мой друг встречался с Андресом, карты в его колоде перемешались, и Андрес подумал, что у моего друга и у Людмилы уже нет общего расписания поездов, по которому можно, как прежде, сверяться, ибо стрелки везде сдвинули рельсы и со вторника до пятницы происходило какое-то всеобщее нарушение движения. Для меня все это имело личный интерес, и мне вовсе не хотелось вносить ясность и посвящать в эти дела третьих лиц, но мой друг двигался по иной колее — Буча, сперва казавшаяся ему чем-то бредовым, а потом забавным, но всегда чем-то простым и даже примитивным, начинала в таком виде сыпаться у него меж пальцев, как струйка песка, и поэтому он смотрел на Лонштейна с явным неудовольствием.

Фактически же, когда мой друг пересказал мне лонштейновское рассуждение, я был готов понять то, что Людмила уже поняла, то, что Маркос понимал с самого начала, то, что Оскар старался понять с другой точки зрения, то, что очень многие, возможно, поймут когда-нибудь; но пока для этого еще было рано, и вдобавок был сон о фильме, который, как шмель, все возвращался со своим гнетущим провалом памяти после того, как открылась дверь в комнату, где кто-то («один кубинец, сеньор») ждал меня, чтобы что-то мне сообщить; возможно, было еще рано и для этого сна, но все равно Шар прав — нечего бояться называть прямо вещи, которые описать невозможно, как прав был Лонштейн, описывая моему другу вещи, которые невозможно назвать прямо, уж не говоря о том, что история тем временем продолжалась, в чем легко было убедиться за несколько су в киоске.

Comment fut enlevé l'ambassadeur américain Elbrick [1]

Amérique Latine

ARGENTINE: querelle de généraux et luttes populaires par Isabel Alvarez [2]

Андрес уже все знал, Людмила могла вернуться и промолчать, или не вернуться и позвонить от Маркоса, или не вернуться и не звонить (варианты почтовые, телеграфные, всякие демарши друзей); когда она вошла в квартиру на улице д'Уэст, было около полудня, но на сей раз она явилась без лука-порея. Андрес спал голый, одна его рука лежала на ночном столике между будильником и другими предметами; видимо, под влиянием кошмара он сбросил одеяло и простыню — живописно драпируясь, они валялись у его ног и рядом с кроватью, и Людмиле представилось какое-то историческое полотно, Жерико или Давид, отравившийся Чаттертон [3], название вроде «Слишком поздно!» и его варианты. С минуту она смотрела на это тело, повернутое спиною, бесстыдное и как бы отчужденное от себя самого, молча поздоровалась с ним улыбкой и прикрыла дверь; она тоже ляжет спать, но на диване в гостиной, собрав на место полдюжины пластинок, которые Андрес оставлял где попало. Со стаканом молока в руке, закутавшись в халат

[1] Как был похищен американский посол Элбрик *(франц.)*.

[2] Латинская Америка. Аргентина: споры генералов и народная борьба. Автор: Исабель Альварес *(франц.)*.

[3] Томас Чаттертон (1752—1770) — английский поэт. Покончил с собой, не дожив до двадцати лет, отравившись ядом.

Андреса, она подумала, что хорошо бы чуточку вздремнуть — ведь в три часа ей идти к Патрисио за инструкциями.

Пояс был быстро ослаблен, Маркос, с гримасой боли втягивая живот, помогал это сделать, и Людмила сумела расстегнуть верхние три пуговицы до резинки трусов. Только бы не было внутреннего кровоизлияния, сказала она, увидев расползшуюся книзу сине-зеленую карту Австралии. Не волнуйся, полечка, ты же видишь, я дышу свободно, это всего лишь ушиб. Да, вижу, сказала Людмила, самое лучшее сейчас — спиртовая примочка. Придется взять водку, сказал Маркос, алкоголь в этом доме имеется только в таком виде. Когда он тихонько поцеловал ее ухо, приостановив научное исследование пораженного участка, Людмила припала головой к его груди и на минуту так застыла. Они ничего не говорили, согретый чай, согласно физическим законам, остывал.

— Пусть это не будет пошло, Маркос,— сказала Людмила.

— Я тоже об этом подумал, полечка.

Задерживая дыхание, он медленно приподнялся, чтобы снять туфли. Людмила ему помогла, заставила выпить глоток чаю и отправилась искать водку, отказавшись, однако, от мысли о примочке, потому что водка уж слишком отдавала водкой и потому что Маркос тем временем медленно прошел в спальню и, скинув брюки и сорочку, в одних трусах растянулся на кровати и сделал знак Людмиле,— она выключила свет в кухне и в гостиной и пришла к нему со стаканами и с бутылкой водки, которую, несомненно, можно было применить и внутрь. С сигаретой во рту Маркос завел речь о Гаде; Людмила, сидя на полу возле кровати, смотрела на блестевшие в свете ночника вьющиеся волосы Маркоса. Скоро рассвет, но спать обоим не хотелось. Пусть не будет пошло, пусть блузка, которую Людмила снимала, пока Маркос ей объяснял, что произойдет в пятницу ночью, будет лишь данью повторяющемуся ритуалу, пусть в том, что она расстегнула сандалеты и сняла чулки, будет иной смысл или не будет никакого смысла, кроме желания приблизиться к отдыху, ко сну. В уголках рта у Маркоса еще виднелись следы запекшейся крови. В ванной — странная роскошь — была губка; сквозь клубы дыма Маркос увидел силуэт раздевшейся Людмилы, ее спину, бедра, смуглое, крепко сбитое тело, устремившееся к двери, чтобы принести губку.

— Будьте любезны, удостоверение личности,— сказал кассир. С небольшими вариантами это требование повторилось в один и тот же час в двадцати трех банковских залах и меняльных конторах Парижа; группа Люсьена Вернея и Ролана действовала умело, и между половиной третьего — время открытия банков — и тремя четвертями третьего шедевры старика Коллинса переменили владельцев и превратились во французские франки. Случилась всего одна заминка в агентстве «Космик» на площади Италии, где кассирша в синем костюме и очках для близоруких принялась проверять купюры с преувеличенной, как счел клиент, тщательностью, и тут кассирша заметила ему, что это ее обязанность, а клиент возразил, что он всего лишь агент из бюро путешествий и что если есть какие-либо сомнения, пусть она тотчас позвонит месье Макрóпулосу, ГОБелен 45.44. К удивлению клиента, придумавшего Макропулоса лишь для того, чтобы выиграть время и посмотреть, как пойдет дело, прежде чем смываться, эта дама довольно быстро обменяла ему деньги, хотя не без дальнейших рассуждений о своем профессиональном долге. Первый сигнал полиция получила в четверть шестого из филиала «Креди Лионнэ»; вечером в префектуре уже были почти все фальшивые доллары и некоторое количество примет — поскольку группа Люсьена Вернея состояла из парней, которые в своей бездельной жизни куда чаще заходили в банки, чтобы взять деньги, чем чтобы их вложить. По расчетам Люсьена и Ролана, у них мог быть срок в пять-шесть дней до первого прокола или просто доноса; Гомес и Моника, а также Патрисио и Эредиа между тем делали необходимые покупки.

ЕРТО М. ЛЕВИНГС ИДЕНТ РЕСПУБЛИ

енный. Вступит в должность в четверг 18
Оружием, украденным в Уругвае, можно привести в боевую готовность 150 человек. Озабоченность

Стремление покончить с Онаном [1], сколь это ни парадоксально, было, видимо, одной из причин, побудивших Лонштейна говорить с Онаном как одним из многих воображаемых чудищ-людоедов, коих еще никому не удалось уничтожить, этого скопища подсознательных чудищ, истинных властителей дневной гармонии, которая обычно именуется нравственностью и которая в любой день может обернуться — индивидуально, неврастенией и кушеткой психоаналитика, и — также в любой день — коллективно, фашизмом и/или расизмом. Че, старик, бормотал мой друг, подавленный огромностью подтекста и подсмысла рассуждений раввинчика, было, однако, бесполезно всякими там «заткни фонтан» или «давай кончай, олух» охладить желание Лонштейна высказаться, его раскольниковскую страсть к беседе с глазу на глаз — создавалась некая гротескная сага нисхождения Гильгамеша или Орфея в преисподнюю либидо; что толку, что мой друг то смеялся ему в лицо, то отшатывался, до крайности шокированный этим эксгибиционизмом в четыре утра после пятой рюмки водки,— мало-помалу становилось ясно, что Лонштейн вытаскивал Онана на поверхность не только ради удовольствия придать ему легальный статус или вроде того, нет, вырвать Онана из подсознательного скопища означало убить по крайней мере одно из чудищ, а может, и больше, преобразить его приобщением к дневному началу, к открытости, расчудить, сменить его жалкое подпольное обличье на плюмажи и колокола — раввинчик вдруг ударялся в лирику, настаивал и развивал, становился чем-то вроде public-relations [2] и администратора при людоеде, который в конце-то концов, как многие людоеды, был принцем, ему лишь требовалось чуть-чуть помочь, чтобы он перестал быть чудищем. Мой друг начинал понимать, что Лонштейн действовал по-раввински мудро, избрав одного людоеда из многих и предлагая еще и еще спуститься к преисподнему скопищу, дабы постепенно уничтожить остальных, учинить этакую кромешную Бучу, и, наконец, мой друг осознал, что его роль в эту ночь, если он играет ее честно, состоит в том, чтобы подзуживать, и подстрекать, и разъярять раввинчика, дабы охота на Онана и преображение его могли пригодиться впоследствии, когда он станет хронистом Онана, что Лонштейн считал само собой разумеющимся, и он не ошибался, ибо мой друг не преминул рассказать мне об этой исповеди (я только проснулся поздним утром после тяжелого сна, Людмила спала на диване, никто из нас двоих не завтракал и, похоже, о завтраке не помышлял), и хотя сперва я ничего не понял и даже повел себя как мой друг, то есть осудил Лонштейна, но потом, обдумав этот эпизод всесторонне, я проникся уважением к дерзновенному экзорцизму [3] — ведь и я, на свой жалкий лад, пытался витийствовать с балкона и уничтожать каких-то чудищ, только у меня это был малюхонький балкончик с цветочными горшками, выходящий в патио только к окнам Людмилы и Франсины, индивидуальное, эгоистическое заклятие бесов, пустые слова, дохлая птичка, бесплодная попытка. Но возможно, что Лонштейн прав, и в Бучу надо включаться самыми различными путями (если предположить, что он или я

[1] Ветхозаветный персонаж, который, всходя, по приказу отца, на ложе жены своего умершего брата, «изливал (семя) на землю, чтобы не дать семени брату своему» (Бытие, 38, 9).

[2] Служащий фирмы или организации, ведающий созданием благоприятного мнения о ней *(англ.)*.

[3] Заклинанию злых духов.

ясно знаем, о чем речь), во всяком случае, раввинчик толковал моему другу об Онане не просто ради удовольствия, он искал способ притчеобразно соотнести с Бучей (тут, конечно, и фортран!) эту горячечную степень обнаженности слова, показывающую, насколько стриптиз, которому он подверг себя перед моим другом, был, по сути, необходимым условием для Веррьера и ночи в пятницу, для другой охоты на других чудищ, и, хотя это казалось затеей безумных, мой друг и я начинали чувствовать, что в почти немыслимом, бесстыдном поведении Лонштейна было нечто вроде рыцарского бдения во всеоружии перед ночью в Веррьере. И то, что теперь воспринимается всего лишь как безумное сочетание противоречий, может когда-нибудь проясниться для каких-то других людей и для других Буч, а мой друг и я, мы были вроде сивилл и горе-пророков, знающих и не знающих, глядящих друг на друга с видом человека, подозревающего, что другой испустил газы, облегчение всегда предосудительное.

ОКУНИТЕСЬ
В НАСЛАЖДЕНИЕ 3-х лошадиных сил
В СИТРОНОРТЕ:
260 ежемесячный взнос плюс аванс.

Сусана, купая и одевая Мануэля, играет с ним и искоса поглядывает на Патрисио, у которого один глаз изрядно заплыл и боль в запястье. Хорошо еще пригодилось одно из его любимейших буэнос-айресских сокровищ — наручный ремешок, сохранившийся с тех пор, когда он играл в пелоту с ракеткой в Лаурак Бате, и что темные очки полностью скрывают другой его дефект. Три часа дня, но после столь бурной ночи все семейство еще в постели, даже Мануэль, невероятно послушный и не стремящийся задушить себя тальком или ватными тампонами. Обед свелся к походам на кухню за салями, стаканами с молоком и с вином, кусками холодного омлета и полудюжиной бананов — отец, мать и сын чувствуют себя превосходно, нарушая почем зря благонравные обычаи, и когда является Людмила, встречают ее в белье, угощают кофе с коньяком, приглашают ее

Эредиа и Гомес корчатся от смеха, читая газеты и глядя на свои опухшие рожи, которые Моника им лечит с видом сестры милосердия и обильным применением ртутной мази. Загадочное появление бирюзового пингвина на берегах Сены в часы рассвета вызвало к жизни две теории, ибо полиция быстро установила причинно-следственную цепочку, начало коей Орли, хотя затем звенья ее рассыпаются: либо на Кэ-дез-Орфевр [1] уже подозревают истинное назначение контейнеров, и это их наводит на

Одна газета пишет о контрабанде оружием, другая о контрабанде наркотиками. Маркос уже позвонил Оскару, чтобы они покинули отель «Лютеция» — надо сбить с толку муравьев,— а Оскар в это время, лежа в постели, пожирает последний роскошный завтрак, пока Гладис ждет ухода официантки, чтобы принести свой поднос и, присев у кровати на корточки, заняться своей, медицинской частью, и Оскар сообщает ей, что Маркос их

[1] На набережной Кэ-дез-Орфевр расположено Управление парижской полиции.

ждет в четверть одиннадцатого у Патрисио и что все надежды, которые могли остаться у Гладис на возвращение к ее деятельности стюардессы, терпят крах из-за причинно-следственной цепочки, о каковой говорится в

— Бедный Педернера,— говорит Гладис,— кто теперь будет приносить ему в кабинет пампельмусовый сок. И Пепите придется работать через силу.

— Этот Педернера, видно, положил на тебя глаз,— говорит Оскар.

— Просто никто не подавал ему сок так деликатно, что он мог не отвлекаться от своего пульта.

— Наконец-то ты, кажется, перескочила через ограду, малышка,— говорит Оскар, соскальзывая с кровати, пока последний круассан скользит по его пищеводу. Гладис смотрит, недоумевая, о какой ограде речь, но Оскар целует ее волосы с чувством блаженства, вероятно, от вкусного рогалика, этого полулуния, но тут также и полнолуние — неумолимый механизм игры слов, открывающий многие двери и освещающий темные закутки. Гладис, узнав новости, не выказала ни малейшего огорчения, значит, так, значит, она перелезла через ограду, как девочки при свете полной луны, она уже по-настоящему в Буче, а тут тебе и ограда, думает Оскар, и открывшаяся улица, хотя бы вся полиция Парижа и все пожарники Ла-Платы гнались за девчонками, ошалевшими от карнавала, за Алисией Кинтерос, за Гладис, которая швыряет хорошо оплачиваемое место, сулящее солидную пенсию, в лицо капитану Педернере.

согласен, но почему ты так быстро признал себя побежденным после твоей Йоланды /После Йоланды? /Да, и сдался онанизму, полностью капитулировал, так сказать /Понимаю, ты-то, исполненный надежды, повторил бы все сызнова /Ну конечно, а что такое любовь, как не постоянное повторение /Проблема не в этом, дружище, полсотни эрудитов всю жизнь допытывались у тени Гоголя, почему он предпочел онанизм браку, не говоря уж о Канте — раз в месяц под деревом,— и, естественно, в каждом случае есть либо Эдипово либо хромосоматическое объяснение, также и у меня наверняка нехватка или излишек молекул «бета», но не это меня интересует, хотя ты, ясное дело, цепляешься за понятие нормального, точно это все еще спасательный жилет. /Но послушай, даже если все сводить к статистике, некое понятие нормального необходимо, чтобы из него исходить /Как тебе угодно, считай, что я ненормальный, и осуждай меня, ни твои понятия, ни твое осуждение меня теперь не волнуют, и я говорю тебе об этом потому, что ты и прочие нормальные, все вы законченные лицемеры, а кому-то надо же исполнять в тысячепервый раз роль шута, и не из самоотверженности, я не жертвую собой ради тебя, нормального самца, но по причине, которую сам не знаю, как назвать, скажем, ради нового начинания /Ну, ну, ты еще и цель себе ставишь /Да нет же, балда, я говорю не об онтологическом начинании, хотя и там необходимы шуты, чтобы перевертывать премногие омлеты, поджариваемые мадам Историей, я говорю о начинании другого рода, если угодно, вроде того, что должен бы предпринять де Сад, начинании, которое предстает главным образом как разрушение, как низвержение идолов, дабы потом, когда-нибудь, явились те жуткие трудящиеся, как говорил тип из Харара [1], или тот новый человек, которым так озабочен Маркос и вся эта шайка Бучи, и тогда я открою дверь и скажу, что все мы Онаны, сперва по очевидным причинам детского возраста, а затем — из-за того, что, хотя одинокое наслаждение несовершенно, однобоко, эгоистично и гнусно, сколь тебе угодно, но это не порок, а главное, не отрицание мужественности и женственности, нет, нет, напротив, но вот ты уже задрал нос и глядишь на меня так, будто никогда не занимался онанизмом после четырнадцати лет, ты, страус дерьмовый /Че, я ведь даже рта не раскрыл, чего ты /Ладно, никто не требует, чтобы ты объявлял во всеуслышание о своих сексуальных причудах, лучше предаваться им, чем о них рассказывать, однако вот тебе ближайший пример — Буча

[1] Город в Эфиопии.

провозглашается средством уничтожения призраков, мнимых преград и прочих понятий из марксистского словаря, в котором я не силен, но которым ты сразу же мысленно украсишь список общественных и личных заблуждений и язв, подлежащих уничтожению, и если это верно, я считаю своим долгом также внести посильную лепту, и защита онанизма годится не только для этого — сама по себе она не так уж важна,— но потому, что она помогает произвести многие другие необходимые разломы в схеме антропоса /Ладно, согласен, но то же можно сказать о лесбиянстве и других, многих других вещах, о вкладах по почте, о лотерее и прочем /Разумеется, но согласись, что с гомосексуализма табу уже частично снято, и с каждым днем не только его практика становится все очевидней, но сам этот факт и его словесное выражение становится обычным и эффектным элементом словарей и послеобеденных бесед, чего не происходит с мастурбацией, которой грешат все, но которая присутствует в языке лишь как тема исхода детства /И ты действительно полагаешь, что все? /Конечно, женатые или холостые, это не имеет значения. Стоит какой-нибудь паре разлучиться по любой мимолетной причине — от поездки до упорного гриппа,— большинство этим занимается, а что до холостяков, не пересказывать же тебе казарменные, тюремные или моряцкие анекдоты, чтобы это знать, ты сам можешь составить свой карманный сборник,— поспрашивай у хорошо знакомых женщин, не балуются ли они пальчиком перед сном, когда остаются одни, и они это подтвердят, ведь у них это менее хлопотно, чем у нас, и такое признание не повредит доброму имени и чести, тогда как для нас сказать, что ты даже изредка онанируешь, порочит твою мужественность и мораль того, кто признался, или того, кто дал себя поймать с поличным, и идиотизм именно в этом, в том, что между фактом и признанием его такой разрыв, что все это продолжает совершаться под знаком табу, вот почему каждый снова становится Онаном, которому его отец Иуда велел лечь с женой брата, дабы обманом дать ему потомство, и Онан отказывается, зная, что его дети не будут признаны его детьми, и, прежде чем возлечь с невесткой, онанирует — в действительности технически это, видимо, был просто coitus interruptus [1], и тогда Иегова на него осердился и его умертвил; вот в этом вся штука — в том, что Иегова осуждает и мечет молнии, с тех пор это застряло у нас в душе, coitus interruptus кажется нам вполне дозволенным, но на мастурбации лежит табу Онана, и отсюда мысль, что она грех, что она постыдна, что это ужасная тайна. Из всего этого, сказал Лонштейн, вздохнув так, будто выбрался из пучин Мальстрёма [2], я создал истинное произведение искусства, изобор и технику, которой, увы, немногие сумеют овладеть, ибо, онанируя с чувством вины, они это делают примитивно и из срочной необходимости — как иные бегут к девкам,— без утонченности самодовлеющего сексуального наслаждения. Парный эротизм породил литературу, которая удваивает, отражает и обогащает описываемую реальность, ее чарующую диалектику: одно дело заниматься любовью, другое — читать, как это делается; но так как для меня пара невозможна и женщины мне скучны во всех смыслах, пришлось мне создать собственную онанистическую диалектику, мои фантазии, еще незаписанные, но столь же — или еще более — богатые, как эротическая литература. /Не менее того? /Да, не менее того /Ну, знаешь, когда я в пятнадцать или шестнадцать лет занимался онанизмом, я воображал, что держу в объятиях Грету Гарбо или Марлен Дитрих, тоже, как видишь, дерзал, так что мне непонятна особая ценность твоих фантазий /Они развиваются не совсем в том плане, хотя и допускают куда более головокружительные видения, чем твои Греты или Марлен, самое важное тут исполнение, в нем-то все искусство. Для тебя все дело в умелой руке, тебе неведомо, что первая ступенька к истинной вершине фортрана состоит в полном отказе от употребления руки /Да, знаю, всякие приспособления, резиновые куклы, обработанные губки, пятнадцать способов применения подушки, согласно герру доктору Баренсу /И чего это ты так горячишься? Пары с воображением тоже применяют всяческие приспособления, подушки

[1] Прерванным соитием *(лат.)*.

[2] Водоворот у берегов Норвегии, с которым связаны самые мрачные легенды.

и кремы. Эредиа тут показывал руководство по позам, привезенное из Лондона и действительно превосходное; будь у меня средства, а главное, желание, я бы издал учебник по технике мастурбации, и ты увидел бы, сколько тут возможностей, а уж бестселлером он был бы наверняка, но, во всяком случае, я могу тебе их описать /Я пошел, че, уже поздно /Иначе говоря, ты не хочешь меня слушать /Ты мне надоел, мой мальчик /Козел, сказал Лонштейн, я-то думал, что растолковал тебе, почему я с тобой об этом говорю /Я понимаю, старик, понимаю, но все равно ухожу /Козел, трус, и ты, и все вы, и вы еще хотите делать революцию и низвергнуть идолов империализма или черт знает как вы их называете, вы, неспособные честно смотреть на себя в зеркало, проворные, когда надо нажать на гашетку, и хлипкие, как малиновое мороженое /я его ненавижу /, когда речь идет о настоящей борьбе, борьбе спелеологической, доступной здесь наверху для каждого мало-мальски стойкого человека /Че, я раньше не замечал у тебя этих мыслишек о лучшем будущем /Ты ничего обо мне не знаешь, даже не знаешь, какого цвета эта сорочка на мне, ты, лживый свидетель Буч, тоже лживых /Значит, ты думаешь, что Буча это ложь? /Нет, не в том суть, сказал Лонштейн, слегка раскаиваясь, она наполовину ложь, потому как лишний раз будет неполным звеном цепи, также неполной, и печально то, что чудесные парни, которых ты знаешь, пойдут, чтобы их убивали, или сами будут убивать, не взглянув по-настоящему на лицо, которое показывает им зеркало каждое утро. Да, знаю, знаю, что́ ты хочешь возразить, да, нельзя требовать, чтобы все люди по-сократовски познавали себя, прежде чем выйти на улицу и лезть в драку с прогнившим обществом и так далее. Но ты, претендующий быть хронистом Бучи, ты сам отрекаешься в час истины, то бишь в час признания онанизма, а ведь я говорю о настоящем человеке, каков он есть, а не о том, что видят прочие, глядя на жизнь через «Капитал» /Лонштейн, сказал мой друг серьезно, и, видимо, очень даже серьезно, если назвал его по фамилии, можешь сколь тебе угодно считать меня подлецом, но вот уже больше получаса, как я вполне разобрался в твоем изоборе и твоем фортране, одним словом, в той аллегории, которую ты под видом онанизма тычешь мне под нос /Ну ладно, сказал раввинчик, как человек, разочарованно отказывающийся от спора /И если я говорю, что ухожу, так, во-первых, я падаю от усталости, и, во-вторых, раз я понял твой сократический метод, не вижу, зачем мне и дальше вникать в технику мастурбации /Ну ладно уж, повторил раввинчик, но мне хотелось бы узнать только одно — твое равнодушие к технике — это опять-таки страусов прием, или ты просто предпочитаешь отрабатывать ее в паре /Вторая гипотеза попала в точку, но раз уж мы зашли так далеко и чтобы ты в свой черед узнал меня чуть лучше и перестал поминать страуса и козла, сообщаю, что у меня нет антионанистических предрассудков и что не раз в отсутствие кого-то, кто должен бы присутствовать, но не мог или не хотел, я утешался в одиночестве, конечно, без того совершенства, которое мне видится сквозь твои рассуждения /Ну ладно уж, в третий раз сказал раввинчик, на чьем лице впервые появились улыбка и расслабление, тогда ты мне простишь эти явно антифортранные и контризоборные эпитеты /Не скрою, я уже начал сердиться, что ты каждые две минуты обзываешь меня козлом /Давай выпьем еще мате, сказал Лонштейн, было бы куда дерьмовей, кабы после всего этого трепа ты бы еще обиделся и ушел с убеждением, что это всего лишь тема для болтовни /Уже всходит солнце, сказал мой друг с зевком, который был бы более уместен при закате упомянутого светила, но все равно, налей-ка мне мате и полную рюмку водки, и потом я исчезаю /К тому же мы еще можем поговорить о других вещах, сказал Лонштейн со счастливым видом, лицо его словно обновилось и оживилось от пепельно-грязновато-розового света, сочившегося сквозь занавески. Ты же понимаешь, мы еще можем поговорить о других вещах, старина.

На улице Кловис тоже светало, и Людмила, войдя с мокрой губкой, увидела первый свет зари, от которого ночник поблек и черты лица Маркоса смягчились,— лежа на спине с закрытыми глазами, он засыпал. Людмила тихонько села на пол, держа в руке губку, будто лампаду в

катакомбах; не вставая, осторожным движением она выключила ночник, в полутьме обозначились очертания окна, неясные утренние шумы проникали в жаркую, глухую тишину спальни.

— Я не сплю, полечка,— сказал Маркос, не открывая глаз,— я думал о том, что с пятницы мы вступаем на ничейную землю и что ты еще даже толком не знаешь почему.

— Про Гада я знаю,— сказала Людмила,— но, признаться, о дальнейшем имею смутное представление.

— В том, что мы собираемся делать, нет ничего оригинального, разве что необычная география и множественный эффект. За Гада правительства пяти-шести стран должны будут освободить нескольких наших товарищей. О них почти уже забыли, но только не мы, и тут поднимется адская буча из-за национального престижа; это я говорю о более далеком будущем, но я помню, что ты живешь и работаешь здесь. Обдумай это.

— Конечно, я живу здесь, но для меня это все равно что моя работа, я ведь зарабатываю тем, что играю в разных пьесах,— сегодня это что-то неопределенно славянское, завтра будет драма Пиранделло или водевиль с музыкой и танцами. Да, конечно, Париж, Париж. Будет непросто привыкать к другой жизни, но, сам видишь, по сути мне это не в новинку, поменять роль не так уж трудно.

— Возможно, но все равно я должен был тебе сказать. Остальные приготовили себе убежища: у Патрисио и Сусаны есть друзья в Лувене [1], а Гомес может жить у родителей Моники, они в Люксембурге, у Эредиа есть зацепки в разных местах, Ролан и другие — французы — ветераны, и они играют на своем поле.

— А ты?

— Для меня это не проблема, и для Лонштейна тоже. Бедняга в нашем деле с боку припека, он связан с нами чем-то таким, чего никто не понимает, даже он сам. В общем, ты поставлена в известность, полечка.

— У тебя еще кровь возле рта,— сказала Людмила, опускаясь на колени у кровати и проводя влажной губкой по губам Маркоса. Когда он пристально посмотрел на нее в тусклом утреннем свете, на фоне белых простыней, Людмила, вытирая ему губы, улыбалась чему-то, возможно, очень далекому, и когда он заключил ее в объятия и поцеловал в ложбинку между грудями, она прижалась к нему, пряча лицо в копне его вьющихся волос, которые она тихонько покусывала, окутанная ароматом банного мыла и усталого тела.

В какой-то момент этой сумбурной истории мой друг начинает сознавать, что стихия его одолевает, и, когда он берется приводить в порядок свои документы (невозможно описать огромную коробку или суповую миску, в которые он бросал то, что у него называлось «карточками»), иные эпизоды, в свое время казавшиеся важными, жутко умаляются, тогда как всякие глупости вроде того, как Мануэль ест или что там сказала Гладис о какой-то прическе, наполняют его суповую миску и память, словно-в-бронзе-отлитые. Мой друг прикрывает глаза и думает — вряд ли из-за этого можно его считать кретином,— что забывчивость и память такие же эндокринные железы, как гипофиз и щитовидка, регуляторы наслаждения, ведающие обширными сумеречными зонами и ярчайшими выступами, дабы повседневная жизнь не надорвала наши силы. По мере возможности он накалывает своих мошек в некоем порядке, и Лонштейн, единственный, кому дарована привилегия заглядывать в суповую миску или коробку с листочками, в конце концов согласится, что Буча в целом представлена связно — есть бучевая предыстория, история и постистория, есть удовлетворительная причинная связь, например, пингвин, появляющийся в нужном месте и в нужный момент,— деталь важнейшая. Плохо то, что попадаются карточки, содержание коих ставит в тупик,— вы бы посмотрели, как мой

[1] Город в Бельгии.

вдруг приставляет к своим вискам большие пальцы обеих рук и потом говорит, не знаю, че, это случилось, кажется, с Эредиа или с Гомесом и Моникой, погоди минутку,— и принимается вертеть карточку и так, и этак, проклиная самоцензуру, южноамериканскую стыдливость, ибо всегда или почти всегда тема была скользкая, а мой друг желал идти по стопам раввинчика и ни о чем не умалчивать — доказательство, что он записал это, что эта карточка здесь,— и именно тогда обе желёзки начинают просеивать отложившееся в памяти, и, более того, тут есть еще одно обстоятельство — Лонштейн первый это замечает,— уже заполняя карточку, мой друг мошенничает, события ведь у него прикрыты словесным облачением, порой не знаешь, кто делал то или иное и для кого, впоследствии мой друг будет оправдываться тем, что мол, спешил или что надо было дополнить информацию, но Лонштейн взглянет на него с сожалением и поинтересуется, почему в таком-то месте на такой-то карточке все имеет вид увядшего салата, а на другой, если это удобно, расцветает пышной икебаной. Да пойми же ты, все не так просто, с отчаянием рявкает мой друг, пойми же, черт, что описывать эстетично, хотя и не погрешая против истины, это одно, и совсем другое — вот *это,* то есть когда изымаешь эротизм и прочие сопутствующие темы из рамок эстетики, ибо, оставив их там, ты продолжаешь делать литературу, облегчаешь себе игру, можешь рассказывать или описывать самые немыслимые вещи, так как есть нечто, служащее тебе завесой или алиби, ты рассказываешь гладко и красиво, ты опять-таки распутник с образованием, панегирист левых или правых, хотя сам высокомерно посмеиваешься над этим языком. Easy, easy [1], советует раввинчик, easy does, baby [2]. Вот ты и подумай, настаивает искренне удрученный мой друг, как, черт побери, я могу не опускать имена и не забывать, кто именно и что делал, когда я хотел высвободить ноумен [3] как таковой, че, недистанцированный и неопосредованный, как теперь говорят, представить Бучу, как кубисты представляли сюжет картины — все в одном плане, без объемов и теней, без ценностных и моральных предпочтений, без сознательной или бессознательной цензуры,— пойми, что на испанском это почти невозможно, пойми, что перо выпадает у меня из руки,— ведь я не хочу писать дерзко, или фривольно, или еще как-то в этом же роде, я ищу человека, ищу, чтоб было просто, как хлеб, братец ты мой, я сую палец в задницу, и так оно и должно быть, должно быть совершенно так же, как попросить билет за десять песо или высморкаться в фойе «Рекса». И тогда, ясное дело, ты забываешь имена, говорит раввинчик, даже я это понимаю. И что же, я теряю время зря? спрашивает, воспламеняясь, мой друг. Я с самого начала ошибаюсь, и все это ни к чему? Выходит, есть запретные области, и это, мол, означает быть человеком и не разгуливать нагишом на террасе? Но тогда я, видно, больной человек, ведь что-то здесь, в грудной клетке, говорит мне, что я должен продолжать, пусть без имен и с пропусками, но должен продолжать, плевал я на страх или стыд, на неуспех, что-то стучит в дверь, старик, посмотри эти карточки, когда захочешь, и скажи, надо было их писать или нет, можно ли было об этих эпизодах Бучи умолчать или описывать их, как сделали бы многие наши свободомыслящие соотечественники, прикрывая их теми же словами, которыми я надеялся их раскрыть. Ба, говорит Лонштейн, здесь ты попал в точку, дело, по сути, всегда будет в словах, и то, на что ты претендуешь, это чисто формальная подмена. Нет, старина, сам понимаешь, это я мог бы сделать, не создавая себе проблем. Дело сложней — надо стремиться к тому, чтобы как-то неосознанно переходить из одной области в другую, а этого мы еще не умеем; парадоксальным образом запретное — для нас как бы нечто привилегированное и заслуживает особого обхождения, «в-этой-сцене-надо-поосторожней», и тогда слова обрушивают на тебя сокрушительный удар,

[1] Полегче, полегче *(англ.).*
[2] полегче, детка *(англ.).*
[3] Здесь: сущность, идея *(греч.).*

устраивают, как обычно, величайшее жульничество. Если бы мне удавалось не менять их, когда я перехожу с улицы к кровати, если бы я сам не менялся,— ты понимаешь меня? — тогда бы я почувствовал, что все вокруг — это Буча и что между разными ее моментами нет каких-то особых, личных, эпизодов. Ах, говорит раввинчик, просияв, вот ты сам в который раз выходишь из контекста и предрекаешь судьбы Буче, по меньшей мере, нашей Аргентине. Гораздо больше того, скромно замечает мой друг, я их предрекаю самой идее революции, потому что Буча — это одна из многих ее клеток, и эту шахматную партию никогда не выиграть, если я не сумею быть одним и тем же на улице и в кровати, а я — это пятьсот или восемьсот миллионов человек в данную минуту. Согласен, говорит раввинчик, но скверно в тебе то, что ты эти вещи чувствуешь и ищешь в писанине, от которой, как говорит Мао, мало толку, разве что. Разве что — что? Ах, это уж ты у него спроси. Ты ошибаешься, говорит мой друг, приуныв, писанина для меня важна только как зеркало чего-то иного, такого состояния, при котором будет осуществима подлинная революция. Вот тебе наши парни, ты видишь, как они резвятся, а потом что? Если добьются своего — тут я снова экстраполирую и воображаю себе Величайшую Окончательную Бучу,— произойдет еще раз то, что всегда бывало, идеологическое ужесточение rigor mortis [1] в повседневной жизни, ханжество, товарищ, не произноси неприличных слов, бюрократизация секса и сексуальная жизнь по указке бюрократии, все так известно, старина, так неизбежно, хотя это Маркос, и Ролан, и Сусана, хотя это чудесные ребята, которые любят, и обнажаются, и одновременно борются,— прости, фраза остается недополненной, потому что именно здесь возникает неполнота, будущий Маркос будет не тем, что сегодня, и почему, старина, почему же? Почему? спросил Лонштейн. Потому что он и теперь не подготовлен к последствиям Бучи, он и все они желают революции, чтобы достигнуть чего-то, что они потом не смогут упрочить и даже определить. В идеологическом плане, разумеется, все чудно, теория и практика в согласии, Буча состоится любой ценой, потому как человечество сказало «хватит» и двинулось в поход, это провозглашено, и записано, и прожито в крови; беда в том, что в походе мы будем тащить на закорках старого-престарого мертвеца, разложившегося от времени и всяких табу и неполных самоопределений. Ай-ай-ай, сказал Лонштейн, и все-то ты знаешь, че. Вот именно, согласился мой друг, потому я и держу по возможности язык за зубами, не говоря о том, что я недостаточно образован, чтобы научно рассуждать о наших нуждах, неплатежеспособности и сверхприбылях, и я не такой пророчествующий безумец, как Вильгельм Рейх [2], и не знаменитый предтеча, как Сад или Хосе Марти [3], уж извини за их сближение, звучит, я знаю, непочтительно; я к их числу не отношусь и потому помалкиваю, но продолжаю заполнять свои карточки, перо выпадает из рук, но я снова его поднимаю, небритые мои щеки краснеют, потому что мне трудно говорить про палец в заднице, всякий раз мне чудится, что я засунул не палец, а всю пятерню — уж прости за грубость,— что по сути то, что я делаю, дурно, и либидо для нашей судьбы не так уж и важно и так далее; но я снова хватаю перо, затачиваю его и снова пишу, и мне противно, мне хочется принять душ, я чувствую себя слизняком или как будто, поскользнувшись, упал в кучу дерьма и оно налипло на мой плащ,— мне хочется быть кем угодно, сборщиком налогов или продавцом скобяных товаров, я дико завидую чистым романистам, или теоретикам-марксистам, или поэтам избранной темы, даже преуспевающим при истеблишменте сексологам, у кого развязаны руки,

[1] под страхом смерти *(лат.)*.

[2] Вильгельм Рейх (1897—1957) — австрийский врач, психоаналитик, автор работы «Дидактический материализм и психоанализ».

[3] Кубинский революционер Хосе Марти (1853—1895) и маркиз де Сад (1740—1814) названы автором записок как эмблемы социальной и сексуальной революций, под знаком которых развивалось молодежное движение 60-х годов.

как у старины Миллера или старины Жене, они-то сумели кулаками пробиться к выходу на улицу, и теперь никто их не остановит, хотя во многих странах запрещают; я же чувствую себя таким провинциалом, таким дикарем из пампы, типичным креолом со своим мате в четыре часа пополудни и своей литературой, напичканной сальностями и парочками, чья любовь описывается в скобках, всегда выше и ниже финального взлета в новом представлении о человеке, не считая того, о чем я сказал прежде,— страха ошибиться, страха, что в действительности революция может совершиться без этого моего видения человека. Ба, сказал раввинчик, ты меня разочаровал, че, я вижу, что ты свою пресловутую картотеку пишешь, поглядывая одним глазом на карточки, а другим на будущих читателей, и именно их-то, нынешних или будущих свидетелей, сегодняшних или завтрашних судей, ты боишься, уж признайся по чести. Как знать, возможно, ты и прав, сказал мой друг, я всегда жил, ни на кого не оглядываясь, делал только то, что мне нравилось, делал это не только ради себя, но ради неких обобщенных других, кого-то неопределенного, без лиц, без имен, без суждений, но возможно, что с годами я стал робеть, стал бояться того, что скажут,— этакий штампик. С этим я ничего не могу поделать, разве что выкинуть картотеку в окно и самому выброситься или же отправиться в кино или в картинную галерею, но ты же видишь, я все еще вожусь с этими карточками, они дрянно написаны, в них ощущаются робость, и стыд, и нечистая совесть, но они есть, ты их читаешь, и уже пишутся другие, еще не кончился у меня завод, хотя получается плохо и каждые пять минут мое перо спотыкается и начинает болеть живот. Правильно делаешь, сказал Лонштейн, подавая ему мате, толику зеленого утешения, в конце концов даже если ты, между прочим, забудешь имена и будешь стыдливей, чем девица, которая впервые у гинеколога, я считаю, что ты имеешь полное право продолжать, ошибаешься ты или нет, прав ты или нет; поди знай, что творилось в голове у Маркса, когда он писал, да, тут проблема ответственности, и я это понимаю, игра идет по-крупному, и, вероятно, она стоит того — сорвешь ты банк или все проиграешь, это не так важно, история — это невероятное количество взмахов во все стороны, одним удается схватить рукоятку, а у других рука остается пустой, но, когда подводишь итог, получается французская революция или Монкада [1].

Диалог этот, как понятно любому, доставил обоим огромное удовольствие, не говоря о том, что мой друг затем провел ночь, вписывая некоторые имена в некоторые пробелы, и обнаружил, что это оказалось отнюдь не так затруднительно.

Мое восприятие все больше напоминает приемы монтажа в добротном фильме; кажется, Людмила еще разговаривала со мной, когда я подумал об отеле «Террасс» с балконами, выходящими на могилы, либо то был смутный сон об отеле, и тут Людмила, разбудив меня ради стакана фруктового сока, стала частью последних сновидений и начала говорить, когда какие-то обрывки образов отеля и балконов над кладбищем еще витали предо мной. Потом метро доставило меня на площадь Клиши, словно это оно само решало, куда меня везти и через какие пересадки. С Людмилой же мы разговаривали недолго, время было после полудня, но о завтраке мы и не думали, было жарко, я лежал в постели голый, Людмила, по своей дурной привычке, сидела в моем халате, оба курили, и пили фруктовый сок, и глядели друг на друга, и, разумеется, Маркос и Буча, все это. Таким образом. Прекрасно. Да, Андрес, сказала я ему, но я не хочу, чтобы все оставалось как в выключенном холодильнике и медленно гнило. Он, голый, полусонный, ласково посмотрел на меня, будто издалека. Ты кое-чему научилась, Людлюд, это как раз мой метод, и вот ты убедилась, что он пригоден лишь на то, чтобы еще больше портить дело. Суть не в методе, а в

[1] Казармы в Сантьяго-де-Куба. Вооруженное нападение на казармы Монкада отряда революционеров во главе с Ф. Кастро считается началом Кубинской революции.

деле, сказала я, за правду я всегда была тебе благодарна, а все же было бы лучше, если бы тебе не надо было приходить и рассказывать мне о Франсине. То же могу сказать и я, Людлюд, хорошо бы, кабы ты не приносила мне новости, пахнущие Бучей и пампельмусовым соком, но сама понимаешь. Я тоже, конечно, тебе благодарен. Ах, какие мы оба ужасно вежливые.

Потом я даже не доехал до отеля «Террасс»; войдя в метро, я повиновался инстинктивному импульсу, как бы дававшему мне передышку, прежде чем включиться в новое течение времени, и подтверждавшему нечто предвиденное, но еще не усвоенное; знаю, что я вышел из метро на площади Клиши и бродил по улицам, пил коньяк в одном или в двух кафе и думал, что Людмила и Маркос поступили очень правильно, что бессмысленно тревожиться о будущем, если, скорей всего, решать за нас, как почти всегда, будут другие. Однако стрелочник повернул рычаг до отказа, и все на полном ходу помчалось по другому пути — невозможно сразу воспринять новые пейзажи за окнами, тем паче к ним привыкнуть. Ничто прежде не казалось мне ужасней, чем самокопание на какой-нибудь террасе кафе, чем непроизвольный мерзкий внутренний монолог, пережевывание своей блевотины; просто факты подбрасывались мне, как карты в покере, надо же было как-то их упорядочить, поместить два туза рядом, восьмерку к десятке, подумать, сколько карт прикупить, надо ли блефовать, и есть ли у меня шанс на «фул». Во всяком случае, коньяк — и вперед по новой колее на всех парах до следующего поворота стрелок.

Людмила вошла в ванную, как на сцену,— даже без публики «Вьё Коломбье» халат упал на пол со взмахом прекрасного белого крыла. Изразцы стенок были идеально прозрачны, хотя это противоречит самой природе изразцов, и под взглядом Людмилы, проникавшим сквозь них вопреки их плотности, они казались ей стеклами окон, за которыми сияющее, жаркое солнце и морской берег, возродившееся время, новый феникс — Буча. Ее восторг, в котором было столько же ребячества, сколько любовного пыла, вызывал невольную улыбку, но, к сожалению, стоило лишь чуть-чуть разжать губы, и мыльная пена забивалась в рот, меж тем как губка гуляла по бедрам и по талии, смывая ничтожные, но стойкие следы ночи. Так же смывался с нее и Андрес, подобно соринке, которую душ уносит в водослив, молча, ничего не говоря после того, как все было сказано, что свидетельствовало о его ясном уме; тишина квартиры без Ксенакиса, без Джонни Митчелла, без Хуана Карлоса Паса [1], победные звуки душа, разносившиеся через открытые двери, мало-помалу затмевали образ Людмилы, которая, неохотно кончив мыться, снова закуталась в халат Андреса и пошла по комнатам с сигаретой во рту и чашкой остывшего кофе и, проходя через гостиную, включила транзистор, оглашавший биржевой курс. Размежевание, подумала она и, уцепившись за слово, стала переворачивать его в уме, как некий плод: размежевание, жеваниеразме, меразжевание, разжемевание, ваниемежразе, разжеваниеме. Она прихлопнула транзистор, села на кровать и расправила простыню, которую Андрес оставил смятой и перекрученной; также и на улице Кловис перед уходом она застелила постель, пока Маркос варил кофе и звонил Гомесу и Люсьену Вернею. Размежевание, одна кровать на улице Кловис и другая на улице д'Уэст: сказочка о простынях, новый головокружительный темп, рождающийся меж этими двумя кроватями, и единственное возможное слово, которое никак не выговоришь, только думаешь о нем беспрерывно, но оно где-то за словесным порогом, оно в твоих мыслях как тепло, как овевающий тело ветер, и почему нет, почему нет, если уже так есть, я люблю тебя, теперь я знаю, почему и как сильно тебя люблю, я говорю это и повторяю, и это — размежевание, потому что это ты и Буча и потому что все наполняется прыжками, и криками, и радостью, и надеждами, и горелыми спичками, малышка,

[1] Современные музыканты.

неисправимый ребенок, я люблю тебя, Маркос, и я тебя, малышка, всегда буду любить, но уже издалека, отныне ты будешь зрителем, ты будешь смотреть на меня из партера и, быть может, аплодировать, когда мне достанется выигрышная роль. Размежевание, межразевание, большая игра началась, и время уже два часа дня, надо что-нибудь перекусить, пойти к Патрисио, в полвосьмого репетиция. Внешне все по-прежнему, Патрисио или репетиция, поесть или покурить, но теперь все по другую сторону размежевания, прозрачного и хрупкого, как волны морские, разбивающиеся о небо в изразцах ванной комнаты. На диване лежала пластинка, что-то Лусиано Берио: Людмила поставила ее на плату, протянула руку, чтобы включить проигрыватель, но не включила — в полутьме она видела глаза Маркоса, его голос доносил до нее весть о часе феникса, обо всем, чего он ждал в эти дни, во все дни, которые они проживут вместе.

— Мы мало о чем рассказываем,— говорил Маркос, гладя ее лицо, которое она прятала на его плече,— всякие личные делишки — это, по-моему, лишнее сейчас, пока мы не управимся, если управимся.

— Если управимся? Ладно, я понимаю, что опасно и трудно, но я думаю, что ты, что вы... Ты прав, главное, это Буча, хорошо, мы можем подождать.

— Нет, полечка,— сказал Маркос, и Людмила почувствовала что он молча смеется в темноте, по легким вздрагиваниям его кожи, как бы всеохватной улыбке, проникавшей в нее и еще больше притягивавшей,— мы, как ты могла убедиться, не можем ждать, и хорошо, что мы не ждали. Откуда эта мания делить все на куски, словно режешь салями? Один ломоть — Буче, другой — личной истории, ты напоминаешь мне моего друга с его жаждой все упорядочить, бедняга не понимает, но жаждет понять, он в некотором роде Линней[1] или Амегино [2] нашей Бучи. А на самом деле все не так, салями можно просто кусать, а не резать пластинками, и скажу тебе, так вкуснее, потому что привкус металла портит вкус ослятины.

— Салями делают из ослятины? — удивилась Людмила.

— Полагаю, иногда да, в зависимости от сезона. Видишь, полечка, эта ночь, мы с тобой, все это тоже Буча, и дай Бог, чтобы ты в это верила, как я, хотя бы мой друг разбил себе башку об стену. Главное, не драматизировать, надо просто включить это в великую Бучу, не теряя из виду другое, держаться на хорошо уравновешенной точке зрения, пока не поднимется шум и, вероятно, долгое время спустя.

— Это нетрудно,— сказала Людмила, рука ее медленно заскользила по груди Маркоса, забралась на карту Австралии, все более желтую и зеленую, погладила мирно уснувший член и, ощутив электрические токи пушка на бедрах, остановилась у твердого выступа колена,— конечно, нетрудно, Маркос, для меня это по сути не ново, я, видимо, это поняла, как только вошла к тебе и ты пожал мне руку — и кстати, сделал чуть больно. Ты прав, не будем говорить об Андресе, не будем делать то, что обычно делают и что мне наверняка придется этим утром делать с Андресом,— наводить, так сказать, порядок в доме. Поговорим о муравьях, Маркос, эта тема меня по-настоящему интересует. И ты, Маркос, и ты, но на это, мне кажется, у меня еще будет много-много времени.

— Полечка,— пробормотал Маркос,— ты рассуждаешь как птенчик.

— Не теребй мне волосы, противный.

— Я их теребню, потому что они как пшеница, полечка, когда-нибудь я, возможно, покажу тебе наши пшеничные поля, увидишь, что это такое.

— Ба,— сказала Людмила,— ты что, думаешь, у нас в Польше их нет?

[1] Карл Линней (1707—1778) — шведский естествоиспытатель, создатель системы растительного и животного мира.

[2] Флорентино Амегино (1854—1911) — аргентинский натуралист.

LA COMMISSION INTERNATIONALE DE JURISTES PUBLIE SON RAPPORT SUR LES TORTURES

Genève.— La Commission internationale de juristes (C. I. J.) a publié mercredi un rapport d'une rare violence sur les tortures infligées aux opposants et aux quelque douze mille prisonniers politiques qui selon elle, existent au Brésil.

Le rapport, qui se fonde principalement sur des documents et des témoignages sortis clandestinement des prisons ou remis aux rapporteurs de la Commission par d'anciens détenus évadés, affirme que la torture, devenue «une arme politique», est appliquée systématiquement pour faire parler les prisonniers, mais aussi comme «moyen de dissuasion». La mère d'un leader étudiant rapporte que les responsables du camp d'internement de «l'île des fleurs» ont l'habitude de placer dans le parloir un garçon mutilé «dont les mouvements disjoints et la marque des supplices endurés doivent inciter les parents en visite à conseiller à leur fils ou fille une collaboration empressée avec les enquêteurs».

Le rapport relève que la torture est généralement appliquée de manière scientifique, et fait état des méthodes les plus couramment employées: supplice d'eau (la tête du prisonnier est plongée de façon répétée dans un seau d'eau sale ou rempli d'excrements ou d'urine), supplice de l'électricité (application d'électrodes aux organes génitaux, aux oreilles, aux narines, aux seins ou aux revers des paupières, tortures d'ordre moral (un enfant étant supplicié devant sa mère ou des conjoints torturés dans une même pièce).

La Commission signale, d'autre part, que la prison militaire de Belo-Horizonte osséde des chiens policiers spécialement dressés pour s'attaquer aux partis sensibles du corps humain. Dans les locaux de la DOPS (police fédérale civile) de Sao-Paulo, on compte parmi les méthodes «courantes», l'arrachage des ongles ou l'écrasement des organes génitaux. A Sao-Paulo, Curtiba et Juiz-de-Fora, des prisonniers ont été brulés au chalumeau.

Le rapport, qui énumère dans le détail les services du gouvernement chargées de la repression conclut: «Une libération de l'appareil de répression ne peut être espérée du fait du nombre toujour croissant des agents, fonctionnaires et officiers se rendant coupables de supplices sur leurs concitoyens. La seul façon pour eux d'échapper à la punition, pour ne pas dire la vengeance de leurs concitoyens, est de poursuivre, voire d'intensifier encore la répression. Mais la torture a besoin du silence complice, de la pudeur des temoins, du masque de la normalité. L'opinion publique des pays civilisés possede aujourd'hui une chance réelle de faire cesser par des dénonciations répétées et précises les pratiques inhumaines dont sont l'objet tant d'hommes et de femmes au Brésil.

— Переведи-ка этому парню, который с французским не в ладах,— приказал Патрисио,— а я пока накормлю Мануэля супом. Че, этот малыш влюбился в Людмилу и Гладис сразу, весь в отца пошел, ну, старуха, хорошенькое будущее нас ожидает.

Предполагаемая любовь Мануэля проявлялась в том, что он разбрызгивал ложкой саговый суп на упомянутых особ. В конце концов стюардесса, хотя и числилась безработной, одним ловким движением руки отобрала у Патрисио тарелку с супом, Мануэля и ложку, чем спасла лицо Людмилы от очередного орошения. Сидя в самом удобном из имевшихся в комнате кресел, Оскар наблюдал за этим хоумсуитхоум [1], одолеваемый ощущением всеобщей сдвинутости, которое появилось у него с выгрузки пингвина и броненосцев в Орли и которое ночные события и это утро отнюдь не помогли рассеять; да оно и не было ему неприятно, душа его, как у певца танго, витала между реальностью и радужной дымкой мечты — одним словом, поэт, как говорили ему, надрываясь от хохота, товарищи по, вероятно, уже разогнанному взашей Обществу зоологии.

— Международная комиссия юристов публикует доклад о пытках,— перевела Сусана.— Женева, точка, тире. Она (МКЮ) опубликовала в среду доклад об исключительной жестокости — почему исключительной, скажите на милость? —/Черт, переводи без комментариев, приказал Патрисио./ Путака париока, сказала Сусана, которая, наряду с другими пятью языками, владела волапюком, об исключительной жестокости пыток, применяемых к оппозиционерам и почти двенадцати тысячам политзаключенных, которые, согласно ее данным, имеются в Бразилии.

— Двенадцать тысяч? — спросил Эредиа, входя с огромной коробкой конфет для Мануэля, который был обездвижен Гладис со всей ее аэронавтической сноровкой и вмиг изверг изрядное количество супа, как только понял, что саго не идет ни в какое сравнение с тем, что его ожидает в розовой коробке с зеленой лентой.— Я бы сказал, двадцать тысяч, но для международной комиссии и это неплохо. Продолжай, детка.

«В докладе, основанном главным образом на документах и свидетельствах, тайно переданных из тюрем или сообщенных докладчикам Комиссии бывшими узниками, которым удалось бежать, утверждается, что пытка, превращенная в «политическое оружие», систематически применяется, чтобы заставить узников говорить, но также как «метод переубеждения». Мать одного студенческого лидера сообщает, что начальство лагеря для ин-

[1] Англ. home, sweet home — «дом, милый дом». Слова песенки. *Здесь:* в значении домашней идиллии.

тернированных на «Острове цветов» взяло себе в обычай приводить в комнату свиданий какого-нибудь изувеченного парня, «чьи неуправляемые движения и следы перенесенных пыток должны побудить родителей, явившихся на свидание со своими детьми, убеждать их активно сотрудничать со следователями».

«Отец, а правда, что в Америке не жизнь/ а рай, как говорят? — продекламировал Эредиа.— Хотел бы ты туда? /О да! И не мечтай/ Карман пошире раскрывай./ Не выйдет ни фига». В этом шуточном стишке звучит некое предостережение, мать твою, прости, Господи. Продолжай, сестренка.

Оскар слышал голос Сусаны, видел руку Гладис, которая забавлялась волосенками Мануэля и вливала в него суп с неподражаемой ловкостью, чувствовал, как Патрисио весь напрягся, а вот появились Гомес и Моника, и пошли быстрые вопросы и беглые взгляды на него и на Гладис, главных жертв пингвина, на них, детей полнолуния, ибо отныне все для них превратится в ограду с битым стеклом, и, крепко взявшись за руки, они должны будут бежать, пробивать отверстия, жить в долг, чертов пингвин, подумал Оскар, расслабившись и глядя на Гладис с чувством, похожим на гордость, на подтверждение надежды. «В докладе указывается, что пытки, как правило, применяются с научным обоснованием (какая проституция языка в этом газетном жаргоне, с возмущением подумал мой друг, они путают спорт или технику с наукой, и в это злополучное словцо вливается все дерьмо, по сути ею заслуженное, когда она забывает о своем назначении делать что-то, достойное нас, людей, а не роботизировать нас, и так далее, ох, хо, хо, куда тебя занесло) и сообщается»,— перевела Сусана, повышая голос с явным намерением либо заставить их помолчать, либо прекратить чтение,— «сообщается, что в числе наиболее распространенных методов: пытка водой (голову узника многократно погружают в ведро с помоями, или с экскрементами, или с мочой), пытка электротоком (прикладывание электродов к гениталиям, к ушам, к ноздрям или под веки), пытки морального плана (пытают ребенка на глазах у матери или мужа и жену в одном помещении)». Только подумать, что если бы это появилось как простое сообщение корреспондента «Монд», господа из моего милейшего посольства завопили бы, что это клевета, сказал Эредиа. Они уже это сделали, поправил его Маркос, который, войдя по-кошачьи бесшумно, уселся на пол у окна. Сегодняшняя «Монд» как раз извещает, что Международная комиссия попросила у твоего посольства в Женеве передать ей ноту, в которой министр юстиции Бразилии — завидная должность в данных обстоятельствах — энергично протестует против упомянутого доклада и утверждает, что в Бразилии нет политических заключенных. Вот, возьми, остальное прочтешь сам.

Будете вы так любезны, чтобы дать мне закончить? — сказала Сусана.— «Комиссия также указывает, что в военной тюрьме в Бело-Оризонте имеются полицейские собаки»,— очень удачное сочетание, правда? — «специально выдрессированные, чтобы вгрызаться в самые чувствительные части человеческого тела. В участках ДОПС (федеральной гражданской полиции) Сан-Паулу среди «обычных» методов пытки числится вырывание ногтей или раздавливание детородных органов. В Сан-Паулу, Куритибе и Жуис-ди-Фора некоторых заключенных жгли газовой горелкой».

Отключившись от общего гула, от визга Мануэля, требующего конфет, от инстинктивного жеста Эредиа, мягко гладящего себе левое предплечье, которое год назад именно в Сан-Паулу of all places [1] ему медленно ломали в трех местах, моему другу удалось внимательно прочесть вывод доклада, простую заключительную фразу, которую следовало бы повторять днем и ночью по всем радиоволнам, во всех изданиях и всем, кто владеет пером (хотя перьями ныне уже не пишут, проклятый язык, сплошные анахронизмы):

[1] *Здесь:* только подумать *(англ.)*.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАН ИМЕЕТ ТЕПЕРЬ ПОДЛИННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОСТОЯННЫХ И ТОЧНЫХ РАЗОБЛАЧЕНИЙ ЗАСТАВИТЬ ПРЕКРАТИТЬ БЕСЧЕЛОВЕЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ЖЕРТВАМИ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ МНОГИЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ БРАЗИЛИИ.[1]

Мадам Франк поднялась наверх позвать ее к телефону, и голос Франсины зазвучал в вонючей кабине кафе на улице Леклюз, ее голос, словно только что надушенный и приглаженный, донесся до меня в этот закуток, где смердело из соседней уборной, ну конечно, она придет, но почему Монмартр, а впрочем, да, она возьмет такси, нет, ты неисправим, да, да, через полчаса. И я знал эти полчаса: еще один общий осмотр внешности, прическа, чулки, бюстгальтер, зубы, возможно, она сменит белье или подумает, какую надеть блузку и юбку, попутно улаживая с мадам Франк неотложные дела. Я ждал ее за четвертой рюмкой коньяка, смеркалось, было тепло и многолюдно, группы алжирцев двигались к Пигаль или к площади Бланш, вечер со своим обычным неоном, хрустящим картофелем, шлюхами в каждом подъезде и в каждом кафе, час безумцев в этом самом личном, самом погруженном в себя городе мира.

— Я спою тебе танго,— объявил я ей, когда мы наконец выбрали дешевый ресторан на бульваре Клиши.— Пока у меня есть только текст, но ты увидишь, мелодия придет за ужином, вопрос времени. Начало я украл из какой-то песенки Риверо, ты, конечно, его не знаешь, он наш, буэнос-айресский. Слова такие: «Я ее встретил в борделе и в чужих объятьях», погоди, сейчас переведу, начало простое и ясное, но потом идет плюришанина, как сказал бы Лонштейн, впрочем, его ты тоже не знаешь.

— Верно, это одна из причин, чтобы тебе напиться,— сказала Франсина.— Но, позвав меня, ты поступил неправильно, я для спасательных мер не гожусь, я сама в конце концов стану пить бенедиктин рюмку за рюмкой, и, поверь, завтра мне будет не очень хорошо.

— Спасибо,— сказал Андрес, целуя ее руку, нежно пахнувшую смягчающими кремами,— ты славный старый товарищ, ты пришла, чтобы быть рядом с тяжелораненым, ты готова отдать свою кровь для переливания и дежурить у его одра. Не бойся, я не буду слишком тебе надоедать, я позвал тебя, чтобы ты по крайней мере знала, что вы обе, как всегда, были правы. О, о, не строй вопросительную рожицу, вы обе, Людмила и ты,— воплощение здравого смысла в этом городе, заботливая рука, которая раскрывает зонтик, отодвигает в сторону швейную машинку и не спеша проводит метелкой по анатомическому столу.

— Если хочешь, я уйду.

— Да нет же, любовь моя, напротив, я спел тебе соответствующий пассаж танго, теперь мы будем впихивать в себя две дюжины устриц, а они, как учит Льюис Кэрролл, само терпение, и я надеюсь, они услышат, как мы заговорим о вещах более приятных.

— Не хочешь, не рассказывай, мне все равно. Я тоже буду пить, наверное, это единственное, что я могу сделать.

Франсина всегда такая, когда я называю ее старым товарищем — самое, по-моему, нежное обращение, но именно оно ее раздражает; хотя слова вроде «любимая» или «дорогая» теперь уже не употребляют во

[1] Этому пассажу во французском тексте доклада предшествует не переведенный Сусаной фрагмент следующего содержания: «Доклад, в котором подробно перечисляются государственные учреждения, осуществляющие репрессии, завершается выводом: «Нельзя надеяться на либерализацию репрессивного аппарата ввиду всевозрастающего числа агентов, чиновников и офицеров, виновных в мучительстве своих сограждан. Для них единственный путь избежать наказания, уж не говоря о мести сограждан, это продолжение, а также усиление репрессий. Однако пытка нуждается в молчании соучастников, в робости свидетелей, в маске нормального обращения».

французском, их-то она в глубине души жаждет услышать между строк, когда я с ней говорю и к ней обращаюсь, и, конечно же, мы любим друг друга, мы любовники, но я думаю, что угадываю лучшее в ней (или во мне? Поосторожней с замаскированным эгоизмом!) в такие вот вечера, когда я полупьян и грущу и не вижу никакой иной цели, кроме моих маленьких радостей в виде Пьера Булеза или Лютославского [1] или японского кино, тогда мне нужна Франсина как отсрочка реальности, щепотка марихуаны, благодаря ей я могу несколько часов парить, лежа навзничь, отчужденный от себя, но лицом к небу, от которого я не в силах отказаться, в этом прекрасном мире тысяча девятьсот семидесятого, столь ужасном для миллионов людей, о чем меня извещают газеты. Старый товарищ прижимается щекой к моему лицу, она знает, что я болен оттого, что здоров в мире больных, она думает, что дистанция между юным Вертером и не столь юным Андресом Фавой короче, чем кажется, просто мифы, и табу, и причины раздирать себе грудь меняются, вчера человек страдал от невозможности утолить жажду высокого, сегодня он страдает на рубеже между двумя мирами (между тремя, сказал бы Патрисио, а с этого утра и Людмила), и она испытывает ко мне вежливую, меланхолическую жалость, потому что у людей вроде нее нечистая совесть контролируется разумной диалектикой, помогающей жить, любить меня без иллюзий, вот как теперь, au jour le jour [2].

Проглатываются одна за другой терпеливые устрицы, течет дружелюбный разговор о Буче, о Маркосе, о рискованной операции, которая вскоре должна свершиться в каком-то доме в Веррьере и в которой я, естественно, не приму участия, зато примет его, прямо и косвенно, Людмила, и Франсина слушает и, осторожно извлекая каждую устрицу из ее последней бессмысленной крепости, пьет охлажденное белое вино, и снова пьет, старый товарищ, она права, мы оба напьемся допьяна. Но я полагаю, Людмила знает, что делает, говорит Франсина. Согласен, малышка, однако, заметь, меня не покидает впечатление, что каким-то образом это для нее некое утешение и что она, объясняя причину своего прихода к Буче, видела ее скорее во мне, чем в себе самой, ну словно передавала мне послание от Маркоса,— подумай же, каково это слышать послание с подобной вестью. Они тебя еще ждут, сказала Франсина. Не очень-то ждут, сказал я. Как знать, сказала Франсина, проводя ладонью по моему лицу, во всяком случае, у тебя еще есть время и есть здесь я, чтобы заполнить его словами, пока ты продолжаешь тосковать по ней. Я ухожу, сказал я, не хочу, чтобы ты чувствовала себя солдатом Армии Спасения в квартале грешников. Я пойду с тобой, сказала Франсина, и буду на каждом углу читать тебе проповедь, жаль, что не пришли музыканты и у меня нет ни листовок, ни фуражки, ни пояса. Ох, дуреха же ты, старый товарищ. Вот так-то лучше, сказала Франсина, эта последняя устрица твоя, не поливай ее лимонным соком, она и так со слезой.

Мой друг мог бы, на свой, довольно-таки причудливый лад, помочь Маркосу объяснить все про муравьев Людмиле, внимательнейшей ученице, лежавшей ничком голой в сладкой полудреме, однако все слышавшей, блуп, конечно, она ловила каждое слово Маркоса, пока дымок сигареты рисовал узоры на его лице и волосах, а рука его медленно двигалась с ягодиц к пояснице Людмилы, блуп, и, уж конечно, мой друг мог бы представить себе встречу Гада и Муравьища в половине первого в ресторане на Елисейских полях (данные Люсьена Вернея, который был приставлен к Гаду хвостом, и уж поиздержался он в этом заведении), все это сложилось бы в многоплановое и многокрасочное видение — муравьи и сам Гад, не говоря о Гадихе и о Муравьище,— и в нем фантазии моего друга сочетались бы с самыми точными данными, сообщенными Маркосом Людмиле, например, о том, что Муравьище проходил тренировку в Панаме у янки, что в его background [3] пять убийств, совершенных собственноручно, активное уча-

[1] Пьер Булез (род. в 1925 г.) — французский композитор и дирижер. Витольд Лютославский (род. в 1913 г.) — польский композитор.

[2] изо дня в день *(франц.)*.

[3] Фон *(англ.)*. *Здесь:* прошлое.

стие в репрессиях, основанных на преподанной ему в школе технике, и подпольная штаб-квартира (при снисходительном подмигивании со стороны префектуры французской полиции, предупрежденной не менее красноречивым подмигиванием с Кэ-д'Орсэ [1]) где-то в седьмом округе Парижа, столицы Франции и колыбели революции, вдохновленной — надо это признать — революцией в Соединенных Штатах, которые столь умело натренировали Муравьище, дабы он сражался против латиноамериканских революционеров, вот тебе логика истории, заметил Маркос, но не будем заниматься философией, полечка, для этого есть Тойнби [2] и еще много-много других. Разумеется, думал мой друг, приводя в порядок записи о ленче в ресторане, Гад — это главный и супернациональный начальник, он «супер» везде, меж тем как Муравьище командует только муравьями разных категорий, отмеченных в гадско-муравьиной органограмме, где, возможно, мой друг напозволял себе ужаснейшие терминологические вольности, например, указав «муравьеминетов» и «муравьекратов», каковых, пожалуй, в действительности нет, тогда как специфические функции других категорий давали основание называть их муравьишками, муравьеминимами или муравьекрофонами. Но откуда они берутся, как живут? спросила Людмила. Они выползают из очень многих муравейников, и чтобы их все охватить, тебе понадобилось бы истыкать флажками весь континент Христофора Колумба, есть предположение, что они возникли как своего рода интернациональная бригада, да простит мне та, настоящая,— на совещании в Баркисимето [3], в котором участвовали латиноамериканские военачальники и некий Пилкингтон У. Берлингтон, представитель Линдона Джонсона, с портфелем, набитым деньгами. Идея заключалась в том, чтобы создать механизм контроля и подавления очагов агитпропа и революционных плацдармов в странах Западной Европы, где, как ты знаешь, много нас, перебивающихся на стипендии, на папашины денежки или обмывающих покойников, как Лонштейн. Первым Гадом был некий Сомоса, который вопреки фамилии не имел ничего общего с тем Сомосой, но тоже был сукиным сыном, и муравьи оберегали его, как мать родную, три года. Теперь вот появился другой, он уже два года живет в Париже и, естественно,

— Ай, как в этом городе трудно жить,— пожаловалась Гадиха,— я ничегошеньки не понимаю в ихних меню, все на французском, выбери мне ты что-нибудь, в чем нет холестерина, а то я потом разбухаю, как бочка.

— Я рекомендовал бы вам ребрышки аньо, сеньора,— сказал Муравьище.

— Ребрышки кого?

— Поросенка, голубка,— перевел Гад [4].— Послушайся совета Ихинио, а себе возьму кассуле тулузен [5], как тут написано, блюдо тяжеловатое, но мне говорили, что оно хорошо действует на...— вы меня поняли, Ихинио? — глядите, как покраснела моя хозяйка — ну, ну, брось, от Ихинио у нас нет секретов.

— Ай, Бето, какой же ты бесстыдник,— сказала Гадиха.

— Дон Гуальберто умеет жить,— сказал Муравьище,— а что до ребрышек, сеньора, так они ягнячьи, нежные, пальчики себе оближете. А на десерт я бы вам присоветовал

Да, это проблема, однако мой друг не слишком принимает ее всерьез и по-своему забавляется, ибо когда требуется оживить диалог в ресторане (конечно, ресторан «Фуке», еще бы!), решить, в каком стиле будут разговаривать Муравьище и Гад, к какой культурной (вернее, некультурной) категории их причислить, к какому сословию или лингвистической зоне их отнести

[1] На набережной Кэ-д'Орсэ расположено Министерство иностранных дел.

[2] Арнольд Джозеф Тойнби (1889—1975) — английский историк и социолог.

[3] Город в Венесуэле.

[4] Перевод неправильный: «аньо» от франц. agneau — ягненок.

[5] Cassoulet toulousin *(франц.)* — рагу из фасоли с кусочками филе гуся или утки, но также свинины и баранины.

иберо —
лузитано —
итало —
майя-киче — и т. д. } американской
йоруба — 1970 года
урало-алтайско —
инкско —

их будет слушать мой друг, который в конце-то концов портеньо и в вопросах устной речи разрубает гордиевы узлы одним ударом кинжала, и поэтому получается так, что в секторе его друзей Эредиа и Гомес или Маркос (а иногда даже Ролан и Моника) разговаривают на его карточках в том же стиле, что же касается Гада и Муравьища, они не его друзья, и никто не станет тратить бешеные деньги в ресторане «Фуке», чтобы узнать, как они на самом деле треплются,— уж не говоря об опасности, что какой-нибудь муравьишка нокаутирует тебя где-нибудь в уборной столь изысканного заведения,— так что мой друг развлекается, придумывая в этом эпизоде что на ум взбредет. И кроме того, есть другая проблема, эта уже серьезная и щекотливая

— Они прекрасно знают, что мы планируем Бучу,— сказал Маркос,— один из людей Люсьена Вернея пять месяцев тому назад сбежал в Марокко. Люсьен меня предупредил, но было уже поздно, чтобы замести кое-какие следы, тот тип, кажется, продался Муравьищу, хотя в то время не мог выдать слишком много имен.

— Значит, они такие сильные? — спросила Людмила.— Когда живешь в европейской стране, не верится, что команда иностранцев-головорезов, ты же меня понимаешь.

— Ба, вспомни историю с Бен Баркой или корсиканцев, которые тоже в своем роде иностранцы и создают преступные группы, чтобы эксплуатировать парижских проституток и сутенеров. Вспомни бывших колонистов Алжира, анклав внутри другого анклава, да, древние были правы, Птолемей правильно угадал, что все концентрично, полечка, а Коперник, если поразмыслить, дал маху. Что касается нас, то до сих пор мы все равно могли

серьезная и щекотливая, это проблема политических тем, которых все время касаются Гад и Муравьище, не говоря о Гомесе и Патрисио, те, ясное дело, ни о чем другом не толкуют, и мой друг в этот час решительно отказывается записывать их речи по причинам достаточно уважительным, хотя, быть может, и достаточно легковесным; по сути, он повинуется жизненной и вместе с тем эстетической необходимости, ибо то, о чем ведут речь Гомес и Маркос (и дополняющая их беседа Гада и Муравьища), это темы общедоступные и распространенные, телеграммы в прессе, новости по радио, социокультурные сюжеты, доступные любому, и тут мой друг задумывается, например, о том, что во многих романах ради более или менее ценной фабулы надо претерпеть разговоры и доводы и контрдоводы об отчуждении, о третьем мире, о борьбе вооруженной и мирной, о роли интеллектуалов, об империализме и колониализме

— Масла сливочного, пожалуйста, поменьше,— сказала Гадиха.

когда все это либо 1) читателю неизвестно, и тогда наш читатель — простофиля, заслуживающий таких романов, чтобы узнать, что к чему, либо 2) прекрасно известно и, главное, включено в его повседневное восприятие истории, посему и в романах можно считать это само собой разумеющимся и продвигаться к областям, более им свойственным, то есть менее дидактическим. И поскольку мой друг думает о книгах и романах лишь как о метафорической основе для своих взглядов на мнемонические записи, он вскоре покидает эту тему, более чем изжеванную в Латинской Америке, придя к выводу, что все давно известное скучно и что, вместо этого, надо

уделять больше внимания фактам, ведь должно многое произойти, и я не знаю, видали ли вы, дон Гуальберто, это сообщение, сказал Муравьище, протягивая ему газету, после блюда сыров, которые, по словам Гадихи, были прогорклые.

— Ты лучше прочти это по-испански, потому как Мадалена не больно кумекает франсе,— сказал Гад.

— Ладно, «Оссерваторе романо» сурово осуждает похищения дипломатов.

— Какая прелесть! — сказала Гадиха, всплеснув руками.

— Да, сеньора, Ватикан отреагировал, пусть поздновато, но все же. Вот что говорит падре Мессиноне, кто он, не знаю, «о насильственных действиях, совершаемых в Латинской Америке против представителей ФРГ или других стран.— Нарушаются фундаментальные права человека, пишет эта духовная особа»

«L'osservatore romano» Condamne sévèrement les enlevements des diplomates

— Вот-вот,— говорит Гадиха. «и эти действия являются «агрессией против суверенитета Государства, представляемого данным дипломатическим деятелем»

— Давно пора,— сказал Гад. «как понимала это уже греческая цивилизация в весьма отдаленную эпоху».

— Полковники знают, что делают,— сказала Гадиха.

— Очень характерно, че,— одобрил Патрисио.— Продолжай переводить этому парню, а ты, Мануэль, если ты опять порвешь мне газету, я заставлю тебя ее слопать, и начнем мы с библиографического раздела, он самый нудный.

— Не ссорься с моим сыном,— сказала Сусана.— «Нарушаются фундаментальные права человека, и эти действия являются агрессией против суверенитета Государства, представляемого данным дипломатическим деятелем, как понимала это уже греческая цивилизация и в весьма отдаленную эпоху».

— Ну да, при царе Горохе,— сказал Оскар,— это надо же, как только затронут их священные порядки, тут сразу вытаскивают на свет бессмертную Грецию, тысячелетнюю Индию и императорский Рим. Хватит, детка, не сверли меня лазером своих черных глазищ, продолжай, мы здесь сидим тихо, как в церкви, это стоит отметить.

— Пошли вы все куда подальше,— посоветовала Сусана,— вам еще повезло, что я как переводчица — истинно святая, чтобы уж продолжить твой образ. Ладно, слушайте: «Никакой довод, никакое стремление протестовать или критиковать политические и социальные структуры», уж извините за ошибки в согласовании, перевожу слово за словом, «даже если их (структуры) рассматривать как угнетающие и несправедливые, не могут оправдать в моральном и юридическом плане, например, похищение послов и дипломатов. Тот...»

— Одно другого стоит,— сказал Маркос.— Ну ясно, в моральном и юридическом плане. Установленный порядок — изящный оборот, чтобы скрыть страх перед великим взлетом и генеральной уборкой. Если бы у них и впрямь было желание защитить законность как залог нормальной жизни общества, еще куда ни шло. Но я, например, знаю одного адвоката в Санта-Фе, который был, по сути, доволен, что Эйхмана повесили, но в то же время скрежетал зубами от ярости — так как похищение этого субъекта он считал преступлением с юридической точки зрения. Не могу сказать, что я восхищен его позицией, но она логична и последовательна. Отвратительно здесь то, что на самом-то деле эти попы не защищают законность, а просто наложили в штаны от страха перед тупамаро и другими партизанами, что же касается морали, на которую ссылается длиннополый, так мы знаем, какую мораль они защищают. Продолжай, Сусанита, дальше самое интересное.

— «Тот дипломатический деятель

— «...который действует в рамках международного права»,— прочитал Муравьище,— «не несет никакой ответственности перед населением принявшего его государства».

— Еще бы,— сказал Гад.

— «Он не обязан исправлять недостатки существующей там системы».

— Великолепно,— сказал Эредиа.— Никто от них не требует, чтобы они что-то исправляли, че, посмотрим, неужто кто-то видит в них каких-то апостолов.

— Последняя фраза,— прорычала Сусана.— «Их убийство или похищение в политических целях — это преступление особенно тяжкое по своему влиянию на межгосударственные отношения».

— Он хочет сказать, на межгосударственные отношения между Пентагоном, компанией «Сименс», полковниками и швейцарскими банками.

— Ясное дело,— сказала Гадиха.— Куда же мы катимся, если опять начинаются такие истории, как была с ребенком Линдберга, ты помнишь, Бето, мы тогда еще молодые были, но какой это был ужас, Пресвятая Дева, ох, дай воды, мне что-то нехорошо.

— Спи, полечка, хватит задавать вопросы учителю, уже звенит звонок на переменку.

— Блуп,— сказала Людмила, садясь на корточки,— но сперва ты мне объясни про выкуп, то есть кого вы потребуете освободить и что будет, если другая сторона этого не выполнит.

— Завтра я тебе покажу список, Оскар и Эредиа привезли имена, которые у нас еще не значились, ты же знаешь, как быстро список увеличивается. Моника готовит материал для газет.

— Да, но в случае, если...

— Этот случай еще далеко, полечка. Спи.

— Я не хочу иметь неприятности с Аппаратом,— сказал Гад, и Муравьище вмиг понял, что все дальнейшее будет приказом, хотя говорится под glace aux parfums des îles [1] и кофе с марочным коньяком.— Они встревожены прямо-таки массовыми похищениями и знают, что здесь имеется активно работающая группа.

— Варварство,— сказала Гадиха, глядя на тележку с десертом, но, видимо, не по адресу десерта.

— Помолчи, ты. Сперва к этому отнеслись не слишком серьезно, думали, что причиной были споры о контактах, о добывании средств и о связях с другими леваками для создания благоприятного климата в европейской прессе, запродавшейся русским или китайцам, но теперь меня информируют, что дело гораздо хуже, просто дерьмово. Хоть смейся, хоть плачь, но можно подумать, что в Аппарате опасаются ни много ни мало военного десанта, как было на Кубе.

— Дон Гуальберто, десанты-то разные бывают,— сказал Муравьище.— Я думаю, Аппарат имеет основания тревожиться, и полагаю, что мы сумеем сделать все возможное, чтобы дать по рукам этим выродкам, простите, сеньора.

— Особенно тревожатся, Ихинио, у нас на юге и больше всего из-за Монтевидео, а теперь еще эта банда бразильских преступников в Алжире — представляете, есть опасение, что может, чего доброго, образоваться коалиция всех левых сил здесь и что это укрепит левых у нас, которые прежде чувствовали себя как бы изолированными.

— Не больно они страдают от своей изоляции,— сказал Муравьище,— вы же видели телеграммы о последних уругвайских событиях. Но я, дон Гуальберто, тоже так понимаю, тут надобно не церемониться, бросить все силы на то, чтобы ликвидировать главарей, и это вы предоставьте мне.

[1] Мороженое с ароматом островов *(франц.)*.

— Ай, Ихинио, вы ж не забывайте, что Бето здесь подвергается самой большой опасности, берегите его получше,— сказала Гадиха, уплетая смородиновое мороженое со взбитыми сливками.

— Дай нам поговорить, голубка, Ихинио знает что делает. Я завтра воспользуюсь этой беседой, чтобы подкрепить нашу позицию, так что у тебя, Ихинио, если твои ребята чуток повольничают, не будет проблем.

— Это было бы прекрасно, дон Гуальберто.

— Так давайте выпьем еще коньяку, на то мы во Франции.

— Ох, Бето, не пей столько много, потом у тебя высыпает экзема по всему телу.

— Зато тебе приятно меня чесать,— сказал Гад, толкнув локтем Муравьище и подмигнув Гадихе, которая стыдливо уставилась в порожнюю вазочку, уж эти поганые французы, мороженого подают, будто карликам.

Все сошлось одно к одному — голос Мориса Фанона с пластинки, легкое головокружение от разговора, который сбивается в сторону и требует еще вина и сигарет, чтобы удержаться в русле, да, голос Фанона как горестный итог, «me souvenir de toi/ de ta loi sur mon corps» [1] — хорошо поет, сказала Франсина, странно слышать такое в ресторане.

— «Me souvenir de toi/ de ta loi sur mon corps». Да, детка.

— Не грусти, Андрес, ты ее забудешь, забудешь нас обеих, вернешься к своей музыке, по сути, ты никогда не любил женщин, для тебя существует только твое нутро, уж не знаю, как сказать, и в нем ты неторопливо прогуливаешься, будто тигр.

Но действительно ли она это говорила, или то были слова песни? Да, отвлечься, мысленно уйти, сидя вот так напротив Франсины, которая пришла ради меня и сидит со мною в ночь моей тоски (о которой я никогда прежде ей не говорил, да она бы и не поняла), мысленно уйти от ее спокойного, даже внимательного лица, наполняя ее бокал, бродить по городу, улица Кловис, улица Декарта, улица Туэна, улица Эстрапад, улица Клотильды и снова улица Кловис, для чего, почему, если я сам того захотел. Бедная Франсина, она еще дальше от меня, чем Людмила, в этот час, когда я снова наливаю ей бокал, гладя ее руку, и мы слушаем, слушаем Фанона «me souvenir de toi/ de ta loi sur mon corps» и все это лишь бегство и отдаление, бережная система изживания пустоты и разлуки, Франсина в ресторане, голос Фанона, я сворачиваю за угол на улицу Туэна, я наливаю ей еще бокал вина и глажу ее руку, непонятная система движения поездов по сходящимся и расходящимся путям, никчемные занавесочки на окнах, никчемная близость, я слишком рассеян и пьян, я сам — поезд и заодно кто-то в нем, заблудившийся и кого-то ищущий, слова еще раз выстраиваются в порядке, чтобы дать название беспорядку, слушай, детка, слушай эти

СТИХИ О ПОЕЗДАХ

Пыльный спальный вагон ночью
привозит нас на безымянную станцию
где один из нас выйдет
с грязным чемоданом прошлого
тогда как другой
(был то вагон номер 14 или 8?
проводник спит, все спят)
бредет по проходу где
каждая дверь — отказ и слышен
запах потных тел и грязных носков,
и ты ищешь снова того,
кто уже далеко
кто выходит на залитую лунным светом
площадь и ищет снова
такси и отель до отхода

[1] «вспоминать о тебе, / о твоей власти над моим телом» *(франц.)*.

следующего поезда, спального вагона
(номер 9 или 34 или 5?)
где, быть может, они встретятся
для последней поездки
и будут искать снова
брести по проходам
где каждая дверь
это снова такси и отель
и снова ты несешь
грязный чемодан
по проходам где
такси и отель
по проходам где
ты ищешь снова.

— Надо все изобретать заново, полечка,— сказал Маркос,— любовь тоже не должна быть исключением, люди думают, что нет ничего нового под неоном, мы погрязли в рутине, дети вопят, требуют туфли «карлитос», ты тридцать восьмого года, а я сорок третьего, смех, да и только. Знаешь, когда я покупаю себе сорочку в «Монопри», первое, что у меня спрашивает продавщица, это номер воротничка. Не волнуйтесь, говорю я, мне нужна сорочка побольше и пошире. Она молчит, глаза вытаращены, губы поджаты, нет, это невозможно, прямо видишь, как она думает и бесится, видишь отчетливей, чем если бы у нее под челкой была камера ТВ. Но, месье, от номера вашего воротничка зависит размер сорочки / Вовсе нет, мадам, потому как я люблю сорочки длинные и широкие, а по моему номеру воротника вы мне дадите сорочку в обтяжку, по фигуре, что идет Алену Делону, но мне в такой, как в собственной кишке/ Какой вы странный, это впервые / Не огорчайтесь, мадам, дайте мне самую большую сорочку, какая у вас есть / Но она будет плохо сидеть, месье / Мадам, в этой сорочке я буду на седьмом небе от счастья / Так продолжается довольно долго, и надо не уступать, все надо изобретать заново, к сожалению, я результатов не увижу, но пока могу, буду изобретать, буду и тебя, полечка, изобретать и хочу, чтобы ты меня изобретала ежеминутно, потому что, кроме этого влажного животика, мне нравится в тебе то, что ты озорная, ты всегда как бы сидишь где-то на дереве, и тебя больше восхищают воздушные змеи, чем хорошо темперированный клавесин.

— Блуп,— сказала Людмила.— Это неправда, мне куда больше нравится клавесин.

— Потому что ты его слушаешь так, как будто это воздушный змей, ты слышишь ветер, и удары хвоста, и шелест бантов... ты не из тех женщин, кто с ума сходит из-за музыки, из-за театра, из-за траханья, из-за помидорного салата. Только подумать, что еще двух часов не прошло, как ты стянула с меня штаны, словно я Мануэль и меня надо мыть-купать, а потом еще хотела натереть меня смоченным в спирту полотенцем — кстати, боюсь, что ты извела мою лучшую водку, полечка, ты мне за это заплатишь.

— И потом ты лапал мне грудки,— сказала Людмила.

— Я не так оригинален, как ты, но я стараюсь,— сказал Маркос, сжимая ее в объятиях, пока она жалобно не завопила,— и не только грудки, но и здесь, и здесь, и между этим и этим.

— Ай,— сказала Людмила,— ты уж слишком изобретаешь, блуп, но ты прав, я тоже хочу, чтобы все было по-новому, другое и с воздушным змеем, как ты говоришь,— на твоей родине, там, наверно, полно воздушных змеев и козлят, я это поняла по слойкам, они не обманут, по твоим рукам, ай, черт.

— Моя родина, полечка, находится в старой и усталой стране, там все придется обновить, верь мне, ты скажешь, это болтовня, но это так — старая и усталая из-за пустых надежд и еще более пустых обещаний,

которым вдобавок никто не верил, кроме перонистов [1] старого закала, да и те по весьма разным и весьма понятным причинам, хотя финал был такой, как всегда, то есть полковники, пинками вытолкнувшие героя-эпонима [2].

— Но почему многие твои друзья, и эти газетные вырезки, и Патрисио говорят о перонизме как о какой-то силе и надежде?

— Потому что так и есть, полечка, потому что слова обладают ужасной силой, потому что Realpolitik [3] это единственное, что у нас осталось против полчищ пентагоновских горилл и Гадов; ты пока не можешь этого понять, но постепенно убедишься, подумай, сколько выгоды извлекли из слова Иисусова, из образа Иисуса, пойми, что нам сегодня необходимо тавматургическое [4] слово и что образ, которому это слово соответствует, обладает воздействием почище кортизона.

— Но ты-то, Маркос, в этот образ не веришь.

— Что с того, если он помогает нам низвергать нечто гораздо худшее, дедовская этика нынче вышла из моды, полечка, уж не говоря о том, что у наших дедов, в час, когда либо пан либо пропал, были две этики, уверяю тебя. Ты права, я ни в грош не ставлю этого старца, который претендует на телеправление тем, с чем не сумел справиться прежде, имея на руках самые выигрышные карты, фактически он уже вне игры, просто имена и образы более живучи, чем называемое и представляемое, и в более умелых руках они могут сделать то, чего не сделали в свое время,— видишь, какую речугу я тебе выдал.

— Я хочу лучше понять,— сказала Людмила,— хочу понять столько мне неизвестного, но все это так далеко, не разглядеть, что там, за океаном.

— Там тоже далеко не все ясно, и я не стану тебя терзать чем-то более сложным, чем закон о квартплате, пойми одно — для нас, то есть для Бучи, годится любое эффективное оружие, потому что мы знаем, что мы правы и что мы окружены, и внутри страны и вне ее, гориллами и янки и еще пассивностью миллионов тех людей, которые ждут, пока другие достанут каштаны из огня, вдобавок одно то, что враги перонизма таковы, каковы они есть, дает нам более чем законный повод защищать его и опираться на него с тем, чтобы когда-нибудь, да, когда-нибудь оставить его и все с ним связанное и пойти по единственно возможному пути, сама понимаешь по какому.

— И тогда мы с тобой поедем в Кордову,— сказала Людмила, у которой бывали навязчивые идеи,— и я хочу, чтобы там было много воздушных шаров, и птиц, и козлят, и слоек.

Маркос понял, что эти слова уже от усталости, бедная полечка, столько нового надо уместить в голове. Он попросил принести попить и смотрел, как она, нагая, ушла и пришла уверенной походкой актрисы, владеющей своим телом, каждым движением своего силуэта в полутьме. Когда-нибудь все будет такое, как ты, подумал Маркос, подзывая ее, все будет более обнаженно и более прекрасно, мы сбросим столько засаленных одежд и грязных трусов, что какой-то толк будет, полечка. Но надо до умопомрачения полюбить этот желанный образ вопреки Realpolitik и прочему оружию, необходимому, но не всегда чистому и красивому, вопреки неизбежным не наилучшим шагам — ведь хирург, чтобы извлечь опухоль и возвратить больного к жизни, марает руки калом и желчью,— только таким способом и, в конце концов, когда пробьет час, преодолев все, мы выберемся из мрака.

— Мне больно, здесь не надо.

— Больно? Прости, я не заметил, даже когда говоришь о политике, случается.

— Это место очень чувствительное, а почему сама не знаю.

Маркос лег на нее, всем телом ощущая ее жар, потом соскользнул вниз, пока его губы не оказались в углублении меж ее бедер, и стал нежно его целовать, касаясь языком мягкой соленой ямочки: Людмила, ропща и

---

[1] Сторонники Хуана Доминго Перона (1895—1974) — президента Аргентины с 1946 по 1955 и с 1973 по 1974 гг. После военного переворота в 1955 г. несколько лет прожил в изгнании.

[2] Эпоним — дающий чему-либо свое имя *(греч.)*.

[3] Реальная политика *(нем.)*.

[4] Чудодейственное *(греч.)*.

постанывая, приподнялась, он услышал ее оклик, но продолжал забираться все глубже, сжимая руками ее бедра, как человек, утоляющий долгую жажду. Предаваясь наслаждению, которое и другие мужчины умели ей доставить, Людмила чувствовала, что все же оно иное, что теперь все изменилось и, в конце концов, теперь все соединилось — ее влагалище, рот Маркоса, ее бедра, руки Маркоса, а изнутри поднималось что-то другое, то, что он хотел прежде сказать ей, что-то вроде надежды на их сходство вопреки всем различиям. Погружая руки в шевелюру Маркоса, она звала его подняться, изгибалась, как лук, шепча его имя, когда уже чудилось, что все плывет из каких-то иных пределов, из тех краев, что за размежеванием, оттуда, где кругом будут лишь мечты, да воздушные змеи, да козлята, да театры, где Буча когда-нибудь будет называться всеми этими именами, всеми этими звездами.

Страницы для книги Мануэля: благодаря своим дружеским связям, неуемным и своекорыстным, Сусана добывает газетные вырезки, которые она подклеивает педагогически, то есть чередуя полезное с приятным, дабы, когда настанет должный час, Мануэль читал ее альбом с таким же интересом, с каким Патрисио и она в свое время читали «Сокровище юности» или «Билликен», переходя безболезненно от чтения к игре,— конечно, кто знает, какое тогда будет чтение и какие игры и каков будет мир Мануэля, но к чертям сомнения, старушка, говорит Патрисио, ты правильно делаешь, ты ему вклеивай нашу с тобой нынешнюю жизнь и еще всякое другое, тогда у него будет выбор, он узнает все про наши катакомбы, и, возможно, малыш сумеет полакомиться тем зеленым виноградом, до которого нам не дотянуться.

От подобных мыслей они отнюдь не впадают в меланхолию, но, напротив, безумно веселятся, и Сусана, например, решает, что Мануэлю в возрасте для аргентинской начальной школы будет полезно узнать, что здесь, рядом с ним, говорят о том, о чем другие, тоже южноамериканские, ребята треплются без проблем,— все это по-песталоццievски должно смягчить отличия и провинциализм упомянутых ребят, и, долго не раздумывая, она обильно мажет клеем целую страницу альбома и прихлопывает чилийский экземпляр, подарок Фернандо (кстати, исчезнувшего с горизонта после, вероятно, возникшего у него подозрения, что дело пахнет керосином и лучше благоразумно укрыться в своем отеле, ведь со стипендией шутить нельзя), таким образом, дойдя до обучения грамоте, Мануэль узнает, что

На наших боксеров-юниоров любо-дорого смотреть

Помахивая кулаками, разъехались по домам крепыши, участвовавшие в XXX Национальном чемпионате по любительскому боксу. В первом туре было четырнадцать боев. Одиннадцать пар вышли на ринг в «Эстадио Чиле», и три бойца с ходу выиграли свой дебют благодаря неявке соперников.

На глазах у многочисленной публики наши гладиаторы отличились в боях, не отступая ни на сантиметр. Болельщики были в восторге от упорства, с которым боксеры отстаивали славу своих родных мест.

Были схватки на любой вкус: в одних господствовала гамма стильного бокса, в других спор за первенство шел с применением силовых приемов, где напор заменял тонкость, а в нескольких боях исход решился сразу, одним нокаутом. Среди последних следует отметить чистую работу нынешнего представителя Копиано, Хуана Рутте, который полупрямым ударом справа, прямо в физиономию левши Вашингтона Кастильо де Овалье совершенно неожиданно уложил его на обе лопатки через 40 секунд после начала.

Отметим лучших юниоров в весе пера: вальдивиец Руаль Кортес в блестящем бою показал недюжинные задатки, победив Мануэля Торреса из Вальенара.

Роберто Кастильо, из лучших в весе пера, показал свою сноровку в нанесении и отражении ударов. Сбив темп Гильермо Серде, юниору из Мехико, он сумел сорвать аплодисменты (вне боя) во втором туре, благодаря умелой работе, которая его отличала с первого удара.

Второй этаж над запруженным людьми бульваром, неоновая приманка для провинциалов, узкая лестница, красная с позолотой, запах коллективного платного действа, гардероб с беззубой старухой и засаленными, стертыми номерками, да, надо быть в беспросветной тоске, подумала Франсина, поднимаясь по лестнице первой, чтобы решиться зайти в подобное заведение; она готова была отказаться, попросить Андреса проводить ее до такси, пусть бы один завершал эту ночь дешевки, но она продолжала подниматься по лестнице, вино нагнало на нее усталость, столь же унылую и тупую, как зал на втором этаже,— сквозь густой дым смутно виднелись фигуры мужчин на венских стульях, расставленных в несколько рядов перед эстрадой, где в лучах двух движущихся юпитеров, зеленого и голубого, как в душном аквариуме, двигалась большая золотистая рыба, которая, улыбаясь в пространство, заканчивала снимать бюстгальтер в блестках и еще раз, пятый раз эа эту ночь, клала его на стул, где уже лежали блузка и юбка и куда она собиралась беспечно бросить красные трусики, чтобы мадемуазель Антинея осталась совсем голой в трех метрах от Андреса и Франсины, начинавших уже различать формы и цвета в радужном тумане аквариума.

— В конце концов,— сказала Франсина,— если на тебя нашел такой каприз, можно было пойти в заведение получше.

Я с жалостью взглянул на нее, слишком одетую и неуместную здесь, единственную женщину в партере. Как ей сказать, что мы пришли сюда не ради стриптиза, что я просто хочу еще раз поглядеть на ее драматическое, мгновенное, упорное самоутверждение в каждой необычной ситуации, на ее мораль, действующую столь же автоматически, как дезодорант или лак для волос. Как, черт возьми, вывести ее и себя из равновесия, из кастрирующих ритмов хлеба насущного на каждый день в этот час, когда все вокруг Людмила и омут, поездка в замызганном поезде ревности, и все время что-то вроде барабана, далекого колокола, это, наверно, сердцебиение от избытка белого вина, тамтам под веками, Фриц Ланг, угодливое и одновременно властное выражение лица подошедшего ко мне капельдинера, пистолет, вероятно нацеленный из оттопыренного кармана белейшего пиджака, и полное выключение света, при котором все вокруг в напряженном ожидании, хотя что-то во мне знало об этом и видело это в снах, то есть пережило, и теперь надо как-то объяснить Франсине, на кой черт я притащил ее в этот унылый свинарник, где, что ни говори, мадемуазель Антинея единственное (с Франсиной на другом полюсе, в другой, равной ирреальной реальности), что можно назвать прекрасным, что может длиться, такое, чем была для меня Людмила, все данные точны, все завершается в течение одной ночи, все так ясно при звуках тамтама, который упорно не дает ответа, и тут надо бы сказать Франсине, но послушай, милая моя старушка, моя маленькая дурочка, неужто ты не понимаешь, что не ради стриптиза пришли мы сюда, взгляни на этого толстого алжирца, который наверняка прокучивает свои сбережения за неделю, взгляни на старичка в накрахмаленной сорочке, который уселся в первом ряду, чтобы не упустить ни одной подробности, что я считаю крупной ошибкой, известно ведь, что любая подлая лупа может прикончить самое Клеопатру, посмотри на этих словно бы дремлющих парней, их идеал мужественности состоит в том, чтобы изображать равнодушие, они прикрывают глаза и сквозь ресницы следят за мадемуазель Антинеей, которая и впрямь куда лучше, чем можно было ожидать за такую плату, ты как считаешь?

— Они мне противны, она и все здесь, и больше всего мы с тобой.

— Ох!

— Фарс для лицемеров, для импотентов и неудачников.

— Ах!

— Зачем, Андрес, зачем! Ну понимаю, сегодня и все такое, но зачем именно это.

— Небольшое кругосветное путешествьице, малышка, вроде бы подве-

дение баланса перед окончательным завершением дел, долгая ночь Нерваля [1] у фонарного столба. Не гляди на меня так, у меня нет задатков самоубийцы, это все метафора. Лучше послушай музыку, которую дали бедняжке Антинее, это играли в Акапулько ровно двадцать лет назад, у меня в юности была эта пластинка. Нет, со спины она совсем недурна, этакая self-contained [2] попка. Ах, и теперь, да, теперь у нее улыбка такая же нежная и добрая, как ты, крошка.

— Развратник ты с твоими self-contained попками, твоей эротикой из бульварных романов.

Однако ее рука на моем бедре, жаркая и цепкая, уже начала, как бывало много раз, свое кругосветное путешествие, упрек ведет к нежности, нежность к поцелую, поцелуй к любви, любовь к пробуждению, пробуждение к упреку, и вот — резкое и горькое разъединение капсул, пока НАСА тел наших не отдаст приказа снова сблизиться и произвести стыковку (Рейтер). Серьезная, таинственная, усталая мадемуазель Антинея завершила свой номер, сделав шаг в сторону, при котором выигрышно выделялись ее груди, синее покрывало со звездами упало на приоткрывшийся на миг тщательно эпилированный треугольник, где явно нарушалось распоряжение муниципальных властей в статье А-2345 о максимально дозволенном обнажении, дабы мелькнул розовый проблеск, и ярко-зеленые лучи юпитеров совпали с коллективным движением на стульях, жидкими, неохотными аплодисментами и завывающим «у-у-у», которое не предвещало ничего хорошего, вот увидишь, она в свои сорок пять еще и беременна, этим экзотическим дамам невесть почему прощают и возраст, и брюхо.

— Видно, знаток.

— Да нет, детка, просто предположение. Но послушай, если несмотря на все количество выпитого тебе не удается освоиться в этой обстановке, надо уходить, и я поищу тебе такси, о котором ты говорила, раз уж мне суждено провести эту ночь одному.

Не хочет, голос у нее почему-то хриплый, за неимением лучшего занятия она смотрит на свою сигарету, надо ей сказать «шшш», не отвлекай мадемуазель Дуду, эта, кстати, совсем без живота. Пальцы Андреса сжимают до боли локоть Франсины, сквозь дым видна его гримаса, сменяющаяся медленной улыбкой, какая ты добрая, малышка. Но все это не могло отвлечь мадемуазель Дуду; теперь, когда она начала операцию раздевания в явном споре с музыкой, словно решив каждым своим движением противоречить мелодическому рисунку — когда мелодия песни шла вверх, мадемуазель Дуду сгибала свое черное-пречерное туловище, чтобы достать пальцами до сапожков укротительницы, и, напротив, распрямлялась всякий раз, когда контрабас опутывал ее басовой своей паутиной. Хорошенькая, сказала Франсина голосом просвещенной хозяйки книжного магазина, бедра очень красивые. Проблема — ее рот, сказал Андрес. Значит, ты с ней знаком? Нет, я здесь впервые, но, конечно, я бывал в других заведениях, в этом районе их много, как ты можешь узнать из путеводителей, которые вы продаете американцам. Так ты говоришь, рот? Подожди, вот увидишь, она этим не ограничится. И не ограничилась, потому что старичок в первом ряду мотал головой и, шамкая, произносил длинную, невнятную речь, отчаянно веселившую ребят, сидевших позади него, и мадемуазель Дуду, посмотрев на старичка, подмигнула ему, и тут улыбка заполнила все ее лицо чем-то, для чего и слова не подберешь,— выхлоп, извержение, входная плата, и белье для клиентов, и занавески на лестнице, и вся цивилизация, это создавшая, вот что было в ее улыбке, и теперь старичок в неистовом восторге привстал на стуле, так как Дуду снимала трусики, открывая обозрению всю поверхность черного, и алого, и табачного цветов, не переставая улыбаться старику, подзадоривая его вихлянием бедер, и, вдруг повернувшись, покачала сжатыми ягодицами, к которым тянулись руки старика, голая Дуду изображала любовь со стариком, но это невозможно,

[1] Жерар де Нерваль (1808—1855) — французский поэт. Покончил с собой на улице в центре Парижа.

[2] Независимая *(англ.)*.

ну что ты, малышка, вполне возможно, затем-то и приходят сюда, чтобы такое было возможно, и тут Дуду вырвала с лобка волосок и, дунув, бросила его старику, как прощальный поцелуй, и старик, подпрыгнув, поймал его на лету и поднес ко рту, а затем проглотил, народ от хохота прямо падал со стульев, а Дуду, расшалившись, сложила ладони вокруг лобка, предлагая себя старику, который вдруг рухнул на стул и стал отряхиваться, как под душем, насмешливые аплодисменты, синее покрывало, пошли, Андрес, ну пожалуйста, прямо сейчас, вот видишь, детка, тебе не мешало бы подумать, что это происходит не далее как в двадцати кварталах от твоего дома, твоих благоразумных каталогов и твоей подписки на «Тан модерн». Но этот старик, наверное, нанят, не может быть, чтобы. Ну да, детка, если тебя эта версия успокаивает, конечно, он нанят, надо увидеть, чтобы не поверить, как гласит моя собственная поговорка, давай уйдем, хочется пить, но, конечно, мы не увидим самую хорошенькую девочку. Посади меня в такси и возвращайся. Это было бы мне по заслугам, деточка, но нет, эту ночь мы проведем вместе, две чудные машинки для извержения словесных какашек, что поделаешь, но как подумаю, что мне вроде бы предназначалась некая миссия для исполнения, а вместо нее, вот видишь, мадемуазель Антинея и теперь скромница Дуду. Какая миссия? спросила Франсина. Шшш, сказал Андрес, объявляют жемчужину Боливии, сеньориту Лолу, и ты послушай эту индейскую флейту, записанную на Монпарнасе одним польским евреем, я знаю эту пластинку, даже, кажется, фамилию помню, Брински зовут его — как для аборигена совсем даже недурно, правда?

Маркос при всей своей внешней флегматичности довольно внимательно следил за изготовлением книги Мануэля. Между ним и Марией Монтессори было существенное расхождение во взглядах, но это не помешало ему заметить, что если на боксеров уже любо-дорого смотреть, есть и другие вещи, не менее достойные того, и, к ужасу Сусаны, он подарил ей несколько голубоватых листков с телексом, переданным ему товарищами из Пренса латина, и, по мнению Маркоса, их следовало вклеить в альбом такими, как они есть, потому что типографские причуды, опечатки и общий вид текста, неправленного и неприглаженного, придает информации самую глубокую истинность, нечто вырастающее из всех несообразностей и огрехов и запинок и нескладиц слаборазвитости, цветочек среди армированного цемента, котенок, играющий меж электрическими проводами, че, осадил его Патрисио, когда ты мне тут начинаешь расписывать, так даже раввинчик может заткнуться. Сукин ты сын, строго сказал Маркос, давайте вклеивайте телекс, когда-нибудь от него будет малышу польза, и тут оробевшая Сусана опять схватила клей и вот

внимание п
                впариж 'р'р'р'р'р'
прошу повторить по материалу ортеги где говорится:
в 1950 ливан импортировал нефть из саудовской аравии на сумму 10 миллионов........ и т. д........ и т. д........
спасибо эр 'р'р'р'р'р'р'р'

пл-4 [1]
    от луиса мартирены
гавана, втор 27 пл-.— гость недавно приехавший на кубу, особенно если он приезжает из страны вроде уругвая где правители живут за каменными стенами, не может не удивляться и не рассматривать жизнь здесь как незаменимый опыт
всс
сс
воззможжность
сутство

[1] Аббревиатура Пренса латина.

можность присутствовать при одной обычн
пл-4
от луиса мартирены
гавана, втор 27 /пл./ — гость недавно приехавший на кубу, особенно если он приезжает из страны вроде уругвая где правители живут за каменными стенами, не может не удивляться и не рассматривать жизнь здесь как незаменимый опыт и возможность присутствовать при одной обычной беседе фиделя кастро с его народом.

как это для него привычно и происходит часто, кубинский премьер-министр достаточно неожиданно прибыл в среду в гаванский университет где вел продолжительный разговор со студентами и профессорами, с которыми обсуждал проблемы и обстановку революционного процесса.

когда закончилась торжественная встреча бригады кубинской молодежи больше месяца участвовавшей в добровольной работе в чили и народ начал расходиться, кто-то крикнул +едет+ появились две небольшие машины в которых приехал премьер-министр и еще несколько членов правительства

машины остановились у парадной лестницы ведущей в ректорат на другом конце университетской площади, той площади где сам фидель кастро когда-то выступал перед своими товарищами по студенческому движению в прежние времена.

Ребята сбегаются отовсюду и быстро окружают премьер-министра который выйдя из машины стоит возле нее, иные, чтобы быстрее добраться перепрыгивали
через танкетку которая была захвачена
у батистовской армии впервые часы 1959 года и стоит
как подлинный монумент на этом месте
продолжение /мп10, 25 ГМП

ПЛ-5
начало в ПЛ-4 /с фиделем кастро,

быстро завязывается живой и естественный разговор
фидель кастро спрашивает отдельных членов бригады
об их работе в чили +где трудились?+ +что делали?+
парни и девушки отвечают и
коротко рассказывают о некоторых эпизодах и
снова повторяют рассказ о том, как тепло их
встречали и как хорошо к ним относились
чилийский народ и правительство.

вокруг кубинского вождя образовалась
густая толпа, зазаполнившая лестницу и
зспалнаду перед университетом, разговор
принимает другое направление
те кто слушает и кто спрашивает почти
все очень млоды и почти половина их жизни прошла
в эпоху революционного процесса, их специфические заботы
отличаются от тех, что
занимали умы студентов
ровесников премьер-министра, они направлены на
интеграцию молодежи в новое общество, на проблемы
развития страны
находящейся в осаде, на экономические и социальные проблемы
которые начали решаться
продолжение /тлм/мп10.30гмт

пл-6
второе продолжение в пл-4 /с фиделем кастро,

+в этом году чтобы решить проблему сафры нам понадобится на десятки тысяч меньше мачетеро [1] чем в прошлом году+, объясняет кубинс-

[1] Рубщиков сахарного тростника.

кий премьер-министр отвечая на вопрос. вбудшчем году нам на всю сафру потребуется уже на сто тысяч человек меньше чем вгоду 1970+.

затем он углубляется в историю уборки сахарного тростника нна кубе, эта эта задача все большее решается с помощью машшин которые освобождают человека от тяжелого труда+. здесь на кубе проблема уборки тростника решалась на рабовладельческой основе, потом использовались иммигранты, потом на сафре работали пятьсот тысяч безработных ии при восемнадцатичасовом рабочем дне они управлялись с сафрой. теперь так не должно быть..

люди должны работать нормальный рабочий день и крме тго нуждаются в питании и удобствах которых раньше они не имели+

кастро говорит непринужденно поучительно и
дает в своей речи глобальную картину
проблем и перспектив революции.

чили получает больше валюты чем мы благожаря труду тридцати тысяч шахтеров в медных рудниках
меж тем как мы нуждаемся в сотнях
тысяч людей чтобы ежегодно рубить
вручную сахарный тростник, только механизация
уборки может быть решением
этой проблемы+.

в другом ответе он вспоминает фразу маркса
о том что строительство социализма
это только предыстория человечества. +лишь
тогда начнется написание истории и на
верняка
тогда тоже будут проблемы, но проблемы
будут другие. можно ли представить сбе общество
без проблем? спрашивает с улыбкой фидель кастро.
продолжение следует /мтлм/мп10.35гмт

пл-7

третье продолжение к пл-4 (с фиделем кастро

один юноша начинает свой вопрос с рассуждения

о том времени когда будут решены все материальные вопросы, на что премьер-министр замечает: +как ты сможешь поставить предел материальным потребностям? сколько костюмов, сколько литров молока, сколько больниц, сколько
лабораторий, сколько автобусов, сколько школ,
сколько университетов, сколько академий наук? сколько
музеев, сколько отелей, сколько рефрижираторов? и это
в таком обществее как наше, где не поощряются
ии не изобретаются потребности чтобы
решить проблемы производства—.

производительность как решить эту проблему?
на-народом принят закон о праздности+, говорит
кубинский правитель, законодательство в котором
человек не состоящий на постоянном
учете в трудовом центре,
рассматривается как преступник +это был
потрясающий политический успех народа, но эти
смые трудящиеся которые считают паразитизм преступлением, еще не вполне осознали важность
производительности труда, полного использования
всех часов рабочего дня+.

Продолжение следует (ТЛМ)МП10.422 ГМТ

ПЛ-8

Четвертое продолжение к ПЛ-4 (с фиделем кастро,

и тут же вопрос в упор стоящим поблизости студентам: +А вы?

сколько часов вы учитесь? хорошо ли понимаете что
максимальная производительность в учебе это задача
поставленная перед вами революцией?+
на эти вопросы следует несколько утвердительных ответов?
но она не замужем и поэтому у нее другие проблемы
утвердительных, но не очень уверенных. просит слова девушка. она объясняет, что она замужем и поэтому у нее есть и другие проблемы и что учеба ей дается нелегко +почему ты не заставляешь своего мужа тоже заниматься кухней? +ответил ей премьер-министр. +мы многие домашние дела делаем вместе, +сказала девушка, +но все равно у нас есть проблемы с учебой, и нам не удается использовать все предоставленные нам возможности+.

затем фидель кастро поинтересовался еще одной проблемой: +если вы сравните себя со студентами вьетнамцами которые учатся на кубе, то как вы оцените свою производительность в учебе? Учитесь вы лучше или хуже, чем вьетнамцы?+

после недолгого обсуждения большая группа студентов пришла к выводу, что они действительно учатся несколько хуже вьетнамцев которые и здесь, в этой поставленной им задаче являются образцом самоотверженности и сосроченности в ртуде.

тогда премьер-министр спрашивает не следует ли
также кубинским студентам поставить перед
собой как задачу первостепенного политического значения
максимальную производительность в учебе, которую оплачивает
народ и которая стоит населению немалых жевтр.

Продолжение следует /мп10. 50ГМТ

пл-

пятая и последняя часть с фиделем кастро (начало см. пл-4)
фидель кастро тут же объясняет сколько средств
вложила революция в учебные центры, в здравоохранение
и в заботу о старости+ иногда эти затраты превышали
наши реальные возможности, однако они были совершенно
необходимы и никто не вправе пренебрегать этими
проблемами+

в заключение он призвал студентов способствовать
идеологическому укреплению университета а также
посоветовал следить внимательнее за теми кого избирают
представителями в федерацию студентов университетов
и в молодежные организации коммунистической партии,
+будьте бдительны по отношению к карьеристам,
к оппортунистам, которые иногда притворяются революционерами.
умейте их разоблачать, выбирайте всегда лучших,
тех, кто не стремится на высокие посты, кто
не думает о себе и готов отдать все силы
рди других+.

послеэтих слов, завершивших трехчасовую
беседу с десятками вопросов, он сел в свою небольшую
машину и отбыл так же внезапно как появился, пригласив
с собой для дискуссии нескольких студенческих вожаков.
+я их не похищаю я их скоро вам возвращу+, сказал
на прощание высокий гость

тлм/мп 10, 55 гмт

Почему ты меня унижаешь всей этой гадостью? спросила Франсина, когда мы шли по бульвару в полночный час мимо ночных гуляк, мимо кучек на перекрестках, мимо сброда алжирцев и испанцев, мимо дрянных забегаловок, прячущихся в тени порталов, этакие кадры «чернухи», шли наудачу, вдыхая прогорклый, как музыка в барах, запах хрустящего картофеля, ах, малышка, надо бы тебе объяснить, что это вовсе не так и не то,

хотя ты и права, потому что права всегда, но здесь логика не действует. и именно поэтому, при столкновении двух антагонистических резонов, вполне может выскочить искра, вот посмотри на эту старуху, которая подбирает окурки и бормочет бог весть какое древнее проклятье нищих, некий итог перед концом света при таких привилегированных свидетелях, как ты и я, потому что ни Ланса дель Васта, ни сеньора Пучулу Га́ндара, естественно, не придут сюда смотреть как на высшее западное достижение семидесятого года на эту грязную старческую руку, собирающую чинарики, чтобы наутро было что закурить.

— Все это я знаю,— сказала Франсина,— все это я знаю слишком хорошо, и вовсе незачем приходить сюда этаким Фомой неверующим, чтобы удостовериться в существовании неизбежной нищеты и грязи.

— Ты сказала именно то слово, малышка, в твоем рассуждении все было верно, но в конце ты вымолвила словечко, также неизбежное для твоей Weltanschauung [1] — для твоего мира и для моего такие обмолвки, ясное дело, неизбежны, однако мы ошибаемся — поберегись этого негра, его сейчас вытошнит прямо на тротуар,— и видишь ли, потому ты и нужна мне в эту ночь, рядом со мной, чтобы, сама того не зная и не желая, плюнуть мне в лицо. Пойми, если бы у меня оставалась хоть капля порядочности, я должен был бы стать вот здесь, чтобы этот пьянчуга негр выблевал на меня, но, когда знаешь наизусть темы всех моцартовских квинтетов, ты понимаешь, это невозможно, какого черта, and yet end yet and yet [2].

— Ты тоже пьян, мы оба пьяны,— сказала Франсина.— Пойдем домой, Андрес. Да, знаю, ты глянешь на меня искоса, скажешь, ну конечно, ты мне сделаешь отрезвляющее питье, хорошенько укутаешь. Обещаю этого не делать, но уйдем отсюда, я больше не могу.

Бар был как многие другие, виски с привкусом керосина, шлюхи у стойки, и всем так уютно в этом уголке с напитками и приглушенным светом, и когда мы уже шли, обняв друг друга за талию, по улице дез-Абесс, Франсина спросила про миссию, два раза она замедляла шаг, чтобы спросить: какая миссия? и мне хотелось объяснить ей, остановиться и объяснить ей, видишь ли, дело в том, я должен, или я обязан, или начиная с этой минуты или с другой минуты я начну, но в конце концов бар, и мы молчим, будто чего-то ожидая, хотя ожидать-то нечего, и невозможно ей об этом сказать — это словно забор из колючей проволоки в темноте, словно ограда, такая высокая, что как ни тянись обеими руками, до верха не достать, черная глыба, колымага с тормозами на всех четырех колесах,— а как хотел я рассказать ей подробно свой сон, описать кинозал с экранами под прямым углом, всю нелепость отчетливых картин в начале и в конце, словно чтобы оттенить черный провал середины сна, всего, что произошло после того, как капельдинер пришел за мной, и перед тем, как я вернулся в зал, зная что-то, но не зная, что именно, да, нелепость непостижимая, малышка, я, видишь ли, был в кинотеатре, это точно, но в каком, а ты пойми, детка, кинотеатр в эпоху конца света это очень важно, сколько событий начинается для нас в кинотеатре или в автобусе, событий, происходивших с Данте в монастыре на берегах Арно, сменили локализацию, явления Христа происходят теперь иначе, ты едешь в скором поезде в Братиславу, и тут в твоей голове мелькают чудодейственное иглоукалывание, предсказания из juke-box [3], галлюцинации у телевизора, поди знай, возможно, что и кино, если поразмыслить, заметь, что усталость зрения повышает нашу восприимчивость, и хотя в этом случае я всего лишь видел сон, но как знать, возможно, что и во сне мы сжигаем себя так же, как и наяву, погоди, детка, не шевелись, мне кажется, в твое виски упала муха.

— Вот чудеса, ночью муха.

— Ты права, это почти невероятно, ведь у мух тоже есть расписание, но это, наверно, муха-поэт или вроде того.

---

[1] мировоззренческой позиции *(нем.)*.

[2] и все же, и все же, и все же *(англ.)*.

[3] автомата *(англ.)*.

— Вынь ее,— попросила Франсина.

— Лучше я закажу тебе другую порцию виски, мой палец не чище, чем муха, вопреки наставлениям наших милых самоотверженных учительниц насчет особой нечистоплотности этих насекомых. А впрочем, вот, теперь попробуй, вдруг виски стало вкусней, чем прежде, ведь все относительно; Лонштейн мне как-то рассказал, что в некоторых кинотеатрах его района публика так ужасно воняет, что единственный способ очистить окружающий тебя воздух это хорошенько пукнуть.

— Да, виски стало вкусней,— сказала Франсина.— Вполне справедливо, что муха упала в мой бокал, нечего тратиться на другой, очень хорошо и так.

— О нет, ты не права, деточка, не вынуждай дать тебе терапевтическую пощечину, дабы изменить полюс истерики. Ну вот, так-то лучше, ты улыбаешься сквозь слезы, как Андромаха, да только я ничуть не похож на Гектора, где там.

Здесь, именно в этот миг, в этот момент, Людмила сказала бы «блуп». Но у каждого своя система, Франсина опустила голову и быстро провела пальцами по векам. Андрес положил муху на край пепельницы, муха поползла, как балерина экспрессионистского стиля, и издала жужжанье, предвещавшее либо беспробудное опьянение, либо решительный взлет; они молча наблюдали за ней, пока это существо не разогрело достаточно свои турбореакторы и не переместилось на затылок мулата-гомика, целовавшегося в глубине зала с господином ученого вида. Куря и снова глядя в глаза Франсине, которая умело и быстро воспользовалась карманным kleenex [1], Андрес начал подробно рассказывать сон, Фриц Ланг со своим тевтонским брюхом вошел в бар, капельдинер, и кубинец, и неузнаваемый друг уселись рядом с ними, как в кино сидели до конца последней катушки, сопровождая их вблизи и издали, присутствуя и отсутствуя одновременно, как всякий мысленный образ, ты видишь, что я был прав, что теперь богоявления происходят среди мух, и рюмок, и дымящихся окурков, в эту ночь каждому Святому Мартину достается его свинья. Не смотри на меня так, сейчас я объясню это по-картезиански, нельзя же требовать, детка, чтобы твои дипломы и это охватили.

— Где тут у тебя бутылка с молоком? — был утренний вопрос Людмилы.— Что ты хочешь — гренки или яичницу?

— Ты совсем чокнутая,— сказал Маркос, удивленно глядя на нее.— Завтрак? Бутылка с молоком? У тебя, деточка, слуховые и молочные галлюцинации, знай, здесь никто никогда никаких бутылок с молоком не оставлял.

— Недавно мне послышалось, вроде постучали бутылкой молока в дверь, этот звук освежает душу, у нас в Кракове так стучат. Надеюсь, ты не потребуешь, чтобы я завтракала горьким мате, эту войну я уже давно выиграла, она стоила мне всех легионов Вара, и я не намерена начинать ее сызнова.

— Здесь, полечка, завтракают кофе, очень черным и в очень большом количестве, чашка за чашкой, да с сигаретами. Если хочешь молока, на углу есть лавка, сгущенное оно не более противно, чем свежее. Да, где-то у меня должна быть пачка печенья, сейчас поищу.

Первый луч солнца заскользил рядом с кроватью, стал взбираться по ногам. Людмила откинула одеяло — на рассвете было даже прохладно, они оба лениво выползали из клубка тепла и снов,— чтобы рассмотреть живот и бедра Маркоса; след от пинка был достоин подписи Боннара [2] — старинное золото, яркие попугайские оттенки красного и синего. Тебе, наверно, очень больно, такой ушиб не может обойтись просто так / Если я в эту ночь не умер, значит, я бессмертен / Блуп / А ты, кстати, объясни мне, что это за синяк здесь / Положи вот сюда руку, не так, растопырь пальцы, а теперь обожми немного / Ох / Вот видишь / Но тебе не больно / Совесть мучает, да / Нет, если дело и дальше так пойдет, у Лонштейна уж точно будет

[1] бумажной салфеточкой *(англ.)*.

[2] Пьер Боннар (1867—1947) — французский художник.

работа / Почему ты сделал себе обрезание, если ты не еврей / Потому что был болен и, как мне говорили, от этой болезни теряется чувствительность / И ты заметил разницу? / Вначале нет, но это, наверно, потому, что рана еще не зарубцевалась и было очень больно / Какой чудной у вас у мужчин этот орган, никак не привыкну, когда вы ходите по комнате и все хозяйство болтается, мне кажется, это так неудобно, так мешает / Просто ты умираешь от зависти, Фрейд это объяснил, и вот еще, полечка, насчет «органа» это ты сказанула, каждый поймет, что испанский ты изучала по почте / И впрямь это было по почте, только по очень личной почте / Наверно, из уст в уста, как спасают утопленников, но, знаешь, словечки вроде «органа» или «любовного акта», будь добра, оставь для чаепития с монашками / По-твоему, это так уж важно? / Да, потому что слова такого сорта связывают нас с Гадом / Не понимаю / Поймешь, полечка, ты вроде моего друга, он никак не придет в себя после доклада об онанизме, которым его угостил Лонштейн / А кстати, ты почему говоришь «онанизм», блуп? / Есть, в самое яблочко, сказал, рассмеявшись, Маркос, видишь, как следит за нами Гад, от него трудно увильнуть, однако надо это сделать, полечка, если мы будем бояться в этой области и во многих других, никуда мы не придем. / Вот и видно, что тебе не то тридцать, не то сорок, нынешним юнцам плевать на это, все тонкости вмиг устарели, они любятся, не думая о словах, которые нас парализуют, они хохочут над такими проблемами / Мы это знаем, полечка, но получается так, что дела вроде Бучи не они делают, они чересчур поглощены фестивалями и жизнью хиппи или тем, как добраться до Катманду, они-то и будут нашими наследниками, если нам удастся перевернуть блин, проблема эта извечна и фатальна — старики вроде нас, захватывают бронепоезд и идут на смерть в боливийской или бразильской сельве, во всяком случае в том, что касается руководства, пойми меня правильно, и значит, проблема эта остается нашей проблемой, неважно, что мальчишки уписываются от смеха, слыша то, что я тебе сказал и что меня заботит; суть в том, что сперва мы сами должны освободиться, чтобы не испортить им похлебку, когда настанет час писать заповеди / Хрен едреный и ракушка кудрявая, сказала Людмила / Ты это выражение употребляешь на каждом шагу, не знаю, чувствуешь ли ты, что оно изрядно грубое / Андрес и Патрисио сказали, что оно очень стильное / Ты прибереги его для особых случаев, и кстати заметь, «хрен» звучит лучше, чем «член» в разговоре людей вроде нас с тобой и теперь этими словами не стоит злоупотреблять, но при случае, полечка, ты не дрейфь, в конце-то концов «хрен» славное словечко, более теплое, чем, например, «пенис», это уже прямо из трактата по анатомии, или «мужской член», что всегда напоминает мне о чем-то торжественно академическом. Теперь заметь, что если я в чем-то прав, так это в том, что, употребляя эти словечки, то есть целуя твою ракушку, а не влагалище, мы разбиваем вдрызг другую сторону, сторону Гада, потому что и в языке, полечка, есть свои муравьи-лазутчики, и нам недостаточно сбить спесь с Гадов, если мы останемся узниками системы,— вот теперь в уругвайских, перуанских или буэнос-айресских романах, очень революционных на взгляд извне по своей теме, читаешь, например, что у какой-то девушки сильно волосатая вульва, как будто можно произнести это слово или хотя бы подумать его, не приняв внутренне всю систему, и заметь, что мой друг в конечном итоге доволен беседой с Лонштейном, кое-что он, кажется, себе уяснил и вдобавок, уж не знаю, как это получше сказать, тебе тоже придается все это понять, не включаясь самой / Блуп, сказала Людмила, на самом-то деле только ребятня непрестанно употребляет сексуальные термины, взрослому они ни к чему / Конечно, полечка, но при случае ты вот это назовешь яички или ядра, и баста, это не лучше и не хуже, чем тестикулы, равно как ракушка очень красивое слово, если подумать, это сама суть картины Боттичелли и, если угодно, всех чувственных и эстетических ассоциаций, и мы трахаемся, ты и я, мы трахаемся, и когда я читаю, что кто-то там соединяется или совокупляется, я спрашиваю себя, такие же это люди, как мы, или у них есть особые привилегии / Ну и ладно, я это называю «заниматься любовью»,

так мне больше нравится, и это годится для многих языков и напоминает о важности этого, о таинстве, ведь мы действительно занимаемся этим, бросая вызов смерти, как бы говоря ей, что она вонючая свинья, ну и пока довольно, хочу кофе, пусть без молока, и мне обещали печенье.

— В нашем языке — и не только в Рио-де-ла-Плата — большая проблема это обозначение зада,— размышлял вслух Маркос, глядя на зад Людмилы, которая в свой черед глядела в окно и с восторгом обнаружила напротив скобяную лавку.— Не знаю, полечка, как вы там, у себя, с этим управляетесь, но у нас это вызывает большие споры. Зад — слово родовое, оно также годится как улучшенное и чисто народное обозначение ягодиц, в которых ощущается нечто мясницкое, но главная проблема это анус, термин отвратительный, если они такими бывают.

— Тут напротив скобяная лавка,— сообщила Людмила.

— Нет, ты просто потрясающая женщина,— сказал Маркос.

Она не очень-то соображала в столь поздний час после выпитого вина и от усталости все тяжелей повисала на мне, когда мы шли по мосту и я говорил о Фрице Ланге и о мадемуазель Антинее, спрашивая себя, дадут ли нам номер в отеле «Террасс» — мы же бесчемоданные и явно парочка, как сказал бы раввинчик,— но когда старикашка портье узрел уголок пятидесятифранкового билета, самый лучший и, конечно, с ванной, на самом верхнем этаже с балконом, так, месье, видимо, знает наш отель, разумеется, знаю и рекомендовал его многим друзьям, вы не беспокойтесь, мы уйдем до завтрака и до смены караула, сдачу оставьте себе, а впрочем, и все пятьдесят, только дайте мне самый лучший номер и не забудьте про балкон и про минеральную воду, ах да, и мыло — французская скупость в этих случаях беспредельна,— мыло и полотенца для двоих.

Зачем, спросила еще до того, еле шевеля языком, Франсина, лучше возьмем такси, и ты поедешь ко мне, пришлось ей объяснить, мы как раз шли по последнему пролету моста, и я смотрел на балконы отеля, зная, что Франсина не подозревает, что я веду ее туда, в номер с балконом и видом на некий особый город, который хочу ей показать, так будет лучше, детка, время от времени номер в отеле — это мини-терапия, незнакомая мебель, безответственность, поразительный факт, что утром ты уйдешь, оставив все в беспорядке, только вдумайся в эту потаенную метафизику, все в беспорядке, и никто тебя не упрекнет, никто не скажет «да вы просто дурно воспитаны, кто ж это выходит из дому, оставив мыло на ночном столике и полотенце на оконном шпингалете», пойми, что когда я сплю в твоем доме, я очень боюсь, принимая душ, забрызгать зеркало, вешаю каждую вещь на предназначенный для нее крючок, и все равно я прекрасно помню, как однажды утром ты любезно упрекнула меня, что я перепутал зубные щетки, это, видимо, было для тебя непереносимо.

— Да нет, я думала, что должна тебе сказать, не более того, ведь если я дала тебе щетку и полотенце, так это затем, чтобы ты ими пользовался.

— Мы уже возле отеля, детка, теперь проблема попасть туда без вещей, потому что это отель комильфотный, не думай, владелец гарантирует соблюдение уймы иудеохристианских ценностей, а значит, парочкам на час или на ночь voll verboten [1], но сейчас ты увидишь, как упомянутые ценности уступают территорию другим ценностям с цифирками и портретом кого-то в парике, Вольтера, или Людовика Четырнадцатого, или Мольера, ты можешь наблюдать за этой процедурой, сидя на диване,— в таких переговорах дамы не участвуют, но сидят, скромно потупясь.

— По крайней мере поспим,— сказала Франсина,— в такой час мне все равно где.

Я усадил ее на диван, прежде чем подойти к дежурному, сидевшему в своей полутемной каморке, и обеспечить ему приятные сны и свежие круассаны утром, а после всех уточнений насчет полотенец и минеральной воды еще уладить вопрос о бутылке коньяка и кубиках льда и даже

[1] строго запрещается *(нем.)*.

завтрака, который принадлежал уже другому миру, ибо ночь еще не кончилась, по сю ее сторону были коньяк и балконы, выходящие на кладбище Монмартра, которое Франсина пока не увидит, так как первым делом надо было задернуть плотные бурые шторы, повешенные владельцем, словно бы в душе он стыдился того, что ждало постояльцев под балконом. У дежурного прорывалось стремление поведать мне о войне четырнадцатого года или вроде того, и после инвентаризации съестных припасов и гигиенических средств (матрас Франсина проверяла обеими руками, усердно и деловито становясь на колени и подпрыгивая на нем, дабы убедиться, что в набивке нет комков) я вывел его в коридор и дважды повернул ключ в замке — движение, для многих чисто машинальное, но для меня отнюдь не машинальное теперь, когда были кров, комната, отгороженная зона, и Франсина, и я именно там, где я хотел, чтобы мы были в эту ночь после мухи в виски и черного пятна на том, что прежде было Фрицем Лангом (не говоря о пятне-Людмиле, об этом холодном комке в устье желудка). Здесь недурно, сказала Франсина, по крайней мере освещение приятное и постель превосходная, ляжем поскорей, у меня уже нет сил.

Он все еще как бы проверял дверную задвижку и ключ, по временам озираясь, пробегая взглядом по комнате; услышав мой голос, он махнул рукой и, с улыбкой подойдя ко мне, усадил меня на край кровати, а сам стал на колени, глядя на меня так же внимательно, как осматривал комнату, затем начал снимать с меня туфли и гладить мне щиколотки. Тебе холодно, малютка, тебе надо еще выпить, давай покурим в постели и поговорим о том, о чем говорят, когда усталость отпускает на волю своих пленников и предлагает ответы на загадки.

— Андрес, Андрес,— я не мешала ему говорить, слыша его как бы издали, пока он как-то торжественно раздевал меня,— Андрес, дело не в условностях, просто мне остается одно — не видеть тебя больше, сменить тебя на скандинавские романы и поездки в горы с лыжами.

— Ну конечно,— будто удивляясь, сказал Андрес, занятый замком бюстгальтера,— я это знаю, малышка, знаю, что и сам я должен переменить себя, заняться чем-то другим, разумеется, не лыжами, но другим, и об этом нам надо поговорить, то есть говорить надо мне при участии этой бутылки коньяка в виде отмычки и штопора для умственных пробок, если она сумеет это сделать. Зачем у тебя такой бархатный, такой нежный животик, ты вызываешь у меня нежность, а я не хочу, в эту ночь я не хочу нежности, детка, сам не знаю, что мне нужно, но во всяком случае не нежность, я ее не прошу и не ищу, и в этом смысле хорошо, что Людмила меня уволила, это распроблядски хорошо, потому что так не могло продолжаться, и виноваты были мы все, и вот я вдруг в роли идиота, который хочет неведомо какой ясности, хочет стереть черное пятно, узнать, что мне сказал тот тип в кино.

— Укрой меня,— попросила я, пытаясь высвободить ноги, зажатые между его ногами, и Андрес, все еще стоя на коленях, изумленно взглянул на меня и рассмеялся, бедняжка, голенькая, как ощипанный цыпленок, а я тут надоедаю тебе высокими материями, ясно, я тебя уложу, детка, я даже укрою тебя двумя одеялами, дабы твои вазомоторные механизмы или как их там наладили информационный круговорот и произвели тепловую реакцию, не считая бутылочки, которую мы сейчас разопьем, старичок выдал нам не абы что, а «Мартелль» с пятью звездочками, да еще и откупорил, вот умница, ей-богу. Ах, кстати насчет черных пятен,

> он раздевался, говоря со мной, глядя на меня, очень медленно расстегивал брюки, пальцы словно застывали на каждой пуговице, руки не слушались, пока он

Наверно, ты знаешь, где находится местечко, называемое Веррьер. Да, конечно, это по дороге в Со, в метро надо сесть в Люксембурге, это километров двадцать к югу от Парижа,

медленно вытаскивал сорочку из брюк, не расстегнув их до конца, затем он занялся пуговицами на сорочке

там есть довольно приятная рощица, Андрес. Ах, значит, там. Что — там? То, что мне утром рассказала Людмила в час сумерек богов. Богов? Ну да, малышка, то есть когда Вотан, которым оказался я, смотрел, как рушится его царство, Людмила, эта обезумевшая Брунгильда, вознамерилась войти в иной мир, который они, за неимением лучшего названия, прозвали Бучей. Мне об этом что-то говорили, уж не припомню. Погоди, малышка, еще немного, и ты прочтешь об этом в газетах и, of course, будешь помалкивать, потому как картошечка будет о-очень горяча, понимаешь,

потом, сняв туфли, смотрел то на одну, то на другую, занятый столькими делами одновременно — надо говорить со мной, раздеваться, осматривать номер, словно что-то необычайное, разглядывать свою туфлю и ставить его на пол, снимать

Разумеется, Андрес, но лучше ты ничего мне не рассказывай, мне вовсе нет надобности это знать

мало-помалу сорочку и брюки, роняя их на ковер, как сухие листья, совершенно забывая о них, засовывать большие пальцы под резинку трусов

Ба, малышка, я и сам мало что знаю, но, кажется, эти ребята, бог знает почему, нам доверяют, Маркос, он такой, Маркос, он невероятно отчаянный, и вот Веррьер, ладно, короче говоря, предупреждаю тебя, что произойдет нечто серьезное, покупай газеты.

— Ложись,— сказала Франсина,— у тебя гусиная кожа.

— Конечно,— сказал Андрес, стоя перед Франсиной, медленно стягивая трусы и оставив их на полу с остальной одеждой,— черное пятно — это, вероятно, она и есть, зона гусиной кожи, которая окружает самое главное, некий blackout [1], как раз для Юнга и Пишона Ривьеры. А недурны эти рюмки под «Мартелль», погоди, я поставлю лампу на пол, чтобы мы могли поговорить в приятной полутьме.

— Поговорить,— сказала Франсина,— да, опять говорить, то есть говорить будешь ты, а я, как всегда, буду тебе стенкой для пелоты, мяч отскочит, ты его подхватишь и пошлешь снова, ты ищешь себя в моем эхе, в моих бесполезных ответах. Как тогда, когда мы занимаемся любовью, есть другая стенка, другие поиски, к которым я не причастна, я это давно знаю, и мне от этого уже не очень больно, я знаю это так же давно, Андрес, как этот отель и этот номер и то, что мы пьяны или утомлены,— все это ложные мосты, ложные разговоры. Выпей, любовь моя, не то простудишься.

Две подушки, пять звездочек, два одеяла, две рюмки, лампа на полу, приглушенный свет и тишина; Андрес прижался к Франсине, они укрылись до пояса, точь-в-точь этрусский саркофаг, супруги лежат, глядя друг на друга и время от времени улыбаясь, так близко от настоящих могил, там, внизу, чего Франсина никогда не видела, а они словно ждут, ждут за шторами, внизу, под балконом, во тьме. Да, детка, все это станет для тебя нереальным, когда ты проснешься и мы уйдем, наступит другой день, и мадам Франк сообщит тебе о делах магазина, ты купишь себе новую блузку, это будет как бы компенсация, но ты пойми, малышка, пойми, что я унижаю тебя не по злобе; мне тоже придется войти в то, что зовется «завтра», а главное, в то, что зовется пятницей, мне и прежде доводилось делать нечто подобное, считай, что из трусости или садизма, но это не так, верней сказать, это итоговый баланс и инвентаризация, ты как хозяйка магазина должна это понимать, итоговый баланс перед концом света, пойми, после Фрица Ланга что-то должно было произойти, и поэтому нам надо провести эту ночь и выяснить, переживем мы или нет, будет то, что я

[1] Выключение света в зрительном зале и на сцене; также: провал памяти *(англ.)*.

покажу тебе утром, орлом или решкой, и если я говорю «решка», верь мне, я знаю, что говорю.

— Да это и впрямь прощание,— сказала Франсина,— на твой лад, с твоим ритуалом, с лампой на полу, с рюмкой в руке.

— Не знаю, малютка, как я могу знать это сейчас, черное пятно все еще здесь, я всякий раз подхожу к порогу той комнаты и перестаю видеть и сознавать, я вхожу в черное пятно и выхожу из него изменившимся, однако не знаю почему и для чего.

— Но как я могу поддержать тебя, Андрес, чем могу помочь, чтобы ты нашел, чтобы ты вспомнил.

— Можешь вот так, можешь тем, как на меня смотришь, всем тем, что ты мне дашь в эту ночь, твои руки, и твой рот, и каждый кусочек твоего тела, и твой ум, придающий балансу равновесие, так ты поможешь мне узнать, переживем ли мы Фрица Ланга, я говорю о себе, но ты тоже часть моего мира, хотя и остаешься по сю сторону, мы узнаем, придется ли мне идти одному, надо мне еще что-то сделать или мы и дальше будем встречаться, как в эту ночь и в многие прошлые ночи, близкие в силу привычки и слов, будет ли верный пес повседневности по-прежнему ждать меня и вилять хвостом, будут ли пластинки, и книги, и моя квартирка, построенная Маплем,— до первого инфаркта или шикарного рака и, selfpity [1], ясное дело, и selfpity.

— Ты уйдешь, Андрес, ты уйдешь,— твердила Франсина, целуя меня и прижимаясь всем телом, уже согревшимся под одеялами. Я дал ей дойти до последних ласк, запустив руки в ее волосы, направляя ее, почти заставляя опускаться все глубже, шепча ей на ухо первые слова любовного перечня — кто скажет, сбудется или нет, проснемся мы на заре одинокими навек или выйдем опять позавтракать круассанами и сесть в такси, чтобы возобновить приятную игру,— телефонные звонки, и встречи, и понимающая улыбка мадам Франк, когда мы в который раз пойдем наверх в квартиру Франсины. Я не разрешил ей продолжать, хотя она стонала и искала меня, я отстранил ее лицо и заставил ее снова сесть, выпить коньяку, от которого у нее на глазах выступили слезы. Ты уйдешь, повторяла Франсина, ты уйдешь, ты уйдешь, Андрес. Допустим, сказал он, вот и будет завершение церемониала — орел или решка; я уже не способен искать выход разумом, мне надо сойти вместе с тобой вниз по ступеням коньяка и посмотреть, может быть, ответ найдется где-то там, в подземелье, если ты поможешь мне выйти из черного пятна, если дашь пинка в брюхо старику Лангу, чтобы он подобрал нужную комбинацию цифр в сейфе. Иди сюда, уже пора, иди, посмотришь, прежде чем мы уйдем.

Дергая ее, непонимающую, я стащил ее с кровати и подвел к окну; возможно, она плакала, я чувствовал, что она сопротивляется, не может понять, почему я одним рывком отвел штору и распахнул дверь балкона. Я прикрыл ей рот ладонью, чтобы не закричала, и, оба голые, мы вышли на балкон, я заставил ее подойти к перилам, и в сизом свете монмартрского неба она увидела кресты и надгробия, застывшую геометрию надгробий. Кажется, она вскрикнула, я снова зажал ей рот и, почувствовав, что она как-то обмякла в моих объятиях, поддержал ее над перилами — она повисла над кладбищем, впиваясь взглядом в каждый крест, в каждую чугунную решетку, во все это бессмысленное продление извечной юдоли. Не знаю, тогда ли я понял, пожалуй, нет, наверно, это произошло позже, когда я опять уложил ее, и укрыл, и заставил выпить еще рюмку коньяку, насильно раскрывая сжатые губы, дуя ей в лицо, чтобы тепло вернулось в ее груди и бедра,— теперь можно было продолжать перечень, впереди долгая ночь, и было вдоволь времени полюбоваться на кончину некоего мелкобуржуазного субъекта или на его конфирмацию, чтобы выяснить, вывел ли его спуск в подземелье на другую сторону черного пятна или же заслонил это пятно чувством снисходительности и тоски. Комедиант, кажется, сказала мне Франсина в какой-то миг, ты всегда останешься таким, всегда будешь

[1] жалость к себе *(англ.)*.

играть в свои игры с могилами и женщинами, комедиант. Но, возможно, на балконе, там, где она не сознавала ничего, кроме своего страха (позже она среди ласк сказала, что испугалась, не хочу ли я ее сбросить на кладбище), когда я заставлял ее смотреть, узнавать тот Париж, который она и я, под влиянием повседневной лжи, и рутины, и куриной слепоты, отрицали, да, возможно, тогда-то черное пятно на какое-то неуловимое мгновение растаяло, растаяло, а потом снова всей своей паутиной накрыло мое лицо, однако что-то во мне заглянуло на другую сторону, словно проявилась конечная сумма перечня, итог баланса — и никаких слов, никаких указаний: внезапное озарение, сук подломился. Теперь мы могли продолжать пить коньяк, снова приступить к ритмично-размеренным ласкам, забыть про балкон.

Моему другу было бы очень приятно описать все по порядку, начиная с испуга и дрожи двойного подбородка у Гада в машине Ролана, с физиономии Гадихи, когда ее высадили на эспланаде возле Понтуаз, место, конечно, самое нелепое, по пути из парка Монсо во Веррьер, однако Люсьен Верней, со-водитель, державший револьвер у трясущегося живота Гада, счел его наиболее подходящим, чтобы сбить с толку полицию, которая уже пустилась в активные, но покамест не слишком осмысленные поиски. Очень жаль, но связный рассказ не получался, события не хотели подчиняться слову, как положено в хорошем повествовании,— вылезали всякие «садись в машину» или «получишь пулю в брюхо» да яркая гримаса на лице с макияжем Дороти Грей номер восемь у Гадихи, скорчившейся от колик почище, чем в лайнере на Тихом океане, Ролан, ведущий машину со своим невероятным хладнокровием, тормозя за миллиметр от красного света, и уже слышен свисток, пронзающий им позвоночник до копчика, и «если шевельнешься, пристрелю» — из всего этого получалось у моего друга лишь общее впечатление сумбура, большего или меньшего абсурда в тщательно синхронизированном плане действий, упоительная сумятица экспромта, которую кое-кто назвал бы историей, Лонштейн — бардакоморфизмом, а Людмила, самая мудрая из всех, сказала бы «блуп». Так что визгтормозвиражи на скорости восемьдесят, вы не имеете права так обращаться со мной, Патрисио смотрит в упор на Гадиху, как будто перед ним некая неизвестная Линнею лягушка, вы, донья, не бойтесь, дайте мне вашу сумочку,— это мой друг считал недостойным описания,— да вы не ерепеньтесь же, мы вам замок не сломаем, мне надо только положить туда эти конверты, уж вы поймете, куда их отдать, как только откроются учреждения, ай, Бето, да что ж это творится, Господи, обычные, типичные восклицания — для моего друга скучища,— до приезда к шале, где, среди душистых сосен, под пенье соловья в соседней роще, состоялась выгрузка, уготованная только пыхтящему и потеющему Гаду, ибо Гадиха уже шла одна-одинешенька по улице, где почти не было магазинов и других светящихся опор, она не шла, а почти бежала, насколько позволяли высокие каблуки, пока с размаху не упала на мундир дежурного полицейского, каковой сперва вполне логично принял ее за шлюху, убегающую от похотливого сутенера, затем возня с этой иностранкой, не умеющей связать двух слов на языке, единственно достойном этого названия, и наконец автоматический сигнал тревоги, свистки, сирены, а через полчаса Префектура и тут началось (мой друг уже не мог сладить со своей картотекой, лезло из нее что попало, вот хреновина), успокойтесь, мадам, и расскажите, что произошло, nom de Dieu [1], да пригласите же переводчика, старуха, видно, из какого-то посольства, аккуратная комнатка на втором этаже шале, Маркос предлагает Гаду сигарету, приносит ему рюмку коньяку, че, да это же просто безобразие, вы не имеете права так обращаться со мной, и Патрисио, опустив пистолет, глядит на него, как в фильме Раймона Шандлера, и говорит, сукин ты сын, на твое счастье, мы на вас не похожи, у нас тут нет никаких пикан, но Маркос резко прерывает эту психодраму, чтобы объяснить Гаду суть обмена и альтер-

[1] Французская божба *(букв.:* «имя Бога»).

нативные следствия, Гад буль-буль коньяк в зоб, думает, ну, Ихинио, козел чертов, такая вот его охрана, распросукин сын, но это, по мнению моего друга, в общем-то поклеп, ибо Муравьище с отрядом боевиков уже занимался розысками, для человека вроде Ихинио, привычного к таким передрягам и имеющего зацепки повсюду, это всего лишь вопрос времени.

— Они были страшные, страшные,— вопила Гадиха,— затащили нас в машину, их было четверо, Бето не мог с ними справиться, а шофер будто сонный был, наверняка его отравили уколом стрелы с кураре, я, знаете, читала про такое, да погодите, дайте же мне объяснить, я должна высказаться, клянусь, их было четверо, и охранник Бето стал доставать револьвер, и, подумайте, самый тощий из них приставил ему к голове дуло, вы же не хотите быть убитым за сто тысяч франков в месяц, ну как вам это нравится, но погодите же, сейчас все объясню, такая грубость, с Бето чуть не стащили пиджак, а в машине сидели еще двое, и когда мы опомнились, я и Бето уже сидели сзади, а эти негодяи прямо лежали на нас, клянусь, при поворотах, когда не шевельнешь ни рукой, ни ногой, такие оскорбления, неужто это возможно в Париже, сеньор, да еще рылись в моей сумке из крокодиловой кожи, еще неизвестно, может, вытащили флакон с духами, я точно помню, он у меня был, когда мы ехали на обед, и вот оставили меня в этом глухом районе, вы представляете себе, какие опасности грозят даме ночью, когда кругом бродят негодяи, у которых одно на уме, если бы меня хотя бы оставили с Бето, о, Святая Дева, и я все шла, шла, видите, я в нарядных туфлях, и дежурный, вот грубиян, не хотел мне верить, вы должны его наказать, погодите, да, были только эти три конверта, я видела, как их положили в сумку, чтобы я их передала, но я требую, чтобы

— Были только эти три конверта,— ограничился этой фразой переводчик, к большому удовольствию полицейского комиссара. Что до писем, то они были написаны на превосходном французском языке, и уже на Кэ-д'Орсэ начались беготня да совещания, знатный переполох, не говоря о том, что творилось в трех или четырех центрально- и южноамериканских посольствах, это сам Данте не описал бы и в пяти томах.

— Я бы предпочел, чтобы ты не ездила,— сказал Маркос, и Людмила знала, что он знал, что говорить это ей бесполезно, что Веррьер с такой миленькой рощицей, где она однажды бродила с Андресом, что for ever [1] Веррьер, блуп, я еду с вами, Маркос / Ладно, запретить тебе я не могу, но только остальные дурехи восстанут все как одна, уж я-то их знаю / мы приготовим вам обед и будем следить за гигиеной и приличиями / Боюсь, детка, что у вас не будет времени на это, все дело надо провернуть ровно за двадцать четыре часа после того, как мы захватим Гада, вы едва успеете отличиться, приготовив несколько бутербродов / Ты с чем любишь, с мортаделой [2] или с паштетом / Мне все равно, зато Люсьен, наверно, догадается прихватить пару бутылок / Маркос, я вижу, ты еще не вполне оправился от удара / Ты, полечка, еще говоришь о том пинке, после того что со мной вытворяла / Ох / Что слышишь / А я-то какова, синяки кругом да засосы, уж не говоря о кругах под глазами /

— Говорит Каналь,— сказал Гомес, по телефону употреблявший псевдоним, словно его собственная фамилия недостаточно его защищала.
— Говори.
— Ламарку убили.

Шале принадлежало матери Люсьена Вернея, даме, которая в данный момент проходила, как каждые полгода, свой курс лечения на водах в Руане; чтобы подготовить необходимое, времени у Люсьена было с избытком, Маркос в темноте произвел осмотр местности, Патрисио тоже походил вокруг, дабы, по выражению знатоков, определить параметры. Ближайшие соседи, все — скучающие пенсионеры, находились в двухстах метрах,

[1] Навсегда. *Здесь:* опять же *(англ.)*.
[2] ливерной колбасой.

за полосой кедров; с парижского шоссе вы сворачивали на дорогу, ведущую в деревню, затем по улочкам вверх и вниз, пока не упрешься в рощу, там дорожка, на которой машина едва умещалась, поворот направо, и вот, меж сосен, шале, обнесенное деревянным забором, и всего с двумя входами. Еще в Париже было решено число участников операции ограничить до минимума, because пенсионеры от скуки, возможно, приглядываются к соседям, однако вскоре выяснилось, что менады требуют такого, чего ни Оскар, ни Гомес, ни Патрисио, ни теперь уже Маркос, медленно вешавший телефонную трубку и глядевший на Людмилу, не могли отвергнуть или запретить; в Буче не было дискриминации, так почему же менадам не поехать и не приготовить бутерброды, хотя холостяки — не зря они были французы — выразили решительное неодобрение, выслушанное остальными с полным равнодушием. Пусть приезжают, сказал наконец Ролан, будет как в воскресенье на стадионе. А теперь вопрос, как быть с тобой, сказал Маркос, и начал доставать сигарету, словно ему было трудно продолжать, как быть с тобой, полечка?

— Что случилось? У тебя такое лицо.

— Оно не раз было таким за эти два года, старушка, и, вероятно, еще и впредь будет раз-другой.

— Скажи, что случилось,— попросила Людмила. Так же Оскар и Эредиа, обговаривая последние детали Веррьера, глядели на Сусану, в чьей руке печальная, как она сама, вялой тряпочкой повисла «Монд».

Brésil [1]

LE DERNIER GRAND DIRIGEANT DE LA GUERILLA EST TUÉ PAR LA POLICE DANS L'ÉTAT DE BAHIA

Les autorités brésiliennes ont annoncé officiellement la mort du dirigeant révolutionnaire Carlos Lamarca, tué le vendredi 17 septembre au cours d'une fusillade avec les forces de l'ordre à Pintada, à 450 kilomètres de Salvador, dans l'Etat de Bahia.

Traqué depuis quarante et un jours par les services brésiliens de sécurité, Carlos Lamarca se reposait sous un arbre, en compagnie de son lieutenant, José Campos Barretas, et de sa compagne Iara Iavelberg, lorsqu'il fut entouré par une vingtaine d'agents du centre d'opérations de la défense intérieure.

Selon la version officielle José Campos a fait feu le premier, mais a été fauché par une rafale de mitraillette. Carlos Lamarca a été tué aussitôt après. Toujours selon les autorités, Iara Iavelberg, se voyant dans l'impossibilité de fuir, s'est suicidée.

Le corps de Lamarca a été transporté samedi à l'aérodrome militaire d'Ipitanga, ou il a été identifié grace à ses empreintes digitales. Pour éviter d'être reconnu le chef guérillero avait subi une opération de chirurgie faciale.

— Ламарку убили,— сказала Сусана, настроившись на то, чтобы переводить без скорбных комментариев,— бразильские власти официально сообщили о смерти революционного главаря.

— Прости меня, если я скажу, что не знаю, кто он,— сказала Людмила,— но я это вижу по твоему лицу. Прости меня, любовь моя.

— Не может быть, мать твою блядскую растак,— сказал Эредиа, выхватив у Сусаны газету и тут же ее возвратив.— Продолжай читать, этого не может быть, но все равно читай.

— Он спал под деревом вместе со своим заместителем Хосе Кампосом Барретасом и своей подругой Ярой Явельберг, когда их окружили два десятка бойцов центра службы внутренней безопасности.

— Внутренней безопасности,— сказал Эредиа, оборачиваясь и вглядываясь из-за занавески в темнеющий сад и ряд кедров.

---

[1] **Бразилия.** ПОСЛЕДНИЙ КРУПНЫЙ ГЛАВАРЬ ПАРТИЗАН УБИТ ПОЛИЦИЕЙ В ШТАТЕ БАИЯ. Бразильские власти официально сообщили о смерти революционного главаря Карлоса Ламарки, который был убит в пятницу 17 сентября в перестрелке с правительственными войсками в Пинтаде, в 450 км от Сальвадора, в штате Баия.

Сорок один день выслеживали бразильские силы безопасности Карлоса Ламарку и застигли его в тот момент, когда он вместе со своим заместителем Хосе Кампосом Барретасом и своей подругой Ярой Явельберг отдыхал под деревом; там они были окружены двумя десятками бойцов центра службы внутренней безопасности.

Согласно официальной версии, Хосе Кампос первым открыл огонь, но был сражен наповал очередью из автомата. Вскоре был убит и Карлос Ламарка. Опять же, по сообщениям властей, Яра Явельберг, убедившись в невозможности бегства, покончила с собой.

Тело Ламарки было в субботу доставлено на военный аэродром в Ипитанге, где он был опознан по отпечаткам пальцев. Черты лица его были изменены хирургической операцией, которой он подверг себя, чтобы не быть узнанным.

— Ах,— сказала Людмила, нащупывая бутылку, затерявшуюся среди бумаг и диванных подушек.— Извини, Маркос.

— Согласно официальной версии, Хосе Кампос открыл огонь, но был сражен пулеметной очередью. Вторым пал Карлос Ламарка. По этой же версии, Яра Явельберг, убедившись, что бежать невозможно, покончила с собой.

— Все так ясно, так красиво,— сказал Оскар.— Ни словечка лишнего.

— Я тоже не был с ним знаком,— сказал Маркос,— Бразилия далеко от Кордовы, полечка.

Эредиа, спиной ко всем, все смотрел в сад. Оскар думал, что эта ночь будет очень долгой, Сусана вырезала заметку и спрятала ее в папку. Ночь, однако, пролетела быстро, Люсьен Верней сперва нахмурился, увидев, как входят Людмила и Гладис, огорченная непростительным отсутствием мате в одном пригородном французском доме, это просто возмутительно, а Людмила ждет, что Гомес объяснит Люсьену Вернею распоряжения Маркоса; по очереди играют в шахматы Оскар и Эредиа, Эредиа и Гомес, Гомес и Моника, менады хлопочут на кухне, пока светло, а когда все вокруг погасят свет, как бы пенсионеры не заинтересовались, шепотом распределяются обязанности и посты, Эредиа дает мат в восемнадцать ходов, да не выпивайте же все сразу, вы, дикари южноамериканские, моя бабушка подарила это вино моей матери на день рождения, его надо смаковать по глоточку, nom de Dieu, Гомес и Моника ничья. По дорожке проехала машина, все пригнулись, словно по команде «ложись», и совершенно зря, их и так не было видно, затем секунда, когда не знаешь, то ли муравьи опередили, то ли полиция их выследила по бирюзовому пингвину и речам в Орли, Люсьен Верней объяснил, что это машина одного из пенсионеров, затем, в восемь часов, первая партия бутербродов и вино, это бургундское, пять лет спало в погребе, вы не очень-то увлекайтесь, от него двоится в глазах / Ладно тебе, скряга, здесь, что ни возьми, все времен Пипина Короткого, посмотрим, не потеряла ли вкус эта салями из-за передряги под Ватерлоо / Весь вкус хорошей салями в ее аромате — для тех, кто достиг такого уровня цивилизации, что способен его уловить / Вот тебе, получай, объяснения ищи в Ларуссе / Я не должен тебе это говорить, но если ты не займешься этим слоном, капут тебе будет, дорогуша / Занимайся своими фигурами, уж я как-нибудь проиграю без твоей помощи /Согласен, посмотрим, как ты сходишь теперь / Ух, черт / Зажигайте сигареты подальше от окон, я на жалюзи не надеюсь / Все предосторожности Джеймса Бонда выполнены / Идем, сказала Людмиле Сусана, пошли на кухню.

Вслед за ними, как полагается менадам, чуть было не отправились Гладис и Моника, но что-то подсказало им, что тех двух лучше оставить одних. Оскар, глядя, как они уходят, закурил сигарету далеко от окна, зато близко к Люсьену Вернею, чтобы показать ему свою дисциплинированность, Гладис села напротив него на ковер, взяла предложенную ей сигарету, они разговаривали, глядя, как сгущается темнота между ста сорока семью полосочками жалюзи; говорили главным образом о себе, то есть о завтрашнем дне, о друге Гомеса, который, если что-то не заладится, переправит их в Бельгию, а там Макс, с которым они не были знакомы, но это неважно, и другой перелет или морем, одно за другим распоряжения Маркоса и французов — этакие русские матрешки, которые вынимаешь по очереди, пока в какой-то миг не забрезжат огни Эсеисы или гавани, и тогда более чем когда-либо строгое подполье, разве что случится нечто непредвиденное, но все равно как в русских матрешках,— бегство, тайное убежище, фальшивые документы, возможно, разлука и в любом случае постоянные риск и тревога, ограды, через которые надо перепрыгивать, убедившись в невозможности бежать, Яра Явельберг покончила с собой, непредсказуемость по другую сторону ограды, ладони, изрезанные бутылочными осколками, Хосе Кампос открыл огонь, и Эредиа, так близко знавший Ламарку, долго-долго стоял к ним спиной, Эредиа, который теперь проигрывает Гомесу на тридцать третьем ходу, и Люсьен, шагающий взад-вперед, бархатно-бдительный домашний кот, темнота и электрический фонарь на

полу, меж двумя креслами, маяк перед концом света, чтобы не расшибить себе голову на всех этих лестницах и об унаследованную от прадедов мебель, и вдруг Оскар спрашивает себя, почему Гладис, как возможно, что Гладис наконец здесь, с ними, в завершающей Буче, он никогда не задумывался, вправе ли он затянуть ее в Бучу, а Гладис так беспечна и вид у нее, будто она приехала на вечеринку за город, где кедры и бокалы, такая спокойная решимость Гладис, знающей, что ее из «Аэролинеас» вышвырнут, что все полетит к чертям, прыжок, и ты наверху, хотя ладони окровавлены, и он сказал ей, ты потрясающая, ты просто чудо, и она веселится, словно Париж — это и впрямь праздник с Гертрудой Стайн и всем прочим, словно бутылочные осколки не изрезали им ладони еще до скачущих галопом полицейских и первых ударов хлыстом. Он еле слышно спросил себя об этом, целуя ее в голову, и Гладис, сидя на корточках, прижалась к нему, и лишь через некоторое время, после четырех блестящих ходов Эредиа в партии с Гомесом, Гладис ответила ему, что она сама не знает, что ей хорошо так, что она боится, что становится прохладно, что она его очень любит. И она правильно сделала, что не пошла с прочими менадами, потому что на кухне говорили о другом, о делах приземленных, Сусана, откусывая в полутьме по крошке от бутерброда, вся во власти материнского инстинкта, ничего не спрашивает, напротив, сама рассказывает, что Мануэля оставили у Лонштейна и, дай Бог, чтобы он не подпускал малыша к грибу, эта мерзость, конечно, ядовитая, и еще может случиться беда, если к раввинчику заглянет мой друг или Андрес, они, конечно, заговорятся, и Мануэль уж точно улучит момент и, как леопард, подкрадется отведать гриб или поджечь гардероб, и она еще раз откусывает уже подсохший бутерброд и со вздохом передает его Людмиле, которая его съела, прежде чем он был снова востребован. Однако мой друг не стремился помогать Лонштейну в baby-sitting [1], что ж до меня, я таки заглянул, но не с целью помочь, а потому, что один только Лонштейн и оставался у меня на исходе дня, и я иногда поднимался к нему потолковать о том о сем.

— Я его люблю,— сказала Людмила, нащупывая еще крошку бутерброда,— все произошло ужас как быстро, этот пинок в живот, водочные компрессы, но ты, Сусана, не думай, будто это обычная пошлая связь.

— Я вас обоих немного знаю, че,— сказала Сусана,— пошлости в вас нет ни капельки, даже если все выглядит как натуральный разврат.

— И я думаю, что он меня тоже любит, и я боюсь,— сказала Людмила, таким образом, в этом доме боялись уже двое, а с Сусаной трое, ведь Патрисио должен был караулить в полсотне метров от ресторана, где Гад ужинал, и Сусана об этом знала и думала о муравьях, и о Мануэле, и о завтрашнем дне, и о том, что Патрисио всего в полсотне метров от ресторана, и было уже четверть восьмого, и не пройдет и трех часов, как Патрисио, и Маркос, и Ролан выполнят намеченное и приедут с Гадом или же не выполнят из-за муравьев или полиции, и тогда стоит ли об этом думать и заранее бояться еще больше. Лучше просто разговаривать, особенно теперь, когда Людмила рассказала такое так просто, будто откусила еще кусочек бутерброда, ты знаешь, я хотела полечить ему ушибленное место и когда увидела это сине-зеленое пятно, бедный, блуп. И наверно, Маркос не дал маху, корчась от смеха, сказала Сусана. Ну ясно, сказала Людмила, и очень правильно сделал. Ну вот, теперь я поняла, почему ты здесь, сказала Сусана, которая на самом-то деле поняла это сразу же, ты, девушка, из тех, что жизнь положат за своего мужчину, коль потребуется.

— Я хочу быть там, где он, и вдобавок сегодня в театре выходной.

— Буча действует умело. А в общем-то я, знаешь, рада. Конечно, если будет провал... Ладно, поговори еще немного, я ужасно люблю наблюдать за игрой, а еще так долго ждать, пока они приедут с Гадом, подожди, я сделаю чашку растворимого кофе, и ты мне расскажешь.

— Блуп,— сказала Людмила, усаживаясь на корточки на чем-то вроде половой тряпки.— Лучше ты, Сусана, расскажи мне про Ламарку, а то мне

[1] Уходе за ребенком *(англ.)*.

стыдно, сегодня утром, когда Маркосу сказали об этом... Мне так много надо узнать, я еще ничего не понимаю. Подумать только, что все началось с горелых спичек и пингвина, ну скажи, разве ж это не похоже на хэппенинг?

Отряд партизан похитил в порту более 9 000 париков

Пять человек, утверждавших, что они являются отрядом Народной революционной армии (НРА), напали на грузовик торговой фирмы и похитили 9 326 париков на сумму 50 миллионов песо.

Ограбление произошло вчера в 15 ч. 30 м. на пересечении улиц Сан-Мартин и Эдуардо-Мадеро, в портовой зоне столицы.

В это время на грузовик фирмы «Рефиарт», за рулем которого был Анхель Сперато, напали пятеро неизвестных, ехавших в частном автомобиле. Заставив водителя выйти и пересадив его в свою машину, двое партизан сели за руль грузовика и скрылись, увозя груз.

Грузовик, пустой, был вскоре обнаружен на углу улиц Либертадор и Доррего.

— Посмотреть на вас, подумаешь, будто вы и впрямь умеете двигать фигуры,— сказал Оскар именно в тот момент, когда Эредиа, нахмурив брови, опрокинул своего короля, а на устах Гомеса появилась веллингтоновская усмешка. Было уже почти темно, и они играли при свете огарка, заслоненного номером «Опинион», который принесла по поручению Патрисио Сусана, чтобы их развлечь.

— Ты себе представляешь, они загребли девять тысяч париков,— сказал Оскар, стараясь украсить шахматы историей.— Расскажите это Люсьену, может, он перестанет шастать взад-вперед, как сенбернар, надо этим французам дать верное представление о наших краях, такие вещи в здешних утомленных странах не происходят.

Как и следовало ожидать, история с париками показалась совершенно непонятной Люсьену, озабоченному наружными шумами больше, чем деятельностью НРА в городе, столь абстрактном для него в этом месте и в этот момент, однако Гомес и Эредиа согласились с Оскаром, что цифра девять тысяч, пожалуй, не совсем точна, разве что ребята заранее обеспечили себе покупателя японца или вроде того, да экспорт с хитрыми документами и непроизносимыми портами в таиландские бордели или йеменские серали. Раздача новой партии бутербродов и горячего кофе собрала всех в том углу, где можно было держать свечку, не вызывая ворчанья Люсьена; когда минуло девять, началось что-то вроде обратного счета времени, цифры каплями ударяли по нервам, значит, Николино Локке, девять тысяч париков, встреча Помпиду и Никсона на Азорских островах, фильм Глаубера Роши, тень Люсьена Вернея, движущаяся от одного окна к другому, Людмила, еле живая от усталости, дремлет под бормотанье остальных, бледная, вся напряженная Сусана, поглядывая на жалюзи, старается веселить народ остротами, парочки держатся рядом, Моника притулилась к Гомесу, рука Оскара все еще в волосах Гладис, птицы на исходе дня щебечут среди кедров, вдали лают собаки, курить, курить и попросить еще чашечку кофе, сорок один день выслеживали бразильские силы безопасности Карлоса Ламарку, он отдыхал под деревом вместе с. Девять тысяч париков, рука Оскара, гладящая натуральные волосы Гладис, девять тысяч париков, мама родная, Моника интересуется подробностями, грузовик захватить это ерунда, сказал Оскар, главное, тайно переправить парики, ба, они, наверно, наняли девять тысяч лысых, и те прошли гуськом через границу, в Мар-дель-Плата студенты устроили шумную манифестацию в центре города, Сусанита, переведи месье-дамам, мне не хочется, брось, ты же у нас добрая и безотказная, и мы знаем, что ты нас любишь, две пули в голову, Сильвия Филлер, револьвер калибра сорок пять миллиметров, восемнадцать лет, студентка архитектурного факультета. Веселенькая ваша газета, сказал Люсьен Верней, о да, старик, насчет таких дел, париков да пуль в голову восемнадцатилетней девушке, мы у нас в стране отличаемся. Говорите потише, черти, сказал Люсьен Верней, у пенсионеров уши ловят ультразвуки, я не доверяю даже кенарю моей мамаши. Потому-то, видно, он у тебя чуть не задохнулся, сказала Моника, я же видела, ты, варвар, накрыл клетку покрывалом. Сильвия, подумал

СТОЛИЦА АРГЕНТИНЫ как она есть

Опинион

МНОГОЛЮДНЫЕ ПОХОРОНЫ УБИТОЙ СТУДЕНТКИ СТУДЕНТЫ МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА УСТРОИЛИ ШУМНУЮ МАНИФЕСТАЦИЮ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Мар-дель-Плата, 7.— После 19 часов, когда закончилось собрание студентов архитектурного факультета — на котором решили в целях агитации протестовать против убийства студентки Сильвии Эстер Филлер,— была устроена шумная манифестация в центре города.

Оскар, и ему захотелось рассказать Гладис, но лучше не надо, Гладис дремала, сладко посапывая, под рукой, тихонько гладившей её волосы, Сильвия, такое обычное имя, восемнадцать лет, две пули в голову, среди девчонок, ошалевших от полнолуния и карнавальных балов, возможно, тоже была какая-то Сильвия, статистически это более чем вероятно среди ста пятидесяти девчонок, прыгающих через ограду, подожди, Сильвия, дай руку, Сильвия, не оставляй меня одну, и бутылочные осколки впиваются в ладонь, топот копыт все ближе, Сильвия, Сильвия, как все сходится, сближается, Буча и здесь, и там, в Веррьере или Ла-Плате, Гладис и Сильвия, все это Аргентина для Оскара, с закрытыми глазами гладящего теплые волосы, загребли девять тысяч париков, Яра Явельберг покончила с собой, револьвер сорок пятого калибра, шумная манифестация в центре города, Мардельплатамардельриоделаплата, э, нет, возмутился Оскар, резко поднимаясь, если я сейчас усну, я упущу главную драку, уже полдесятого, че. Но прежде чем идти готовить себе еще чашку растворимого кофе, можно еще подумать, даже понять эту смесь образов, сливающихся воедино, Сильвия, и Гладис, и Яра, бунт девчонок и столь далекая Буча, даже гриб внезапно обрел смысл, дико абсурдное требование раввинчика, чтобы относились с почтением к тому, чего Люсьену Вернею не понять никогда, однако Люсьен, возможно, в свой черед включен в систему, о которой никто не знает, даже он сам, и повинуется неосознанным велениям того, что он считает чистым, и практическим, и диалектическим разумом, девять тысяч лысых медленно дефилируют и выходят уже в париках, ну нет, довольно, черт возьми, если я усну, это, ей-богу, будет глупо, разве можно так дожидаться Гада. Разбуженная его внезапной решимостью, Гладис по-кошачьи уютно глянула на него, ты меня испугал, нельзя так будить людей, сперва гладишь, ласкаешь, потом вдруг вскочил. Все они такие, сказала Сусана, театральным жестом поднося им тарелку с бутербродами. Заткните себе рот, приказал Люсьен Верней. Это лучше всего получается, когда он полный, заметила Сусана, а вот идет Людмила и несет кофе, пей не хочу, никогда еще не бывало такого праздника в этой суровой, унылой стране.

На некоторых страницах книги Мануэля царит достойный сожаления беспорядок, со всех сторон Сусане передают вырезки, и она наклеивает их с усердием, которое не ценит педантичный мой друг, однако Гомес и Маркос и даже он сам в конце концов признают, что в этом собирательстве наудачу ощущается достаточно ясная линия, если Мануэль когда-нибудь сумеет пользоваться комильфо своим органом зрения. Наклеивай сообщения подряд, без разбора, фыркает Эредиа, в конце концов малыш научится складывать два и два, вечно поддерживать его подпорками тоже не дело, прости, Господи. После чего Сусана яростно нажимает на тюбик с клеем и получается, что

Никто не преуспевает лучше «Аустраль»

Согласно анализу в «Нью-Йорк таймс» Аргентина несет ответственность за подорожание кожи

Результат деятельности в США

Миссия Бриньона получила в целом кредиты на 722 миллиона долларов.

В результате своей деятельности в Вашингтоне и Нью-Йорке финансовая миссия, президентом которой является должностное лицо Центрального банка доктор Карлос Сантьяго Бриньон, осуществила операции на сумму около 722 миллионов долларов. Такую информацию сообщили в «Опинион» по телефону высокопоставленные служащие этого частного нью-йоркского банка.

Хотя некоторые детали еще нуждаются в уточнении, кредиты, полученные миссией Бриньона в Соединенных Штатах, выражаются в следующих числах:

Организация	Сумма (в миллионах $ США)
Международный валютный фонд	
а / Золотая доля национальной квоты	110,—
б / Первая доля кредитной квоты	110,—
в / Поступления от Специальных налогов с оборота, в действительности уже прежде поступавших в нашу страну	46,6
г / Фонд дотаций для стабилизации цен на сырье, от	40 до 60,—
В итоге около	326,6
Всемирный банк	
Специальные кредиты для стран, испытывающих трудности с выплатой долгов	150,—
Экспортно-импортный банк США	
Специальные кредиты для финансирования импорта	100,—
Частные банки	
First National City Bank	15,—
Chase Manhattan	15,—
Bank of America	15,—
Manufacturer Hannover Trust Co	13,—
Continental Bank	9,—
Bankers Trust	9,—
Chemical Bank	9,—
First Nat. Bank of Boston	9,—
Filadelfia National Bank	9,—
Irving Trust Co	5,—
National Bank of North America	5,—
Marine Midland Bank [1]	5,—
Два банка, чьи названия не установлены	14,—
В итоге от частных банков	145,—

— Нет, пожалуй, не тогда,— возразила Франсина, (попробуй вспомни когда, наверно, вначале, в ее квартире в первый или во второй раз)

или в Мильи-ла-Форе в конце воскресенья с сухими листьями, «плодами моря» и поцелуями на турбазе с камином и irish coffee [2]

не поэтому, Андрес, тут другое

(или же, наконец-то, рядом с могилами, после стольких отказов, после сцен, в результате которых мы чувствовали себя грязными от слов и неуклюжих невстреч?)

не поэтому, дорогой, откуда мне знать, не хочу или не могу, но ты не думай, что это из принципа

(она, конечно, говорила правду, правду, выросшую на почве наследственной лжи, постоянных внушений в детстве и отрочестве, туманных намеков в семье, полицейских хроник, ужасных открытий — пятнадцать лет, косы, лицей, перешептыванье между двумя партами, но значит, они могут и мальчика, ты же видишь, что могут, дома говорили о том, какой-то бездомный из тех, что ночуют под мостом, вот это да, Люсьенна, рассказывая, смеялась, тетя Дженни маме на ухо, на гильотину его и то мало, какие времена, бедненький, племянник мадам Флеркен, тринадцать лет)

не поэтому, Андрес, я просто не хочу, потому что

(отсюда, возможно, вся манера держаться в жизни, голосовать, выбирать профессию, некоторые страхи, предпочтения и огорчения, отсюда, возможно, то, что делает человека таким, каков он есть)

и терпеть еще час такую нетерпимость показалось мне невозможным

(но у меня-то, нетерпимого к нетерпимости, какая доля правдивости и честности была в этом моем решении преступить, в отказе примириться с тем, что столько раз бывало у Франсины дома, в Мильи-ла-Форе и теперь, рядом с могилами?)

не поэтому, поверь, не поэтому

[1] Первый национальный городской банк, Чейз Манхэттен, Банк Америки, Ганноверский Трест промышленников, Континентальный банк, Трест банкиров, Химический банк, Первый национальный банк Бостона, Филадельфийский национальный банк, Трастовая Ко Ирвинга, Национальный банк Северной Америки, Морской банк центральных областей *(англ.)*.

[2] Ирландский кофе *(англ.)* — кофе со сливками и виски.

(и без всяких ссылок на целомудрие, без предлога помочь ей против нее самой, покончить еще с одной запретной зоной, но просто потому, что в эту ночь все повторяющийся ее отказ, ее «не поэтому, милый», ударило мне в голову, как частица ничто Фрица Ланга, частица того черного пятна, куда что-то ушло, чтобы спрятаться после лживого забвения, после мерзких ограничений, за которые расплачиваются мигренями и душевным покоем, из всего этого вдруг взрыв всеохватного антагонизма, колючая проволока между возможной реальностью и мной, между возможной реальностью и Франсиной, сгусток всех прошлых отказов, Людмила от меня ушла по моей вине, не поэтому, милый, там кто-то хочет с вами поговорить, столько всего накопилось за годы, мелкие повседневные предательства, где-то вдали маячит Буча, чувство, что дошел до края именно тогда, когда Франсина, отказываясь, то скрючивалась, то изгибалась дугой, так не надо, ты же знаешь, так не надо, губы сжаты, решимость не уступать)

не поэтому, Андрес, не поэтому, но

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ОТ ГОЛОДА ОН НАПИСАЛ ПИСЬМО БОГУ

Ла-Пас (Рейтер).— Два последних письма, написанных партизаном в горах за несколько дней до смерти от голода, были адресованы Богу и молодой жене, ждавшей его в Ла-Пас.

«Диарио» в своем вчерашнем приложении опубликовал тексты обоих писем, обнаруженные в дневнике Нестора Паса Саморы (прозвище «Франсиско»), чьи останки были переданы его семье.

Этот документ и вещи покойного были переданы Хорхе Густавом Руисом Пасом, командиром отряда шести, который сумел выйти из сельвы и теперь находится в Чили; он вручил их родственникам Нестора Паса, встретившимся с ним в здании Апостолического Нунция.

«Франсиско», которого считали идейным вдохновителем неудавшейся герильи в Теопонте, скончался 8 октября от голода, тело его в течение трех дней несли истощенные товарищи и в конце концов оставили на берегу реки.

24-летний Пас, бывший студент семинарии иезуитов, снискал любовь шести переживших его соратников, ибо, несмотря на продолжительный пост за месяц до того, он отказывался от полагавшихся ему крох в пользу, как он считал, более нуждавшихся товарищей.

После тридцати пяти дней полного голодания «Франсиско» скончался на руках удрученных горем товарищей по борьбе.

«Господи! Сегодня я по-настоящему нуждаюсь в Тебе и в Твоем присутствии; возможно, это от близости смерти или от временной неудачи нашей борьбы», пишет он в своем «письме Богу», датированном 12 сентября.

«Я оставил все, что имел, и пришел сюда. Быть может, сегодня мой четверг и этот вечер будет моей пятницей», читаем мы в одном из абзацев письма, завершающегося так: «Чао, Господи, возможно, до встречи на Твоем небе, этом новом обиталище, которого мы жаждем».

Во втором письме Пас обращается к своей молодой жене Сесилии, в нем он уже предвидит свою смерть, хотя все еще питает надежду вернуться и «долго разговаривать и смотреть друг другу в глаза».

«Франсиско», сын генерала в отставке, закончил иезуитский колледж и учился дальше в семинарии, пока не решил жениться.

О его участии в герилье в Теопонте стало известно в тот же день — 19 июля,— когда были получены точные сведения о том, что отряд повстанцев под командованием «Чато» Передо захватил помещения горного предприятия в Теопонте и ушел в сельву с двумя заложниками-немцами.

Два экрана под прямым углом, два фильма, там кто-то хочет с вами поговорить, метаморфоза тела, дабы познать истинное его содержание, метаморфоза всего, уже невозможно оставаться погруженным в то, что желало быть как всегда, что нагло и лживо выдавало себя за одно или за другое, когда кто-то передал послание, миссию (и через несколько часов в Веррьере, как тут не подумать, что Людмила разыграет свою собственную метаморфозу, Бучу-метаморфозу, которая может стать жизнью в других измерениях, очистительным взрывом, Буча — огненный цветок, распускающийся незаметно, неощутимо, семена, перелетающие через Атлантику, помогая хоть капельку, хоть чуть-чуть тому, что происходит в наших краях, и знать, что ты здесь стоишь на пороге, что еще возможно пойти передать неведомое послание, когда и его цветок распустится, сжигая твое нутро и вгрызаясь терзающими словами)

я откинул простыню и постепенно заставил ее лечь на бок, целуя ее груди, ища ее уста, из которых в полудреме вырывались бессвязные слова и стоны, мой язык забирался в самую глубину, и слюна наша смешивалась, слюна с отдаленным привкусом коньяка, с ароматом, исходившим также от ее волос, куда погружались мои пальцы, оттягивая назад ее рыжую голову, давая ей ощутить мою силу, и когда она, словно смирившись, затихла, я навалился на нее и, снова повернув ее ничком, стал гладить ее белоснежную спину, маленькие, тугие ягодицы, сжатые колени, пятки, загрубевшие от туфель, я странствовал по ее плечам и подмышкам, исследуя их языком и губами, а тем временем мои пальцы обнимали ее груди, мяли их и пробуждали; я услышал слабый стон, в котором была не боль, но опять-таки стыд и страх, ведь она, верно, уже подозревала, что я собираюсь с ней делать, мои губы спускались по ее спине, прокладывая тропку между складкой нежнейшей, потаенной кожицы, и язык мой уходил вглубь, в ямочку, которая сжималась и отступала, прячась от моей страсти. О нет, нет, так не надо, твердила она, я так не хочу, ну пожалуйста, пожалуйста, она чувствовала, как мои ноги охватывают ее бедра, а освободившиеся руки раздвигают ягодицы, и там, смугло-пшеничного цвета, маленькая золотистая пуговка, которая сжимается вопреки противящимся мускулам. Несессер Франсины лежал на краю ночного столика, я нащупал тюбик с кремом для лица, она это услышала и опять начала артачиться, пытаясь высвободить ноги, по-детски изгибаясь, когда почувствовала тюбик между ягодиц, и, скрючиваясь, она повторяла, нет, нет, так не надо, пожалуйста, так не надо, по-детски, так не надо, я не хочу, чтобы ты мне делал это, мне будет больно, я не хочу, не хочу, а я, снова раздвигая руками ее ягодицы и поднимаясь над нею, услышал одновременно ее стон и ощутил членом жар ее кожи, скользкое бессильное сопротивление ее попки, в которую никто уже не помешает мне проникнуть, и тут я, упираясь руками в ее спину, сжал ее ногами, и медленно склонился над нею, стонущей и извивающейся, но неспособной избавиться от тяжести моего тела, и само это ее судорожное движение подталкивало меня внутрь, я преодолевал первый рубеж сопротивления, миновал края шелковистой, жаркой перчатки, и каждый толчок сопровождался новой мольбой, ибо теперь боль ожидаемая сменилась настоящей, хотя и преходящей и не заслуживавшей жалости, и ее упорство лишь укрепляло мою волю не уступать, не отрекаться, отвечать на каждое ее движение, уже помогающее мне (и она, думаю, сама это знала) новым рывком вперед, пока я не ощутил, что дошел до предела, а заодно достигли своего предела ее боль и стыд, и в ее всхлипах послышалась новая нотка, открытие того, что это не непереносимо, что я ее не насилую, хотя она отказывается и умоляет, что граница моему наслаждению там, где начнется

ее наслаждение, и именно поэтому она упорно мне отказывает в нем, яростно вырывается от меня и скрывает свои ощущения, грех, мама, сколько проглочено облаток, сколько благочестия. Лежа на ней, придавив ее всей своей тяжестью, чтобы проникнуть вглубь до предела, я опять обвил руками ее груди, я кусал ее волосы на затылке, чтобы принудить ее лежать неподвижно, хотя ее спина и все туловище трепетали, прижимаясь ко мне против ее воли, и вздрагивали от жгучей боли, исторгавшей новые стоны, уже проникнутые приятием, и под конец, когда я начал отступать и снова углубляться, чуть отпрядывая, чтобы снова погрузиться, все больше овладевая ею, она все еще говорила, что я делаю ей больно, насилую ее, разрываю ее, что она больше не выдержит, что я должен уйти, должен его вынуть, что, пожалуйста, хоть чуть-чуть, хоть на минутку, что ей так больно, что, пожалуйста, что ей жжет, что это ужасно, что она больше не выдержит, что я делаю ей больно, ну пожалуйста, дорогой, пожалуйста, поскорей, поскорей, пока я не привыкну, дорогой, пожалуйста, чуть-чуть, пожалуйста, вынь его, прошу тебя, мне так больно, и стон ее, уже другой, когда она ощутила, что я спустил в нее, неудержимое рождение наслаждения, вся она, ее влагалище, и рот, и ноги умножали спазм, которым я пронзил ее, проколол до предела, ее ягодицы прижались к моему паху так плотно, что вся ее кожа стала моей кожей, и мы оба рухнули в зеленую огненную бездну под закрытыми веками, волосы наши смешались, ноги переплелись, тьма волнами хлынула на нас, как волнами вздымались наши тела, став единым клубком ласк и стонов, все слова стихли, одно лишь бормотанье раскованности, которая нас освобождала и возвращала к самим себе, к пониманию того, что эта рука — ее рука, и что мой рот ищет ее рот, дабы призвать его к примирению, к сладкой зоне лепечущей встречи, дружного сна.

Нет, они и впрямь чудаки — после того, как столько издевались над бедной Сусаной всякий раз, как она клеила вырезки для книги Мануэля, на них вдруг нашел приступ солидарности с ней, и начались тут баталии за единственную пару ножниц и тюбик с клеем, а Гомес так увлекся скотчем, что конец ленты пришлось добывать у него из левого уха, и можете себе представить, как это было больно, когда Люсьен Верней потянул и выдернул целый клок прямых волос, унаследованных от предков-индейцев. Поразительно, думает Людмила, свернувшаяся клубком в углу возле огарка свечи, и чего только нет в сумках и в карманах у этих южноамериканцев, когда Гад сидит в комнате наверху, где Эредиа и не думает скрывать от него дуло «парабеллума», а Маркос, Патрисио и Ролан отдыхают от трудов, жуя бутерброды и попивая вино мадам Верней, и кажется, будто ночь удлиняется специально для Мануэля, внезапно все изъявляют желание стать соавторами книги, и удивленная и обрадованная Сусана приветствует их усердное сотрудничество, поглядывая на Патрисио, который цел и невредим, хотя чуточку еще бледен, однако винное внутривенное вливание бодрит его до улыбки, и он сладко потягивается на ковре, не выпуская из рук бутерброд и стакан, ведь если Ролан поблизости, можно всего ожидать.

Мой друг с умилением смотрит на мордашки Людмилы и Сусаны, теперь, когда их мальчиков можно уже обнять и поцеловать, хотя долго заниматься этим не пришлось, ибо Патрисио предпочел отдых на ковре и стакан вина, у Маркоса есть о чем поговорить с Люсьеном Вернеем и Эредиа, телефон звонит каждые три минуты, но с накинутым на него полотенцем, дабы обмануть бдительность окрестных пенсионеров, подтверждается появление Гадихи на Кэ-дез-Орфевр («полицейское управление», бросает Гладис Оскару), и, вероятно, письма уже в руках у обалдевших или взбешенных послов, Ролан возится с коротковолновым транзистором, который издает странное урчанье, пока наконец в половине второго из него не выскакивают первые отклики, всеобщий переполох, пресс-агентства заполняют пробелы гипотезами, получение телеграмм из Рио-де-Жанейро не подтверждено, авторитетные источники в Лиме известили, что ожидается официальное сообщение аргентинской правительственной канцелярии, в Кито глубокое удивление вызвало известие о. До назначенного срока еще

пять-шесть часов, Оскар сменяет Эредиа в комнате наверху, менады хлопочут насчет кофе, Люсьен Верней настроился вздремнуть часок, пока Ролан несет дежурство в шале,— удивительно, насколько эти двое не верят в серьезность латиноамериканцев, Маркос глядит на французов с нежностью и иронией, что ж, пусть играют вволю на своем поле, кривясь от боли, он устало потягивается и ищет себе подушку под голову, Людмила прислоняется к нему и постепенно сворачивается клубком, как прекрасное творение Кнолля или Альваро Аальто, заслуженный отдых воина, ласкающая рука на его голове. Я им сказала, что люблю тебя, шепчет Людмила, прокричала во весь голос то есть. Сусане на кухне, и значит. А, замечает Маркос. Нет, конечно, не прокричала, не то Люсьен бы меня пристукнул, но все равно, мне было так страшно, я должна была это сказать. Ну, конечно, полечка. Блуп, Маркос, блуп. А Патрисио зевает, приканчивая четырехэтажный бутерброд, поглядывая на Сусану, которая строго сортирует материалы, самочинно предложенные ей в последние полчаса, нельзя ведь клеить в книгу Мануэля любую чепуху, первая премия вырезке Маркоса, она об удаче, и вдобавок случай тут подыграл, к заметке есть два приложения, которые когда-нибудь позабавят Мануэля, если он, упаси Бог, не отведал гриба за отсутствием чего-то повкусней, думает, хмурясь, Сусана, зеленая от страха и видя первые признаки смертельного поноса на каком-нибудь диване раввинчика.

Партизаны освободили в Мехико лидера ИРП

Мехико, 1 — Драма второго политического похищения, совершенного в Мехико в течение двух месяцев, завершилась сегодня освобождением заложника, однако правительство по-прежнему глубоко встревожено тем, какое влияние подобные инциденты могут оказать за границей на мнение о нашей стране.

Хайме Кастрехон Диас, ректор Государственного университета в Герреро и один из руководителей правящей Институционно-революционной партии (ИРП), этим утром вернулся домой, к семье в городе Такско, после 12 дней пребывания в плену.

В обмен на ректора похитители добились освобождения девяти левых оппозиционеров, которые были переправлены воздушным путем на Кубу и получили 2,5 миллиона песо (примерно 200 000 долларов), выплаченных семьей похищенного, одной из самых состоятельных в Герреро.

Санта Клаус
в
АРРОДС
с 4 декабря
Нач. 10 ч. 30 м.

Незабываемый уик-энд на новом судне класса люкс «ДОН ЛУИС»

— Я их наклею все подряд,— говорит Сусана,— они про удачу, а я в эти вещи верю,— и ipso facto [1], в одно мгновенье струя клея «пеликан» и резкий взмах ножниц.

— А это еще что за чушь? — мрачно спрашивает Патрисио, который считает своим долгом надзирать за лихорадочно клеящей и вырезающей Сусаной, которая едва справляется с внезапными приношениями Эредиа, Гомеса и Маркоса, готовых последнюю рубашку снять, чтобы обогатить книгу Мануэля.

— Ты о чем? — говорит Сусана, не слишком довольная перерывом в ливне манны небесной.

— Да вот эта фигня,— говорит Патрисио, показывая

[1] действительно *(лат.)*.

Новые спальные мешки предполагают размер, рассчитанный на двоих

Параллельно с усовершенствованием и обновлением ассортимента летних товаров осуществляется улучшение принадлежностей для кемпинга, предназначенных для любителей походов, все более популярной формы летнего отдыха.

Учитывая потребность в таких товарах, фирма «Ипанема», выпускающая спальные мешки, представила новый их вид, весьма недорогой, изготовляемый из синтетических материалов.

Главное преимущество этих спальных мешков — их набивка из «агротопа», полиэстрового волокна особой обработки, которое обладает свойствами натурального пуха и не сбивается в комья при стирке.

Чехол спального мешка изготовлен из ткани либо гладкой, либо в ярких узорах и может быть использован как практичный пододеяльник. Подкладка чехла — из лощеного нейлона, что обеспечивает мягкость и высокую прочность в местах застежек, наиболее подверженной износу части спального мешка.

— Это предлагаю я,— говорит мой друг, до сих пор не блиставший устными дарами,— только ради того, чтобы вы знали, какую словесную дрянь глотают в этот самый момент премногие ваши соотечественники на брегах нашей неподвижной реки.

Следует довольно-таки бурный диалог, насилу прерванный призывами parlez plus bas, nom de chien [1] Ролана, которому абсолютно непонятно, что происходит sub speciae bonaerensis [2], и ядовитый смех Маркоса и Патрисио, прочитавших заметку и sotto voce клянущих натуральный пух и прославление лощеного нейлона, не говоря уж о том, что, согласно заметке, и это особенно восхищает моего друга, размер, рассчитанный на двоих, предполагают сами спальные мешки, что вызывает тревожное подозрение, будто они способны рассуждать. Одной лишь бедняжке Сусане непонятны резоны столь бесстыдной интерполяции, и она готова запустить этой вырезкой в физиономию моего друга, каковой с великолепным спокойствием замечает ей, что его лепта чисто семантического свойства, дабы на ней Мануэль с малолетства учился обороняться от рекламного сиропчика, который способствует другим, телевизионным приманкам и так далее, и они спорят, вклеить заметку или не вклеить, как вдруг Патрисио достает другую бумажку и, подмигнув моему другу, дает ее Сусане. Ах нет, говорит Сусана, преступление гомосексуалистов, сами посудите, разве можно это вставлять в книгу Мануэля. Именно так, старушка, говорит Патрисио, к величайшему удовольствию моего друга, который пробежал заметку по диагонали методом Джона Ф. Кеннеди, тридцать строк за сорок секунд, ah merde, mais qu'est-ce que vous foutez [3], шипит разъяренный Люсьен Верней, которому в каждом окне мерещатся пенсионеры, мы толкуем о семантике, смеясь до слез, говорит мой друг, Сусана должна понять, что недостаточно совершать похищения заложников, если они не сопровождаются параллельными и дополняющими заметками, когда-нибудь Мануэль будет за это благодарен, как пить дать.

— Ты прав,— говорит Патрисио,— и вдобавок в этой заметке, которую я стибрил у Фернандо, когда он еще навещал нас,— а как запахло жареным, он послал нас к черту,— кроме лингвистического назидания, есть еще куча латиноамериканских нелепостей, старик, столько всего, что надо выкорчевать. Наклей это, Сусанита, наклей, обливаясь слезами, старушка, далеко нам еще до того дня, когда подобная заметка будет выглядеть как череп неандертальца или вроде того, а знаешь, это вино ударило мне в голову.

Покорно и уныло бедная Сусана берет тюбик с клеем, и таким образом

---

[1] говорите тише, чтоб вас *(франц.)*.

[2] с точки зрения буэнос-айресцев *(лат.)*.

[3] ах, черт, да что вы там валяете дурака *(франц.)*.

ОН БЫЛ ОФИЦИАНТОМ, ЗВАЛИ ЕГО МАНОЛО ГОНСАЛЕС

Преступление гомосексуалистов

Мотив — ревность

Вчера в полдень карабинер лейтенант Карлос Вальдовинос зарегистрировал новое убийство в среде гомосексуалистов, когда в доме на улице Сан-Мануэль, 2699, был найден труп официанта, «голубого», Мануэля Гонсало Руиса, 29 лет, который был задушен на рассвете другим «гомиком».

Обнаружил труп «сожитель» покойного, официант 30 лет Хосе Рейнальдо Нуньес Фернандес, который вчера в 9 ч. 30 м. пришел к своему «полюбовнику» сильно навеселе, так как всю ночь выпивал.

По словам соседей, Хосе Рейнальдо явился, шатаясь из стороны в сторону и распевая песню со следующими словами:

Любовью запретной,
любовью незваной
томится душа,
сжимаясь и ноя,
измученный страстью,
безумной и странной,
лишился я сна,
я лишился покоя.

Пройдя через калитку, он поплелся в дом.

Что произошло в доме и о чем сам Хосе Рейнальдо Нуньес Фернандос поведал репортеру «Пуро Чиле», выглядело так:

«Правду сказать, мой друг — гомосексуалист, а я всю ночь провел, «закладывая» в разных местах... ик! И когда вошел в квартиру, то увидел, что он лежит на полу, рот полон крови и вокруг шеи синяя полоса... ик!»

Он был гомик, но человек порядочный

Покойный (или покойная, sic!) более шести лет работал в баре «Сити», находящемся на углу улиц Бланко-Эскалада и Баскуньян.

Молодая симпатичная кассирша, заявившая, что ее зовут Росита, сообщила «Пуро Чиле», что Мануэль Гонсалес был человек не очень общительный и часто впадал в нервное состояние из-за ревности, которой ему досаждали его поклонники.

«В субботу,— сказала Росита,— Маноло попросил у меня разрешения отлучиться на час, мол, у него срочное дело, но на работу не вернулся, а потом я узнала, что его видели в «Франклине» с молодым парнем, тоже «педиком», у которого бакенбарды и красивая шевелюра, золотистая, как мед.

Потом мне рассказали, что в субботу вечером Маноло избили в заведении некоего «педика Херардо», расположенном в районе, который называют «Пунта».

Также говорят, что ревновали его два типа: у одного кличка «Негр», у другого «Энрике», и предполагают, что они могут кое-что знать о дружках Маноло.

Но полиция должна также допросить Хосе Рейнальдо Нуньеса Фернандеса, близкого друга Маноло, он жил с ним в одной квартире, чтобы им обоим скрасить одиночество».

Отвечая на наш вопрос, Росита подтвердила, что «Маноло был «педик», но человек порядочный; очень работящий и вежливый: напивался он только один раз в месяц и тогда пропадал на четыре-пять дней... не больше».

Арестован сожитель

Согласно информации, полученной из неофициальных источников, убийство, вероятно, произошло около четырех часов утра в дощатом сарае близ дома, расположенного во дворе в нескольких метрах от железной ограды.

Там убийца, видимо, и задушил гомосексуалиста с помощью полоски ткани, тонкой, но достаточно прочной, которую он, обкрутив шею жертвы, затягивал до момента ее смерти.

Затем убийца, вероятно, потащил тело Маноло Гонсалеса внутрь сарая, где попытался его повесить на балке, дабы инсценировать самоубийство, но, убедившись, что это ему не удастся, убежал, оставив на месте преступления пирожок.

Некоторые соседи из числа тех, кто любит жуткие происшествия, обвиняют в преступлении Хосе Рейнальдо Нуньеса Фернандеса — он, мол, совершив убийство, убежал, а затем вернулся в 9 ч. 30 м., чтобы все его видели,— так он создавал себе алиби с целью запутать полицию.

С другой стороны, соседи указали, что мать и другие родственники Хосе Рейнальдо Нуньеса живут рядом с сараем, где обитает он, и, мол, очень странно, что никто не слышал криков о помощи или какого-либо шума, хотя оба строения практически соединяются.

Во всяком случае, дабы не попасться на удочку убийцы, карабинеры задержали Хосе Рейнальдо Нуньеса и посадили под арест, чтобы сегодня пораньше передать его третьему судье по особо важным делам Педро Агирре Серде.

Район «гомиков»

Район между улицами Санхон-де-ла-Агуада и Сан-Хоакин и улицей Сан-Альфонсо плюс три квартала к востоку кишит «гомиками», и, как вы сами видите, сеньор журналист, на всякую старуху бывает проруха».

Так сказал вчера корреспонденту «Пуро Чиле» житель этого района Мигель Анхель Дельгадо Ромеро, который поселился там недавно, но достаточно хорошо знает своих соседей.

— Уверяю вас, что убийца Маноло из здешних...

Он смотрит на улицу и указывает пальцем на двух странного вида типов, направляющихся к жилищу убитого:

— Глядите! Эти два «гомика», что там идут, это «Энрике» и «Негр», друзья покойного.

«Гомики» подходят к дому и, увидев, что там полно карабинеров и детективов, обмениваются следующими комментариями:

— Боже мой! Я, кажется, сейчас сойду с ума, да, да, сойду... Могла ли я подумать, что беднягу Маноло отправят на тот свет!

— И я тоже, и если бы здесь не собралось столько настоящих мужчин, я бы ни за что не поверила.

Затем, сообразив, что, если они слишком приблизятся к месту преступления, их могут задержать, оба повернули обратно, отчаянно вихляя бедрами... Ну и ну!

— Забавно,— сказал Маркосу Патрисио,— эта ночь получается совсем не такая, как я себе представлял, даже похищение Гада не такое. Всегда все происходит иначе, и очень хорошо, Сусанита, что ты вклеиваешь в книгу Мануэля сообщения, совершенно не связанные с тем, что ты думала, когда покупала этот синий альбом на улице Севр.

— Ты романтик,— сказал Эредиа,— но, говоря откровенно, я тоже воображал это похищение как цветной фильм со шпионами и драками, а тут, гляди, сидим при свече и вырезаем фигурки из бумаги, хотя, конечно, фильм еще не закончился. И покамест, чтобы дать Мануэлю кое-что

посерьезней, дарю тебе, Сусана, вот эту заметку, не скрою, если ты прочтешь ее нашим блуждающим французикам, ты доставишь мне большое удовольствие в такой день, ох, долго я его ждал.

URUGUAY

Le prix d'un révolutionnaire et celui d'un ambassadeur

Les Tupamaros ont tenu leurs promesses. Sitôt retablies les garanties individuelles, suspendues le 8 janvier après le rapt de l'ambassadeur britannique, ils ont relaché un de leurs trois diplomates-otages: Dias Gomide, consul brésilien enlevé le 31 juillet, quelques jours avant Claude Ply, agronome américain, et Dan Mitrion, expert en repression affilié à la CIA, qui devait être exécuté par ses ravisseurs, au mois d'août.

A diverses reprises, Maria Aparicida Gomide, épouse du consul brésilien, s'était adressée aux Tupamaros par lettre, radio et télévision pour les supplier de libérer son mari. Ces appels avaient, à chaque fois, déchaîné le concert éploré des «humanistes» qui s'indignaient que des organisations politiques recourent au rapt pour obtenir la libération des détenus politiques. Nous publions ici une lettre inédite adressée à Mme Gomide, par Mme Borges Vieira Alves, épouse du journaliste Mario Alves de Souza Vieira, dirigeant du parti communiste brésilien révolutionnaire, mort sous la torture au début de 1970. Ce document permettra, pensons nous, de remettre les choses à leur juste place [1].

— Но ведь две колонки мелким шрифтом,— возроптала Сусана,— да еще при таком ужасном освещении, че. Ну ладно, освобождение бразильского консула, похищенного тупамаро, обращение его жены по радио и телевидению, безутешный хор лягушек-гуманистов, негодующих, что политические организации прибегают к похищениям, чтобы вызволить политзаключенных,— сказала Сусана железным тоном учительницы, подводящей к самому трудному пункту теоремы, тут еще напечатано письмо, полученное женой бразильского консула перед тем, как тупамаро возвратили ей мужа, вот оно: «Сеньора Апарасида Гомиде, Ваши страдания и страх известны всем. Пресса и радио ежедневно освещают Вашу драму: Ваш муж, дипломатический работник за рубежом, был похищен и, таким образом, оказался замешан в события политического характера. Сеньора, не одни Вы плачете. Однако о моем страдании и моем страхе не говорит никто. Я плачу в одиночестве. У меня нет Ваших возможностей заставить себя услышать, тоже сказать, что «сердце мое разрывается» и что «я хочу снова увидеть моего мужа». Ваш муж жив, с ним хорошо обращаются. Он вернется к Вам. Мой муж скончался от пыток, умерщвленный молодчиками Первой армии. Он был убит без суда и без приговора. Я потребовала выдать его тело. Никто меня не услыхал, даже Комиссия по защите прав человека. Я не знаю, что с ним сделали и куда выбросили. Его звали Марио Алвеш де Соуса Виэйра, он был журналист. Он был схвачен полицией Первой армии 16 января этого года в Рио-де-Жанейро. Его привели в казарму военной полиции, где жестоко избивали всю ночь, насаживали на зазубренный кол, сдирали кожу со всего тела металлической щеткой, потому что он отказывался давать сведения, которых требовали палачи. Заключенные, приведенные в пыточное помещение, чтобы вымыть пол, весь в крови и экскрементах, увидели моего мужа в агонии, кровь лилась у него изо рта и из носа, он лежал на полу голый, задыхался, просил пить. Военные палачи, пересмеиваясь, запретили оказать ему хоть малейшую помощь».

— Все понятно,— сказал Ролан,— ça va comme ça [2].

---

[1] **Уругвай.** Цена жизни революционера и жизни посла. Тупамаро сдержали свое обещание. Как только им были даны соответствующие гарантии, отмененные 8 января после похищения британского посла, они освободили одного из трех дипломатов-заложников, Диаса Гомиде, бразильского консула, похищенного 31 июля, за несколько дней до похищения Клода Плая, американского агронома, и Дэна Митриона, эксперта по репрессивным мерам, связанного с ЦРУ, которого похитители, вероятно, казнили в августе.

Мария Апарасида Гомиде, жена бразильского консула, многократно обращалась к тупамаро письменно, по радио и по телевидению, умоляя освободить ее мужа. Ее призывы всякий раз вызывали жалостливый хор «гуманистов», негодовавших, что политические организации прибегают к похищению, дабы добиться освобождения политзаключенных. Мы здесь приводим неопубликованное письмо, посланное сеньоре Гомиде сеньорой Борхес Виэйра Алвеш, женой журналиста Марио Алвеша де Соуса Виэйры, руководителя бразильской революционной коммунистической партии, погибшего под пытками в начале 1970 года. Этот документ, думается нам, поможет правильной оценке событий *(франц.)*.

[2] этого достаточно *(франц.)*.

— Ах нет, уж я закончу,— сказала Сусана, гневно посмотрев на него.— «Я знаю, сеньора, что Вам не понять моих страданий, ибо для каждого его горе больнее, чем горе другого. Но надеюсь, Вы поймете, что обстоятельства, приведшие к похищению Вашего мужа и гибели под пытками моего мужа, одни и те же; необходимо осознать, что насилие-голод, насилие-нищета, насилие-угнетение, насилие-отсталость, насилие-пытка ведут к насилию-похищению, к насилию-терроризму, к насилию-герилье; и очень необходимо понять, кто более виновен в насилии — те, кто доводят людей до нищеты, или те, кто с нею борются. Ваше отчаяние и Ваше горе показывают, что Ваш муж был любящим главой семьи, что Вы страдаете из-за его отсутствия и что его жизнь для Вас драгоценна. Марио Алвеш также был любящим главой семьи, мне также его недостает. У него осталась дочь, которую он обожал; он был умен, образован, добр, он никогда никого лично не обидел. Он погиб из любви к угнетенным, к жертвам несправедливости, к тем, у кого нет голоса и нет надежды. Он боролся за то, чтобы огромные материальные и человеческие ресурсы нашей родины шли на благо всем. Горячо желаю, чтобы было достигнуто соглашение, желанное для Вас и для тупамаро. Подпись: Дилма Борхес Виэйра».

— Уже светлеет,— сказал Эредиа.— Бери клей, милочка, а я приготовлю для вас утренний кофе, самый вкусный, особенно когда его готовит бразилец.

Голос его звучал странно, был словно не его, также и походка, когда он, повернувшись спиной ко всем, почти побежал на кухню.

Теперь надо пройти по мосту; это нетрудно, мост всего в нескольких метрах от отеля, город, как обычно, исподтишка обдает утренней суетой, небо серое, низкое, дождливое, запах горящей нефти, режут глаза афиши, этот цирк, каждую неделю меняющий рекламы — электроплиты, мебель в рассрочку, «рено», «филипс», агентства по продаже недвижимости, изъеденные временем образцы товаров, старинные порталы «Manufacture d'Instruments de Chirurgie en Caoutchouc et Plastique» [1], вывеска «Отель Террасс», мост, ведущий на площадь Клиши, на другую сторону; ничего не стоит пройти через мост, две дорожки с перилами для пешеходов, от гибели под колесами их охраняют муниципальные постановления, штрафы и другие наказания; главное — пересечь улицу, следя за красным светом и зеленым светом; ощущение почему-то такое, словно худшее осталось позади, воплотившись в оплату счета и в чаевые на облезлой стойке; нет, конечно, было бы преувеличением сказать, что пройти по мосту обратно — это проблема.

Проснулись мы в половине десятого, шторы оберегали нас от рассвета и от шумов; голова не болела ни у Франсины, ни у меня, хотя бутылка из-под «Мартелля» валялась на полу брюхом кверху, выставив все свои пять звездочек; усталость, Франсина гладит мне шею и, свернувшись клубком, говорит, что хочет есть и пить, телефон и поднос с завтраком, долгое стояние под душем, все, как всегда, начало нового, логичного, нормально предсказуемого дня жизни. Мне надо заменить мадам Франк до часу, давай побыстрей, надеюсь, здесь поблизости будет такси. Ну да, малышка, ты приедешь вовремя, в доходах твоей книжной коммерции ничего не изменится, я оставлю тебя, как цветочек, у входа, вот увидишь, ты продашь кучу премированных романов и два-три словаря. Я искал ее глаза, голая, чистая, она сидела в изножье кровати, снова идеальная славная подруга, да, дистанция между ночью и утром у нее безупречная; я искал ее глаза, потому что в них, возможно, что-то подскажет мне путь, будет бакеном в море и передышкой, неким алиби, если когда-нибудь придется объяснять, почему я не прошел по мосту, почему не передал послание для Гарсиа. А ты, Андрес? спросила я, я должна была это спросить, потому что в том, как он искал моего взгляда, уже словно бы притаился ответ. Ладно, я-то не торгую книгами, сказал он, приподнимаясь в постели, чтобы достать сигареты, я

[1] «Завод хирургических инструментов из каучука и пластмассы» *(франц.)*.

только должен произвести учет этих последних часов, которыми тебе обязан, которые помогают, может, и не понять что-то, но, во всяком случае, помогают сдвинуться с места, пойти вперед, а остальное мало-помалу само образуется, как то велит божественная мудрость. Я не хочу, чтобы ты ушел так, сказала я, ты мне столько наговорил, теперь я вправе предположить, что ты сделаешь глупость. Видишь ли, малышка, я не знаю, что я сделаю, и, вероятно, в этом-то и состоит глупость. В общем, хоть одно я все же знаю, а именно это.

Франсина поняла не сразу, оба голые, мы сидели на краю кровати, и, если исключить кровать, были вроде Адама и Евы в час изгнания из рая, погруженных в тьму и в прошлое, прикрывающих лица, чтобы не видеть дня, встающего над могилами там, внизу.

— Я не прошу у тебя прощения за происшедшее, детка, хотя это тоже форма такой просьбы, и ты не отрицай, не качай своей рыжей головой, ты меня щекочешь, и я засмеюсь, что в данных обстоятельствах не слишком достойно. Вчера вечером ты спросила, почему я хочу тебя унизить, и, возможно, после этой бутылки, после измывательств над твоей попкой и других, о коих ты помнишь, ты чувствуешь себя, как эта тряпка на краю биде. Позволь сказать тебе, что никто никогда не сделал для меня столько, в некоем смысле, который я сам едва понимаю, а тебе он показался бы неизлечимым безумием. К сожалению, трудно определить, есть ли тут какое-то равновесие, трудно определить, что я-то тебе дал с тех пор, как мы встретились вчера вечером в кафе, начиная с лицезрения мадам Антинеи, ты же ее помнишь, все, что я тебе говорил, все, что я никому, малышка, никому не говорил так, как тебе, ведь сверх всего было и другое, твоя кожа и твоя слюна, позволь, детка, сказать тебе только это, нет, я не унизил тебя, заставляя пить этот коньяк и насилуя, не унизил, все это смыл душ, все ушло, потому что я, конечно, тебя изнасиловал, детка, и, конечно, ты плакала, и, поспав часок, проснулась и обозвала меня подонком и садистом, и, говоря это, свернулась гусеницей, и пришлось начинать все снова, и это было так не похоже на прежнее — ты осознаешь, что не похоже? — а потом мы уснули сном праведников, и никаких кошмаров, и вот видишь, видишь, что у тебя в глазах, ты только взгляни в зеркало, детка, потом скажешь.

— Да, ты меня не унизил,— почти беззвучно сказала Франсина,— но ты-то, Андрес, что с тобой.

— Что ж, я уже говорил тебе, что ничего не понимаю, черное пятно все еще здесь, как вот эти шторы, но заметь, шторы-то мы раздвинем, как только ты прикроешь свои грудки, было бы жаль не увидеть такое пышное кладбище в панораме города, правда ведь, и, быть может, в какой-то миг пятно, точно шторы, отодвинется, и за ним будет не кладбище, а что-то другое, черт знает что, словом, что-то, и этим я обязан тебе, тебе и, конечно, мадам Антинее, не думай, что ты единственная спасительница.

— Дурень, дурень, почему ты смеешься, когда на самом деле ты... Нет, Андрес, дорогой, не скажу кто, уж не обижайся и не трогай, пожалуйста, мой платочек, вот так.

Потом мы уже мало говорили, я смотрел, как она одевается, оделся сам, думая о Гарделе [1] и о том, что настоящий мужчина не должен и так далее. Она, не противясь, вышла на балкон, мы смотрели на нелепые надгробия, на это пошлое увековечение великого безобразия. Мне надо идти, почти сразу же сказала Франсина, мадам Франк наверняка меня ждет. Для нее, конечно, не было орла или решки, начинался новый нормальный день. Нормальный, сказал я, целуя ее так, как никогда раньше не целовал, какое слово, детка. Но она меня не поняла, для нее значение этого слова было так логично, в нем и магазин и мадам Франк. Нет, для меня в Париже не было нормальных дней, как не было орла или решки для Франсины, грустно и молча входившей в кабину лифта, будто ее отсюда опустят прямехонько вниз, на кладбище. Да, знаю, ты будешь удручена, сказал я, гладя ее волосы, будешь плакать, тебе не преодолеть ни себя, ни меня,

[1] Карлос Гардель (1903—1935) — знаменитый исполнитель аргентинских танго и киноактер.

начинается еще один нормальный день, ты осталась цела и невредима в своей молочно-белой коже, в своей самодостаточной грусти, ты не захочешь понять смысл этой ночи, аминь.

— А ты, а ты.

— Вероятно, и я, по другую сторону моста ты и я будем такими, как всегда, у меня осталось достаточно честности, чтобы заподозрить, что комедиант выдумывает гибель мелкого буржуа, что он лишь воображает, будто, пройдя мост, окажется на другой территории.

— Ты уходишь?

— Ну, сперва я отвезу тебя домой because мадам Франк, видишь, я ничего не забываю, а потом я помчусь к Лонштейну узнать, что удастся, по радио, не говоря о том, что в этом киоске мы купим газету, уже должны быть первые громы.

— Но потом.

— Потом — не знаю, детка, возможно, позвоню тебе, чтобы сходить вместе в кино, во всяком случае, идти домой я сейчас не намерен, в квартире тоскливо и грязно, на полу, наверно, валяются очистки лука и вещи Людмилы, я, детка, эстет, мелкий буржуа тщится умереть, но, сама видишь, по другую сторону моста разница не очень-то заметна. Так что вскоре я тебе позвоню, если только ты не надумаешь идти играть в теннис или что другое.

— Не звони мне, играть в теннис я не пойду, но ты не звони.

Он посмотрел на меня так, словно вдруг перестал меня узнавать; потом направился к газетному киоску и вернулся с сигаретой во рту и газетой, раскрытой на второй странице; показав мне сообщение, он подозвал такси. Лишь тогда я подумала, что в глубине души всегда отказывалась этому верить, а теперь вот заголовки ползли по смятому газетному листу, как муха по столику в кафе. Он даже не вышел из такси проститься со мной; его рука погладила мне волосы, но он не вынул изо рта прилипшую к губам сигарету. Как всегда, выдернет ее в последний момент и, ободрав до крови губу, ругнется.

— На улицу Камбронн, угол улицы Мадемуазель,— сказал Андрес, бросая газету на пол такси. Ехать к Лонштейну, может, и не следовало, что там делать, кроме как курить и пить. На углу он вышел из такси, дальше пошел пешком, делая крюк, чтобы сбить со следа любого, кто, быть может, засекает гостей раввинчика, и заглянул в бар на улице Коммерс как раз тогда, когда посетители слушали информацию о дерзком похищении ответственного за координацию латиноамериканских интересов в Европе, как определил его пост диктор при полном равнодушии слушавших, ждавших сообщений о погоде и о полуфинале чемпионата, вот это важно. Я спрашивал себя, дома ли Людмила, ничего не стоило позвонить, но Людмилы же нет дома, там только лук да пластинки Ксенакиса и Джонни Митчелла, которого я не успел послушать, кофе, и Ксенакис, и Джонни Митчелл и кровать, соблазн, что и говорить, а через несколько кварталов, в одном из домов, наверно, Людмила, ведь Маркос не настолько безответствен, чтобы впутать ее в дело, которым была заполнена вторая страница «Фигаро», но Людмилы там, наверно, тоже нет, это от Маркоса не зависит, в любом случае лучше всего пойти к раввинчику и послушать известия, подумав это, я, конечно, не двинулся с места, затем другое кафе, так как пять звездочек «Мартелля» давали о себе знать в области двенадцатиперстной кишки, вероятно, я даже вздремнул в этом уголке, где не было никого, кроме собаки да двух пенсионеров, день был долгий, нормальный, правительства в ответ на ультиматум похитителей объявят свое решение вскоре после полудня по французскому времени; тогда орел или решка, для Бучи орел и даже более того, невероятно, подумал Андрес, потягиваясь и доставая сигареты, как-то вдруг осознаешь, что это не так уж странно, но даже модно, это случается в каждой стране, не говоря о воздушных пиратах, не понимаю, как это может до сих пор удаваться, ну ясно, координатор латиноамериканских интересов это вам не пустяк, но допустим, что там не

согласятся на обмен, допустим, что кончится срок, и тогда. Людмила наверняка дома, не может быть, чтобы. Тогда Маркос или Эредиа, они это сделают или Ролан. Да, но потом и в этой стране. Люд. Наверно, спит дома, я должен. Да нет, я ее знаю, телефон будет звонить в пустой квартире, эти бесконечные звонки, эти спазмы в желудке. А если мне поехать в Веррьер, но это абсурд, я могу еще ухудшить их положение, а Людмила небось дома или у Лонштейна, играет с Мануэлем, единственно разумный выход — пойти к раввинчику, странно, но я чувствую себя, словно и не принимал душ, а все этот липкий, нормальный день, нет, надо быть глупцом, навоображать себе, что надо, мол, сделать учет, что будет орел или решка, ничего не изменилось, старик, черное пятно на месте, хотя бедная малышка, бедная малышка смотрела на кладбище, ох и сукин ты сын, Андрес Фава, столько раз было орел или решка, а потом мост, когда возвращались с ней под руку, и вот мы идем, нормальный день для обоих, хотя ты этого и не хочешь, к чему столько грязи и столько валянья в кровати, где твое ночное завещание, дурень с писаной торбой, где орел или решка, почему клейстер черного пятна приклеил тебя к этой обтрепанной табуретке, к другой чашке кофе с коньяком, которую ты немедля закажешь.

— Чашку кофе и коньяк,— немедля, заказал Андрес.

В книге Мануэля эта заметка была вклеена под довольно-таки загадочным названием: «Злоключения мальчика на побегушках», копирайт на которое, вероятно, принадлежал Маркосу.

Встреча Бруно Кихано и Киссинджера не состоялась

ВАШИНГТОН, 4.— Как сообщает агентство Латин, Белый дом сегодня опроверг информацию, исходившую из дипломатических кругов, о том, что аргентинский министр юстиции Исмаэль Бруно Кихано встретился с советником президента Генри Киссинджером.

Представители экономическо-политической делегации аргентинского правительства, находящейся там с понедельника и ведущей переговоры о получении кредита более чем на 1 046 миллионов долларов, заявили в 16 ч. прессе, что такая встреча осуществилась.

Канцелярия президентского советника утверждает, что Кихано явился на встречу, однако доктор Киссинджер не мог его принять, ибо «в этот момент у него были неотложные дела».

К этому было добавлено, что Киссинджер предложил министру побеседовать с одним из своих помощников, «после чего Кихано, разгневавшись, удалился».

Одна из секретарш советника подтвердила, что в книге посещений была запись о встрече с Кихано.

Один из помощников Киссинджера сказал представителю агентства Латин, что «тот факт, что его патрон не смог принять министра, достоин сожаления, однако причина его в неожиданном возникновении срочных заданий президента. Мы стараемся обеспечить осуществление новой встречи».

Представители делегации, сообщившие прессе о якобы состоявшейся встрече, сказали, что Киссинджер и Кихано обсуждали отношения между Вашингтоном и Буэнос-Айресом в свете преимуществ, которые якобы отдают Соединенные Штаты своим отношениям с Бразилией.

Вдобавок они сообщили, что оба деятеля также рассматривали тезис о идеологическом плюрализме, о роли нынешнего чилийского правительства на континенте и о политическом и институциональном будущем Аргентинской Республики.

Экономическая делегация, собирающаяся отбыть в Нью-Йорк, отменила назначенную на сегодня пресс-конференцию, на которой предполагалось заслушать ее заявления о результате якобы успешных пятидневных переговоров в Вашингтоне с североамериканским правительством, Валютным фондом и Всемирным банком.

План этих переговоров был намечен Кихано — еще до того, как он в октябре занял пост министра юстиции,— и Луисом Кантило, приближенным президента Лануссе.

Как можно было предвидеть, Лонштейн все время забывал про Мануэля, который меланхолически сосал бахрому занавески на окне, не стиранной с 1897 года, когда хозяйка квартиры мадам Лавуазье повесила столь полезную принадлежность, дабы предохранять глаза от солнца, каковое, по мнению раввинчика, черта с два увидишь в этом так называемом граде

Просвещения. Еще не позвонив, Андрес услышал хохот Лонштейна, и тот подал ему левую руку, потому что в правой у него была вырезка, вероятно предназначенная для того, чтобы ее когда-нибудь прочел Мануэль, если питательные бульоны из бахромы позволят ему дорасти до грамотности.

3-я годовщина

НЕСКОЛЬКО МНЕНИЙ

«Имахен» №№ 70—71

«В каждом номере «Имахен» дает весьма представительную литературную подборку, что, на мой взгляд, ставит его в число самых лучших и актуальных журналов в наших странах».

Эдмундо Валадес,
Президент ассоциации
писателей Мексики и
Редактор журнала
«Куэнто».

«Полагаю, что вряд ли какой-нибудь из латиноамериканских литературных толстых журналов сравнится с «ИМАХЕН» по актуальности и уровню тем»

Луис Вайнерман
Аргентина

«Характер журнала, его тонус, хороший вкус, который чувствуется в его содержании и оформлении, делают его значительным явле-

— Нет, ты погляди, какая прелесть,— прохрипел раввинчик,— какой суперизобор, старик, журнал справляет свой день рождения, и ты прочитай, что пишет один из наших соотечественников, думаю, в искусстве пустословия никто его не превзошел.

— Самое осмысленное здесь — это, по-моему, кружок, которым ты обвел его мнение,— сказал Андрес, падая в кресло и одновременно обнаруживая там ножки Мануэля, безнадежно запутавшегося в занавеске и пребывающего в экстазе сосания. Потрудившись, Андресу удалось извлечь его из мальстрема бахромы и кистей, хотя и не без борьбы, ибо Мануэль, как настоящий мужчина, упорно сопротивлялся, ведь оставалось еще обсосать сантиметров тридцать бахромы, и когда малыш очутился на коленях у Андреса и стал рассказывать ему что-то вроде «ифктугпи», «фэнудэ» и прочих подобных словечек, Андрес спросил Лонштейна, давал ли он ребенку хоть немного молока и той дурацкой пищи, которой пичкают младенцев.

— Давал, но немного,— сознался пристыженный раввинчик,— Сусана, видишь ли, оставила три литра с лишком, но ты же понимаешь, что из-за известий по радио и патриотического энтузиазма, который во мне возбудила вот эта заметка, я не очень-то мог соблюсти режим молококормления, уж не говоря о том, что гриб стал у меня клониться вправо, и это кажется мне дурным знаком. А в общем, как подумаю, во сколько обходится один бифштекс моей женушке в ее домике в Рио-Куарто, а тут эти

кретины швыряют сорок девять миллионов долларов на самолеты, чтобы пугать бразильцев.

Argentine

Le gouvernement argentin s'apprête a achter 14 Mirage francais

BUENOS-AIRES (A. P.) — le governement argentin est sur le point d'approuver le contrat d'achat de quatorze chasseurs Mirage-III conclu avec la société Dassault et qui porte sur un total de 49 millions de dollars (269,5 millions de francs).

Un porte-parole officiel a indiqué qu'un decret à cet effet attend la signature du président de la République [1].

— Давай, старик,— сказал Андрес Мануэлю, который начал понимать, что обстановка в доме улучшается,— давай пей, пока этот варвар перескажет мне известия.

— Фиата, фика, фифа, фига,— сказал Мануэль, очень довольный.

— У него поразительные мнемонические способности,— удивился Лонштейн,— вчера вечером он слышал мое каббалистическое толкование аббревиатур в списке международных организаций, который мне передал Расмуссен, наш копéн, он в ЮНЕСКО писмашинирует; кстати, знай, что У Тан упустил единственный в жизни случай решить международные проблемы, взгляни на список и сам посуди.

— Известия,— повторил Андрес.

— А, чепуха, все то же, срок ультиматума истекает в полдень, все правительства возмущаются, французская полиция идет по следу, нюх, нюх. Кто-нибудь видел, как ты входил, байзе-уэй [2]?

— Думаю, что нет.

— В конце концов вы меня угробите, я такую ночь провел с этим дитятком, ты не представляешь, то ему надо писать, то просит есть.

— Ты же его моришь голодом,— сказал Андрес, осуществляя переливание молока из бутылки в Мануэля,— смотри, бедняжка засыпает, ты, бесстыдник, я об этом донесу в ФАО и в ЮНИСЕФ, раз уж речь зашла об аббревиатурах.

Вдвоем они уложили малыша, очень бережно, чего от них трудно было ожидать, тем временем вскипела вода для кофе, и раввинчик пошел рассуждать об аббревиатурах, пока, после второй стопки водки, Андрес не взглянул на него («ожидается информация о потрясающем похищении... между тем Мирей Матье поет о большом успехе») и не спросил сердито, какого черта он занялся аббревиатурами теперь, когда творятся такие дела, словно Лонштейн зарекся говорить о Буче, хотя транзистор, неудержимо лопотавший про bossa nova [3] и Мирей Матье, был у него все время включен, и Лонштейн опять завел свое насчет интернационального синкретического языка и аббревиатур, ведь можно сказать, что все сводится к этому перечню неуклюжих чудищ, кишащих в напечатанном на ротаторе листке, который раввинчик с презрением кинул мне.

— У меня на то есть причины,— сказал Лонштейн,— и кстати, скажи, что это ты такой бледный, друже?

— Да так, плохо спал, и вообще я сейчас уйду, так что дай мне точный адрес.

— Ах, старик, да это...

— Говори,— повторил Андрес.

— Но разве не интересней было бы тебе узнать, что такое КОНОВК или ГСАРАТЛ? ВООЗД и АЕДЖИ — это тебе ничего не говорит? [4]

---

[1] *Аргентина. Аргентинское правительство собирается закупить 14 французских «миражей».* Буэнос-Айрес (А. П.).— Аргентинское правительство готово одобрить контракт по приобретению четырнадцати истребителей «мираж-III», заключенный с компанией «Дассо» на сумму 49 миллионов долларов (269,5 миллиона франков).

Официальный представитель заявил, что соответствующее постановление вскоре должно быть подписано президентом Республики *(франц.)*.

[2] От английского by the way — кстати.

[3] название бразильского танцевального джазового ритма *(порт.)*.

[4] Поскольку пассаж с аббревиатурами имеет игровой, а не информативный характер и даже в оригинале их расшифровка не всегда согласуется с приведенными в аббревиатурах начальными буквами, переводчик берет на себя смелость здесь и далее не проявлять в ней чрезмерного педантизма *(прим. переводчика)*.

— Ну пожалуйста, старик.

— Ах, ясно, вечное пожалуйста, пожалуйста... Сперва я должен тебе объяснить, что эти фонемы соответствуют не более и не менее как Комиссии Объединенных Наций по объединению и восстановлению Кореи, Главнокомандующему союзных армий региона Атлантики, Всемирному объединению организаций защиты детства и, держись покрепче за кресло, Ассоциации Европейской джутовой индустрии.

— То есть я вижу, ты не хочешь дать мне адреса.

— Вовсе нет. Я задал тебе вопрос, ты мне ответил сайдстепом [1], так изволь слушать.

— Я ухожу, Лонштейн.

— Ах, сеньор уходит. Заявление о намерениях, но я на это — сам понимаешь.

— Трудно объяснить,— сказал я,— ох, как трудно, Лонштейн, я сам этого не понимаю или понимаю что-то не то. Старая история, проспал я одно дело, а там Людмила и Буча, и какая-то усталость одолела.

— Да уж, брат, сел ты в лужу,— сказал раввинчик,— но на все твои резоны, повторяю, я. Очень легко стать в шеренгу после отбоя, детка, во всяком случае, из всех слов, которые ты сейчас произнес, правдиво звучит только Людмила, то есть опять-таки зетолдблэкмэджиколдлав [2], как пела illo tempore [3] Джуди Гарланд.

— Ну конечно, только теперь есть другой, не зря же Людмила ушла с Маркосом и готова к тому, что ее там убьют.

— Да, это можно было предвидеть, у всех у вас бинарное поведение, сам Павлов уснул бы со скуки, глядя, как вы движетесь,— то в Бучу, то в секс, это возмутительно, и мне вечно приходится быть тем, кто гладит кошку против шерстки, так, по крайней мере, вы должны мне позволить чуточку развлечься, однако, когда я вам показываю гриб, вы меня осуждаете, а когда я говорю моему другу правду в глаза... ну ладно, по-честному я должен признать, что он вел себя неплохо, если учесть, что дело-то нешуточное.

Андрес ни слова не понимал из того, что раввинчик произносил с большой горячностью. Он выпил еще стопку водки, голова немного закружилась, все вокруг поплыло, окно уже было не совсем там, где Мануэль сосал бахрому, все мягко поднималось из желудка и опускалось туда же, если бы ванильный крем обладал разумом, подумал я, он бы так написал свои мемуары. Может быть, Лонштейн все же скажет мне адрес, вижу, он все еще злится и язвит, лучше выждать, посмотреть этот его пресловутый список аббревиатур, пусть он потреплется, пусть выпьет еще чуточку водки, а мне лучше закрыть глаза да слушать, в конце концов раввинчик совершенно прав, да только Людмила в этом тошнотворном Веррьере, и надо поехать, увидеть ее, быть там, Буча, да, конечно, и Буча, потому что и Фриц Ланг, нет, несправедливо говорить мне, что только Людмила, и, однако, все ясно, вполне ясно в этот час, я слушаю рассуждения раввинчика, как ты была права, Франсина, насколько отличается один треугольник от другого, если употребить это старое словечко, и куда привела моя дешевая пошлая мужская аргентиннейшая теория треугольника, где вершина я, а обе они — два остальных угла, теперь, когда Людмила и Маркос вместе, будущее рисует треугольник, где

АКИ — Администрация международной кооперации, Соединенные Штаты Америки.

АЕДЖИ — Ассоциация Европейских предприятий джутовой индустрии

АФИА — Американская ассоциация иностранных страховых компаний

АИДА — Международная ассоциация распределения продовольствия

АИГА — Международная геодезическая ассоциация

[1] От английского side-step — уклоняться, увиливать.

[2] От английского That old black magic old love — эта старая колдовская старая любовь.

[3] в прежние времена *(лат.)*.

АРФА — Ассоциация по изучению пародонтопатии
АРО — Секция Азиатского региона
БЕЕП — Европейская секция народного образования
БИС — Международный платежный Банк
КАК — Административный комитет координации
КАТ — Комитет технической помощи
КЕКА — Европейское объединение угля и стали
ЦЕФЕА — Центр фундаментального образования в Арабских государствах
КИАО — Международная конференция западных африканистов
ЦЛИНМАР — Центр международных связей продавцов и ремонтников сельскохозяйственных машин
КОНОВК — Комиссия Объединенных Наций по объединению и восстановлению Кореи
КОРСО — Корпорация по поощрению производства
ЭХО — Европейская организация угля
ЭМА — Европейское валютное соглашение
ЭПА — Европейская служба производительности труда
ЭСА — Зональная служба восточной части Южной Америки
ЭТК — Комитет по туризму в Европе
ФАМА — Фонд взаимопомощи в Африке на юге Сахары
УРОД — Международная федерация художественного образования
ФЭНУДЭ — Специальный фонд Объединенных Наций для экономического развития
ФИАТА — Международная федерация ассоциаций транспортников
ФИКА — Международная федерация железнодорожников трезвенников
ФИФА — Международная федерация художественного кино

двое мужчин и одна женщина, теоретически такая гипотеза возникала, но теперь, теперь. Да, теперь, Людлюд, теперь.

— Мой метод в высшей степени рационален,— говорил Лонштейн, не глядя на меня,— подлинная координация и польза этих организаций должна определяться, исходя из аббревиатур, по соображениям одной лишь семантики, в слове этом, как ты слышишь, заключена «мантика», а в ней-то вся суть, хотя этот кретин У Тан черта с два поймет ее.

— Ладно, Лонштейн, прости, что я тебе надоедаю, я, знаешь ли, на краю чего-то, сам не знаю чего, но на краю, и значит.

— Вам невдомек, что подлинный фортран состоит в комбинациях, которые предоставляет именно изобор аббревиатур, и что здесь первая задача это забыть, что они обозначают такие нелепости, как Специальный счет для ликвидации заболоченности, ты только послушай, или Туристическая ассоциация зоны Тихого океана.

— Ну разумеется, старик.

— Например, если ты заметил, что аббревиатура этого самого Счета звучит «стол», а Ассоциации — «стул», тебе надо всего лишь соединить «стул» со «столом» и, исходя из этого, создавать фортран, как воссоздают по одной косточке, из которой в конце концов получаешь весь скелет целиком.

— Я не хотел тебя обидеть, Лонштейн, мне бы надо было сперва так много объяснить тебе, тот балкон и еще.

— Главная задача состоит в том, чтобы выловить сочетания-катализаторы, четкие указания — изобор, изобор! Признаюсь, в данный момент дело у меня несколько застопорилось, но я не отчаиваюсь и надеюсь систематизировать всемирность кретинофондов и протоплазмировать новую структультуру, которую мы немедленно представим в ЮНЕСКО, хотя бы для того, чтобы вдоволь потешиться, когда будут увольнять Расмуссена.

— В котором часу следующий выпуск новостей?

— Он все о своем. В половине первого. Ну вот, глянь сюда и скажи, разве не чувствуется, что ЭМА,

ФИГА — Международная федерация гинекологов и акушеров
ИФКТУГПИ — Международная федерация профсоюзов рабочих карандашных и бумажных предприятий
ИУФО — Международный союз организаций по защите семьи
ХУЛЕП — Объединенная образовательная программа ЮНЕСКО и Либерии.
ЛИДИЯ — Международный союз пищевой промышленности
ЛИЛА — Международная лига старинной книги
СТОЛ — Специальный счет для ликвидации заболоченности
МЕТО — Организация по соглашению на Среднем Востоке
ОЦАС — Организация Центральноамериканских государств
ОРКА — Европейская организация по координации исследований фтора и профилактики кариеса
СТУЛ — Туристическая ассоциация зоны Тихого Океана
ПУАС — Почтовый союз Америк и Испании
ТАО — Мероприятия по технической помощи
ВООЗД — Всемирное объединение организаций защиты детства
УНПОК — Комитет по соблюдению мира
УНТА — Техническая помощь Объединенных Наций
WCC — Всемирный совет церквей

АИДА, ЛИДИЯ и ЛИЛА предназначены для нового хоровода часов или для рождения Венеры и что их необходимо соединить, хотя бы все исполнительные комитеты бросились вниз головой с крыш, которые у этих организаций всегда есть. И заметь, что для этого хоровода истинного согласия и сотрудничества у них будут такие восхитительные вещи, как АРФА, ЭХО и ФИГА. Конечно, если посмотреть, чему соответствуют эти столь мелодичные буквосочетания,— огорченно пробормотал раввинчик,— то понимаешь, что дистанция тут галактическая. Далее, если вникнуть хорошенько, то, кроме Лиги старинной книги, смысл коей мне не вполне понятен, о бедняжка Лила, у всех остальных есть свои связи, че, и прежде всего денежки Валютного соглашения, приводящие в движение солнце и прочие светила, затем горючее, харч и питье, последнее оказывает вредное влияние, хотя причины пародонтопатии еще не совсем ясны. Ах, да это просто чудо,— вскричал раввинчик, вновь обретая надежду,— я вижу вершину, целый фонтан сочетаний, ну как не понять, что если начнешь возню с этими красотками Аидой, Лилой и прочими, то дело кончится гинекологией и акушерством. А там — потомство, Великое Творение движется вперед, о Яйцо! Яйцо!

— По-моему, сейчас уже время новостей. Извини, старик.

— Что мне в твоих извинениях, когда я обнаружил такой сверхъестественный факт, что УРОД обозначает не более и не менее, как Международную федерацию художественного образования, а WCC — Всемирный совет церквей! По этому пути я приду прямехонько к таким открытиям, что куда там Витгенштейну [1].

— Слушай,— сказал Андрес, включая радио погромче,— три правительства согласились освободить заключенных, которых назвала Буча.

— Еще бы,— сказал раввинчик, который не так-то легко сдавал позиции,— им остается теперь лишь примириться с тем, что им поднесена большущая ФИГА, и страшиться выступления на БИС. Да, да, я буду продолжать, пока не дешифрую и не докодирую все последствия, и поверь, что тогда им понадобится ТАО. Что до тебя, почему бы тебе не посидеть спокойно здесь? Ты идеальная baby-sitter, меня же Мануэль совершенно не признает.

[1] Людвиг Витгенштейн (1889—1951) — австрийский философ и математик, выдвинул теорию логического анализа языка.

— Дай адрес, Лонштейн. Не знаю, как тебя убедить, мне надо ехать, вот и все. Дай адрес, братец.

— По сути, я не должен бы этого делать,— проворчал раввинчик.— Во-первых, я его не знаю, а потом, тебя же никогда Буча не интересовала. Да, понимаю, Людмила и прочее, но ты ведь даже не знаешь, поехала ли она с Маркосом.

— О нет, знаю,— сказал Андрес, проводя ладонями по лицу,— мне для этого не надо звонить домой, она должна была поехать, победителю достается все.

— Твои аргументы меня не убеждают, ты лучше подожди, пока они вернутся, и тогда уж предавайся достоевщине, ну зачем тебе ехать в этих мерзких поездах.

— Понимаешь,— сказал я, стараясь говорить осмысленно в этом тумане, где из уст Лонштейна сыпались всякие «клинмар», «орка́», «воозд» и т. п.,— в общем-то, ты не так уж отличаешься от наших, ты требуешь от меня последовательности и связно́сти, того же потребовали бы люди вроде Ролана или Гомеса, будь они здесь. Ты вдруг стал на их сторону, подавай тебе логику и убедительные аргументы, тебе плевать на то, какую ночь я пережил, на невероятную уйму глупостей, которые я совершил, чтобы выяснить «орел или решка», но обо всем этом я тебе не расскажу, я, знаешь ли, небольшой охотник исповедоваться, так что смотри на меня хорошенько и решай.

Смо́треть-то на него Лонштейн смотрел во все глаза.

— Хорошо бы нам прекратить пролего́мены и прочую чепуху,— сказал раввинчик.

На четвереньках приполз Мануэль и уцепился за левую штанину Андреса, затем за правую и, держась за обе, весьма решительно приподнялся, произнося словечки вроде «бееп», «ифктугпи», «фига», «афиа» и «аеджи».

— Малыш кругом обделался,— сказал Андрес,— не понимаю, как можно было брать тебя в няньки.

— Сусана мне оставила в спальне кучу ваты и пеленок, кремы и тальк и прочие гадости, но сам понимаешь, гриб, новости, кстати, заметь, какие способности к имитации у этого карапуза, он отчетливо выговаривает «афиа» и «ифктугпи», что отнюдь не легко.

— Ты опять за свое, а сам же говоришь, что надо прекратить пролегомены. Давай сделаем хоть что-нибудь полезное, не совсем же мы бестолковые, че.

Раввинчик, видимо, понял намек и последовал за Андресом, они вместе усадили Мануэля на кровать и раздели, вся нижняя часть туловища у малыша была в причудливых узорах и пахло от него отнюдь не «Шанелью». Робко и неуклюже, боясь сломать ребенку ножки, если нажмут покрепче, и полагая, что провести ватным тампоном по замаранным местам грозит ужасными последствиями, они даже не услышали сообщения о том, что последнее из южноамериканских государств, к которым обращались, согласилось отправить на самолете пятерых партизан, названных Бучей. Процедура мытья рук, а для Лонштейна еще и левой щеки и локтя заняла времени не меньше, чем переодевание Мануэля, но в конце концов все трое вернулись в гостиную, объединенные великолепным чувством братства и чистой совести. Позже мой дру́г отметит, что этот эпизод, отчасти копрологический и уринарный, имел немалое значение, ибо после него Лонштейн налил Андресу стопку и очень серьезно, почти торжественно спросил, какого черта он требует адрес в Веррьере, дружба дружбой, а чувство долга, пусть невыразимое, тоже не пустяк. Какого долга, сказал Андрес. Понятия не имею, сказал Лонштейн, но ведь не зря мне оставили малыша, а сами отправились устраивать катавасию, которая дорого обойдется всем нам, мать их растак.

— Ифктугпи,— сказал Мануэль, досасывая оставшуюся часть бахромы.

— Я сам тоже не вполне понимаю почему, старик. Конечно, Людмила спала с Маркосом, но за это никто, начиная с меня, не вправе ее упрекнуть. Беда в том, что непременно наступает момент, кога ты встаешь и снова одеваешься и вдруг видишь, что ты находишься всего в полсотне метров над кладбищем или в загородном доме, где похищенный Бучей сукин сын готовится развязать кампанию франкоюжноамериканских репрессий, да что тут говорить.

— Ах, значит, Людмила отправилась с ними,— сказал раввинчик, ничуть не удивляясь.— Не думай, что я упаду со стула, еще недавно самым худшим для тебя казалось то, что ты на краю, что в Людмиле проснулось нечто аргентинское. Но одно дело она, а другое ты, братец.

— Ну да, я. Конечно.

— И то, что ты явился ко мне, скрывая свою обиду дикаря из пампы, я могу понять, у всех у нас есть сердце, черт возьми, но от этого до предоставления тебе адреса — дистанция в несколько верст.

— Согласен,— сказал Андрес, залпом опорожняя стопку и столь же проворно наливая снова,— но беда в том, что ты тоже хотя еврей, но гаучо, и когда надо что-то понять, у тебя на первом месте болеадорас [1], а уж затем Талмуд. Эх ты, недотепа, почему не посмотришь мне в глаза, не попытаешься понять.

— Фэнудэ! — закричал Мануэль, найдя особенно засаленный участок бахромы и жадно его обсасывая.

— Ты слышишь,— с восхищением сказал раввинчик,— это же не что иное, как Специальный Фонд Объединенных Наций для Экономического Развития.

— Начхать,— сказал Андрес,— я только спрашиваю себя, почему все надрываются, готовя ему на будущее этот альбом, когда у малыша уже есть такое вельтаншаунг, что позавидуешь.

— Ладно, во всяком случае, извини за то, что ex abrupto [2] перебил тебя,— сказал Лонштейн, подавая ему сигареты,— но чего ты хочешь, у нас обычно все происходит, как в наших танго, ревность, мужская честь и прочие страсти. Моя иудейская мудрость говорит мне, что в жизни есть и другое, но, вероятно, лучше бы ты сам объяснил мне, что это за роковой Фриц Ланг и другие загадки, на которые ты намекал, что бесспорно доказывает твою принадлежность к агонизирующей олигархии.

— Все очень просто,— сказал Андрес, улыбнувшись впервые за это утро,— я хочу быть с Людмилой в радости и в горе, не знаю, что ты здесь найдешь олигархического, и в данном случае я боюсь горя, потому как радость она встретила вчера вечером, и не я стану эту ее радость оспаривать, ты же знаешь, что мы, офранцуженные аргентинцы, полностью теряем мужской дух и, по единогласному мнению нашего народа, мы педики безродные. Надеюсь, ясно?

— В общем, да,— сказал Лонштейн,— теперь, осветив мужской аспект проблемы, позволь тебе заметить, что есть и другой, не менее важный, а именно — я не очень понимаю, почему тебе вдруг захотелось впутаться в историю, которая плохо кончится, это уж точно. Да, знаю, в горе, я слышал. Но ты возьми в толк, что Буча это не только Людмила, есть по меньшей мере несколько миллионов миллионов, участвующих в этом танце. Ну и что ты дашь взамен за требуемую информацию?

— Ничего,— сказал Андрес.— Как поет Каэтано Велосо на пластинке, которую ставил нам Эредиа, «нет у меня ничего, ведь я не из здешних». Даже не могу, как в песне, дать тебе Ирену.

— Сеньор желает многого, но ни с чем не хочет расстаться.

— Да, старик, ни с чем не хочу расстаться.

— Даже с самой малостью, например, с утонченным писателем, с японским поэтом, которого знает он один?

[1] Разновидность лассо у аргентинских гаучо и индейцев.

[2] внезапно *(лат.)*.

— Да, даже с ними.

— С Ксенакисом, со своей экспериментальной музыкой, своим free jazz, своим Джонни Митчеллом, своими репродукциями абстрактной живописи?

— Да, братец. Ни с чем. Все это унесу с собой, где бы я ни был.

— Каждому свое,— сказал Лонштейн.— Тебя ничем не прошибешь.

— Вот именно,— сказал Андрес,— потому что ничего такого особенного со мной не произошло, ты вот говорил о том, что в Людмиле проснулось нечто аргентинское, и, вероятно, ты прав и Людмила теперь совсем не та женщина, которую я знал, но со мной произошло лишь то, что мной овладело что-то вроде подозрения, почти желания, чтобы со мной что-то произошло, старик, и чтобы ты меня понял, я должен бы тебе рассказать о Фрице Ланге и, когда-нибудь, о мухе, о черном пятне, понимаешь, о чем-то неосязаемом.

— Вероятно, я останусь в дураках,— сказал раввинчик,— но что муха и пятна тебя довели до ручки, это бесспорно, говорю тебе я, который каждую ночь совершает туалет нескольким особам такого же вида, извини за сравнение.

— Ба, я много часов провел, пытаясь открыть кучу дверей и, вероятно, закрыть кучу других дверей, пытаясь разглядеть, что там, в пятне и в мухе, а в итоге все остается более или менее прежним, кроме того, что где-то в Маре, возможно, плачет девушка. Понимаешь, сломать все ульи, все миллионы шестигранных ячеек, накопившихся со времен Ура, Лагаша, Агридженто [1], Карфагена, с каждой исторической вехи, все эти шестигранные хромосомы в каждом из нас, поди попробуй, Лонштейн, самоубийство в сравнении с этим саморазрушением — ничто, ты об этом думаешь, ты как будто это чувствуешь, а главное, воображаешь, что сумеешь это пережить, ты берешься за первый шестигранник, который, я, между прочим, ради удобства называю треугольником, и вот, бац, контрудар от тебя самого, этакий аутонокаут, прошибающий тебе печень ударом кулака почище, чем Джек Демпси, а еще справься у аргентинцев, которые встречались с диким быком из пампы.

— Че, малыш,— с искренним восхищением сказал раввинчик,— я и не знал за тобой этих народнических склонностей, ты, с твоим Ксенакисом, с твоей чистенькой культуркой — диванчик да лампа слева. По сути, ты почти такой же, как мой друг и как я, если мы попробуем себя экстраполировать в истории, нам, всем троим, каюк, спроси у Чжоу Эньлая.

— Это совершенно неважно,— сказал я, теряя терпение,— дай мне адрес, и я уйду.

— Всякий фортран желателен и необходим,— сказал Лонштейн,— надеюсь, что смысл твоего пампасного треугольника шире, чем сочетание Людмила, Маркос и ты, важно бы знать, сумеем ли мы когда-нибудь овладеть фортраном. В любом случае, хорошо, что ты понял, что духовный мир аргентинцев это еще не весь мир и, во-вторых, весь мир не принадлежит только мужчинам, ты можешь себе изобретать любые геометрические фигуры, ты воображал, что твоя схема очень удобна, а теперь ты обнаружил, что у женщин тоже есть свой треугольничек. Ладно уж, садишься в метро на станции Люксембург, я нарисую тебе на бумажке, Маркос меня убьет, это точно, если только его не убьют раньше, потому как муравьи, уж можешь себе представить, не говоря о местных сыщиках.

— Я приеду вечером,— сказал Андрес,— и буду осторожен.

— Если доедешь,— сказал Лонштейн.

Его бумажки перемешиваются точь-в-точь как сама жизнь, вот, например, вы зашли в «Базар два мира», если он еще существует, и, купив отвертки, дезодорант и гвозди разных сортов для работ в уик-энд, идете

[1] Ур — город в Месопотамии, родина ветхозаветного патриарха Авраама, родоначальника евреев. Лагаш — древний город в Вавилонии, на территории современного Ирака. Агридженто — древний сицилийский город.

платить, и когда дама у кассы нажимает на блестящие клавиши своего электронного аппарата и наконец выползает довольно-таки длинная бумажная лента, на ее нижнем конце отчетливо видна сумма 389,45 песо, взглянув на которую вы становитесь похожи на черепаху, внезапно извлеченную из ее панциря, и заявляете, что этого не может быть, так как две отвертки и семь гвоздей не могут стоить такую кучу денег, что вы мне говорите. Конечно, дамы эти из принципа всегда утверждают, что сумма точна и что кассовые аппараты не врут, однако, проведя мануальное и визуальное исследование, инспектор, всегда появляющийся в таких случаях, приходит к выводу, что даже ракеты, запускаемые на Луну, подводят, а стоят они, поверьте, ого сколько долларов, после чего профессиональная честь дамы спасена, она опять разыгрывает свою пьесу, и нате вам, вылезает чек на 38,94, каковой мы без долгих слов оплачиваем среди всяких «извините, сеньор», «такое с каждым может случиться», «ну, разумеется, сеньора», «о чем тут говорить», «вот история». Точно так же мой друг теперь не сумел бы с полной точностью определить время, когда Ихинио беседовал с Гадихой да какие инструкции были даны комиссаром Пиллоденом бригаде 56-С, находящейся в Бург-ля-Рен, да как звучали ночные воспоминания Гадихи, учитывая то вполне очевидное обстоятельство, что память человеческая имеет свои пределы и никто не обязан помнить, кто такой был этот Ихинио, кроме Гадихи, которая прилипла к телефону, меж тем как горничная приносит ей в спальню ночной горшок, ибо ночные волнения дали себя знать в виде поноса, по сравнению с коим Ниагара померкла бы, вследствие чего моего друга одолевает вполне понятная усталость, и он, хмуро проглядев имеющиеся материалы, раскладывает листки как придется, и «марш по местам», разбирайтесь сами. Да, но что же тогда может получиться? Поставив двоеточие, полагающееся перед вопросительным предложением, мой друг пожимает плечами и уныло взирает на результаты своей работы, кладет один листок сюда, другой туда, на одну сторону Люсьена Вернея, сообщающего Маркосу, что задача выполнена. (Радио Монте-Карло, новости в 17 ч. 30 мин., правительства принимают ультиматум, ожидается подтверждение об отправке самолетом), на другой карточке (в отдельном абзаце) Ролан и Патрисио извещали, что звездная ночь пока не принесла ни малейшего повода для беспокойства и что ввиду этих решительно счастливых обстоятельств пришло время менадам разобраться в запасном холодильнике, дабы удвоить порции салями или ветчины в бутербродах, до сей поры вполне спартанских, и где-то в отдалении, но с явной тенденцией устремиться к месту событий, Андрес Фава выходил из вестибюля загородной станции метро и двигался по причудливым орбитам, что было не слишком осмотрительно, учитывая, что муравьи во главе с Ихинио засекли его с момента ухода от Лонштейна и что комиссар Пиллоден только что дал необходимые инструкции бригаде 56-С, которой не было никакого смысла торопиться, совсем напротив, ибо элементарное правило в этих делах гласило, что самое лучшее предоставить неприятелям самим перебить друг друга, прежде чем вмешаться во имя свободы, равенства и братства. Ах, вздохнул мой друг, окруженный неясностями, разными маршрутами и альтернативами, это, братец, несерьезно, ну кто тебе когда-нибудь в будущем поверит, если это будущее настанет, потому что в этот час ночи Бобби Фишер двигает рокового слона, и мате у тебя горький, как полагается аргентинцу, но, конечно, вся эта остроумная метафора или метонимия (никогда не понимал разницы между ними, вот олух) была прямым результатом того, что Ихинио прилип к лонгдистансколл [1] и набухший миндалинами голос из Лос-Анджелеса (of all names) [2] одобрял сообщение Муравьища и заверял, что все О. К. благодаря Ценной Работе Управления на месте, проще говоря, сотрудникам по связи с французскими шпиками, так что действуйте смелее, buddy [3], и не поднимайте шуму сверх

[1] От английского long-distance call — коротковолновый радиопередатчик.
[2] ни более ни менее *(англ.)*.
[3] приятель *(англ.)*.

ОБЖАРЕННЫЕ САНДВИЧИ ДЛЯ ОТДЫХА В УИК-ЭНД

Сандвичи незаменимы для походов и уик-эндов, они предоставляют возможность бесчисленных комбинаций, учитывающих надлежащее разнообразие питания. Походные термосы позволяют сохранять их свежими, без ущерба для вкуса.

Ниже приводятся рецепты в высшей степени питательной их разновидности: сандвичи обжаренные.

С мясом: смешать равные части фарша из отварного мяса и белого соуса, приправить солью и перцем по вкусу. Намазать этой смесью ломти белого батона и слегка подрумянить их снаружи в оливковом или сливочном масле.

С куриным паштетом: выложить в посуду соответственного размера содержимое одной банки консервированного куриного паштета, накрошить 1/2 луковицы средней величины, добавить ложку

необходимого, ибо после истории с Бен Баркой things aint what they used to be [1], в связи с чем мой друг мог спокойно позволить себе смелое сочетание шахмат и мате без сахара, не правда ли.

— Ладно,— сказал Оскар, умиравший от голода и от скуки,— вы меня целуете-лижете и прочее, однако мы тут сидим целый день, а порядочного харча нет как нет.

— Мы — изобретательные аргентинки,— сказала Гладис,— мы час за часом занимаемся смелым и еще не опубликованным комбинированием нескольких консервных банок, которые имеются на кухне, да только я вижу, что благодарности за женскую помощь от вас не дождешься. Смотри, что отыскала Сусана в газете, Моника и Людмила прилагают героические усилия, чтобы осуществить это на практике, а вы, как всегда, только грубите.

— Пока я что-то не видел этих хваленых незаменимых сандвичей,— сказал Эредиа.

— Потому что нет ни говяжьего мяса, ни курятины,— прорычала Сусана,— и в таком случае, скажи на милость, что можно обжаривать. Виноват Люсьен, а главное, его мамаша, она, наверно, еще большая скупердяга, чем он, в холодильнике было только полбанки сгущенки да заплесневелая колбаса.

— Уверен, что Гаду дадут двойную порцию, чтобы потом не говорили о моральных пытках,— сказал Оскар,— не думайте, что я не видел, как эти дамы ходили наверх с тарелочками, здесь, видите ли, есть родные дети и пасынки, че.

Вошел Маркос, поговоривший по телефону, и сделал знак Патрисио и Оскару, проблема обжаренных сандвичей вмиг была забыта: откуда-то из Латинского квартала сообщили то, чего можно было ожидать,— Ихинио лично и столь же лично комиссар Пиллоден, вот сволочи.

— Они уже знают, ясно,— сказал Патрисио.— В любую минуту могут появиться здесь, старик.

— Но что будут делать французы? — спросил Оскар, которому вовсе незачем было это знать.

— Французы явятся раньше,— сказал Эредиа, у которого была франкофильская жилка.

— Одно из двух,— сказал Маркос,— либо они предоставят муравьям самим управляться, а потом придут считать потери, либо по дороге встретятся с ними и представят дело как торжество порядка над дикостью слаборазвитых племен, намеренных превратить французскую почву в арену для своих драк.

— Будет первое,— сказал Ролан.

— Bien sûr [2],— подтвердил Люсьен Верней.

— Я тоже так думаю,— сказал Маркос,— поэтому attenti [3] к окнам. Вот такой расклад, теперь надо Гада беречь, как невесту, и это мне совсем не нравится. Позвони Рене, машина, чтобы его забрать, уже должна была быть здесь.

---

[1] дела обстоят не так, как прежде *(англ.)*.

[2] Несомненно *(франц.)*.

[3] будьте внимательны *(итал.)*.

— В четверть девятого,— сказал Ролан, посмотрев на часы,— а теперь пять минут девятого.

— Невестушку уже предупредили,— сказал Люсьен Верней,— и, похоже, она выслушала новость с явным удовольствием. Он надел пиджак и сказал, что, несмотря ни на что, он не может жаловаться на обращение, если только под конец они чего-нибудь не напортят.

— Ему трудно отвыкнуть от своих привычек,— сказал Маркос,— проблема в том, чтобы Рене добрался сюда, муравьи, наверно, кишат везде после pow-pow [1] Муравьища и Пиллодена.

— Еще не доказано, что Муравьище знает, где мы находимся.

— Молодость, молодость,— пробормотал Эредиа, глянув на Оскара с нежностью и сожалением. Тут появился один из тех скорее бесполезных мостиков, которыми всегда пользовался мой друг на развилках, он был растерян и огорчен, потому что ему тоже хотелось присутствовать при этих дурацких разговорах, но ничего не попишешь, среди всего прочего тут появился, например, я после отнюдь не комфортабельной поездки в метро, в гуще едущих с работы конторских служащих, символически представленных неким стариком, который начиная со станции Люксембург тыкал мне в ребра ручкой зонтика, возмущаясь толпой едущих в полседьмого, и вот наконец на станции Антони я был извергнут вместе с сотнями других сперматозоидов, спешивших оплодотворить каждодневное яйцо — туннель на выход, и очутился в неизвестном мне районе Большого Парижа, усталый и изрядно хмельной, прокручивая в уме нечто вроде стихотворения, на авторство коего мог бы претендовать вагон, задававший ритм, и чувствовал я себя полным кретином, приближаясь к тому, что могло оказаться неким определением или другим черным пятном, а может, и роковой виной, если мое появление в этом доме совсем не в интересах Бучи. В общем, примерно так: была надежда на то, что я почувствую себя лучше, а когда спускался по лестнице, идя от Лонштейна, даже предчувствие неизбежной встречи и одновременно все еще Франсина, я воображал ее в ее квартире, она смотрится в зеркало в спальне, голая или в одних трусиках, смотрится без особой причины, просто так, спрашивая себя, позвонит ли Андрес, действительно ли он решил ехать в Веррьер, а на ночном столике транзистор, поп-музыка и время от времени сообщения о похищении координатора по латиноамериканским делам и о принятии ультиматума. Поедет, конечно же поедет, если был способен назвать мне это место, если играет вот так с огнем, поедет, потому что любит ее и не может примириться с утратой, хотя сам-то думает, будто едет туда ради других, нечистая совесть не может совладать с ревностью, он поедет, потому что хочет еще раз увидеть ее, вдали от нее и в одиночестве ему тошно, а Людмила в это время подвергается опасности, и, черт побери, я, конечно же, ехал из-за этого, но не только из-за этого, малышка, ты забываешь про Фрица Ланга, а он все больше давит, будто здоровущий ком в желудке, там кто-то хочет с вами поговорить, кто-то в той комнате, так что не только из-за тебя, полечка, есть еще Фриц Ланг и некий мелкий буржуа со своим спазмом в желудке, тот, который насмехался над протестами в кинотеатрах и в кафе, над горелыми спичками, и вдруг все это стало Людмилой и даже много больше, словно то черное пятно, понимаешь ли, да вот беда, ничто и никогда не способно оторвать меня от меня самого, от человека, который слушает free jazz и будет спать с Франсиной, соблюдая церемониал, не одобряемый молодыми маоистами, здесь любовь к ритуалу, наслаждение от высшего напряжения в крови, эгоизм всякой идеальной статуи, рисунок, завершающийся на последнем своем завитке, мелкий буржуа против всех этих Гомесов и Люсьенов Вернеев, желающих сделать революцию ради спасения пролетариата, и крестьянства, и порабощенных колонизаторами, и отчужденных от собственности, ради освобождения их от того, что они столь справедливо называют империализмом, но потом, потом, ведь есть

[1] военного совета индейцев *(англ.)*.

Bulletin de l'étranger

LA CONDAMNATION DE BOUKOVSKI [1]

страны, где живут в «потом», где летают на Луну, и на Марс, и на Вернеру of all places [2], там отчаянно трудились, чтобы совершить и упрочить революцию, и живут уже в «потом», пятьдесят лет живут, и однако сегодня раввинчик, глядя на меня с иронией, порожденной в нем Пятикнижием и диаспорой и четырьмя сотнями погромов, глядя на меня, меж тем как ЗАВЕРШЕНИЕ СУДА НАД БУКОВСКИМ СЕМЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ДЛЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА и Солженицын, бормочущий над гробом Твардовского слова, от которых потекли бы слезы по щекам мумии Ленина, да ведь СОВЕТСКАЯ МУМИЯ НЕ ПЛАЧЕТ (конечно, потому что она советская), тогда Маркос, этот флегматичный кордовец, глядя на меня как бы издалека, говорит, ну разумеется, брат, потому-то и надо начать сызнова, история не повторяется, или, во всяком случае, мы не позволим ей повториться, и Патрисио одобрительно и Гомес убежденно, ну ясно, яснее ясного, хотя Гомес, да, именно Гомес, и Ролан, и Люсьен Верней, они из тех, которые повторяттаки историю, они приезжают издалека, готовы пойти на смерть ради революции, все отдать, но когда наступит «потом», будут повторять те же эпитеты, что закончились семью годами тюрьмы для Буковского, который когда-нибудь где-нибудь будет зваться Санчес или Перейра, они воспрепятствуют свободе более глубокой, той, что я по-буржуазному называю индивидуальной, и, конечно, mea culpa [3], но по сути это одно и то же — право слушать free jazz, если хочется и если это никому не во вред, право спать с Франсиной по тем же причинам, и я боюсь, меня страшат Гомесы и Люсьены Вернеи, они тоже муравьи, но в нашем стане, они фашисты революции (постой, че, тебя что-то заносит, видно, в водке Лонштейна был пентотал или что-то вроде), а вот, наверно, и улица, ведущая в Веррьер, если только чертеж Лонштейна не вполне фантастичен, он мне запретил кого-либо спрашивать, чтобы не возбуждать нездоровых подозрений, и он прав, значит, надо свернуть направо, и, вероятно, в одной из этих вилл, ибо, хотя кругом царит мрак, как сказал поэт, мы придем в заветную гавань, да вот закавыка, тут развилка, а раввинчик нарисовал только одну улицу, прямо-таки Эдипова развилка — предстоит великое решение, налево или направо, пожалуй что налево, если учесть, что природа подражает искусству, и она наверняка приведет меня в зловещий лес, где заговорщики прячут свою жертву, здесь некое подобие пути инициирования, тебе, Зигфрид, не избежать выбора, от тебя зависит, пойти по пути жизни или смерти, Людмила или дракон, и все это зачем, скажите на милость, хотя да, все ради Людлюд и также ради Маркоса, хотя в животе у меня спазмы, все ради этого безумного и этой безумной, заблудившихся в сне похлеще, чем тот, о Фрице Ланге, в сне дневном, который закончится враз и окончательно, братец, хотя покамест тут и Фриц Ланг, раз этот кретин приехал в метро и сует свой нос именно туда, куда его никто не приглашал, а за это дорого платят, во всяком случае, не ради Гомесов, или Роланов, или Люсьенов Вернеев, а только лишь потому, что завещание написано и подписано и мелкий буржуа, на свой дерьмоплевый и понософормный манер, как сказал бы раввинчик, ищет для себя выход или, что то же, вход, и все это нисколько не смягчает всяческих Гомесов, бедный панамец, вот уж, наверно, и не снится ему, что я превратил его в образ самого мне ненавистного, в образ людей, которые звонят в мою квартиру в середине моцартовского квинтета, не дают спокойно читать дневник Анаис Нин [4] или слушать Джонни Митчелла, бедный Гомес, он же такой добряк, но чем станет

---

[1] Сообщения из-за границы. Приговор Буковскому.

[2] ни более ни менее *(англ.)*.

[3] моя вина, мой грех *(лат.)*.

[4] Анаис Нин (1903—1977) — американская писательница, автор нескольких романов и шеститомного «Дневника» (1966—1976).

завтрашний Гомес-Робеспьер, если Буча победит во всех смыслах, если они совершат свою необходимую и безотлагательную революцию, в общем, свернем налево, хотя кругом царит мрак, о мой любимый Хуан де ла Крус [1], сладостный поэт моих сладостных диванных досугов, идем вперед, хотя кругом царит мрак и муравьи готовят свои пушки, старое танго моего детства, драчун с окраины, «сверкнули пушки, и бедный драчун упал», поди знай, помнит ли кто-нибудь это танго, от которого я, мальчик, плакал, плакал, уткнувшись в латунную зеленую трубу граммофона, ах, долгая жизнь, сколько в ней прекрасного и гнусного, жизнь аргентинца, обреченного понимать, да, понимать, вот только черное пятно, ибо его ни мадам Антинея, ни муха в виски, ни плач Франсины, ах, черт возьми, почему ты мешаешь мне понять резоны этого идиотского поступка, этого дурня, который бредет чертыхаясь и дрожа, чтобы быть тем, кем до́лжно быть, но, конечно, не счастливым, о нет, это исключено — либо будет еще одним покойником больше, либо опоздаю, либо меня поднимут насмех, либо Маркос посмотрит на меня, словно спрашивая, какого черта-дьявола ты приперся, куда тебя никто не звал, да что угодно, кроме счастья, оно осталось на улице д'Уэст в кресле с бутылкой виски под рукой, с пластинкой Ксенакиса и книгами, знай слушай да читай, все было для меня и ради меня, кроме счастья, вот грянет Буча с вполне предсказуемыми последствиями, но отнюдь не счастьем Эредиа, и Людмилы, и Моники, всех тех, кто идет до конца, глядя вперед, детей Че, как сказал кто-то, будет куча дерьма или букет цветов, но не счастье для мелкого буржуа, который не хочет, не желает отказаться от того, что намерены вымести железной метлой всякие Мао и Гомесы, и который, несмотря на все, иди пойми, ради какого черта, ради какой прихоти, ради какого черного пятна распроблядской матери, бредет по этой дороге, ведущей к роще, к другому, мало-помалу приближающемуся черному пятну, и теперь проблема в том, чтобы разобрать чертеж Лонштейна,— сперва поворот, потом пересечение дорог, сворачиваешь направо и входишь в заросли деревьев, там среди кустов шале, что и говорить, очень идиллическое, дышащее ночными ароматами, Людмилой, умопомрачительной красотой. О, как хочется упасть в канаву, отоспаться во хмелю до утра, записать строки, рождавшиеся, когда я терпел тычки зонта того старика в метро

Когда ползут чередой улитки
оставляя след, отдающий привкусом салата
меняя слизь наслажденья на аромат полной луны

я тот кто слушает в Париже
песни Джонни Митчелла

тот самый, кто меж двумя сигаретами
ощущает ход времени благодаря Пичуко
и Роберто Фирпо

Моя бабушка учила меня в саду в Банфилде,
сонном предместье Буэнос-Айреса,
— Улитка, улитка,
высунь рожки.

Не потому ли в эту ночь здесь, в предместье,
снова улитки, Джонни Митчелл, девушка американка

которая поет меж двумя рюмками
меж Фалу́ и Педро Маффией
(у меня уже нет времени и мне плевать на моду,
я смешиваю Джелли Ролла Мортона с Гарделем

[1] Хуан де ла Крус (1542—1591) — испанский поэт-мистик и священник. Его стихи см. в «ИЛ» № 11 за 1993 г.

и Штокхаузеном,
слава Агнцу)

Так странно, так дико
быть в эту ночь аргентинцем,
знать, что приду на свиданье
с никем, с женщиной другого,
с кем-то, говорившим мне во тьме,
что приду вот сейчас
но для чего

Так странно, так дико
быть в эту ночь аргентинцем,
вот голос Джонни Митчелла
между Фалу и Педро Маффией
коктейль памяти, «странная смесь Мюзетты и Мими»,
привет, Дельфино, товарищ детства,
быть аргентинцем в предместье Парижа
— Улитка, улитка, высунь рожки —
бандонеон Пичуко, Джонни Митчелл,
Морис Фанон, малышка, «me souvenir de toi,
de ta loi sur mon corps»,
быть аргентинцем, идти, брести
на свиданье,— с кем и для чего,
так странно, так дико,
не отказываясь от Джонни Митчелла,
быть аргентинцем в этом черном пятне,
Фриц Ланг, я Андрес, скажи на милость,
этот дом среди деревьев,
наверняка это здесь, где кедры и тишина,
все совпадает, но тогда
все, значит, начинается сызнова, чтобы стать ничем,
чтобы знать, что я приду на свиданье
с женщиной другого,
так странно, так дико

(«Кто-то хочет поговорить с вами», капельдинер
в белом пиджаке, указывая жестом
комнату в полутьме) —
Я иду, друг мой,
подожди, пока закончит Джонни Митчелл,
пока умолкнет Атауальпа, уже иду,
открой, Людмила, ведь меня ждут
в комнате, в полутьме,
этот кубинец, сказал капельдинер, он хочет
что-то вам сказать.
Да, все это мне приснилось, и вдруг вспомнилось
именно теперь, когда я пришел сюда, и черное пятно

рассеивается.

я вижу лицо, слышу голос, вспюминаю все, что снилось о Фрице Ланге, словно средь этих кедров вдруг разодралась завеса, и я во тьме вспоминаю не удивляясь — удивительно как раз то, что я не вспомнил этого раньше, с самого начала, с момента пробуждения, настолько ясно, и очевидно, и даже прекрасно вспоминать это, пока я подхожу к двери шале и поднимаю руку, чтобы меня хотя бы не подстрелили, не зная, кто я и что я пришел не затем, чтобы их предать, а ведь так странно быть аргентинцем в этом саду и в этот час, быть замешанным в это безумие и думать о Людмиле, и Франсине, и Джонни Митчелле, о их власти над моим телом, о женщинах, и голосах, и телах, и книгах, меж тем как я поднимаю руки, чтобы меня хорошо разглядели, Гомес или Люсьен Верней или, возможно, Маркос, притаив-

шись за окнами, осыплют меня ругательствами, когда узнают — если узнают,— какого черта, мол, я приперся сюда в этот час, когда Буча в самом разгаре, ну скажи мне, Пичуко, объясни этот рок, Фалу; ведь, того и гляди, сшибут меня пулей, и «бедный драчун упал», драчун читатель Хайдеггера, ну скажи, ведь не ради того, чтобы помочиться у этих величавых кедров, а они и впрямь хороши, эти кедры во тьме, такие живые и зеленые на размытом черном пятне, и там, вверху, что-то поет, наверно, тот легендарный соловей, а я никогда не слышал соловья, я, выросший в Банфилде среди свиста терутеру, открой мне, Людлюд, позволь войти, чтобы я тебе рассказал, детка, я пришел сюда, я от Андреса, позволь тебе рассказать, если эти парни дадут мне время, но они наверняка всадят мне свинец в брюхо, че, пуля не дура, позвольте мне войти сейчас, когда все ясно, сейчас, когда черного пятна уже нет, потому что именно так, именно сейчас и здесь, голубчик, когда я подошел к избушке с гадкими детками, у меня прочистились мозги, как говорит моя тетушка, рраз, и вот она, комната с плетеными из соломы стульями, кубинец, раскачивающийся в непременном rocking-chair [1], невероятно, что все так ясно, так четко, после многих недель черного пятна и Фрица Ланга и вдруг именно тогда, когда кругом черно, и кедры, и шале с погашенными огнями, тут-то у меня прочищаются мозги, и я восстанавливаю ход событий, гляжу на человека, который, тихонько покачиваясь в кресле, глядит на меня, вижу мой сон, как бы видя его наконец-то взаправду, и он такой простой, такой идиотски простой, ясный и очевидный, ведь можно было предвидеть, что именно в эту ночь и здесь я вдруг вспомню, что в моем сне было лишь это — кубинец, который глядел на меня и произнес только одно слово: «Проснись».

Да, с яростью думает мой друг, кроме этого твоего «проснись», кроме тяжкой работы, которую мне задали те, другие, недоставало еще, чтобы ты появился со своей душевной, суперделикатной драмой,— нет, право же, я сам не знаю, что буду делать в финале.

Именно об этом спросил у него Лонштейн в те времена, когда мой друг только начинал составлять свою коллекцию карточек, а Сусана занялась альбомом для Мануэля. Оба вы совершенно сдурели, изрек раввинчик, но, во всяком случае, она-то мать, и это понятно, а вот ты зачем — скажи на милость.

— Понятия не имею,— честно признался мой друг.— Это вроде прострела, неизвестно почему, отчего, случилось, и конец — жил рядом с ними, смотрел на их жизнь и понемножку записывал про них всякую всячину, глядишь, и набралось.

— В том, что ты мне показал, я не вижу чего-то такого харизматического,— сказал Лонштейн.— Честно говоря, меня эта их Буча мало волнует, хотя в ней, конечно, есть своя патетика, че, а твои труды, знаешь ли, это какая-то галиматья.

С чем мой друг готов был согласиться как раз в тот момент, когда в комнате появился Андрес, сурово и вместе с тем мягко катапультированный Маркосом, и дверь снова закрылась, и Люсьен Верней обрушил на Андреса град ругательств, и линеарное повествование разбилось на куски из-за множества синхронных событий, к большой досаде моего друга, но не остальных присутствующих, поспешно занявшихся расшифровкой одного не вполне ясного бранного выражения, и тут раздалось:

— Проснись.

— Эх, ты,— изрек Патрисио,— да ты просто скотина, явился будить меня, когда я всего пять минут как уснул на этом вонючем ковре.

— Шш,— зашипел Оскар,— побыстрей иди сюда.

Но хотя Патрисио подошел быстро, он едва застал финал операции, состоявшей в том, что дверь закрылась и Люсьен Верней обрушил на Андреса град ругательств, в то время как Маркос, подталкивая растеряв-

[1] кресле-качалке *(англ.)*.

шегося в темноте Андреса, вел его в гостиную, где менады при виде его остолбенели, тем паче что в ту же минуту Ролан на четвереньках спустился с лестницы проверить, что за тени позади дома, возле дровяного сарая, с пистолетом, нацеленным на Андреса, едва различимого в свете огарка, и Маркос жестом приказал Ролану не играть с оружием, и — чему мы обязаны, что ты почтил нас своим присутствием. Да почем я знаю, старик, мне казалось, что я должен прийти. Ну ясно, и привел за собой муравьев, остолоп, сказал Патрисио, еще сердясь из-за того, как Оскар его разбудил, а Эредиа сообщил, что тени скрылись за деревьями, тут наступила краткая передышка, Людмила повела Андреса к дивану и ощупью налила ему стакан вина, Маркос словно бы чего-то ждал, и Андрес ему — извини, если я оплошал, я не подумал, что за мной следят, оплошал-то я, сказал Маркос; с такими типами, как ты да Лонштейн, надо бы знать, что под конец вы подгадите, и Моника снова зажгла огарок, и Ролан на лестнице, они спрятались за деревьями, чего-то ждут, их восемь или девять человек, а Патрисио с пистолетом на коленях, силы примерно равны, но что будем делать с Гадом, если не подоспеет Рене на машине. Мы дали слово, сказал Эредиа, что бы ни случилось, мы должны его отпустить в хорошем состоянии, если Рене не приедет, я его веду к дверям, и пусть топает один к своим муравьям или к местным сыщикам, он одет, обут, умыт и накормлен, черт побери, никто не сможет сказать, что мы нарушили слово. Да, сказал Маркос, но еще неизвестно, желают ли они получить посылку нетронутой или же им выгодней сказать, что она пришла вся вспоротая. А ведь верно, сказал Эредиа, мне это не пришло в голову. Ух, дьявол, надо и впрямь оберегать его, как невесту, сказал Оскар. Маркос прав, сказал Эредиа, это внешняя сторона дела, старик, ее, конечно, постараются исказить, и тут Ролан подталкивает Гада вниз по лестнице, и тот поднимает руки, будто кто-то в него целится, а Патрисио приказывает ему сесть на ковер, и при мигающем свете огарка вокруг него образуется как бы кружок краснокожих, Люсьен Верней говорит, это муравьи, полиция уже пошла бы на штурм, но тогда, сказал Маркос, если они явились раньше, это уж точно по известной нам причине, они попытаются его укокошить и свалить все на нас. А неплохо было бы позвонить в полицию, сказал Оскар. Сеньоры, сеньоры, сказал, сидя на полу, Гад, я, собственно, хотел вам сказать, что, но, увидев пистолет Ролана, он снова поднял руки, как молящийся в мечети. Отведи его в клозет, там надежней всего, сказал Маркос Ролану, а вы смотрите в окна, ты, полечка, поднимись наверх, будешь оттуда наблюдать и держи меня в курсе. Оставь меня здесь, сказала Людмила и, едва успев это выговорить, поднялась и побежала наверх, черт, дуреха, спорить с Маркосом в такой момент, а наверху перед ней вся панорама — группа рассредоточивается, Ролан подталкивает Гада, Эредиа и Патрисио у окон гостиной, Люсьен Верней сторожит у двери. Людмила, припав к окну, опускалась все ниже, пока не убедилась, что сидя наблюдать удобней и она видит то немногое, что можно было разглядеть среди кедров, оттуда, снизу, доносился шум какой-то возни, потом стукнула дверь в клозете, она представила себе, как Гад садится на единственный предмет, достойный его приютить, подумать об Андресе она не успела, его появление не было для нее неожиданностью, оно вызвало скорее чувство чего-то ненужного и пагубного, запоздалого упрямства, за которое теперь остальные дорого заплатят, но также некую радость, что Андрес все же пришел, как все это сложно. Блуп, черт, они спрятались за деревьями, нельзя отвлекаться ни на секунду, но пока она могла словно бы видеть происходящее внизу в гостиной, там Маркос ходит взад-вперед, Андреса она не видела, об Андресе не думала, да, она налила ему стакан вина, а потом был только Маркос, полечка-страж, наблюдающий за кедрами и за Маркосом, от Андреса в ее уме остался лишь его жест в полумраке, когда он взял стакан с вином и, слегка улыбаясь, взглянул на нее с другой стороны неодолимого рубежа, словно желал дать ей понять, почему он пришел, но в остальном были только Маркос и ожидание, ноющий страх в животе и скрючившиеся пальцы ног в туфлях, молчание кедров в саду и Маркос.

Со своей стороны, мой друг, тщетно пытаясь навести некий душевный порядок в себе, а, быть может, и в других, решил, что в данный момент лучше всего сесть рядом с Андресом и держать в виду Монику и Гладис, этакое чувство рыцарской опеки, совершенно бесполезное в такой обстановке, но если бы, кстати, Сусана оставила в покое Патрисио и присоединилась к ним, то, пожалуй, удалось бы поговорить о чем-то ином, ведь еще ничего не было ясно и, возможно, участники Бучи поддались оптической иллюзии. Когда грянул первый выстрел, весь дом, казалось, сдвинулся метра на два вперед или назад, пистолет Ролана был вроде пушки, тут голос Людмилы с верха лестницы, они идут, Маркос, их восемь или девять, еще один выстрел, это стрелял Патрисио, выкрик снаружи, оглушительный удар в дверь, Люсьен Верней, отойдя от нее на полметра, прицелился на уровне груди того, кто ее откроет. Что ж, если они сами нарываются, сказал Маркос с пистолетом в руке, звоните в комиссариат в Веррьере, понравится им или нет, но мы сдадим его живехоньким и расстроим планы французов. Ты меня понял, сказал Ихинио, если сумеешь, воспользуйся каким-нибудь из их револьверов. Ясненько, шеф, сказал муравьишка, предоставьте это вашему покорному слуге, лишь бы подвернулся случай, тогда и говорить-то не о чем, я только должен вам сказать, что чем больше их уложу, тем легче будет управиться с этим вашим приятелем. Пошли, сказал Муравьище, пошли все вместе. И тогда, вспоминал мой друг, словно как крылатые стаи гусей, журавлей и лебедей долговыйных летят над азийскими лугами при Каистре [1], сотрясая воздух своими криками, устремились бегом бесчисленные племена муравьишек, муравейчиков, муравьетипов и муравьекратов, подобно бурному потоку, омывающему долину Скамандра [2], и земля под их ногами оглушительно загудела. И посреди всех возвышался великий Муравьище, главой и очами подобный громовержцу Зевсу, станом — Аресу, широкой грудью — Рональду Рейгану. Быстрей за диван, сказал Андрес, хватая за загривок Монику и без дальнейших объяснений водворяя ее на вышеупомянутое место. Здесь (повторение той же операции с Сусаной) сидите и не рыпайтесь, а ты, партизанка, скажи, где мне взять пистолет, пусть я пьян, однако в свое время я выполнил все задания в федеральном тире, так что. Попроси у Маркоса, сказала Сусана, которая не превышала границы своих полномочий. Бери, сказал Маркос, каким-то образом услышавший их диалог, и вот в руке Андреса холодный, желанный предмет, который приятно сжимать, ощущать, как он согревается. Откуда-то издалека доносится вой сирены, звонить, когда идет такой беглый огонь, уже не имело смысла, комиссар Пиллоден не Бетховен, три тюремные машины и другие транспортные средства выстроились в двухстах метрах в тот самый момент, когда преотважнейшие муравьекрофоны, обитатели Эвбеи, и Халкиды, и Эритрии, и обильной вином Гистеи, и приморского Керинфа, и града высокого Диума, ярясь, жаждали пронзить вражеские доспехи ясеневыми копьями. И вслед за ними текли полчища муравьежирных и муравьеминимов купно с муравьефилами, обитателями Аспледона и Орхомена Микийского, под предводительством левши Малербы и его равно владеющего правой и левой руками брата, сынов Немесио Яньеса, который однажды застиг врасплох невинную деву Астоику Асеиду, каковая произвела их на свет в жилище Актора, и Бог знает, кто там еще [3]. Надо подождать, сказал Пиллоден, пока что всего три выстрела, это ерунда, мне надо, чтобы каша заварилась покруче, таков приказ сверху. И Люсьен Верней тоже — в тот миг, когда дверь открылась, угодил точно в грудь, и муравьекрат уже на полу, вроде коврика для двух муравьишек, которые протопали по нему, и это было последнее в мире сем для него и для них, ибо Люсьен Верней бац-бац, и второй муравьишка, падая, бац-бац, и Люсьен Верней медленно опустился, пока Маркос и

[1] Каистра (совр. Карасу) — река в древней Лидии, расположенной на западе Малой Азии.
[2] Река в древней Троаде в Малой Азии.
[3] Здесь и далее имена, события древнегреческой истории и мифологии переплетаются с сюжетной линией.

Эредиа почти одновременно бац-бац, Эредиа и Маркос закрыли дверь и смотрят на Люсьена Вернея на полу, чертова дверь, сказал Люсьен Верней, придвиньте к ней шкаф, Моника что-то ищет, да это пустяк, займись другими, кровь струится по пальцам Моники, когда Андрес и Сусана помогают ей поднять Люсьена и уложить его на диван, Гладис с платком, бесполезно, всхлип, два выстрела подряд в окно, выходящее на север, Эредиа, пригнувшись, бац-бац-бац-бац, и в тот же миг из-за стволов кедров обитатели окрестностей Эгиона, и великой Гелики, и всего того побережья, во главе с Муравьищем, облаченным в блестящие медные доспехи и тоже отважным, делают одновременный rush [1] через окно, Патрисио сбивает первого, муравьишку с плешивым черепом, тут неудержимый прорыв в дверь, схватка вплотную Маркоса с самим Муравьищем, слишком тесный infighting [2], чтобы стрелять, а меж тем Гомес с порожним магазином ищет пробел, чтобы ударить прикладом, и Андрес встревает между Маркосом и Муравьищем, чтобы получить от последнего из поименованных удар прямо по лицу, который практически низвел его до состояния простейших, в саду сирена и свистки, Ихинио с пистолетом в руке пятится, говоря Маркосу: выдай мне его сейчас же, не то пристрелю, и Маркос, видя свой собственный пистолет в руках муравьекрата за спиной Ихинио, все понял, замер и расслабился, словно засыпая перед дверью, в которую валом валят муравьи, и, не спеша засунув руки в карманы, говорит, входите, ищите его, коль посмеете, и видит, как пистолет Ихинио поднимается вровень с глазами, и думает, останется ли Людмила там наверху до прихода полиции или, как всегда безоглядная, ринется сюда, в самое пекло, полечка, тут пауза, как в застопорившемся фильме, не стреляйте в него, дон Ихинио, они вас видят, выстрел, фары в саду, и граната со слезоточивым газом, вовсе ненужная, взрывается у ног Патрисио, всем руки вверх. Нет, невозможно продолжать, держа в уме знаменитые описания, подумал мой друг на середине лестницы, это неправда, этого не было, во всяком случае, так это не происходило и не происходит, слишком легко опираться на авторитет классиков, к чему пытаться рассказать о том, что произошло невозможное, рассказать невозможное о том, что еще происходит, и он не мог не подумать, что эта задержка в фильме, которая с секунды на секунду вызовет свист в зале, эта пауза трех армий перед финалом, возможно, есть его собственная пауза на лестнице, явная его неспособность к синхронности и даже к последовательности, когда действие движется слишком быстро, например, узел Маркос — Муравьище — Гомес — Андрес, где там «раньше» и где «сейчас», Ихинио пятится с пистолетом в руке, говоря Маркосу, выдай мне его сейчас же, не то пристрелю, и тут же Сусана, диагональная тень Сусаны, скользящая к Патрисио, окутанному дымом от гранаты, хватающая его за плечи, надо же на ком-то остановиться, может, на Люсьене Вернее, лежащем на диване, и Монике, бинтующей ему плечо (но как среди этой пальбы, в почти неощутимом пробеле появился бинт, который на самом деле полотенце, хотя это все равно?). Ах нет, черт побери, подумал мой друг на середине лестницы, это не может происходить так, и здесь, и в эту ночь, и в этой стране, и с этими людьми; это конец, че. А Оскар, куда подевались Оскар и Гладис? Рослый, энергичный, чуть ли не улыбающийся французский комиссар в дверях, и почему бы ему не улыбаться под защитой двух пулеметов, всем не двигаться, бесценный момент для Андреса, чтобы укрыться там, где еще оставался мрак, ибо лучи прожекторов сновали во все стороны, и, проскользнув мимо моего друга, который так и застрял на середине лестницы полусидя, полулежа, Андрес чуть ли не перешагнул через него, стремясь к лестничной площадке, откуда Людмила, выполнив свою миссию, устремлялась вниз; он перехватил ее на бегу и подвел к окну, не двигайся, Людлюд, нет смысла, подождем, пока они сами за нами придут. Маркос, сказала Людмила. Он там, сказал

[1] бросок *(англ.)*.
[2] ближний бой *(англ.)*.

Андрес, более точно о его местонахождении и состоянии ничего не могу сообщить. Пусти меня вниз, я хочу увидеть Маркоса. Подожди, Люд. Пусти меня вниз, *пусти меня вниз,* но в этот момент лучше было не пускать ее, держать ее вот так, в объятиях, пусть вырывается и кричит, я сам не был уверен в том, что увидит Людмила у подножья лестницы в этой сумятице, в слепящих лучах прожекторов, в толпе полицейских, заполнивших нижний этаж и уже поднимающихся, натыкаясь на моего друга на середине лестницы, вот видишь, Люд, они избавили нас от излишнего труда, их любезность всем известна, теперь да, дорогая моя, теперь-то нам придется сойти вниз.

МИССИИ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ США

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ СОВЕТНИКОВ ПО ВОЕННОЙ ПОМОЩИ США; ВОЕННЫЕ МИССИИ И ГРУППЫ на 30 июля 1970 [1]

ЮЖНАЯ ГРУППА (SOUTHCOM)

Страна	Персонал США	Иностранные советники	Всего
Аргентина	33	6	39
Боливия	40	7	47
Бразилия	69	33	102
Чили	32	5	37
Колумбия	48	5	53
Коста-Рика	4	1	5
Доминиканская Республика	39	2	41
Эквадор	39	5	44
Эль-Сальвадор	15	2	17
Гватемала	26	3	29
Гондурас	14	2	16
Никарагуа	15	2	17
Панама	5	1	6
Парагвай	17	3	20
Перу	38	4	42
Уругвай	20	5	25
Венесуэла	51	2	53
Всего, SOUTHCOM	505	88	593

[1] Источник: Министерство обороны (таблица, приведенная сенатором Эллендером в «Congressional Record» [1], 1 апреля, 1969, стр. 53510).

При случае Андрес согласился бы, что все события до и после вторжения муравьев в шале смешивались в полной сумятице — не столько из-за присущей подобным ситуациям неразберихи, но скорее потому, что ему, наблюдателю, малоподготовленному для такой задачи, пришлось теперь вдобавок разбираться в материалах моего друга, в том, что вышеупомянутый тип называл картотекой, но в чем, по сути, было все что угодно — от горелых спичек до плагиата из «Илиады» и сумбурных бесед при свете вонючего огарка,— поди найди кончик нити, чтобы распутать этот клубок. Люди вроде Гомеса или Эредиа, они-то взялись бы за дело круто, о чем свидетельствовал тот факт, что они победоносно и самодовольно переглядывались там, где находились, а об этом ни Андрес, ни Лонштейн понятия не имели, да и не интересовались, итак, они переглядывались, и Эредиа передавал свою сигарету Гомесу, который, жадно пососав, возвращал ее, оба лежали навзничь на цементном полу, деля поровну единственную

[1] «Известия конгресса» *(англ.)*.

сигарету, под грязным окошком, в котором занималась заря и чернел весь в паутине железный крест, под конец мы таки здорово им всыпали, сказал Гомес между двумя затяжками, и Эредиа чуточку согнулся, словно что-то у него заболело, и тронул пальцами плечо друга, ясное дело, всыпали, большая Буча была, старик. Только подумать, что они хотели сами его убить, сказал Гомес с веселым недоумением, да, тут бы они нас здорово подставили. Внешняя сторона событий, сказал Эредиа, попробуй потом объясни в Гватемале или в Аргентине, что это не мы сделали, что мы сдержали слово. А где-то в другом месте другие вспоминали физиономию Гада, когда он вышел из клозета и бросился в объятия Муравьища, спасибо, брат, спасибо, меж тем как комиссар Пиллоден смотрел на них со скрытой насмешкой, ну как же, дон Гуальберто, а не ворвались мы раньше потому, что эти изверги были способны хладнокровно вас пристрелить, рукопожатия и объятия, и Муравьище глядит поверх плеча Гада, удостоверяясь, что муравьишка бросил на пол пистолет Маркоса, вовсе ни к чему, чтобы Гад это заметил, но где там, он так взволнован, а Пиллоден тем временем поднимает пистолет, надеясь на отпечатки пальцев и улыбаясь с видом превосходства, все обернулось наилучшим образом и, во всяком случае, подумал Муравьище, а он смотрел на вещи реально, хотя мы не смогли исполнить приказ, наверху все равно будут довольны, это называется разорить гнездо сволочей, дон Гуальберто, больше они не будут пакостить в наших краях. Это было ясно также Гомесу и Эредиа, но они молча продолжали курить, глядя, как светает, представляя себе латиноамериканские сообщения, да, старик, большая Буча была, и это важно, только это и важно, пока не грянет следующая. Конечно, сказал Эредиа, Маркос думал бы так же, правда ведь.

Можно было подумать, что бирюзовый пингвин принес им удачу, ни Гладис, ни Оскар не сумели бы объяснить, почему они так много думают о бирюзовом пингвине и почти не вспоминают о королевских броненосцах, в конце концов ведь неизвестно, кто из них был талисманом, но они все время вспоминали пингвина и любили его издали, на высоте шести тысяч метров между Дакаром и Рио, любили и вспоминали, беспокоясь, что с ним стало, и возлагали надежду на милосердные зоопарки, на дам-благотворительниц с бассейнами и кучами хека, на какой-нибудь международный цирк, который будет показывать пингвина за плату, обо всем этом говорилось походя, чтобы не слишком тревожиться из-за подозрительного метиса, сидевшего с краю, уж такой он любезный, этот метис, угадывает на лету желания Гладис, услужливо протягивает Оскару блок сигарет, чтобы тот взял пачку скрасить скучный перелет. Вот увидишь, кобылка, не успеем очутиться на родной земле, как манеры вмиг изменятся. Ба, сказала Гладис, у меня сестра замужем за судьей. Судьи женятся? удивился Оскар. Он может нам пригодиться, ты согласен? Конечно, сказал Оскар, проблема в том, чтобы твоя сестра ему внушила, насколько выгоднее экспортировать пингвинов в Европу. В общем, надо же о чем-то говорить, сказала Гладис, время так тянется, когда не работаешь, мне прямо завидно смотреть на этих девочек с подносами. Мне тоже, сказал Оскар, особенно на ту рыжую, она создана для того, о чем говорил Сехас. Что говорил Сехас? Ответ был раскритикован. И оставалось еще два часа до Рио и четыре до Буэнос-Айреса, давайте попросим еще по порции виски, сказал метис-соотечественник, скоро покажут цветной фильм. Надеюсь, приключенческий, сказал Оскар. Уж непременно, сказал соотечественник, морские пехотинцы убивают коммунистов или вроде того, старый крутой Джон Уэйн [1].

— Естественно, он их не называет, между прочим, потому, что не знает, где они,— завопил раввинчик, глядя на меня, будто я был виноват в этой мешанине.— Столько всяческих приготовлений, морочат тебе голову

[1] Джон Уэйн (1907—1979) — американский киноактер и кинорежиссер.

кличками (псевдонимами), шифрами, собраниями в три часа ночи, и потом вдруг все рассыпается, как крупа.

— И чего ты попусту треплешься,— сказал Андрес, выкладывая бумажки одну за другой, соединяя их, раскладывая в обратном порядке, снова соединяя, отбрасывая одни и хватая другие, располагая их последовательно, соединяя, пожимая плечами, признавая в душе, что Лонштейн прав и что никакое расположение не дает путеводной нити,— треплешься попусту, потому как ты жалкий западный человек и не можешь без указательных стрелок.

— Да ты и впрямь считаешь себя наследником,— прорычал раввинчик,— все новообращенные одинаковы, отныне и до конца дней моих ты будешь меня изводить своим новоиспеченным фанатизмом.

— Брось, старик,— сказал Андрес, выкладывая ряд карточек, показавшийся ему чуть менее сумбурным, чем другие,— но только, понимаешь ли, так сложилась игра, с ними происходило что-то, а со мной происходило что-то другое, никак с тем не связанное, например муха, но в финале, знаешь, случилась некая конвергенция, уж назовем это так, ибо, по мнению некоторых, именно я занес им паршу в стадо.

— Чепуха,— сказал Лонштейн,— Патрисио потом узнал, что муравьерожи были там задолго до твоего прихода, единственно, завидев тебя, они решили, что ждать нет смысла, наверняка их обозлило, что ты шествовал так спокойно, будто шел пить чай с пирожными.

— Какое это имеет значение,— сказал я,— какое значение имеет все это после того, что произошло.

— Подозреваю, друже, что для тебя это имеет слишком большое значение. Иначе непонятно, откуда вдруг такая страсть к компиляции.

— Думаю, что из-за Мануэля, братец.

— И какое же отношение имеет к этому Мануэль?

— Огромное, старик. Похоже, будто мы зря тратим время на эту груду бумажек, но что-то мне говорит, что их надо сохранить для Мануэля. Ты ворчишь, видя, что я занимаюсь чем-то, в чем ты не участвовал, и тебе это обидно, но я тебя не виню, ведь и я в таком же или почти таком положении, а еще тебя раздражает мерзкое чувство, будто что-то реальное, живое рассыпается в твоих пальцах, как изъеденная тлей булочка. У меня такое же, и, однако, я это доведу до конца, хотя бы ради того, чтобы пойти к Сусане и отдать ей то, что годится для ее альбома.

— Ага, ты, видно, полагаешь, что эти листки тоже подходят, в смеси с полсотней вырезок и липучек.

— Да, старик. Вот, к примеру, что хранил мой друг в кармане пиджака, а ведь о Ролане или, скажем, о Гомесе мы не можем оставить Мануэлю никаких сведений. В конце-то концов он, когда вырастет, о них и не вспомнит, зато тут есть про них все, пусть в другом виде, и мы должны это включить в книгу Мануэля.

На пресс-конференции
Форума по правам человека

Свидетельства политзаключенных, сообщающих о применении пыток.

В свидетельствах, зачитанных на пресс-конференции, а также имеющихся в письменном виде, заключенные рассказывают о пытках, которым их подвергали. Почти во всех сообщениях идет речь об электрической пикане, ударах кулаками и твердыми предметами, о психологическом давлении и т. д.

Темой сообщений ветеранов войны во Вьетнаме североамериканскому адвокату Марку Лейну было то, как они усваивали преподанные им уроки. В Швеции, где, дезертировав, многие из них нашли приют, но также в Соединенных Штатах, где они снова живут как полноправные граждане, 32 бывших солдата дали записанные на магнитофоне показания о жестокостях, которые они видели во Вьетнаме или в которых принимали участие. Лейн, автор выдающегося исследования об ошибках в ведении следствия по делу о

Ниже приводится изложение этих свидетельств:

Норма Элиса Гарельи, арестована 15 сентября 1971 года в Росарио. Представила свое свидетельство в письменном виде, и оно было зачитано ее родственником. Следует заметить, что, хотя министр внутренних дел доктор Мор Роиг недавно объявил о ее освобождении, сеньора Гарельи все еще находится в тюрьме.

Как пишет она в своем свидетельстве, ее арестовали дома, вместе с мужем, три или четыре чина гражданской полиции, которые — с первой же минуты — действовали с крайней жестокостью. Похоже, что полиция подозревала ее в причастности к побегу партизан из тюрьмы в Тукумане.

Ее сразу же подвергли личному обыску и осыпали бранью. Затем увезли куда-то, в неизвестное ей место. Там, по ее словам, ее раздели и начали прикладывать пикану к телу, особенно же к груди, в область матки, к зубам и ко рту. Одновременно ее били по лицу.
В одном месте своего сообщения сеньора Гарельи рассказывает, что один из мучителей — его называли Толстяком — изменил свое отношение к ней и сказал, «что он в меня влюбился». Она рассказывает, что глаза у нее были завязаны и видеть своего мучителя она не могла, но она потрогала его лицо и убедилась, что он плакал.

Упомянутый полицейский — по ее словам,— видимо, хорошо разбирался в медицине, и, как он сам сказал сеньоре Гарельи, ему оставалось сдать четыре экзамена, чтобы получить диплом адвоката.

Мирта Мигенс де Молина.

Арестована 11 декабря. Ее свидетельство было зачитано на пресс-конференции ее адвокатом д-ром Мануэлой Сантучо. Арестовывали ее 20 человек гражданской полиции. Как явствует из ее свидетельства, ее раздевали догола и подвергали несколько раз пытке пиканой. Трое мужчин изнасиловали ее и при этом ей еще ввели в задний проход рукоятку метелки.

покушении на Джона Фицджеральда Кеннеди, опубликовал в виде книги свои «Беседы с североамериканцами»; она на днях вышла в нью-йоркском издательстве «Саймон энд Шустер», и мы публикуем отрывок из нее.

ЧАК ОНАН ИЗ НЕБРАСКИ

Лейн. Давали ли вам инструкции о том, как допрашивать пленных?
Онан. Да.
Л. Где?
О. На всех военных базах. Но в течение месяца перед отправкой во Вьетнам эти занятия проводились более интенсивно. В Бофорте, базе морских пехотинцев (в штате Южная Каролина), нас учили, как выжить в джунглях, И нам объясняли, как пытать пленных.
Л. Кто давал вам эти инструкции?
О. Обычно сержанты, но также некоторые офицеры, лейтенанты, И не раз — капитан.
Л. Что вам говорили?
О. Как пытать пленных.
Л. Например?
О. Можно снять с пленного ботинки и бить его по подошвам. Рядом с другими приемами этот еще сравнительно мягкий.
Л. Каким другим приемам вас обучали? Можете привести пример?
О. Нам говорили, что надо использовать электрические аккумуляторы. Советовали прикладывать электроды к гениталиям.
Л. Давали ли вам практические примеры этой техники или только говорили о ней?
О. На грифельной доске были рисунки, на которых ясно показывалось, как приставлять электроды к мужской мошонке и к телу женщины.
Л. Эти рисунки на доске сделал кто-то из офицеров?
О. Нет, это были рисунки напечатанные и прикрепленные к доске.
Л. Чему еще вас учили?
О. Учили вырывать ногти.
Л. Какие орудия вам рекомендовали?
О. Плоскогубцы, которыми пользуются радиоэлектрики.
Л. Кто вам объяснял эти методы?
О. Сержант.

Ее также подвергали психологической пытке. В соседнем помещении пытали ее мужа, и ей неоднократно говорили, будто он умер. Она сообщает, что видела мужа в ужасном состоянии — мошонка и губы были у него обожжены кислотой.

Гильермо Оскар Гарамона.

Арестован 21 декабря 1971 года вместе с Адрианой Моникой Ариас и Нестором Потом в Росарио. По их свидетельству, они были привезены в Главное полицейское управление и подвергались избиению со стороны полицейских. Применяли к ним также пытку пиканой. Гарамону пытали в течение суток — с небольшими перерывами,— и он утверждает, что к концу этого сеанса пыток он был весь в ожогах от пиканы и еле жив из-за побоев.

Далее он рассказывает: «Они набросились на меня как разъяренные звери. Когда у меня из носа пошла кровь, они еще больше разъярились и еще сильнее стали меня избивать. Мне показали новое орудие пытки, говоря, что его изготавливают янки и дают им, чтобы уничтожать тех, кто дурачит органы безопасности. Оно состояло из пластмассового шара с пружиной и пластиной, которую засовывали в рот пытаемому, а затем, оттянув шар на 15—20 сантиметров, отпускали его, и он ударялся со страшной силой».

Затем, по его словам, привели женщину, раздели ее и положили на меня. Нас обоих мучили пиканой, ей говорили, что разорвут ей влагалище и что она никогда не сможет иметь детей. А мне говорили, что когда я буду издыхать, они выбросят меня с третьего этажа и скажут, что я сам покончил с собой. «Это было невыносимо. Я их просил убить меня, а они отвечали, что они и так меня убивают, но постепенно».

Л. Демонстрировали вам когда-нибудь эти приемы на практике?
О. Да. Однажды били какого-то пленного по подошвам; ему приказали лечь на пол и били прикладом ружья.
Л. Получали ли вы специальный инструктаж о том, как допрашивать женщин?
О. Да.
Л. Что вам говорили?
О. Довольно садистские вещи. Не хотелось бы об этом говорить. Какой смысл выкладывать это перед всеми? Я хотел бы это забыть, освободиться от этого.
Л. Я намерен возможно более подробно сообщить о ваших показаниях. Вы, наверно, слышали, что, по словам Никсона, Май-Лаи это отдельный случай, что американские солдаты великодушны и гуманны. Как, по-вашему, если морских пехотинцев учат пытать во Вьетнаме, не должно ли это стать известно?
О. Конечно, нас обучали пытать, но люди не желают об этом знать или не желают верить. Но если есть хоть малейший шанс, что это принесет пользу, я расскажу вам все как было.
Л. Чему же вас обучали в том, что касается пыток пленных женщин?
О. Нас учили раздевать их догола, раздвигать им ноги и загонять во влагалище заостренные палки или штыки. Нам также говорили, что мы можем насиловать девушек когда только захотим.
Л. Рассказывали вам, как пользоваться вертолетом?
О. Нам рассказывали как о шутке, что однажды во Вьетнаме какого-то пленного привязали за руки и за ноги к двум вертолетам. Потом они взлетели, и пленный был разорван на части.
Л. Кто вам об этом рассказывал?
О. Один из инструкторов, сержант.
Л. Он сам это видел?
О. Он сказал, что участвовал в этом.

Слушая Патрисио и Сусану, никто бы и не заподозрил, что произошло, это-то и бесило Лонштейна, а Андрес смотрел на него, словно пытаясь внушить, что никто не виноват и что каждый держал нитку клубка по-своему. Согласен, сказал раввинчик, но скажи на милость, как понять, что Сусана, свеженькая, как только что срезанный салат, является в одиннадцать утра, как раз я слушаю известия, а ты же знаешь, сколько сил отнимает у меня этот гриб, он же все чахнет, да Мануэль, который ползает по полу

лишь затем, чтобы оставить ручеек в виде бустрофедона, надеюсь, ты понял, о чем речь. Понял, скромно сказал я, но на твоем месте я бы радовался по многим причинам, ну хотя бы потому, что забрали Мануэля. Видишь ли, сказал Лонштейн, я не стану отрицать своего удовлетворения самим этим фактом, но то, что сперва Сусана, а через полчаса Патрисио нагло попросили у меня чашку кофе и завалились с Мануэлем на ковер, когда я хотел что-либо узнать,— в конце-то концов я трудился для них как baby-sitter, а ведь этому нет цены, братец, да что тебе говорить, хватают они свое чадо, собирают пеленки и баночки из-под детского питания и убираются восвояси как ни в чем не бывало, а мне говорят, лучше помалкивай и, мол, спасибо за nursery. Им не хотелось разговаривать, сказал Андрес, со мной тоже бывает такое, но видишь ли, нам следует заняться тем, что теперь нужно, хотя черт его знает, что именно нужно. Тем, что теперь нужно, сказал, прикрыв глаза, Лонштейн, да, что теперь нужно, ну конечно, теперь многое нужно, старик, чего там говорить.

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННЫХ

Количество обучающихся в ПВП * [1]

Страна	Период 1950—63	Период 1964—68	Всего
Аргентина	1 190	1 216	2 406
Боливия	764	1 432	2 196
Бразилия	3 416	2 255	5 671
Чили	2 219	1 448	3 667
Колумбия	2 516	1 378	3 894
Коста-Рика	208	321	529
Куба	521	—	521
Доминиканская Республика	955	1 419	2 374
Эквадор	2 246	1 549	3 795
Сальвадор	304	528	832
Гватемала	903	1 117	2 020
Гаити	504	—	504
Гондурас	746	602	1 348
Мексика	240	306	546
Никарагуа	2 366	1 204	3 570
Панама	768	2 106	2 874
Парагвай	204	564	768
Перу	2 820	1 624	4 444
Уругвай	807	607	1 414
Венесуэла	724	2 382	3 106
Итог по всей Латинской Америке	24 421	22 058	46 479

— Есть у тебя новости? — спросила Сусана.

— Нет,— сказала Моника.

— Знаю я их систему,— сказал Патрисио.— Франция не хочет скандалов за границей, это уже бывало. Его переправят через какую-нибудь границу, и вскоре ты получишь открытку по почте, и придется тебе, детка, садиться на поезд.

— Да, теоретически это так,— сказала Моника.— Идите в кино, я побуду с Мануэлем.

— Я тоже,— сказала Людмила.

[1] Источник: Канцелярия помощника министра обороны (отдел международной безопасности). «Military Assistance Facts» («Факты военной помощи»). Вашингтон, США, Министерство обороны, 1969, с. 21.

ПВП — Программа военной помощи (англ. MAP — Military Assistance Program)

— Ты иди с нами,— сказала Сусана.— Немного пройдемся, теперь тепло.

— Нет,— сказала Людмила,— дайте мне остаться с Мануэлем.

— Бедный малыш,— сказал Лонштейн,— сам подумай, хорош ли этот метод экипировать его для будущего, в тринадцать лет он будет законченным невропатом.

— Это еще неизвестно,— сказал Андрес, передавая ножницы Сусане, которая с сугубо ученым видом наклеивала вырезки,— если ты заглянешь в альбом, то увидишь, что там не все в таком роде, я, например, в какой-то момент, когда эта чокнутая отвернулась, сунул туда немного смешных картинок и не слишком серьезных сообщений, чтобы примирить оба блока. Ты меня понял?

— Минуточку,— сказал, встревожившись, Патрисио,— посмотрим, не подменил ли ты мое собрание сказочкой про Тома и Джерри или чем-нибудь подобным.

— Нет, старина, собрание остается, каким было, включая тот кусочек жизни, который нам досталось прожить.

— Более того,— сказал Патрисио,— с твоими изысканными вставочками никто в конце концов ни черта не поймет, если альбом попадет ему в руки.

— Мануэль поймет,— сказал я,— Мануэль когда-нибудь поймет. А теперь я пошел, уже поздно, мне надо сходить за пластинкой Джонни Митчелла, которую мне обещали, и продолжать приведение в порядок того, что нам оставил мой друг.

— В такой вот последовательности? — сказал Патрисио, глядя ему в глаза.— Сперва твой Джонни до бесконечности, а уж затем то?

— Не знаю,— сказал Андрес,— будет ли так или наоборот, но будут эти два дела, будут всегда. Во всяком случае, могу перед уходом оставить тебе кое-что, чтобы ты это включил в книгу Мануэля,— начинается с кувшина воды.

Лонштейн медленно наполнил кувшин водой и поставил на один из свободных столов; в зале номер три он был один, хромой Тергов не придет ему помогать раньше одиннадцати вечера. Не вынимая изо рта сигарету, он подошел к трупу, лежавшему на столе номер пять, и откинул простыню. Он так привык раздевать покойников, что без труда снял с него прилипший пиджак, брюки, превратив его в тело, которое будет вымыто губкой и детергентом, пока не станет белым, чистым, все следы истории уничтожены, все темноватые пятна удалены, вся слюна осушена. Словно иронически наблюдая за работой раввинчика, из-под век покойного блеснули две искорки, голова на резиновой подушке как будто приподнялась, чтобы лучше разглядеть, чтобы медленно его пугать. Померещилось, подумал Лонштейн, в тебе, братец, уже ничто не изменится. В любом случае глаза тебе закрою не я, пусть это делает тот, кто положит тебя в гроб. Лежи спокойно, спешить некуда. Видишь, где довелось нам встретиться, никто не поверит, никто нам не поверит, что все это было. Такая уж выпала нам доля, подумай, ты здесь, и я стою с губкой, да, ты прав, люди подумают, что мы все это выдумали.

Париж, Сеньон, 1969/1972

ДЕННИС ДЖОЗЕФ ЭНРАЙТ

Перевод с английского Г. КРУЖКОВА

Из сборника «СТАРЫЙ АДАМ», 1965 г.

Премьер-министр

Он не спеша отчеркивает
В списке их имена:
Молокососы, смутьяны.

Он и сам был таким
В юности. Как же он презирал
Всех прочих:
аполитичных телят,
дипломированных мартышек,
зубрил, которых он называл
«Белыми муравьишками в башне слоновой кости».

В сущности, не так давно
Он изобрел им прозвище: «белые муравьи».
Здорово припечатал
Эту карьерную плесень!

Подумаешь, великое дело,—
бормочет он про себя,—
Арест! Его самого
Арестовывали столько раз.
Кто бы теперь поверил!

Он не спеша отчеркивает
Имена на листке.
Сегодня ночью? Да.
В четыре часа на рассвете.
Эти горячие головы,
Эти взрывные юнцы.
Их заберут тепленькими
Из постелек. Так надо.
...Ему померещилось вдруг
Имя свое между строчек.
«Красные муравьи!» — цедит он, губы скривив,
И бросает бумагу ждущему полисмену.

Из сборника «НЕЗАКОННОЕ СБОРИЩЕ», 1968 г.

После беспорядков

Сверчки так верещат, как будто их там режут
За стенкою фанерной. Спать невозможно.

Ворочаясь от страха, который, скажем честно,
Не только за себя, и от бессилья корчась,

Я думаю, и впрямь нам выпал скверный век,
Самосознанье нации не зреет, хоть ты тресни.

Я думаю о них — о нескольких друзьях,
Которых, может быть, сейчас, в эту минуту...

У каждого из нас так много зла на всех:
Цвет кожи, раса, церковь — и просто непохожесть.

Так много есть причин друг другу резать глотки
Под крик сверчков полночных, под крик сверчков полночных.

Премьер-министр велит, чтоб все любили всех,
Он взвешенный политик, зовущий к примиренью.

Сверчки во всех углах целуются взасос,
Переженились белые и черные, как в шашках.

Ура правительству! Сверчки скрипят вовсю,
Самосознанье нации со скрипом зарождается.

Сверчкам на лесопилке неважно, что пилить —
Что доски для гробов, что ножки для кроватей.

Любовь и смерть — какая торжественная фуга!
Стон от испуга, переходящий в храп.

Обветшалые имперские мечты

Стыдно сказать — и мне
Являлись такие мечты.
Единственное оправданье,
Что все это было во сне.

Вьющиеся колонны солдат,
Кажется, в римской форме
(Не то что армия джунглей
В своих маскарадных лохмотьях);

Сатрапов пиры и причуды,
Проконсулов блеск и величье
(Не то что жалкая эта практичность
Чиновного ушлого люда.)

И сам я — вроде Вергилия —
Средь кипени дел и событий:
Плыву на носилках,
Слуга на посылках,

Диктую письмо,
Вино привозное смакую —
Эх, малость подкисло!

И тонкие пальчики
Юной рабыни —
Конечно, на волю
Отпущенной мною —
Меня растирают...
(Не то что ручищи
Благородных римских матрон!)
И туземцы, глядящие с благоговеньем
На ковыляющего ветерана
(Но честная рана, а не язва гнилая
Или желтуха, подхваченная в Наафи.)

Кто бы плакал, что его слегка обобрали
Такие герои? Кто б возмущался
Их вниманьем к своей миловидной дочке?
Они говорят на чистой латыни
(с английским акцентом);
Один из них — на Энобарба [1] похожий —
Вояка бывалый,
Сколько рассказов он привез из похода!

Я просыпаюсь, беру газету.
Пишут об отозванных домой офицерах,
Отставках, экспатриациях, вознагражденьях...
Новый сон начинается въяве,
Сон о самоопределенье,
Новой силе и новой славе.

Как скоро наши мечтания
Становятся чьим-то кошмаром!
Мои, слава Богу,— анахронизм,
Руины древней Испании.

■

[1] Персонаж из трагедии В. Шекспира «Антоний и Клеопатра».

УЛЬРИКА МАРИ МАЙНХОФ

Перевод с немецкого И. ЛАНИНА

Имя Ульрики Мари Майнхоф (1934—1976) принадлежит уже истории. Тому периоду новейшей истории, который начался студенческими демонстрациями протеста против применения атомного оружия, а завершился созданием террористических организаций.

Десять лет жизни Ульрика Майнхоф отдала леворадикальному гамбургскому журналу «конкрет», где она была не только сотрудницей, но и регулярно выступала с политическими статьями, сделавшими ее к середине 60-х популярной.

Поводом для написания статьи «Напалм и пудинг» послужил визит американского вице-президента Губерта Хэмфри в Западный Берлин, когда одиннадцать членов «Коммуны № 1» закидали его пакетиками с сухой смесью для приготовления пудинга, а день спустя газеты представили эту экстравагантную выходку «новых людей» — коммунаров (создание коллективных форм совместного проживания — «коммун» — к этому времени широко практиковалось в Европе и Америке; новейшие вариации снов Веры Павловны, меняя психологию их участников, в конечном счете должны были переменить мир) вооруженной вылазкой.

Покушение на Руди Дучке, лидера студенческого движения в Германии, вызвало бурю молодежных волнений и не оставило в стороне Майнхоф, знаменательно озаглавившую статью об этом событии «От протеста к сопротивлению». Спустя год она ушла из журнала «конкрет» по идейным соображениям, предпочтя *словесному* протесту *вооруженное* сопротивление существующему порядку. «Джентльменский набор» публицистики Майнхоф: критика правительства и социальной действительности, обличения войны во Вьетнаме и продажной буржуазной прессы — сменился рассуждениями о тактике партизанской войны в городе. Именно Ульрике как профессиональной журналистке было поручено в 1971 году написать манифест «Роте арме фракцион» — террористической организации, созданной на базе «Группы Баадера — Майнхоф» (или «Банды Баадера — Майнхоф», в зависимости от политических симпатий говорящего). Титульную страницу манифеста украшало изображение автомата Калашникова, а словосочетание «роте арме» («красная армия») должно было будить не самые приятные ассоциации у обывателя.

Статус свободной журналистки и матери девочек-близняшек был сменен на статус подпольщицы и нелегалки с поддельным паспортом и пистолетом в сумочке. Но подполье требует немало денежных средств, поэтому при участии или под руководством Майнхоф грабились банки, взламывались паспортные отделы, угонялись автомобили. Рискованный маскарад, участники которого примеряли на себя то пенсне Троцкого, то берет Че Гевары, синюю кепку маоиста или бороду Фиделя и его военную форму, закончился для Ульрики Майнхоф арестом в 1972 году. Позади остались многочисленные поездки на Ближний Восток для установления связей с палестинскими террористами, впереди было долгое следствие, начало судебного процесса в 1975-м и смерть (возможно, самоубийство) в тюрьме.

Мы публикуем ниже образцы «партийной литературы» Ульрики Майнхоф, чтобы читатель живо ощутил дух борьбы, протеста, нетерпимости и *нетерпения, прямого действия* (одна из самых известных левых групп Франции «Аксьон директ» так себя и назвала), свойственный ангажированной, «идейной» журналистике 68-го.

Напалм и пудинг

Одного лишь упрека не удастся избежать берлинским «пудинговым» коммунарам: упрека в том, что они, не будучи готовыми к своей внезапной известности, не использовали возможности разъяснить смысл своей акции по телевидению и на страницах иллюстрированной прессы. Вместо того чтобы направить внимание общественности, обращенное к ним, на Вьетнам, вместо того, чтобы отвечать на вопросы журналистов правдой о положении во Вьетнаме, приводить факты, цифры, примеры из политики, они принялись говорить о самих себе. Разумеется, коллективная форма жизни для этих людей самоценна, но в отношении к их акции с пакетами пудинговой смеси эта форма, прежде всего, явилась наилучшим средством вызвать раздражение у полиции, прессы и политиков, спровоцировать их на нервный срыв, на ответные действия, лишь подтвердившие их моральную и политическую двусмысленность оценки войны во Вьетнаме. Подготовив «пудинговую» акцию и, кроме того, нагнав страху на бюргера, студенты не только разрушили действующую вот уже несколько лет систему бойкота шпрингеровской прессы и ее политических сторонников, но и свалили — да к тому же весьма забавным образом — стену замалчивания, которая обычно в Федеративной Республике возводится вокруг оппозиционной деятельности. Однако свою внезапную известность они использовали только лишь для удовлетворения личного эксгибиционизма, оттолкнули своим снобизмом не только интервьюировавших их журналистов, но также и читателей, и зрителей, они упустили возможность стать посредником между адекватным представлением о том, что происходит во Вьетнаме, и плохо информированной публикой. По всей вероятности, находясь в эйфории от собственной сокрушающей всяческие табу сексуальной жизни, они хотя и называют себя «маоистами», не прочли своего Мао: «При большом стечении масс самое важное — пробудить сочувствие толпы,— это им удалось,— и выдвинуть соответствующие моменту лозунги»,— а этого-то они и не сделали. И если понять, что вовсе не юношеское легкомыслие и не взбудораженность полового созревания подталкивают студентов к этим действиям, но только полная осведомленность вкупе с их относительной независимостью — у них больше времени для дискуссий и проще доступ к источникам информации, чем у других групп населения,— то тем более тяжелым становится просчет, что эти одиннадцать берлинцев не сочли нужным разъяснить свои правила игры.

Но как бы то ни было, именно студентам акциями протеста против войны во Вьетнаме удавалось за последние месяцы все больше и больше прорывать бойкот западногерманской прессы, сделать свои демонстрации событием, которым общественность была вынуждена заниматься. И сейчас, главным образом, именно студенты разрабатывают те новые модели поведения политической оппозиции, которые более не могут быть отнесены к доказательствам некоей псевдолиберальности, которые невозможно более замолчать. Именно студенты вынуждают тех, кто одобряет американскую войну во Вьетнаме, а это, как известно, те же самые люди, которые одобряют принятие законодательства о чрезвычайном положении, открыть свое истинное политическое лицо. Полицейские дубинки были началом, теперь уже требуют запрета Социалистического союза студентов, исключения некоторых студентов из университета под тем предлогом, что-де перейдена черта, разделяющая политический радикализм и уголовщину.

Таким образом, преступление — не напалмовые бомбы, сброшенные на женщин, детей и стариков, но протест против этого. Не уничтожение посевов, что для миллионов означает голодную смерть,— но протест против этого. Не разрушение электростанций, лепрозориев, школ, плотин — но протест против этого. Преступны не террор и пытки, применяемые частями специального назначения,— но протест против этого. Недемократично не подавление свободного волеизъявления в Южном Вьетнаме, запрещение газет, преследование буддистов — но протест против этого в «свободной» стране. Считается дурным тоном целить в политиков пакетами с пудинговым порошком и творогом, а не официально принимать тех политиков, по чьей воле стираются с лица земли целые деревни и ведутся бомбардировки городов. Считается дурным тоном проведение на вокзалах и на оживленных перекрестках

публичных дискуссий об угнетении вьетнамского народа, но вовсе не колонизация целого народа под знаком антикоммунизма.

Губерту Хэмфри позволено заявить в Берлине: «Полагаю, это вызовет понимание берлинцев, что Соединенные Штаты осознают свою ответственность за слово, данное народу Южного Вьетнама, как и за обещание сохранить свободу Берлина». («Нойе цюрхер цайтунг», 8 апреля).

Берлинцам должно бы быть известно, что народ Южного Вьетнама никогда не просил давать такого обещания, что эти слова вице-президента США представляют собой не гарантию, но угрозу продолжать проводить американскую политику по отношению к Берлину даже тогда, когда берлинцы хотят ее изменения, либо вообще не хотят этого, что отлично известно политикам в Бонне и в Берлине. И зная это, они отдавали приказы избивать студентов, арестовывать, шельмовать, запугивать. Зная это, Гюнтер Грасс выгнал этих одиннадцать человек из жилища Уве Йонсона; зная это, академический сенат Берлина грозил запретом деятельности Социалистического союза немецких студентов в Свободном университете. Напалму — да, пудингу — нет.

«Франкфуртер рундшау» брюзжала: «Тот, кто надеется при помощи взрывных устройств привлечь к себе внимание, должен допускать и то, что его причислят к тем, кто привык разговаривать языком бомб». Молочные продукты в пакетах сравнивать с бомбами и снарядами, поражающее действие которых ужаснее, чем запрещенные Женевской конвенцией пули «дум-дум»,— это значит объявить войну детской игрой. И разве «Франкфуртер рундшау» так никогда и не замечала, что высказывания студентов и других оппозиционных групп — как бы они ни были сформулированы — не печатаются, за исключением разве что тех случаев, когда эти публикации пробивают себе дорогу с большим шумом? Может быть, «Рундшау» причисляет себя к концерну Шпрингера?

Студенты слишком изолированны, чтобы быть авангардом, им недостает способности объясняться с общественностью, привыкшей к языку газеты «Бильд». Однако они создали модели: что и как нужно делать, чтобы быть услышанным; что происходит, когда оппозиция недвусмысленно излагает свои взгляды. Это не авантюризм, а пустая забава, если благодаря пудингу и дискуссиям, конфетти, леденцам, йогурту, яйцам и немногочисленным группам перед американскими консульствами попадаешь в заголовки газет. Но полицейские дубинки, поспешные аресты и административные меры дают полное представление о том, что же должно узаконить законодательство о чрезвычайном положении. С помощью демонстраций против войны во Вьетнаме студентам удалось слегка прощупать демократию Федеративной Республики. Оказалось, она с гнильцой. Они открыли на это глаза общественности — вот в чем их заслуга.

«конкрет», 1967, № 5.

От протеста к сопротивлению

«Протест — это когда я говорю: то-то и то-то мне не подходит. Сопротивление — если я прилагаю усилия, чтобы то, что мне не подходит, больше не повторялось. Протест — это когда я говорю, что отказываюсь участвовать в чем-либо. Сопротивление — если я прилагаю усилия, чтобы в этом не участвовали и все остальные». Примерно так говорил один из чернокожих представителей движения «Власть черным!» в феврале на берлинской конференции, посвященной Вьетнаму.

Студенты не проводят репетицию восстания — они оказывают сопротивление. Летели камни, разлетались вдребезги оконные стекла высотного здания Шпрингера в Берлине, горели автомобили, были захвачены водометные машины, была разгромлена редакция газеты «Бильд», были продырявлены автомобильные покрышки, парализован городской транспорт, перевернуты грузовики, прорваны полицейские оцепления — было применено насилие, физическое насилие. И несмотря на это, доставку шпрингеровских газет остановить не удалось, движение уличного транспорта было нарушено лишь на несколько часов. За оконные стекла заплатит страховая компания. Вместо сожженных грузовиков на улицы выедут другие, парк полицейс-

ких водометов не уменьшился, и в будущем в резиновых дубинках недостатка не будет. А значит, то, что произошло, сможет повториться: шпрингеровская пресса сможет и дальше продолжать свою травлю, Клаус Шюц и в будущем сможет призывать «взглянуть в лицо этим типам» и намекать, что следует им хорошенько вмазать — что уже и произошло 21 февраля — и, в конце концов, стрелять в них.

Граница, разделяющая словесный протест и физическое сопротивление, была перейдена в демонстрациях протеста против покушения на Руди Дучке в пасхальные дни, перейдена впервые многими, а не только лишь одиночками, в течение многих дней, а не однажды, во многих местах, а не только в Берлине, реально, действенно, а не только символически. После 2 июня шпрингеровские газеты лишь сжигали, теперь же была сделана попытка блокировать их доставку. Второго июня летели только яйца и помидоры, теперь летели камни. В феврале был показан занятный и смешной фильм о приготовлении зажигательных смесей — «коктейлей Молотова», теперь же были реальные пожары. Граница, разделяющая протест и сопротивление, была перейдена, но все-таки неэффективно; все-таки то, что произошло, сможет повториться: соотношение сил не переменилось. Сопротивление было оказано. Позиции власти заняты не были. Считать ли поэтому все происшедшее бессмысленным, выплеснувшимся из берегов, террористическим, аполитичным, бессильным насилием?

Констатируем следующее: те, кто с позиций политической власти осуждает летящие камни и поджоги, но не осуждает развязанную концерном Шпрингера травлю, не осуждает летящие на Вьетнам бомбы, террор в Иране, пытки в Южной Африке, те, кто действительно мог бы экспроприировать Шпрингера, а вместо этого вершит «великую коалицию», те, кто действительно мог бы распространить в средствах массовой информации правду о газетах «Бильд» и «Берлинер цайтунг», а вместо этого распускает полуправду о студентах, кто лицемерит, выступая за отказ от насилия, кто подходит к событиям с различными мерками, — все они хотят именно того, чего мы, вышедшие в эти дни на улицы, с камнями в карманах или без них, не хотим: политики, навязываемой как неотвратимый рок, недееспособных, нуждающихся в опеке масс, бессильной оппозиции, ничему и никому не могущей помешать, демократических игр в песочнице, чрезвычайного положения, объявляемого, когда дело примет серьезный оборот.

Джонсон, объявляющий Мартина Лютера Кинга национальным героем, Киссинджер, выражающий в телеграмме соболезнование по поводу покушения на Руди Дучке,— именно они и являются представителями насилия, против которого выступили и Кинг, и Дучке, насилия системы, что породила и Шпрингера, и войну во Вьетнаме; у них нет ни политического, ни морального права протестовать против воли студентов к сопротивлению.

Констатируем следующее: документально подтверждено, что здесь человек не может больше быть просто так застрелен, что протест интеллектуалов против одурачивания масс, которым занимается концерн Шпрингера, совершенно серьезен, и что предназначен он не боженьке и не для будущего, не на потом, чтобы сказать когда-нибудь, к слову, что всегда был-де против; есть подтверждение тому, что приличия & пристойность есть не что иное, как оковы, которые можно сбросить, когда связанного ими избивают, когда в него стреляют. Подтверждается, что в этой стране есть еще люди, которые не только не приемлют эту войну и втихомолку осуждают ее, а все-таки иногда рискуют и не могут уже больше молчать; что здесь есть люди, которые готовы и способны оказать сопротивление для того, чтобы всем стало ясно — дальше так продолжаться не может. Было продемонстрировано, что травля, призывы к убийству и само убийство нарушают общественный покой и порядок, и что существует общественность, которая этого не потерпит. Что человеческая жизнь есть нечто качественно иное, нежели оконные стекла, принадлежащие Шпрингеру грузовики и автомобили демонстрантов, которые во время блокады доставки газет перед высотным зданием концерна Шпрингера в Берлине были — акт неприкрытого произвола — перевернуты полицией и повреждены при этом. Что существует общественность, полная решимости не только назвать невыносимым невыносимое положение, но и выступить против этого, разоружить Шпрингера и его пособников.

Теперь, после того как было продемонстрировано, что существуют и иные средства, кроме просто демонстраций, «слушаний по делу Шпрингера», митингов

протеста, оказавшихся несостоятельными, потому что не смогли предотвратить покушение на Руди Дучке, теперь, когда оковы приличия & пристойности сброшены, можно и должно вновь и с самого начала вести дискуссию о насилии и ответном насилии. Ответное насилие в том виде, как оно было применено в эти пасхальные дни, не способствует тому, чтобы вызвать симпатию или привлечь испуганных либералов на сторону внепарламентской оппозиции. Для ответного насилия есть опасность стать насилием, когда жестокость полиции станет определять законы действия, когда бессильная ярость заменит рассудок, когда почти боевые действия полиции вызовут ответное применение почти боевых средств. Однако истеблишмент, или, говоря словами Руди Дучке, «господа на вершине», обязан понять, что есть лишь одно средство восстановить «покой & порядок» на сколько-нибудь долгий срок: экспроприация Шпрингера. Шутки кончились. «Протест — это когда я говорю: то-то и то-то мне не подходит. Сопротивление — если я прилагаю усилия, чтобы то, что мне не подходит, больше не повторялось».

«конкрет», 1968, № 5.

■

ДЖЕЙМС ДУГЛАС МОРРИСОН

Перевод с английского Г. ДАШЕВСКОГО

На ту сторону

Вот день поставил ночи шах
ночь дню объявила мат
кто на дне кто в бегах
на ту сторону сделай шаг
сделай шаг

тут мы искали кайф
там копали клад
сколько тому назад
был наш последний плач?
на ту сторону сделай шаг
сделай шаг

я остров нашел тебя обняв
страну в твоих глазах
глаза вранье объятья тюрьма
на ту сторону сделай шаг
сделай шаг

скандаль кричи в неделю раз
в сутки раз каждый час
проход открыт брось свой страх
на ту сторону сделай шаг
сделай шаг

Каюк

Вот и каюк, милый мой друг,
вот и каюк, единственный друг, каюк
мечтам и замыслам, каюк
всему надежному, каюк
ни чуда ни опор, каюк
я не найду уже любовь
твою

ты подумай как потом
вольно и особняком
и ничьей руки
в той стране тоски
там безлюдно пусто тихо тихо
любые дети это психи
дети дети это психи

дождик дождик перестань
это нехороший район
езжай-ка по шоссе, дружок
шахта нагоняет страх
езжай-ка к западу, дружок
поезжай по змее

и к воде, к древней воде, дружок
змея длиной в семь миль
по змее
змее сто лет кожа как лед
закат наш брат
закат наш брат
давай сюда и пойдет на лад
синий автобус готов для нас
синий автобус готов для нас
шофер куда увозишь нас?

убийца встал до зари
он надел башмаки он надел лицо
со старых картин
он прошел по коридору
вошел в комнату
где живет сестра
он зашел к брату
он прошел по коридору
и подошел к двери
он открыл дверь
«Папа? — Что, сынок? — Я хочу тебя убить»
«Мама, я хочу тебя — »

ну же давай с нами рискни
ну же давай с нами рискни
у синего автобуса
меня жди
(синий автобус пока что — давай!)

вот и каюк, милый мой друг
вот и каюк, единственный друг, каюк
как больно говорить «иди»
но нам не по пути
смеху каюк и нежной лжи
ночам когда мы кончали жить
вот и каюк

■

ДОНАЛЬД РЕЙФИЛД

КАК НАС ЛИШИЛИ ПОСЛЕДНЕЙ НЕВИННОСТИ

Я свалился в Англию и в 1968 год будто с другой планеты: я не узнавал своей родины и плохо ориентировался во времени. Шестидесятые годы проходили для меня так же незаметно, как погода на улице для зародыша во чреве матери. В первые годы этого вольнолюбивого и волнующего десятилетия я учился в Кембридже, где допотопные порядки и самодовлеющее мироощущение университета почти не менялись. Я, конечно, читал в газетах о культурном перевороте, происходившем в Лондоне, но в Кембридже — всего в девяноста километрах от столицы — эти веяния совсем не чувствовались. Потом, не всплывая на поверхность мира, я уехал прямо в полуколониальную Австралию, застрявшую в тридцатых годах. Там таможня конфисковала те мои книги, которые на родине только что вышли из опалы,— я лишился «Улисса» Джеймса Джойса и «Любовника леди Чаттерли» Дэвида Герберта Лоуренса. В Квинслендском университете по-прежнему запрещали профессорам преподавать авторов гомосексуальной ориентации (кроме древних греков) — об Андре Жиде говорили только шепотом. В городе Брисбен жеманные хозяйки надевали белые перчатки перед выходом в магазин за продуктами.

Вернувшись в Англию 1968 года после трехлетнего отсутствия, я был потрясен так, будто меня разбудили: кончился многолетний сказочный сон. В книгах печатали непечатное, в театрах играли нецензурное. Казалось, традиционные, строго разграниченные английские сословия смешались: лондонские гангстеры с чудовищными рожами выпивали в компании почетных политиков со срезанными подбородками; вялые аристократы совокуплялись со здоровенными рабочими (в любом сочетании полов). Христианство не то отступило, не то стушевалось, нравственность, если она существовала, стала какой-то неопределенной, таитянской. Куда исчезли тот снобизм, тот цинизм, то чопорное лицемерие, которые раньше придавали английской жизни ее знаменитый порядок и удушливое спокойствие? А главное, стало можно одеваться по настроению. С тех пор в Англии очень трудно отличить «по одежке» профессора от бомжа, Золушку от принцессы. Как объявил один журнал мод: «Мода умерла, да здравствует одежда!»

Над всем этим мнимым и сумбурным раем веял густой дым из трубки вождя лейбористов Гарольда Вильсона. В первый раз за очень долгое время у нас появился премьер-министр не пьяница, не развратник, не неврастеник, а с любящей женой, которая писала милые, даже грамотные стихи. Добрый, мягкий Вильсон не умел прогонять негодных министров: его кабинет состоял исключительно из интересных, трогательно не соответствующих роду своей деятельности людей. Неистовый, почти невменяемый Тони Бенн, бывший лорд, который отрекся от своего титула и стал крайне левым и пацифистом, теперь заведовал производством плутония для водородных бомб. Джордж Браун, который пьянством и грубостью шокировал даже советских собеседников и обезоруживал растерявшегося Вильсона своими постоянными угрозами подать в отставку, ведал иностранными делами. Рыжая безудержная Барбара Касл, которая не умела водить машину и с трудом владела собой — настоящая смесь огня с перцем,— была министром транспорта. Социализм с подобием человеческого лица, как кастрированный кот, улыбался нам и мурлыкал.

Как моряк, попавший на тихоокеанский остров, я нашел, что на моих глазах этот невинный рай портится с ужасающей быстротой. Рабочие зарабатывали лучше чем когда-либо — они бастовали. Студенты получали щедрые стипендии, а любой умный старшеклассник имел доступ в университет — они бунтовали и нападали на полицейских лошадей. Но существовали и более веские причины для недовольства. Миролюбивое правительство было уличено в кровопролитиях нигерийской гражданской войны: миллионы в Биафре гибли из-за нашей нефти. Продажа истребителей и боеприпасов африканским палачам, однако, не спасала нашей экономики, которая страдала от щедрости Вильсона и шантажа профсо-

юзов. Деньги обесценивались, как Вильсон ни уверял, что фунт стерлингов в нашем кармане остался неизменным. Мы оказались не такими уж дураками. Ему перестали верить. Пародисты начали издеваться над акцентом и нелепым витийством Вильсона. Обещанный рай испарился. (Гарольд Вильсон, заживо изгнанный из этого рая, уже потерял доброе имя и политическую трезвость, которыми он тогда так гордился,— его давно постигла суровая кара за самоуверенность,— он оказался на обочине наших политических интересов. Но последующие двадцать лет заставили нас переоценить и даже полюбить его: мы поняли, что легче было жить с лисой, чем с волками и собаками.)

Наши чуткие романисты с самого начала 1968 года прозрели и увидели, говоря словами английской гувернантки, что «все это кончится слезами». Среди английских писателей самым прозорливым оказался Энтони Пауэлл. В 1968-м появился его роман «Военные философы», девятый в цикле «Музыка времени». Я-то в те времена еще не дорос до Пауэлла, да и не все критики умели его оценить. Сейчас нет сомнения, что писатель давно понял, в чем истинная суть английской терпимости и кажущейся доброжелательности: в неумении любить, в тупом безразличии, в мертвецкой холодности к родным и к чужим. В новом романе Пауэлла, как во всех предыдущих и последующих этого цикла, выступает зловещий пошляк Кэннет Уидмерпул. Уидмерпул, этот комический антигерой, английский родственник Фомы Фомича, украдкой или открыто поднимается по общественной лестнице и начинает смертельно давить всех соперников своими интригами, своим неприятием иной личности. В девятом романе Пауэлл впервые создал героиню, супругу, достойную Уидмерпула, хладнокровную нимфоманку Памелу Флиттон, которая дразнит своих любовников и доводит до самоубийства, разрушая их самоуверенность, их иллюзии и творческие силы. Как Диккенс, Энтони Пауэлл чуял то бессердечие, которое прячется под вежливыми манерами британских властей предержащих. Цель Памелы Флиттон — создать ад для мужчин, а Уидмерпул воплощает собой какую-то неумолимую Волю в шопенгауэрском смысле. Наша ошибка тогда была в том, что в жизни мы их еще не раскусили и думали, что Памела является какой-нибудь райской пери, а Уидмерпул — мудрым мандарином.

Как все талантливые писатели, Пауэлл не сумел удержать своих выдуманных героев в рамках выдуманного им мира, они постепенно вылетали из романа и воплощались в жизнь. Например, умный и очаровательный журналист Ким Филби оказался полковником КГБ; прелестные новые актрисы и певицы, жрицы любви, вдруг превратились в «акул империализма».

1968 год прошел в Англии гораздо спокойнее, чем во Франции, в Германии или в США, не говоря уж о Праге. Но везде на Западе молодежь, особенно учащаяся, заподозрила своих родителей, правителей и преподавателей в лицемерии. Сомнительный и, увы, бессмертный Уидмерпул, Мефистофель в сером пальто, только подтверждал собой то, что молодые люди уже подозревали. Молодые англичане не умели выразить недоверие к своим правителям так четко, как до них выражали свое негодование «сердитые молодые люди» пятидесятых годов. В Германии, однако, непримиримая творческая молодежь заранее предупреждала учителей жизни, померкших светочей, о готовящемся в 1968 году погроме. Возьмем, например, стихи «Бедная свинья» Ф. К. Делиуса, в которых молодые поэты расправляются с пожилым критиком:

В два часа ночи мы штурмовали дом
Знаменитого критика. Тот еще сидел и работал,
Но сразу вскочил с облегчением и
Поднял руки вверх. Он смотрел, довольный,
Разыгрывал разоружение, когда мы его книги
Укладывали в корзины для грязного белья,
А он не вмешивался. Мы вспомнили его возбуждение
От «Китаянки» и поэтому оставили ему
Маяковского и Брехта. Он уже доставал вино
Из погреба. Когда мы его пластинки
Уносили, он просто сказал, он не хочет
Больше слышать о Бетховене, но вдруг стал настаивать,
Чтобы оставили Альберта Айлера. Мы согласились,

Что Айлер останется. Мы танцевали с его женой.
Она пригласила нас в кухню, мы вежливо съели
Деликатесы. Потом он хотел нас
Задержать с помощью виски. Уже рассветало, мы
вытолкнули
Сволочь на улицу, ведь он хотел стать с нами на «ты».
Мы сочли, что он зашел слишком далеко.
Вот так мы совершили еще одну ошибку.

В Англии молодежь пока не так остервенела, наоборот, старшему поколению надоело младшее: атаку начали старики. Самый мрачный из наших поэтов, Филип Ларкин, хмурился в университетской библиотеке захолустного города Халл в Северной Англии. Он уже давно скис. Он был широко известен своим выпадом против одного коллеги, который стоял вместе с ним под дождем в очереди на автобус: «И не думайте, что вы можете стоять под моим зонтиком!» Со студентами он совсем не разговаривал; он смотрел на них с отвращением и с завистью, сравнивая беззаботные вакханалии современной молодежи с собственными еще не забытыми сексуальными мытарствами: «Половые сношения / Начались с тысяча девятьсот шестьдесят третьего года. Чересчур поздно для меня». Уже в 1968 году Ларкин выдумал своего молодого посмертного критика, возненавидел его (и в то же время пожалел):

Джек Балоковский, мой биограф,
Читает эту страницу с микрофильма. Он сидит
В своей келье с кондиционером в университете Кеннеди
В джинсах и в полукедах. Зачем ему скрывать
Легкое недовольство своей судьбой?
«На год, если не дольше, мне навязали этого старого
пердуна...
Одного из тех старомодных, с рождения искалеченных
типов».

С каждым месяцем в этот чувствительный год вонь от «старых пердунов» становилась все невыносимее. Дым из трубки Гарольда Вильсона душил нас. Сговорчивость, прагматизм и угодливость премьер-министра, оказалось, не отличались от цинизма и полного отсутствия каких-либо нравственных устоев предыдущего правительства консерваторов. Надо помнить, что английский социализм уходит корнями не в безжалостный марксизм, а в милосердное протестантское христианство. От консерваторов мы спокойно принимали как должное наглую ложь и разврат, вроде бы неприемлемые от наших социалистов.

В начале года мы узнали, что тот напалм, которым американцы заживо сжигали вьетнамских детей, есть в запасе и у нас и что нервно-паралитический газ «си-эс» готовят на одном из наших правительственных тайных полигонов, Портон Даун, и потом вывозят в США и в Нигерию, чтобы генерал Говон мог продолжать истреблять народ ибо. Напрасно лейбористы отменили смертную казнь и телесное наказание, ведь они все еще отправляли в ЮАР для тамошних палачей конопляную веревку и розги. Лейбористы готовили новые законопроекты, разрешающие аборт и даже содомию, но в их принципиальность уже мало кто верил. Наши пограничные пункты больше не уважали традиционной свободы передвижения. Один депутат нарочно отправился в Португалию без паспорта, как любой англичанин сто или двести лет назад — его задержали и не пустили в самолет. Вдруг вспыхнуло возмущение. Даже самый красный революционер, немец Даниэль Кон-Бендит, вызвал сочувствие английской публики, когда тогдашний министр внутренних дел Джеймс Каллахан запер для него границы. Наша свобода в самом деле оказалась призрачной.

Консерваторы-оппозиционеры вели себя еще хуже. Энок Поуэлл, самый образованный из них, профессор греческого языка, будто сошел с ума: он пророческим голосом предсказал, что скоро кровь потечет в крупных городах Англии из-за прироста черного населения. Консерваторы, зазывавшие в пятидесятые годы черных с карибских островов в Англию на рабочие места в больницах и на транспорте, теперь объявили себя расистами. Кто-то раскопал ранние стихи Энока Поуэлла, и стала различима вонь его фашизма:

Я ненавижу некрасивых, ненавижу старых,
Ненавижу хромых и слабых,
А больше всех я ненавижу мертвых,
Которые лежат так тихо в постели из земли
И никогда не смеют воскресать.
Я люблю только сильных и смелых,
Мерцающий глаз, краснеющую щеку,
А больше всего я люблю огонь
Молодых ног, вид которых возбуждает желание,
Но никогда не удовлетворяет.

К беспринципности министров иностранных и внутренних дел прибавилась безалаберность лорда-канцлера, министра финансов. Постоянный рост доходов среднего англичанина сокращался. Несмотря на социалистическую уравниловку, в Англии бедные становились беднее, богатые — богаче. К тому же догматики в министерстве народного образования с азартом разрушали старую систему государственных лицеев и реальных школ, а взамен насаждали сплошную халтуру, так что только богатые могли давать детям хорошее образование. Постепенно создавался тот опасный для властей союз, который раньше считали в Англии невероятным и только во Франции возможным,— союз рабочего со студентом.

В июне журнал «Оккультные новости» объявил своим читателям (и их было несколько тысяч), что Гарольд Вильсон не человек, а бог. Это было началом политической гибели Гарольда Вильсона; как римский император, он с каждым месяцем терял человеческий облик. Даже его разведка МИ-5 решила, что он советская креатура: наша тайная полиция благодаря сыску и дезинформации опозорила друзей и сообщников бедного премьер-министра.

В это время молодые и даже старые писатели обличали союз английских аристократов с международными плутократами как коренное зло. Популярный писатель Кингсли Эмис, считавшийся ранее веселым аморалистом, всех удивил, опубликовав роман «Вынь да положь», очередную комедию с необычным для себя нравственным уклоном. Во всех романах Кингсли Эмиса герой поражает бесстыдными поисками секса и алкоголя, которые заканчиваются громким скандалом. Учинив пьяный скандал, аспирант, заглавный герой романа «Счастливчик Джим», разоблачает ханжу, профессора Уэлча. А в новом романе герой Ронни Эпплъярд признается, что он сам — дерьмо, и охотится на героиню, отбивая ее у аристократа-отчима и у богатых американских женихов не только потому, что она красавица, но и потому, что она богатая невеста. Девушка Симона представляет собой тот тип женщин, который этнологи отыскали только в Англии, то есть фригидную нимфоманку, как Памела Флиттон у Энтони Пауэлла. Но в романе «Вынь да положь» герой-дерьмо действительно влюбляется и своей подлинной любовью лечит Симону от фригидности. Счастливый конец наступает только после того, как герой публично разоблачает ее богатых родителей по телевидению. Ронни благородно и всенародно втаптывает будущую тещу в грязь:

«Богатые отличаются от нас, и они хуже нас не потому, что они рождаются худшими, а из-за их возможностей, возможностей власти без ответственности. Пользоваться властью очень заманчиво. Спросите у любого политика. Слушайте, я бы и пальцем не дотронулся до ваших проклятых денег, хоть становитесь на колени и упрашивайте меня. Неужели вы думаете, что я согласился бы жить в вашем мире, когда я вижу, что́ из вас сделали деньги?»

Этот наивный, заискивающий роман пользовался большим успехом у публики: он проповедовал ненависть к богатым и поиски счастья посредством синхронного оргазма. Через двадцать лет, в старости, Кингсли Эмис стал женоненавистником и полностью разочаровался в такой простой постановке вопроса. В недавнем романе «Вещь Джека» герой примиряется с импотенцией и отказывается от курса лечения, который предлагают врачи и подруги, чтобы безмятежно и целомудренно доживать свой век.

А тогда, в 1968 году, Кингсли Эмис пытался сесть между двух стульев. С одной стороны, он льнул к молодым радикалам; с другой стороны, как ярый антикоммунист, он поддерживал американские интересы во Вьетнаме и с большой осторожностью относился к социалистам любой масти. Скандал разразился в сентябре, когда объявили голосование среди магистров Оксфордского университета по

кафедре поэзии. Кто-то выдвинул кандидатуру Евгения Евтушенко. На Евтушенко обрушился Кингсли Эмис вместе с поэтом-историком Робертом Конквестом, недавно опубликовавшим свой капитальный труд о сталинизме «Большой террор»; их поддержал самый влиятельный фельетонист газеты «Таймс» Бернард Левин. Кингсли Эмис обвинил Евтушенко в двурушничестве, в преследовании Синявского и Даниэля и еще в том, что Евтушенко будто бы послал Брежневу телеграмму, одобряющую оккупацию Чехословакии. Весь Оксфорд смутился; не только коммунисты доказывали, что Кингсли Эмис оклеветал и скомпрометировал Евтушенко. Тот так и не стал профессором поэзии, но все-таки остался хоть сколько-нибудь поэтом. Кингсли Эмиса сочли реакционером, несмотря на безудержный приапизм.

Почти все английские романы, гремевшие тогда, а сегодня потонувшие в забвении, были озабочены сексом. Даже религиозно настроенная Айрис Мердок в книге «Милые и хорошие» построила сложную фабулу на перетасовке совокупляющихся персонажей. В Америке Джон Апдайк подал пример «Супружескими парами», где все десять буржуазных семейств в одном маленьком американском городке заняты только адюльтером. В 1968 году единственным художественно удачным сочинением такого типа был роман Дж. П. Донливи «Бестиальные блаженства Балтазара Б.». Донливи, гениальный полуамериканец-полуирландец, заливал читателя своей безбрежной фантазией. Несмотря на свое богатство, на свое торжество над ханжеством и хамством власть имущих и на счастливые похождения с отзывчивыми ирландскими девушками, герой романа Балтазар Б. подвергается истинно религиозному испытанию. В конце концов умирает его невеста, любовница убегает, и Балтазар уезжает из Англии, «прежде чем темнота или другие люди тебя застигнут. Застигнут тебя в твоем приюте. Как все сердца. Взволнованным, одиноким. С тихими глазами. У холодных вод. Где грусть подстерегает тебя так глубоко. Это заставляет тебя не двигаться».

Донливи из проповедника сексуальной эмансипации превратился в ветхозаветного Иеремию. Молодежь уже чуяла, что пилюля освободила только от физических последствий свободной любви, а с духовными последствиями она еще не умела справляться. Нужно было заниматься делом. Женский журнал «Нова», затрагивавший такие темы, которых периодика для мужчин избегала как чумы, вдруг в сентябре 1968 года предложил на обложке очередную знойную манекенщицу со змеиной фигурой в алом брючном костюме. Но в этот раз она с закрытыми глазами прислонилась к стене, и вся страница была занята текстом:

> «Я принимала пилюлю, я вздернула юбку до бедер, я спустила юбку по щиколотки, я взбунтовалась в университете, я обругала американское посольство, я жила с двумя мужчинами, вышла замуж за одного, я зарабатывала свой хлеб, я сохранила свою личность, а откровенно говоря, я заблудилась».

Армия Спасения обрадовалась и воспроизвела эту жалобу на страницах своего журнала «Боевой клич». На глазах сектантов язычники признавались в своем отчаянии, в нравственном банкротстве, в жажде спасения. Поиски счастья должны были пойти по другому пути.

От сытости до тошноты всего один шаг. Уже в начале года британские суды махнули рукой на цензуру: запрещенные книги свободно продавались. Одной из самых известных запрещенных книг был тошнотворный шедевр Хьюберта Селби «Последняя вылазка в Бруклин». Роман вызвал всеобщее возмущение особенно одним замечательным эпизодом, в котором шайка бродяг на пустыре до смерти затрахивает идиотку-шлюху. Судьи обсудили этот эпизод и убедились, что такая порнография неизбежно должна оказывать хорошее влияние на всякого читателя. От подобных описаний безудержной похоти любой читатель отвернется и захочет прямо в монастырь. Судьи также решили, что и «Голый завтрак» Уильяма Берроуза никого не может развратить ни своим наркоманством, ни своей гомосексуальностью, а скорее отвратит самого развращенного читателя от греха, даже если он стоит на краю пропасти.

В том же году последний и самый нелепый из королевских чиновников, лорд-камергер, потерял свою двухсотлетнюю власть над театральным репертуаром. Раньше он имел полное право запрещать драматургам представлять на сцене даже сумасшедшего прадеда королевы, Георга III. Теперь драматурги

судились с ним и довели его ископаемость до такого абсурда, что правительство второпях отменило эту должность. В театре можно было впервые смотреть на совершенно голых актрис и актеров, возьмите, например, музыкальную пьесу «О! Калькутта» Кэннета Тайнена. В пьесе Эдварда Бонда «Спасенные» можно было видеть, как мальчики камнями убивают младенца (но надо признать, что у Толстого в пьесе «Власть тьмы» убийство ребенка вызывает гораздо больше ужаса, чем у Бонда).

В мире художников, однако, даже весной 1968 года иллюзий было мало. Когда мы смотрим на человеческое тело, каким его представляют Фрэнсис Бэкон или Лусиен Фройд, мы не видим никаких следов той радостной чувственности, которой восхищались наши поэты и романисты. Бэкон еще дальше закручивает адски порочные фантазии Иеронима Босха, а у Фройда одалиски своими мышцами и кожей иллюстрируют целую эпопею душевных мучений и телесных лишений. Знатоки должны были признать, что Бэкон и Фройд являются настоящими летописцами нашего времени. Тем не менее английский обыватель еще не украшал своей гостиной такими репродукциями. Ему больше по душе пришлись холеная плоть и безоблачное освещение гладких голливудских и нью-йоркских фокусников Роя Лихтенстайна или Дэвида Хокни.

Строптивому художнику в своей мастерской, особенно если он в поисках солнца добровольно сослал себя в Марокко или Грецию, было легче, чем писателю или журналисту, уединяться от притеснений моды или спроса заказчиков и начальства. «Он отвык от фраз и прячется от взоров». Средствам массовой информации, однако, так и не удалось освободиться от бюрократических ограничений. Пока на короткое время государство держало телевидение и радио в узде. Цензура смягчалась, но не уходила. Журналист-обличитель должен был сначала бороться со своим продюсером, а потом с «козлами» из какой-нибудь «ассоциации слушателей», блюстителями нравов и порядков, вполне способными оплатить расходы частного иска и не раз привлекавшими к суду составителей особенно интересных программ. Впрочем, чем жестче и смелее становились тележурналисты, тем искуснее и ловчее наши политики учились изворачиваться на интервью. Тот, кто видел, как Маргарет Тэтчер справилась, как ящерица с мухами, с бедными московскими журналистами на интервью в «Останкино», поймет, какую хорошую школу прошли с тех пор английские политики. Ненависть и разочарование, однако, развили телевидение: самые лучшие пьесы и репортажи утекали из театров и газет в более эпизодический, но лучше оплачиваемый мир телевидения. Превосходство английского телевидения, можно сказать, нанесло тяжелый удар английской литературе и даже грамотности вообще. Тот факт, что литература и театр уже безвозвратно вышли из-под правительственной опеки, не помог им выжить. В любом случае почти полное освобождение литературы и театра от внешних ограничений кончилось тем, что интеллигенты отвернулись от литературы и театра и начали пробовать свои силы на улицах.

Чтобы оторваться от телевизоров, снять тапочки и выйти на улицу после сытного праздничного ростбифа, флегматичные англичане нуждались в очень сильном толчке. Им стал выстрел в Америке. Второе убийство Кеннеди — не Джона в Далласе, а Роберта в Лос-Анджелесе — убедило их, что силы реакции не остановятся ни перед чем, чтобы отстоять свои позиции. Они поняли, что стыдно просто смотреть на все это разрушение по телевидению. Убийство Роберта Кеннеди по сравнению со вторым браком Жаклин Кеннеди, решившей унизиться до такой степени, что она вышла за Онассиса, было еще большей изменой. Трудно теперь представить себе Роберта или Джона Кеннеди настоящими радикалами: мы знаем об их роли во вьетнамской войне и об их связи с мафией. Но тогда братья Кеннеди еще были символами идеалистически настроенной молодежи. После Роберта Кеннеди был убит Мартин Лютер Кинг. Можно было поверить в постоянный заговор истеблишмента против всех идеалистов. (Конечно, тогда мало еще знали о недостатках Мартина Лютера Кинга и видели в нем только идеалиста и идеал.) Заключительным ударом, разочаровавшим американофилов, стал разгром молодежных выступлений осенью в Чикаго, когда полиция по приказу мэра Ричарда Дели беспощадно избивала и протестующих и зевак на политических митингах.

Уже полвека английская культура слепо подчинялась влиянию своих заморс

ких кузенов, в то же время жалуясь на потерю первенства в англоязычном мире. В 1968 году скрытый антиамериканизм воспламенился. С 1942 года, когда американские солдаты впервые появились в большом количестве на английской земле, мы, англичане, ревновали к ним наших дочерей и жен и завидовали их богатству, аппетитам и отсутствию тормозов. Впервые за тридцать лет эта антипатия проявилась открыто: произошли беспорядки в центре Лондона. Перед американским посольством в Гроувнорском сквере демонстрация против вьетнамской войны превратилась в восстание. Людей подняла не столько солидарность с вьетнамскими крестьянами, сколько давно кипевшее раздражение от десятилетий американского культурного и политического господства. Демонстранты забрасывали камнями и калечили полицейских лошадей и тем возмущали английскую публику, которая любит собак и лошадей еще больше, чем своих душек-полицейских.

Беспорядки ширились. Когда правительство Вильсона должно было признаться, что в наших университетских лабораториях химики и физики работают по договорам с американскими вооруженными силами, студенты приступили к более решительным мерам. В ста километрах от Лондона в хмурых гранитных башнях Эссекского университета сорок преподавателей и тысяча студентов откололись от университета и основали свое собственное, «свободное» учреждение. Ректор университета Дональд Дейви, хороший поэт, переводчик Пастернака и Мандельштама, неожиданно потерял самообладание. Он объехал на машине все дома преподавателей-раскольников, сунул в каждый почтовый ящик по ругательному письму, обвиняя своих коллег в предательстве и в коммунистическом уклоне, и затем надолго улетел в Америку. В других университетах произошли аналогичные расколы. Даже знаменитая Лондонская школа экономики взбунтовалась.

Какое-то время английское правительство опасалось, что бунтовщики, как во Франции и в Германии, расшатают власть до самых основ. Но у нас взрывчатого материала и минеров не хватило. (Даже в буквальном смысле, ведь прошло уже двенадцать лет с тех пор, как в Великобритании отменили обязательную военную службу: в отличие от Франции и Германии у нас среди молодежи почти никто не умел готовить «коктейль Молотова» или душить полицейского.) Во Франции и в Германии молодой красный еврей Даниэль Кон-Бендит воспалял толпу. Бунт поддерживали философы и писатели — Маркузе, Бёлль,— которые от тоски по прошлому обрадовались оживленной атмосфере и запоздалому появлению обожавших их учеников. В Англии выделялся только один революционер, левый социалист Тарик Али, вызывавший недоверие у рабочего класса, поскольку был пакистанцем. Наконец, нашим студентам недоставало внутреннего огня. Энтони Пауэлл в последнем романе «Услышав тайные гармонии» из цикла «Музыка времени» отлично понял, в чем суть дела. Уже в 1968 году (роман написан в 1975 году) всем ненавистный Кэннет Уидмерпул на краю смерти становится ректором провинциального университета. Две студентки обливают его алой краской; на вид он смертельно ранен, но Уидмерпул спокойно снимает очки и уверяет публику, будто рад, что может поздравить девушек с удачным попаданием. Пауэлл вспоминает чье-то наблюдение:

> «В Англии студентов не бывает, разве только медики или художники. Наши студенты не имеют ничего общего с заграничными студентами — с теми молодыми людьми, которые вечно бунтуют, готовят покушения на жизнь политиков, свергают правительство».

Англичане сначала со злорадством отнеслись к тому, что студенты творили во Франции в мае 1968 года. Генерала де Голля недолюбливали за неблагодарность: во время войны он держался в Лондоне с гордой недоступностью и открыто презирал англичан. Наконец, когда премьер-министр Гарольд Макмиллан умолял Европейское экономическое сообщество принять и Великобританию в его члены, де Голль ответил суровым вето. Теперь, когда рабочие автомобильного завода Рено слились со студентами, заняли Париж и парализовали всю страну, требуя отставки де Голля, мы испытывали скорее радость, чем страх. Напрасно де Голль давал интеллигентам министерские посты: Аллен Пейрефит, как Андре Мальро, сразу дискредитировал себя. С чудовищной самоуверенностью де Голль и Помпиду улетели: президент — в Бухарест, министр — в Кабул. Папенькины сынки не унимались и фактически овладели Парижем. Французская буржуазия ощерилась — пожилые дамы кричали на студентов: «Кон-Бендита в печь, Кон-Бендита в

Дахау». Парижская полиция озверела, избивала не только студентов, но и тех, кто их защищал, даже «скорую помощь». В Париже умирали на тротуарах, в подъездах и на больничных койках. Вдруг спектакль превратился в трагедию. Ту Европу, которая воскресла из-под развалин старого мира, казалось, опять похитил разъяренный бык. Наше злорадство в отношении к французскому распаду переходило в сострадание. Но вскоре в Париже чопорные коммунисты не то испугались, не то получили инструкции из Москвы: они порвали со студентами, и рабочие помирились с фабрикантами. К каникулам революционная волна стихла.

Так же как во Франции, в Германии буря студенческого восстания, которую подняли скучающие поэты и романисты, разгулялась под ударами и выстрелами ожесточенной полиции. Вдохновенный вождь студентов Руди Дучке был ранен в голову и долго лежал в смертельной опасности. Бешенство властей и оппозиции сменилось стыдом.

В результате всего испытанного наивное взаимное доверие политиков и интеллигентов исчезло. Мы все наконец поняли, что наши политики говорят правду и соблюдают гуманитарные правила, пока могут удержать власть без лжи и без насилия. После 1968 года, видя, как политик говорит по телевидению, я, подобно большей части моих современников, всегда задаю себе один вопрос: почему эта сволочь меня обманывает?

Наши впечатления от французских и немецких событий, конечно, затмила пражская трагедия. Сомнений не было, что студенческая смута на Западе была тесно связана с «пражской весной». Когда молодые немецкие туристы в Праге кричали: «Вива Дубчек»,— чешская молодежь дружно отвечала: «Руди Дучке»,— возвышая жертву немецкой полиции до настоящего мученика. Англия всегда чувствовала себя виноватой перед чехами. В 1938 году Чемберлен отдал их Гитлеру, оговариваясь, что Чехословакия — далекая страна, о которой мы знаем мало. Какая ерунда! Ведь Томаш Масарик долго преподавал философию в Лондонском университете, а английский историк Ситон-Уатсон принимал активное участие в определении границ нового государства. В сороковых годах Черчилль безмолвно уступил Сталину судьбу чешского народа. «Пражская весна» нас поэтому волновала. Наши правые, например новоиспеченный толстовец Малькольм Материдж, относились с подозрением к Дубчеку, как к очередному аппаратчику. Наши левые обвиняли Дубчека в том, что он подрывает безопасность славянского старшего брата и продает свою страну бывшим оккупантам. Тем не менее наивное лицо Дубчека, храбрый клуб репрессированных К-231, чудесные, бесстрашные фильмы Милоша Формана очаровали нас. Нам казалось, что возможность «социализма с человеческим лицом» скоро привлечет внимание Брежнева и Косыгина, как она манила венгров и румын. Как мы смеялись, когда одна чешская старушка написала в нобелевский комитет и попросила присудить коммунистическому президенту Чехословакии Антонину Новотному нобелевскую премию по медицине, «потому что ему удалось пересадить сердце народа в задницу СССР». Единственно правильным (но случайным) оптимистическим выпадом было уверение одного комментатора, что «Дубчек доживет до того дня, когда его идеи похоронят неприятеля».

Как миллионы англичан, я точно помню, где я был, когда вдруг услышал по радио, что русские танки вошли в Прагу. Был жаркий августовский день в саду, и я просто не поверил своим ушам. Остатки последней политической невинности смыло. Меня затошнило. В Лондон только что прилетели директор московского зоопарка, который с трудом отличал гиппопотама от носорога, и главный орнитолог зоопарка с гигантской пандой Ань-Ань, звездой московской коллекции. Я тогда служил в зоопарке переводчиком. Гости очаровали лондонцев, хотя озадачили директора лондонского зоопарка тем, что отказывались от спиртных напитков и все трое (и панда!) отказывались от предлагаемой им женской компании. Газеты заразились пандоманией, обсуждали, как уговорить нашу застенчивую и целомудренную панду Чи-Чи спариться с русским самцом. К сожалению, Чи-Чи была влюблена в своего смотрителя и на вежливого русского жениха не обращала внимания. Но чешские события испортили все дело. Ань-Ань вдруг оказал-

ся в глазах публики и печати насильником, московских зоологов выдворили из одной лондонской гостиницы в другую, и через месяц пандовская дипломатия окончилась крахом.

Легкость, с какой силы Варшавского договора подавили чешскую весну, и быстрота, с какой коммунисты пражских заводов отомстили студентам и интеллигентам, удручали нас. В журнале «Нью стейтсмен» перепечатали старые стихи Осберта Ситуэлла. Первоначально Ситуэлл написал эти стихи как протест против британской интервенции в большевистскую Россию. Теперь в этих стихах наше отчаяние в связи с судьбой Чехословакии нашло ироническое выражение:

Они очень ошибаются,
Что защищаются.
Они не должны обладать
Ни оружием, ни боеприпасами.

Мы не понимаем,
За что они борются.
У них нет богатых,
Нет частной собственности.

Мы очень хотим
Прийти к компромиссу,
Но сначала они должны
Уступить по всем пунктам.

Лишь католическое меньшинство в Северной Ирландии вынесло из пражских событий положительный урок. Католики решили больше не терпеть, чтобы «оккупанты» семнадцатого века, протестантское большинство, так цинично помыкали ими, лишая их хорошей работы, доступа в университет, благоустроенных домов. Подпольная Ирландская республиканская армия поистине воскресла, и бесконечная кельтская племенная кровная месть обострилась в 1968 году. Британская армия, сначала как медиатор, а вскоре как оккупационная сила, вмешалась в конфликт. Уязвленные чувства, подавлявшиеся полвека, воплотились в бесцельное насилие. Появилось поколение молодых ирландцев (с примесью «обкельтившихся» молодых англичан), одолеваемых психопатологической потребностью истреблять друг друга. Неизлечимая ирландская язва 1968 года до сих пор подрывает политическое здоровье Британского государства.

А «на материке» вооруженное сопротивление являлось лишь плодом глупой фантазии. И чтобы мы это до конца осознали, к концу 1968 года прошел один из самых лучших (а хороших тогда было вообще очень мало) английских фильмов — «Если...» Линдсея Андерсона. В типичной старинной «публичной» (то есть, по извращенной английской семантике, частной) школе мальчики перестают терпеть лицемерие и жестокость своих учителей. Они готовят восстание и крадут из кадетского арсенала ружья и пулемет. Переход от мальчишеского озорства к кровавой перестрелке у Андерсона до того убедителен, что не замечаешь, как фильм уходит из действительного мира в вымышленный.

Начальство подавляет бунт, порядок восстановлен. Во всяком случае, все это было только «если бы». Молодежь и начальство примирились с мыслью, что ни у кого нет мужества жертвовать собой или хотя бы своим комфортом ради справедливости. Американцы могли спокойно бомбить Лаос, русские могли сделать из чехословацкого правительства очередной балаган, и наши публичные школы до сих пор делают из нормальных мальчиков каких-то вечных недорослей, эмоциональных калек. 1968 год послужил горьким уроком, что не мы, а Провидение заведует историческим процессом и что в Эдем обратного пути пока не будет.

Ни с помощью секса, ни с помощью бунта мы не могли найти выход из тупика. Даже музыка перестала звучать. В начале года мы еще восхищались «Битлз». Самая оригинальная из их композиций «Оркестр сержанта Пеппера для Клуба одиноких сердец» сочетала изобретательность серьезной музыки с навязчивыми ритмами популярных песен. «Битлз» как будто положили конец роковому разрыву между культурой элиты и культурой масс. Они стали не только символом подкупающе нахальной молодежи, но и новой эгалитарной музыки и радикального мышления. И вдруг, одной прекрасной ночью, «Битлз» объявили, что закрывают свою

фирму «Эппл» и бесплатно раздают публике все, что они продавали в фирменном магазине. (На самом деле этой же ночью агент «Битлз» подогнал к магазину большой грузовик и увез все ценное, так что публике подарили только самые дешевые товары.) С истинным новаторством в популярной музыке было покончено. На эстраду вернулся рок, любители серьезной музыки должны были довольствоваться такой мистификацией, как «Четыре минуты тридцать три секунды» Джона Кейджа, где пианист садится за фортепиано и ровно столько же времени бездействует. Музыка как искусство выродилась. Недаром в 1968 году запатентовали синтезатор «Моог», который не только подражает всем инструментам оркестра, но и «сочиняет» для них электронную музыку. Без второго Моцарта мы теперь без труда обойдемся.

Наши модные мыслители стали предлагать нам выход из тупика при помощи электроники. Жрец социологии Маршалл Маклюэн предсказывал конец печатной литературы и торжество электроники. Уже тогда намечался компьютер не просто как счетчик или картотека, а как пропуск в полноценный искусственный параллельный мир, с которым мы будем смыкаться всеми пятью чувствами. Сегодняшние дети, пригвожденные к компьютерным играм, как наркоманы к шприцам с героином, являются конечным и горьким осуществлением этого нового идеала. Но еще в 1968 году сатирик, драматург, романист (и переводчик Чехова) Майкл Фрейн догадался, что и этот путь заведет нас в болото. В романе «Очень частная жизнь» Майкл Фрейн вообразил маклюэнский мир «холовидения», где мы принимаем дозу «либидина» или «оргазмина», чтобы испытывать все радости любви или путешествия. Но герои романа, Сулпио и Энкэмбер, недовольны и тоскуют по какому-то уже недоступному реальному миру. Любое моделирование реального мира оказывается жалким его подобием.

По всем традициям классического романа лишение последней невинности должно быть если не радостным обрядом, то положительной сменой вех. Но я не знаю никого из своих современников, кто с ностальгией или с благодарностью вспомнил бы шестьдесят восьмой и то горькое знание жизни, которое этот проклятый год принес с собой.

Дональд Рейфилд родился в 1942 году в Оксфорде, но учился в Кембридже и большую часть своей жизни работает в Лондонском университете (Квин Мэри энд Уэстфилд колледж) в должности профессора русского и грузинского языков. Он автор статей и монографий о Чехове, Мандельштаме и Пржевальском, но растрачивает свои силы на разные литературные и критические занятия — переводил стихи с русского и грузинского, составил из засекреченных стенограмм грузинского Союза писателей радиопьесу о гибели Паоло Яшвили (Русская служба Би-би-си). Он иногда читает радиоэссе для программы «Поверх барьеров» (радио «Свобода»). Он только что закончил книгу «История грузинской литературы» (от блестящего начала до грустного конца) и на следующие два года отдает себя двум новым исследованиям о жизни и творчестве Чехова.

Статья о 1968 годе написана по памяти. Мы знаем, до чего наша память способна обманывать нас, просто оговоримся: автору кажется, что тогда было так.

Автор благодарен Анне Пилкингтон за исправление разных стилистических и грамматических ошибок.

■

НАТАША ВОДИН

Изобретение любви

Natascha Wodin. Erfindung einer Liebe. «Reclam»

Немецкая писательница Наташа Водин приобрела известность после публикации романа «Однажды я уже жила» (1989), переведенного на несколько языков. Читателей во многих странах привлек исключающий неопределенность и беззубость подход к столь щекотливым темам, как изнасилование и родительская жестокость.

«Изобретение любви» по форме представляет собой личный дневник некоей писательницы; как и Н. Водин, она родилась в 1945 году в семье эмигрантов из России. У нее завязывается переписка с русским балетным танцовщиком Сергеем, который заражен СПИДом. Двести с лишним писем предшествуют их первой встрече в греческой деревушке. Писательница страстно влюбляется в Сергея, и отныне ее единственная цель — добиться близости с ним. В конце концов это ей удается, и она переживает настолько сильное потрясение, что уже почти не осознает грань между своей реальной и придуманной жизнью. (Мотив придуманности, изобретения не раз звучит в тексте романа, начиная с названия.) В финале Сергей и писательница решают вместе — по обычаю японских влюбленных — совершить самоубийство.

РОДДИ ДОЙЛ

Падди Кларк, ха-ха-ха

Roddy Doyle. Paddy Clarke ha ha ha. «Secker and Warburg»

В 1993 году премию «Букер» за лучший англоязычный роман получил тридцатипятилетний ирландский писатель Родди Дойл. Бывший учитель, он стал известен после успешной экранизации одной из его книг.

Действие романа с несколько необычным названием «Падди Кларк, ха-ха-ха» разворачивается в 1968 году — тогда автору было десять лет, как и главному герою, мальчику по имени Падди. От его лица ведется рассказ о жизни рабочего квартала в северной части Дублина (в романе квартал назван Барритауном). Ирландию конца 60-х годов читатель видит глазами веселого и наблюдательного Падди. Энергия в нем бьет ключом, он спешит поделиться нехитрыми радостями и открытиями; ведь для десятилетнего сорванца, например, целое событие — успеть нацарапать свое имя и имя лучшего друга Кевина в еще не застывшем бетоне где-нибудь на стройке.

Сложная, нередко удручающая действительность постепенно меняет характер главного героя. Религиозная нетерпимость приводит родителей Падди к ссорам, а затем и разводу; дружба с Кевином оказывается не столь уж прочной, а проделки Падди становятся все менее симпатичными. Жизнерадостный, словоохотливый дублинский мальчишка, с которым читатель знакомится в начале романа, к его финалу превращается в рано повзрослевшего, настороженного подростка, в глубине души страдающего от одиночества и собственной жестокости.

КЕН КИЗИ

Песня моряка

Ken Kesey. Sailor Song. «Transworld Publishers»

После долгого, почти двадцатипятилетнего молчания опубликовал свой новый роман автор знаменитой книги «Над кукушкиным гнездом». Основное действие «Песни моряка» разворачивается в рыбацком поселке Куйнак на Аляске. Обитатели его — поконары (что расшифровывается как «потомки коренных народов») и разношерстное общество деклассированных элементов с юга, включая и шайку, в которой верховодит главный герой романа Айк Саллас по прозвищу «Бандит с Бакачки». На фоне гибели природы в XXI веке (действие перенесено в будущее) поселок являет собой чуть ли не экологический рай.

Однако его спокойное существование оказывается под угрозой, когда в Куйнак прибывает целая команда голливудских продюсеров. Они собираются снимать фильм по мотивам эскимосской сказки, для чего намерены превратить поселок в гигантскую декорацию, добавив бутафорских утесов и поддельного «местного колорита», а после съемок киношники хотят построить аэропорт

и переоборудовать Куйнак в постоянно действующий центр туризма...

ДЭВИД МАЛУФ

Помня о Вавилоне

David Malouf. Remembering Babylon. «Chatto and Windus»

Один из крупнейших современных австралийских литераторов, поэт и прозаик Дэвид Малуф в своем новом романе затрагивает тему истории «зеленого континента».

В современной австралийской художественной прозе миф о первых переселенцах как о романтических героях, несших цивилизацию на край Земли, постепенно сменился другим: невежественные колонизаторы разрушили древнюю самобытную культуру, не сумев понять ее. Роман Дэвида Малуфа отчасти отражает эту тенденцию.

В середине 1840-х годов Джемми Фэрли, тринадцатилетнего подростка, выбрасывают за борт корабля у северного побережья Австралии. Местные аборигены спасают Джемми и принимают его в свое племя. Когда шестнадцать лет спустя семья европейских переселенцев «усыновляет» Джемми и возвращает его в мир белых людей, оказывается, что он не только почти забыл родной язык, но и по образу мышления, характеру и даже внешности более походит на темнокожего аборигена. Он как бы принадлежит двум весьма отличным друг от друга мирам, и этого странного, загадочного, не вписывающегося в привычные рамки человека начинают травить жители белого поселка. Чужие места, напряженность и полумистический страх из-за соседства темнокожих довольно скоро превращают добродушных поначалу переселенцев в буйных расистов. Джемми вынужден скрываться, а затем и вовсе бежать из поселка. Его дальнейшая судьба не ясна: по одной из версий, шесть лет спустя он погибает вместе с несколькими аборигенами в ходе расовых столкновений.

АЛЬВАРО МУТИС

Похождения и приключения Макролля-Марса (2 т.)

Alvaro Mutis. Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero. «Siruela» (2 vol.)

Получивший международное признание прежде всего как поэт, колумбиец Альваро Мутис обрел в 80-е годы и славу прозаика, удостоившись почетного сравнения с корифеями морского приключенческого жанра — Конрадом и Мелвиллом. Макролль-Марс, герой многих романтических стихов А. Мутиса, ставший почти символом его поэзии, перекочевал затем в серию из четырех романов. Приключениями отважного моряка Макролля по кличке «Марс» (имеется в виду морской термин, а не планета) зачитываются не только в Колумбии и всей Латинской Америке, но и в Европе, особенно во Франции.

Первый том «Похождений и приключений...» — это, по сути, переработанное сжатое изложение предыдущих четырех произведений. Второй том представляет собой новый роман — «Триптих моря и суши». Он состоит из трех самостоятельных частей: в первых двух Макролль вновь путешествует, попадая во всевозможные переделки, а в третьей неожиданно «бросает якорь», занявшись воспитанием сына судовладельца Абдула Басхура — другого известного персонажа этого цикла. И хотя стоянка длится лишь год, она, похоже, станет для Макролля вечной. Сделать крутой поворот в судьбе героя семидесятилетнего писателя, видимо, побудила мысль о том, что новые приключения им обоим уже не по плечу.

Р. К. НАРАЙАН

Бабушкина история

R. K. Narayan. The Grandmother's Tale. «Heinemann»

Новый сборник прозы маститого индийского писателя состоит из трех новелл. Центральная, давшая название сборнику, композиционно представляет собой «рассказ в рассказе»: автор излагает историю, поведанную его бабушкой. Речь идет о судьбе Балы, прабабушки автора. После свадьбы муж неожиданно сбегает от нее, однако Бала не желает мириться с участью вдовы — традиционно низким социальным статусом для индийской женщины. Она отправляется на поиски беглого мужа и находит его: он стал процветающим ювелиром и успел жениться вторично. Призвав на помощь оккультные силы, Бала завоевывает доверие второй жены, затем переходит в наступление и изгоняет соперницу. Но семейного счастья ставшая покорной женой Бала так и не обретает.

В двух других новеллах сборника Р. К. Нарайан решает моральные проблемы в ироничном, порой на грани гротеска, ключе. Так представлена история взаимоотношений обитателей провинциального городка — жадного, зловредного чиновника и мелкого шантажиста. Герои заключительной новеллы «Соль и опилки», супруги Вина и Свами, живут, на первый взгляд, вполне благополучно: Вина пишет роман, Свами доволен ролью домашнего повара. Но жена начинает флиртовать с зубным врачом, и Свами изобретает «страшную месть». По просьбе Вины он пишет вместо нее главу о свадебном пире, и из-за его потрясающих рецептов роман становится бестселлером лишь в качестве поваренной книги.

АНДЖЕЛО РИНАЛЬДИ

Дни уходят быстро

Angelo Rinaldi. Les jours ne s'en vont pas longtemps. «Grasset»

Известнейшего во Франции литературного критика, автора нескольких романов Анджело Ринальди часто — и заслуженно — сравнивают с* Марселем Прустом. Тонкий психологизм, глубокие философские проблемы общечеловеческого масштаба — все это характерно для произведений А. Ринальди. Его новый роман имеет детективную фабулу. Но автора интересует вовсе не криминальный сюжет (убийца так и остается неизвестным); в центре его внимания — связь людских судеб, связь прошлого и настоящего.

В начале романа главный герой видит на залитом кровью ковре мертвого мужчину —

это Франц, его давний друг. Пятнадцать лет назад рассказчик познакомился с Францем и его сестрой Луизой, молодой журналисткой, а затем, по их приглашению, переехал из своей комнатенки в их просторную квартиру. Время, проведенное вместе, общение с разными людьми, тогдашние увлечения и происшествия — главный герой разматывает клубок воспоминаний по мере того, как ищет ответ на вопрос: кто же мог убить Франца, красивого манекенщика? Между тем рассказчик делает иное важное открытие: он потерял самого близкого человека, которому не помог в нужный момент. Теперь уже поздно, и еще одно раскаяние добавляется к длинному списку угрызений совести — этому итогу неудавшейся, в сущности, жизни.

УИЛЬЯМ СТАЙРОН

Утро прилива

William Styron. A Tidewater Morning. «Random»

Список художественной прозы лауреата Пулицеровской премии Уильяма Стайрона пополнился — впервые за прошедшее десятилетие — новой книгой. «Утро прилива» — это сборник из трех новелл, поведанных одним и тем же лицом. В них рассказчик вспоминает о важных эпизодах из своего детства и юности, проведенных в маленьком городке в штате Виргиния, на побережье океана с его бесконечной чередой приливов и отливов.

Открывает сборник новелла, действие в которой происходит во время второй мировой войны. Главный герой — десантник военно-морских сил США — участвует в наступательных операциях союзнических войск в Европе. Во втором сюжете мальчуган взволнованно рассказывает о том, как бывший раб вернулся в родные края, чтобы умереть на той земле, где родился и вырос, и что из этого вышло. Герой последней новеллы, подросток, мысленно обращается к печальному событию — смерти матери. Тот жаркий летний день круто изменил его судьбу и до сих пор стоит у него перед глазами.

СОЛЕДАД ПУЭРТОЛАС

Течение в проливе
Скрытая жизнь

Soledad Puertolas. La corriente del golfo. «Anagrama». La vida oculta. «Anagrama»

Для своего второго сборника рассказов известная испанская писательница выбрала символическое название, позаимствованное у одного из десяти вошедших в него произведений. Его героиня, как и женщины из новелл «Сеансы массажа», «Сад госпожи Мусоргской» и других, уныло, бесцельно плывет по течению жизни, не находя в ней своего места. Все они брошены на произвол судьбы не кем-то, а самой судьбою. Утонуть им, впрочем, не суждено, но и ступить на землю обетованную тоже не дано. Горькой неприкаянностью они напоминают флоберовских, но еще более — чеховских героинь.

Это сходство вполне закономерно, поскольку оба классика — и французский, и русский — стали для Соледад Пуэртолас духовными учителями и наставниками, о чем она подробно рассказывает в сборнике литературоведческих очерков «Скрытая жизнь». В нем автор также мысленно беседует со Стендалем и Сервантесом, Т. Манном и В. Вулф, давая собственное прочтение их произведений. Обращаясь к дневникам Ф. Кафки, К. Мэнсфилд и Ч. Павезе, испанская писательница размышляет о связи между реальностью и литературой, о внутренней, скрытой жизни мира книг. Достоинства нового сборника отмечены премией издательства «Анаграма» за лучшую книгу эссе 1993 года.

КАРЛОС ФУЭНТЕС

Апельсиновое дерево
География романа

Carlos Fuentes. El naranjo. «Alfaguara». Geografia de la novela. «Alfaguara»

Мексика, ее история, причудливая смесь культур, корни и истоки мексиканского народа — к этим традиционным для себя темам Карлос Фуэнтес (перевод его романа «Старый гринго» см. «ИЛ», 1988, № 3) вновь обращается в сборнике «Апельсиновое дерево». В каждой из пяти новелл главный герой сажает зернышко апельсина — символическое воплощение культуры арабского Востока, перенесенной в Западное полушарие, в Латинскую Америку.

В новелле «Два берега» эту миссию выполняет Херонимо де Агилар — переводчик Эрнана Кортеса; в другой («Сыновья конкистадора») — сам Кортес, побежденный и преследуемый. Заключает сборник новелла «Две Америки», где в роли сеятеля выступает еще одно историческое лицо — Христофор Колумб.

Одновременно со сборником художественной прозы в том же издательстве вышел в свет и литературоведческий — «География романа», вобравший в себя тринадцать очерков. В них Карлос Фуэнтес размышляет над такими проблемами, как пресловутое угасание романического жанра и его универсальность. Кроме того, писатель анализирует произведения авторов с мировым именем: среди них, прежде всего, его кумир Борхес, а также Х. Гойтисоло, М. Кундера, Дж. Конрад, Дж. Барнс, А. Лундквист, И. Кальвино, С. Рушди.

ПЕТЕР ШНАЙДЕР

Поиск пары

Peter Schneider. Paarungen. «Rowohlt»

В 1968 году Петер Шнайдер был одним из лидеров студенческого движения в Германии. Четверть века спустя немецкий писатель решил взглянуть на те бурные события глазами героя романа «Поиск пары». Действие происходит в середине восьмидесятых годов; ученый Эдуард Хофман, оценивая в свои сорок с лишним лет прошлое и настоящее, вынужден признать: его поколение стало оплотом тех самых государственных институтов, против которых некогда бунтовало.

Буржуазная система ценностей устояла под натиском левых радикалов, однако кое-что в ней, похоже, рушится и без их усилий. По

наблюдениям Эдуарда, большинство пар в Берлине распадается после трех лет и ста шестидесяти семи дней совместной жизни. Заинтригованный главный герой и два его приятеля устраивают «любовный марафон»: тот, кто через год «сойдет с дистанции» с теперешней своей подругой, оплачивает всем поездку в швейцарские Альпы.

Но в финале все трое проигрывают. Впрочем, друзья не огорчены: ведь они не собирались отстаивать традиционный брак, а лишь хотели испытать его в сравнении с новыми формами, когда смена партнеров — это норма.

КАРЛОС БАРРАЛЬ

Дневники (1957—1989)

Carlos Barral. Los diarios (1957—1989). «Anaya and Mario Muchnik»

Более тридцати лет — до самой смерти в ноябре 1989 года — известный испанский поэт, политик, издатель Карлос Барраль вел дневники. Их недавняя публикация в Мадриде (под руководством каталонской писательницы Кармен Риеры) стала литературным событием. Личный и творческий путь интеллектуала описан в них в тесном переплетении с судьбой испанской культуры, пережившей гнет франкизма.

Условно «Дневники» делятся на три части. Первая охватывает 1957—1964 годы, когда К. Барраль сопротивлялся и противостоял официозу; здесь же сосредоточено большинство его личных размышлений. Вторая часть более разрозненна тематически и хронологически и заканчивается 1982 годом — тогда Карлос Барраль баллотировался от Социалистической партии на пост сенатора. С этого момента и до последней записи, сделанной за неделю до смерти,— таков временной диапазон третьей части.

Связующей нитью мемуаров служит напряженно-пристальное внимание, с которым их автор следил за своим развитием как поэта. Осознавая свое писательское и прежде всего поэтическое — призвание, Карлос Барраль зачастую мучительно ощущал, как творческая энергия истощается из-за «второстепенных занятий» — издательской и политической деятельности, которая, впрочем, давала ему определенное моральное удовлетворение.

ФРАНСУАЗА САГАН

...И с самыми нежными чувствами

Françoise Sagan. ...Et toute ma sympathie. «Julliard»

Эти чувства популярная французская писательница питает к тем, кому посвящен новый сборник ее мемуаров. Он стал своеобразным продолжением книги «С наилучшими пожеланиями...» (отсюда и красноречивое многоточие в заглавии), вышедшей девять лет назад. У этих мемуаров есть и другая особенность: в них Франсуаза Саган вспоминает не только людей, которые оставили особый след в ее судьбе или памяти, но также все то, что в свое время поразило ее воображение. Поэтому палитра повествования столь пестра и даже хаотична: Феллини, Катрин Денёв, Ава Гарднер, Жорж Санд, Мюссе, Горбачев... Впрочем, виновником этого творческого беспорядка вполне мог быть и шотландский терьер по кличке «Копошилка»: он обожает ворошить рукописи хозяйки, которая и к нему относится с самыми нежными чувствами (как заявлено в названии.). В этой книге привычно бунтующая и порой эпатирующая Саган предстает совсем иной: мягкой, лиричной, тонкой.

■

■ Великобритания

ВИКТОРИАНСКИЕ ФАНТАСМАГОРИИ

Уже более десяти лет шотландец Алесдер Грей собственноручно иллюстрирует свои книги. Не стал исключением и его последний роман «Бедняжки» (издательство «Блумсбери»), удостоенный одной из крупнейших литературных наград Великобритании — премии «Уитбред», а также литературной премии «Гардиан».

Текст романа содержит легенду его появления. В 1970-х годах историк из Глазго случайно обнаружил в архиве пакет, в котором была изданная частным образом в 1909 году книга — мемуары медицинского работника XIX века, доктора Арчибальда Маккендлиса. Доктор рассказывает, как он встретил Годвина Бакстера — необычайно уродливого, но доброго человека и гениального хирурга. Помимо мемуаров, в пакете имелось письмо вдовы доктора Маккендлиса, опровергающее все изложенное в книге.

Далее роман превращается в еще более запутанную фантасмагорию, сюжетно перекликающуюся с «Франкенштейном» и мифом о Пигмалионе. В феврале 1880 года из реки было извлечено тело женщины-самоубийцы. Бакстер, используя свои уникальные способности, оживляет утопленницу и пересаживает ей, взамен поврежденного, мозг ее же нерадившейся дочери. Получается странное существо: внешне зрелая женщина с сознанием младенца. И хотя Белла (так зовет свою спутницу Бакстер) взрослеет быстро, мышление ее во многом остается детским.

Белла становится главным действующим лицом; вместе с Бакстером, своим творцом и воспитателем, она совершает кругосветное путешествие, пускается в любовные приключения, попадает на дно общества в Египте, живет в парижском борделе... Один из многочисленных персонажей, записной донжуан Уэддбёрн (по его словам, он еще в колыбели соблазнил собственную кормилицу) обучает Беллу искусству плотской любви. Однако ненасытная ученица, всегда готовая «поиграть в свадьбу» (как она по-детски простодушно называет секс), очень скоро истощает своего учителя до такой степени, что тот теряет всякое соображение. В конце концов Белла выходит замуж за доктора Маккендлиса, хотя по-настоящему любит только Бакстера.

«Бедняжки» — произведение многоплановое, сочетающее серьезные рассуждения (например, о роли Шотландии в недавней истории Великобритании) и весьма ироничные пародии на наукообразность «готических

Иллюстрации А. Грея к роману «Бедняжки».
(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

романов», на культ ребенка, характерный для романтизма, на некоторые модные идеи конца викторианской эпохи (феминизм, социализм «фабианского толка»). По мнению критиков, образ Беллы вполне заслуживает места в ряду до святости наивных литературных персонажей —Гулливера, Дон Кихота, Гека Финна, князя Мышкина и Холдена Колфилда.

ШЕЙЛОК ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

Шекспировский Шейлок — не просто персонаж пьесы, он — часть мировой мифологии. Не случайно его изучали литературные критики и социологи, историки и психоаналитики. Не случайно его имя стало нарицательным и в английском языке означает «давать деньги под высокий процент». Об этом и многом другом, что связано с Шейлоком, пишет в своей книге «Шейлок: легенда и ее наследие» (издательство «Саймон энд Шустер») бывший сотрудник «Таймс литерари сапплмент» и «Нью-Йорк таймс», а ныне театральный критик в лондонской «Санди телеграф» Джон Гросс.

Автор не только (и не столько) исследует литературный шедевр Шекспира, но и прослеживает, как с течением времени в разные века менялось отношение к Шейлоку — ставшему хрестоматийным образу скупого еврея. Поначалу гадкий старый злодей изображался актерами карикатурно, однако в последующих постановках этот сценический персонаж, при всей его отвратительности, приобрел более очеловеченный вид. Решающей в этом смысле оказалась интерпретация роли актером Эдмундом Кином в 1814 году. Его Шейлок вызывал у зрителей определенное понимание и даже сочувствие.

Вместе с тем сохранялся антисемитский заряд этого образа (не зря пьеса «Венецианский купец» пользовалась таким успехом у нацистов). Впрочем, Джон Гросс уточняет, что во времена Шекспира антисемитизм затрагивал не национальность, а религию. Шекспир жил в христианском мире, где на иудеев смотрели как на народ, который отверг Христа. Сегодня, в конце XX века, после кошмаров нацистских концлагерей уже невозможно ни воспринимать, ни играть Шейлока как прежде — последствия антисемитизма, как и всякого расизма, необратимо повлияли на мышление людей.

И несколько веков спустя «Венецианский купец» неизменно подвигает режиссеров на новые трактовки. В 1960-е и 70-е годы в Америке, а затем в Германии Дёрдь Табори создал вариант «пьесы в пьесе»: из узников концлагеря собирают труппу, которая своим спектаклем должна развлекать охранников. В 1972 году Питер Цадек осуществил в ФРГ постановку, где Шейлок предстает ходячим набором антисемитских штампов, узнаваемых зрителями как часть их собственных взглядов.

Эдмунд Кин в роли Шейлока.

(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

«АЙ-АЙ« ОБРЕЛ ЗАЩИТНИКА

Известный во многих странах английский путешественник и писатель Джеральд Даррелл продолжает спасать редких животных, которым в разных уголках планеты грозит исчезновение. В его новой книге описана недавняя экспедиция на Мадагаскар; основной ее целью было изучение легендарного зверька, именуемого «ай-ай». Это удивительное большеглазое существо с черными лапами (очень похожими на человеческие руки) и крючковатыми пальцами — словно оживший персонаж диснеевского мультфильма или старинной страшной сказки.

Но в наши дни это маленькое чудо угрожающими темпами вымирает. Его постигла та же судьба, что и многих других уникальных обитателей Мадагаскара — а они действительно уникальны, ибо 90% флоры и фауны этого острова не встречаются более нигде в мире. Джеральд Даррелл с тревогой пишет о гибнущей природе острова, экологические проблемы которого требуют скорейшего разрешения. Отчасти ситуацию могут поправить зоологи других стран: сейчас немалое их число устремилось на Мадагаскар, откуда они вывозят экземпляры исчезающих видов и размещают их в западных зоопарках и питомниках, чтобы через некоторое время вернуть размножившихся животных в места их естественного обитания. Так поступает и сам Дж. Даррелл, основавший на острове Джерси «зону безопасности» для братьев наших меньших.

Видимо, надежда спасти животных позволяет Джеральду Даррелу сохранять чувство юмора, знакомое читателям по предыдущим его произведениям. Само название книги «Ай-ай» и я» в оригинале звучит каламбуром — «Ай-ай энд ай». Шутливо и с большой долей самоиронии автор описывает свои приключения, встречу с неведомой культурой и природой. Запоминаются емкие, забавные образы и сравнения: Мадагаскар «смахивает на неудачно приготовленный омлет, оставленный в Индийском океане к востоку от Африки»; за обедом «худосочные куриные ножки» наводят его на мысль о «си-

Джеральд Даррелл и «ай-ай».

(Журнал «Лир»)

дящих на диете танцовщицах». При этом Дж. Даррелл демонстрирует незаурядные писательские способности, делая из дневниковых заметок единое повествование.

■ Италия

ФИНАЛ ОДНОЙ «ДУЭЛИ»

Пьер Паоло Пазолини и Франко Фортини — эти два крупнейших интеллектуала в немалой степени определяли пути развития итальянской культуры в течение нескольких послевоенных десятилетий. Своеобразная дружба-вражда, которая связывала их многие годы, оборвалась вместе с жизнью Пазолини. И лишь теперь, восемнадцать лет спустя, Франко Фортини предложил запоздалое перемирие своему ушедшему другу и коллеге, принять которое за него могут читатели: издательство «Эйнауди» выпустило в свет книгу Ф. Фортини «Через всего Пазолини».

Этот том сложно отнести к какому-либо определенному жанру — частью мемуары, частью автобиография, частью эссеистика, частью почти художественная проза. Тем не менее переплетение и смешение неизданных писем, статей, заметок, дневниковых записей, выступлений, стихотворений не производит впечатления хаотичного набора, поскольку в центре всего находится яркая и противоречивая личность Пазолини.

Страстная и ожесточенная полемика, бескомпромиссные споры по злободневным и вечным проблемам литературы, политики и морали — таким предстает в книге общение двух завзятых «дуэлянтов». Как свидетельствуют отрывки из писем, приведенные на страницах «Туттолибри» (еженедельного литературного приложения к газете «Стампа»), страсти нередко перехлестывали через край, а взаимные обвинения порой бывали на грани оскорблений. Более того, в самый разгар регулярной и неизменно основательной переписки, в 1960 году, Пазолини демонстративно не отвечал на настойчивые эпистолярные призывы своего провинившегося очередной дерзостью друга. Нападал и «подсыпал пороху в огонь» обычно Фортини, а Пазолини «отбивался», но столь умело и изощренно, что вскоре роли незаметно менялись...

Однако за фасадом личной перепалки скрывался глубокий, тонкий — а со стороны Пазолини еще и беспощадно прямой — анализ современной литературы, текущих событий культурной и общественной жизни Италии. Книга Франко Фортини — это не только новый ценный штрих к портрету П. П. Пазолини, но и документ, отражающий целую эпоху, бурную и удивительную.

Итак, «дуэль» завершена окончательно. Когда ноябрьским днем 1975 года Франко Фортини, бывший в ссоре с П. П. Пазолини, тайно пошел на его похороны, он сделал первый шаг к примирению. Его книга стала вторым.

ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОКРОВИЩА

Как говорят итальянцы сегодня и как они говорили в прошлые века? Какова связь языка с обществом и социальными институтами? Как соотносится литературный язык с разговорным? Какова роль диалектов? На эти и многие другие вопросы отвечает «История итальянского языка» — новый фундаментальный трехтомник, выпускаемый под руководством Альберто Азора Розы и под редакцией Луки Серианни и Пьетро Трифоне в издательстве «Эйнауди». Необходимость в таком солидном исследовании уже назрела, ибо предыдущая книга на эту тему — «История языка» Бруно Мильорини — была опубликована еще в 1960 году и, несмотря на значительную научную ценность, не отражает лингвистических перемен за последние десятилетия.

Первый том, уже вышедший в свет, посвящен формированию литературного итальянского языка и составляющим этого процесса: утверждению единой грамматики, орфографии, лексики; освещена также связь языка с печатью, церковью и школой. В центре второго тома — различные варианты и слои: письменный, разговорный, технический и т. д. Диалекты, заимствования, жаргоны охватывает третий том.

Основной упор сделан на проблемы современного литературного языка. Отмечая утвердившуюся нормативность тосканского диалекта, авторы выделяют два основных стилистических направления, характерных для сегодняшней прозы и поэзии Италии. С одной стороны, есть следование традиции; с другой — отказ многих (если не большинства) писателей строго соблюдать грамматические и прочие нормы, сильное увлечение разговорной и сниженной лексикой. Как считает один из авторов исследования, доцент Римского университета Л. Серианни, к сторонникам более традиционного, «классического», стиля можно отнести сицилийского писателя Джезуальдо Буфалино, а также Винченцо Консоло и молодого автора Микеле Мари.

Однако такие литераторы сегодня немногочисленны; преобладает — особенно среди молодых — стремление экспериментировать и с речевыми характеристиками персонажей, и с авторской речью. На чрезмерном проникновении разговорного языка в литературу сказывается воздействие телевидения; тем не менее авторы новой «Истории итальянского языка» надеются на возрождение одного из красивейших и богатейших языков Европы.

■ США

СЛЕДИТЕ ЗА МОДОЙ!

О чем только не пишут книги! Достаточно оглянуться вокруг, и сразу обнаружится какой-нибудь предмет, достойный воспевания или пристального изучения. Например, профессор английского языка Фред Миллер Робинсон посвятил двухсотстраничный труд под названием «Человек в котелке» сему до-

Эли Нейделман. «Человек на свежем воздухе».

(Еженедельник «Таймс литерари сапплмент»)

стойному головному убору. Действительно, ему было что сказать. Ведь котелок — это не просто шляпа, это некий символ эпохи модерн, и символ демократический: его носили и банкиры, и рабочие. При этом он создает довольно скучный образ индустриального общества в виде бесцветной и безликой массы служащих. Однако в этой толпе были и светлые головы, увенчанные подобным украшением. Из всех любителей котелков Робинсон сосредоточил внимание на писателях и художниках, а также известных героях книг. Геометрически правильная форма котелка привлекала немало деятелей искусства. Его носили Оскар Уайльд, Т. Элиот и Ф. Кафка; Магритт и Мане не только носили его, но и часто рисовали. Не был забыт, конечно, и Чарли Чаплин.

Помимо исторического экскурса, Ф. М. Робинсон затронул и философские аспекты. По ходу дела он в пух и прах раскритиковал идеи Фрейда о шляпе как некоем фаллическом символе.

На эту книгу в двух солидных литературных английских изданиях помещены весьма объемные рецензии, что подтверждает важность обсуждаемой темы, и, может быть, котелок с легкой руки профессора Робинсона вновь войдет в моду.

■ Франция

ПИСАТЕЛИ И РЕКОРДЫ

То, что писатели, случается, ставят рекорды, верно, как верно и то, что чаще всего это делается непреднамеренно. В литературе можно сравнивать вещи конкретные: тиражи, количество страниц, изданий, переводов и т. д. Журнал «Лир» предложил своим читателям своеобразное «обозрение» подобных достижений, используя «Книгу рекордов Гиннесса» и энциклопедический справочник Мишеля и Доминик Фреми «Куид», который сам может с полным правом претендовать на место в ряду рекордсменов: издательство «Робер Лаффон» выпускает его ежегодно уже в течение 30 лет; за это время справочник вышел в 450 тысячах экземплярах, содержит более 2 тысяч страниц, 30 миллионов печатных знаков и неисчислимое количество полезной информации!

Итак, самое-самое в литературе.

Самая большая книга — она так и называется «Суперкнига» — выпущена в 1976 году в американском городе Денвер, штат Колорадо. «Суперкнига» весит 250 килограммов, насчитывает 300 страниц, а ее формат в раскрытом виде составляет 2,75 × 3,07 метра.

Самая маленькая книга — форматом 1x1 миллиметр — выпущена в 1985 году в городе Пейсли (Шотландия): это детская сказка «Старый Капустный Король». Листать ее можно только с помощью иголки.

Самый длинный дневник написал полковник британских колониальных войск Эрнст Лофтус. Он вел его 91 год буквально ежедневно, начиная с 12 лет и до самой смерти в 1987 году (а умер он в возрасте 103 лет). За это время страна его пребывания была дважды переименована, став сначала Южной Родезией, а затем Зимбабве.

Самое длинное поэтическое произведение родилось в Киргизии: опубликованный в 1958 году фольклорный эпос «Манас» насчитывает более 500 000 строф.

Самый длинный роман-палиндром ухитрился сочинить в 1986 году американец Лоренс Левин: в его книге «Доктор Оковорд и Олсон в Осло», которую можно читать как слева направо, так и наоборот, 31594 слова. Разумеется, и название (на английском языке) — тоже фраза-перевертыш.

Самое длинное жизнеописание составил Мартин Гилберт — официальный биограф сэра Уинстона Черчилля. Чтобы поведать о «британском льве» во всех подробностях, автору потребовалось 8 миллионов слов, занявших 16745 страниц восьмитомника, не считая приложений.

Самый плодовитый писатель — Лопе де Вега: из-под его пера вышло около 1800 комедий, а также 400 пьес на религиозные темы. За именитым испанцем следует уроженец Польши Юзеф Игнаций Крашевский (1812—1887), оставивший после себя более 600 романов и историко-документальных исследований.

Наибольшей популярностью у кинорежиссеров пользуется Уильям Шекспир: его пьесы были экранизированы 273 раза, получили 31 современную обработку, не считая фантазий на шекспировские сюжеты. Один только «Гамлет» имеет 41 кинематографическое прочтение.

Наибольшей популярностью у издателей переводной литературы пользуется Агата Кристи: в 1992 году 269 переводов ее произведений появилось в 23 странах. Среди ныне здравствующих фаворитов также есть литературная дама — правда, француженка — Маргерит Дюрас: 55 переводов ее книг опубликовано в 20 странах.

Самый экранизируемый литературный герой — Шерлок Холмс: с 1960 по 1990 год в разных странах мира 72 актера сыграли роль знаменитого сыщика в 197 фильмах.

Наиболее стойким бестселлером оказался роман американца Скотта Пека «Самая нехоженая дорога»: с 1988 года он 258 недель удерживал пальму первенства в списке бестселлеров газеты «Нью-Йорк таймс». Однако на этот рекорд посягают сразу две книги — «Парфюмер» Патрика Зюскинда и «Краткая история эпохи» Стивена Хокинга.

Самой просроченной библиотечной книгой стал томик на немецком языке об архиепископе Бременском. В 1667 году полковник Роберт Уолпол взял ее в одной из университетских библиотек Кембриджа и... «заиграл». Вернул пропажу на место 288 лет спустя профессор Пламб, обнаруживший книгу в частной библиотеке одной из знатных семей в графстве Норфолк.

Самая большая библиотека — у Конгресса США: она на-

считывает 88 миллионов наименований, в том числе 26 миллионов печатных изданий. Это богатое собрание занимает стеллажи общей протяженностью 856 километров и площадью 26 гектаров.

Самое длинное слово — из 130 букв — существует в шведском языке. Это авиатехнический термин, который означает: «подготовительные разработки, используемые при анализе технического обслуживания опорной системы устройства, имитирующего полет самолетов, которые входят в состав береговой охраны, расположенной на северо-восточном побережье Балтики».

Самая высокая плотность книжных лавок на 1 квадратный километр (24) приходится на местечко Редю в бельгийских Арденнах. И это не случайно, ибо среди 300 жителей немало страстных библиофилов. Множество любителей книг съезжается сюда ежегодно, по традиции, на пасхальные праздники.

Самым густонаселенным известными писателями местом является американский поселок Миссула (штат Монтана). Здесь обитает около 30 романистов, среди которых Джеймс Крамли, Раймонд Карвер, Ричард Форд, Том Макгуэйн, Дороти Джонсон... Другим излюбленным пристанищем литераторов стал остров Ки-Уэст между Флоридой и Кубой. Томас Санчес, Джим Харрисон, Джон Лесли, Питер Тейлор, Эдмунд Уайт, а также именитые Теннесси Уильямс, Джон Дос Пассос и Эрнест Хемингуэй жили на этой гостеприимной земле.

Наибольшее число книг карманного формата написал Жозе Карлуш Риоки Инуэ — бразилец японского происхождения. В феврале 1993 года опубликован 1004-й его роман; первые 999 книг вышли под псевдонимами — их около сорока. На счету у рекордсмена произведения самых разных жанров: 665 вестернов, 112 шпионских романов, 73 романа о войне, 70 детективов, 63 приключенческих романа и 21 научно-фантастический роман. Своим учителем Жозе Инуэ считает... Гоголя.

В самом большом количестве — 28 712 000 экземпляров — разошелся по всему миру роман «Долина кукол» (1966) американки Жаклин Сьюзан.

Чаще других Нобелевской премии по литературе удостаивались французы — 12 лауреатов. На втором месте — американцы (11); далее следуют представители Великобритании, Швеции, Германии.

Быстрее всех сочинял свои произведения американец Эрл Стэнли Гарднер (1889—1970): он мог работать над семью романами одновременно и надиктовывать до 10 000 слов ежедневно. Правда, работал он в жанре детектива.

Самый длинный романический опус создал Жюль Ромен: над своим 27-томником «Люди доброй воли» он работал с 1930 по 1944 год. Чтобы отредактировать этот труд, потребовалось 13 лет, и почти столько же времени ушло на его издание.

Звания величайшего в мире энциклопедиста по праву заслуживает француз Роже Каратини (род. в 1924 году): с 1968 по 1975 год он в одиночку отредактировал 23 тома «Энциклопедии Бордас» общим объемом 200 миллиардов знаков.

По материалам газет «Корьере делла сера», «Репубблика» (Италия), «Чикаго трибюн» (США), еженедельников «Таймс литерари сапплмент» (Великобритания), «Стампа-Туттолибри» (Италия), «Нью-Йорк таймс бук ревью» (США), журнала «Лир» (Франция)

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

АЛЛЕН ГИНСБЕРГ (ALLEN GINSBERG; род. в 1926 г.) — американский поэт, лауреат нескольких литературных премий. Автор книг стихов «Вопль» («Howl», 1956), «Каддиш» («Kaddish», 1961), «Сгустки реальности» («Reality Sandwiches», 1963), «Планета новостей» («Planet News», 1968), «Самолетные фантазии» («Airplane Dreams», 1969), «Дыхание души» («Mind Breaths», 1978), «Плутониева ода» («Plutonian Ode», 1982). «ИЛ» публиковала стихи А. Гинсберга (см. 1966, № 9; 1986, № 10).
Публикуемые в этом номере стихи взяты из сборника «Падение Америки» («The Fall of America. Poems of These States. 1964—1971»).

ХУЛИО КОРТАСАР (JULIO CORTÁZAR; 1914—1984) — аргентинский прозаик, один из наиболее известных латиноамериканских писателей. Дебютировал в литературе в 1949 г. поэмой в прозе «Короли» («Los reyes»). Автор сборников рассказов «Зверинец» («Bestiario», 1951), «Конец игры» («Final del juego», 1956), «Секретное оружие» («Las armas secretas», 1959), романов «Выигрыши» («Los premios», 1960; рус. пер. 1979), «1962. Модель для сборки» («1962. «Modelo para armar»; рус. пер. 1985), «Игра в классики» («Rayuela», 1963; рус. пер. 1986). На русском языке выходило также «Избранное» (М., 1976; в серии «Мастера современной прозы»), в «ИЛ» печатались рассказы (1970, № 1; 1978, № 9; 1982, № 5; 1993, № 3). Роман «Книга Мануэля» вышел в Аргентине в 1973 году («Libro de Manuel». Buenos Aires, Editorial Sudamericana. Sociedad Anonima, 1973).

ДЕННИС ДЖОЗЕФ ЭНРАЙТ (DENNIS JOSEPH ENRIGHT; род. в 1920 г.) — английский поэт. Окончил филологический факультет Кембриджского университета, преподавал английский язык и литературу в университетах Германии, Египта, Японии, Таиланда, Сингапура и у себя в Англии. Автор многих книг стихов, в том числе «Смеющаяся гиена» («The Laughing Hyena and Other Poems», 1953), «Иллюстрированный рай» («Paradise Illustrated», 1978), «Книга Фауста» («A Faust Book», 1979) и др. Им составлены две антологии английской поэзии «Поэты пятидесятых» (1956) и «Оксфордская книга современной английской поэзии. 1945—1980» (1981).
Публикуемые стихи взяты из сборников «Старый Адам» («The Old Adam», 1965) и «Незаконное сборище» («Unlawful Assembly», 1968).

Переводчики:

СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1933 г.) — переводчик прозы и поэзии с английского. В его переводах издавались книги избранных стихотворений Р. Фроста, Т. С. Элиота, Э. А. Робинсона. Переводил классику: Э. Спенсера, Дж. Донна, У. Вордсворта, У. Уитмена и др. В «ИЛ» в его переводе печатались стихи К. Сэндберга (1978, № 2), Р. Лоуэлла (1980, № 2), А. Гинсберга, романы Айи Квеи Армы «Целители» (1982, № 1—3), В. Шойинки «Интерпретаторы» («ИЛ», 1970, № 10) и «Аке, годы детства» (1984, № 4—6), пьеса Д. Уолкотта «День поминовения» (1993, № 3).

ЛЫСЕНКО ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА — переводчик с испанского, польского и французского языков. В ее переводах издавались произведения испанских писателей «золотого века»: «Хромой бес» Л. Велеса Гевары, «Гусман де Альфараче» М. Алемана, повесть Х. Л. Борхеса «Алеф», роман «62. Модель для сборки» Х. Кортасара; с польского — романы «Камо грядеши» Г. Сенкевича, «Красный щит» Я. Ивашкевича и повесть «Мать Иоанна от Ангела», рассказы Я. Парандовского, Ю. Крашевского; с французского — статьи Ж. Руссо, письма Г. Флобера, Марка Блока «Апология истории». В «ИЛ» в ее переводе публиковались рассказы Т. Боровского (1988, № 10). Лауреат премии «ИЛ» (1988).

КРУЖКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1945 г.) поэт и переводчик. Автор сборников стихов «Ласточка» (1982) и «Черепаха» (1990). Переводил английских, американских, ирландских, французских поэтов — Дж. Донна, У. Вордсворта, Дж. Китса, Г. Лонгфелло, Р. Фроста, П. Ронсара, А. Рембо, Ш. Хини («ИЛ», 1991, № 4), «Из английской поэзии XVI века» («ИЛ», 1993, № 12), а также английскую детскую поэзию — Э. Лир, Л. Кэрролл, С. Миллиган («ИЛ», 1989, № 6).

СТАВ ПОДПИСЧИКОМ «ИЛ», ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ В ЦЕНТРЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО МИРА, ГДЕ БЫ ВЫ НИ ЖИЛИ

В фокусе нашего внимания — проза и поэзия самых последних лет, литература, о которой спорят критики и которой зачитываются взыскательные читатели всей планеты.

МИЛАН КУНДЕРА, «Бессмертие». Новый роман автора «Шутки» и «Невыносимой легкости бытия», уже переведенный на многие языки. В «ИЛ» выйдет в авторизованном переводе.

ТОНИ МОРРИСОН, «Любимая». Главное произведение писательницы, получившей Нобелевскую премию 1993 года. Многие критики считают этот роман центральным событием американской прозы десятилетия.

ПАТРИК ЗЮСКИНД, «Голубка». Повесть немецкого писателя, чей роман «Парфюмер», опубликованный нами в позапрошлом году, вызвал огромный интерес читателей.

МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, «Профессор Криминале». Интеллектуально-авантюрный роман замечательного английского литературоведа и прозаика, который критика называет лучшим образцом новой европейской прозы, сочетающей увлекательность фабулы с философской глубиной и блестящим, искрометным стилем.

Т. КОРАГЕССОН БОЙЛ, «Восток есть восток». Очень смешной и очень страшный роман одного из самых талантливых и читаемых американских писателей молодой генерации. Тема — ксенофобия и национальные предрассудки, главный бич сегодняшнего мира.

СЬЮ ТАУНСЕНД, «Королева и я». Персонажи нового нашумевшего романа английской писательницы, столь хорошо знакомой читателям «ИЛ»,— королева Елизавета II, принцесса Диана, принц Чарльз и прочие члены августейшей фамилии, оказавшиеся в неожиданной ситуации. Озорной юмор и богатство фантазии автора гарантировали роману громкий успех в Англии.

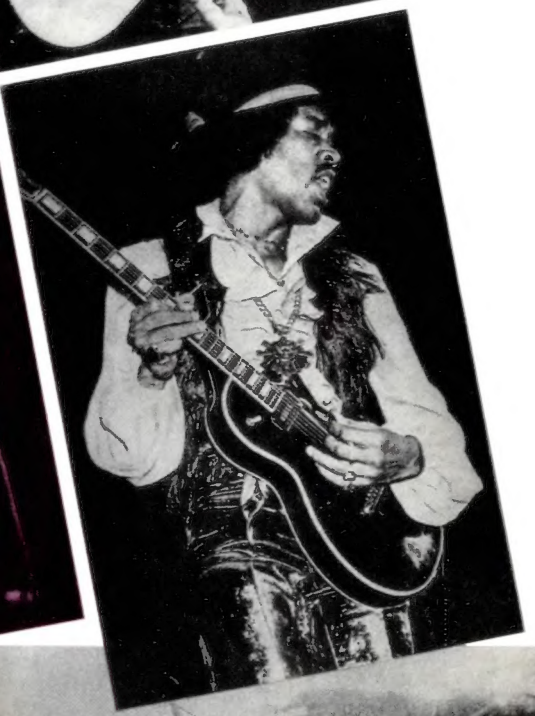
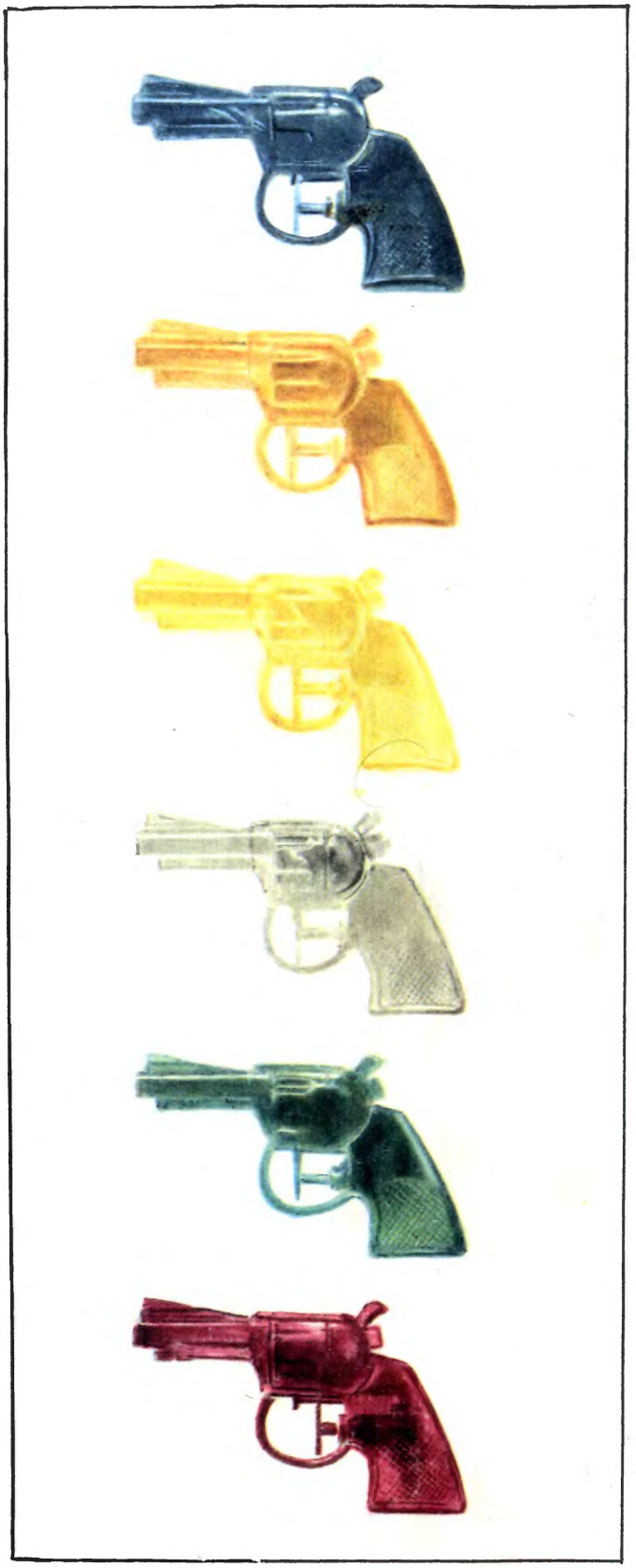
В разделе «Из классики XX века» мы представим два произведения, считающиеся почти культовыми, но до сих пор не издававшиеся на русском языке. Это роман **ВИРДЖИНИИ ВУЛФ «Орландо»** и роман **ГЮНТЕРА ГРАССА «Жестяной барабан»**.

В разделе документальной прозы читайте книгу «Якудза» — о современной японской мафии и ее истории, биографию величайшего комика современности Вуди Аллена; главы из только что вышедшего жизнеописания генералиссимуса Франко.

Обращаем особое внимание подписчиков на наш новый цикл литературных портретов, созданных крупнейшими писателями. Открывают цикл эссе, написанные Миланом Кундерой, Франсуазой Саган, Карлосом Фуэнтесом.

Будет продолжен выпуск **«Литературных гидов»** — специальных блоков, посвященных темам, которые представляются редакции важными и интересными. Во второй половине года мы выпустим три «Литературных гида»: **«Феномен бестселлера», «Литература Германии»** и **«Конец века, конец тысячелетия»**.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ
В КАТАЛОГЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ИЗВЕСТИЯ»



ИНДЕКС 70394